



# НЕВА

3  
2019

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Марина МАТВЕЕВА**

Стихи • 3

**Елена КРЮКОВА**

Хоспис. Роман • 9

**Евгений КАМИНСКИЙ**

Стихи • 107

**Феруза ИБРАЕВА**

Похоронили, как Шеварднадзе. Бред собачий,  
или Гонка за паспортом. Рассказы • 113

**Андрей ГУЩИН**

Стихи • 132

**Павел ВЯЛКОВ**

Критий. Корона Британской империи.  
«Прощай, диктатор!». Графская развалина,  
или Новая Пиковая дама. Рассказы • 137

**Игорь КУБЕРСКИЙ**

Будни Локаса. Рассказы • 166

**Михаил ПЕРШИН**

Тактовая частота. Рассказ • 177

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Елена КРАСНУХИНА**

Национализм нации и национализм национальности • 189

### КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Александр МЕЛИХОВ**

Поймали птичку голосисту... • 196

**Галина ЗАЙНУЛЛИНА**

- Программирующая мощь казанского текста  
(Символические реалии Казани в прозе  
В. Попова, А. Сахибзадинова, А. Хаирова,  
Д. Осокина и Р. Беккина) • 208

**ТЕАТРОТЕКА**

**Антон РАТНИКОВ**

- С любимыми драматургами не расставайтесь • 220

**Вера ХАРЧЕНКО**

- На подступах к театру,  
или Инстинкт перевоплощения • 224

**ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК**

- Искусство чтения.** Сергей Кибальник. Школа Достоевского. **Территория памяти.** Наталья Гвелесиани. Причина поражения социализма в СССР названа М. Горьким. **Книжный остров.** Публикация Елены Зиновьевой • 229

**ПИЛИГРИМ**

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

- На Иордан. Часть 6 • 245

---

Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Верстка **Д. Зенченко**

**МОНО-ЛИТ**

...Я не люблю людей.  
*И. Бродский. Натюрморт*

**1.**

Бог — это потолок  
комнаты надо мной.  
Если мне нужен Бог,  
стану его стеной.

Лягу я на кровать  
комнаты без окон.  
Не на кого плевать —  
я не люблю икон.

Плюнешь на потолок —  
инда себе на лик,  
ай да себе на лоб,  
только себе и крик.

Как откричит, поймешь,  
как бесполезен он.  
Бог — это пото-ложь  
комнаты без окон.

Хоть привались к стене,  
хоть на полу отвой —  
разницы, жено, нет —  
дом. Потолок. Он твой

щит от земных потерь,  
кокон земных забот.  
Он говорит: «Я дверь,  
люк и подземный ход —

лишь проруби! Давно  
нет топора — грызи.  
В комнате есть окно,  
просто оно в грязи.

---

Марина Матвеева — поэт, прозаик, литературный критик, публицист, журналист. Автор книг (поэзия, проза). Лауреат международных и региональных премий (поэзия, критика). Член Союза писателей России, Южнорусского Союза писателей. Координатор творческого проекта «Web-притяжение крымской поэзии и бардовский видеомост», ведущая рубрики «Крымские узоры» литературно-философского журнала «Что есть истина» (Лондон). Живет в Симферополе.

Мой! И увидишь свет,  
Драй! И услышишь слог.  
Глаз отвечает: «Нет.  
Вижу: ты — потолок».

**2.**

Спи, ниgiliсте. Спят  
все. Но приходит зло —  
«Господи!» — и опять  
ликом — на потолок.

Инда не лбом об пол —  
ай да монаси в ряд.  
Не от духовных зол  
на потолки глядят.

Если б хоть пустоту  
Буддову — без идей...  
Мать вопиет Христу:  
«Сын ты мне или где?»

Тот, кто лежмя стоит —  
дослезла извести...  
Бог — это монолит.  
На тебе — извести,

люстры тебе, лепнин —  
пусть отвлекают взор.  
Если ты мне не Сын,  
значит, ты просто вор.

Инда взлечу, горда,  
ай да над головой!..  
Он отвечает: «Да.  
И потолок я — твой».

\* \* \*

Вечер отсырелою крымской зимцою  
не вьюга нам выла по виктору цою,  
не хлопья пуржили лепехами в лик,  
а просто прожили мы с Лехою миг.

А просто прожили, а просто поржали,  
а просто кого-то в себе испужали,  
как павка корчагин — не стыдно ему  
бесцельно прожи то тому, то тому.

А после прожилки мгновение это  
куда-то свалило из нас как предмета.  
Видать, укатило, как леди с сумой,  
набитою яствами, к мужу домой

на самом переднем бушприте маршлодки,  
там, там, где в водителя тыкалось локтем,  
в рычаг скоростей на спонтанной волне,  
с ночнеющим городом наедине.

И вот мы стоим, как удода, без мига.  
И нам не поможет ни умная книга,  
ни дима билан, ни армен григорян,  
ни санта лючия, ни небо славян.

И вот мы стоим, как лохи, без мгновенья.  
И нас не спасет ни церковное пенье,  
ни пиво, ни водка, ни млеко козлиц —  
там, там, где сияет и вьюга нам свищ...

И вот просоленную крымской зимищей  
мы, два капитана, сокровище ищем.  
Но нет у нас карты. И компас не тот.  
И штормля. И вновь продолжается год.

\* \* \*

Осень Бедного Йорика, солнечно-серые жмурки...  
Золотая, как зубы кадета, вкусившего пиний.  
Там, где падают травы, выходят из спячки окурки.  
Там, где падают листья, осколки седой энтропии,  
вылезает труба, изоржавленным локтем бодеясь,  
за листвой невредима, невидима и неподсудна.  
Вылезает судьба. Укоризненно столь молодая,  
что любой инкунабуле страх за нее. Поминутно  
набегает волна на песочный хрономик Салгира,  
серебристые ивы впиваются розгами в тело  
изъявленной воды; сквозь нее проходило полмира  
тех, кто дважды пытался в одну, бесшабашно и смело,  
но всегда получалось — в иную: и воду, и пропасть.  
Но всегда — получалось. Иначе зачем и возможно?  
Прибегает вода. Умиляет ее расторопность.  
Избегает вода. Восхищает ее осторожность.  
Осень высушит разум до Йорика, память растронет  
раскорузло-цветистым, протертым до дыр сарафаном.  
Распускается лед, будто смятый пакет на ладони, —  
развлеченье скучающей тетки: цветок целлофанус.  
Здесь, где воздух извевя раскидистой прелюю праной,  
под деревьями много соляных столпов одиночеств.

Эти люди тоскуют, стоят и тупят, как бараны,  
только новых ворот слишком много — не каждый захочет  
выбирать. Им бы сразу, без выбора, точно — дали б...  
Вот тогда и берется, иначе — болезнь без симптомов.  
У бескожей трубы ревматизм, и ей ясно до стали,  
что зимою тепло лишь в приемнике металлолома.

### **R&K**

Святыни, артобъекты, атавизмы...  
Сегодня — до. А завтра — после ля.  
Не приближайся к истине «отчизны»,  
которая не весит ни рубля.  
И эта мощь, похожая на рифы,  
а вовсе не на парусник давно, —  
«Ваще уже...» — взведенная на рифмы —  
музейный пень, скамья, веретено.  
И бабушка. Отставшая от жизни,  
как птерозавр от «боинга». В крови  
ее толкуют страсти по Отчизне,  
по прежней — бес-со-мнение-вой — любви:  
и к этой светлой, ясно-серой тетке  
с серпом и выражением лица,  
и к этой стопятысотохвостой плетке,  
и быть живым — и только! — до конца,  
и к этой беззаветности, которой  
стальнее нынче разве что трамвай...  
...взлетающий меж бронзовых повторов  
по небесам: «Коси!» — и — «Забивай!» —  
туда, где свет. И дедушка. И Ленин.  
Сидяше одесную от Отца,  
дивяшесе на «новый поколений»,  
живущий на коленях — у лица.  
...Рывок! Борьба!.. и ветер треплет фартук...  
Зачем стоите? Падайте с молитв.  
Артритные объекты, артефакты.  
И каменная задница болит.

\* \* \*

Муж пришел домой — и удрых.  
Устает, бедняга, в песцы.  
Я сию пишу этот стих  
с мыслью об энергии ци.

Вот пойду я в горы пешком.  
Встрену в горах гуру гурьбу.  
Может быть, сумеют бочком  
вывернуть такую судьбу.

Знаю, гуру любят гурить  
гугурибуриборибы.  
С ними хорошо говорить  
либо об изгибах судьбы,

либо об уйти из себя,  
либо о питанье любви...  
Гуру любят только любя.  
Гуру — это вымерший вид.

Гуру — это Красная Кни-  
гадам и гадючьему се-  
мени будешь с ними без них —  
боли будет радостно всем.

Я пойду и съем пирожок,  
разделив с лосями в лесу.  
Но куда спит мил дружок,  
я его в себе понесу.

## РОСЯНКА

Бессильная встреча. И жарно, и стужно...  
И Млечных Путей разлетается рой...  
Она была хищным цветком Кали-южным,  
а он — из Двапары наивный герой.  
У «лилии» этой — полсердца на свалке,  
другой половине — куски выгрызать  
у тех, кто умеет любить из-под палки,  
под дулом — и только. ...Какие глаза!..  
Увидела в фильме — и сразу за книгу:  
а что это было? Ползи, партизан,  
по строкам «писаний» к саднящему сдвигу:  
плевать на идеи!.. Какие глаза!..  
Их боль — как твоя. О тебе и с тобою.  
Уйти переносом из слова «шиза»  
на новую строчку — да к новому бою  
за что-то живое... Какие глаза!..  
Не варится кашка («за маму», «за папу»),  
борщ переассолен — привет, паруса!  
За жизнь поднебесью давая на лапу,  
швырни ее кошкам.... Какие глаза!..  
Из комнаты выйдешь — ипритовый Бродский.  
Умешь на газ — проверь тормоза.  
...Свирепое мышкинство по-идиотски  
все тянет и тянет его за глаза,  
сминая, ломая, почти удушая,  
граня под себя — иступилась фреза...  
Вселенная стонет: «Я слишком большая!  
Я вся не вмещаюсь в Какие глаза!»

«Да что ты, Голахтего? Аль ушибилась?  
Тебе я в натуре имею сказать:  
не боги горшки обжигают — на милость  
нельзя полагаться, имея глаза!»  
Была она вечной, и главной, и нужной,  
спасительной — встреча! Живая лоза!..  
...Ну вот, дожевала в тоске Кали-южной  
ошметки Двапары — «Какие глаза» —  
и что теперь делать? Других-то не будет...  
Я из лесу вышел — был сильный вокзал.  
Гляжу: поднимаются медленно люди  
в небесные дебри, держась за глаза.



---

---

Елена КРЮКОВА

# ХОСПИС

Роман

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

*Евангелие от Луки 15:20–24*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТЕЦ

<...> Хотя он и стар был уже, настолько стар, что стал уже путать времена, и частенько ему казалось — за окном на ветру мотаются красные флаги, и шелково, подхалимски переливаются под тусклым масляным шаром холодного солнца, — однако он еще работал, правда, оперировал все реже и все чаще консультировал, и все толще становились плюсовые стекла в его старых очках, — дужки отвалились, и он приделал к оправе резинку и так, на позорной потешной резинке, вздевал совиные мутные очки себе на потную переносицу. Старый, а с работы не гонят. И на том спасибо.

Каждое утро надо было встать и привести себя в порядок. В порядок себя приводить становилось все труднее. Труд — принять душ и крепко растереться жестким полотенцем. Труд — вскипятить чайник и пожарить яичницу. Труд, и ужасный, — одеться.

---

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международных славянских литературных форумов «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

НЕВА 3'2019

Он не умел и не любил одеваться. Он с одеждой мирился. Когда была жива жена, она его одевала, любовно и заботливо. Она даже мыла его в душе; он садился в ванне на корточки, и она окатывала водою его лысеющую голову и размазывала по ней горсть шампуня. А потом терла мочалкой. Вздыхала: «Мотя, ты у меня такой красивый!» Не видела его обвисшего живота, высыхающих ног, лысины. Она любила его.

Жена, ты ушла. Далеко, отсюда не видно. Он шел в больницу и шевелил губами беззвучно: я вор, я вор. Вот я своровал у времени еще одну ночь. И сейчас сворую еще один день. День был и правда драгоценный: он сиял во всю ширь неба грязными стеклами больничного вестибюля, скалился беззубой улыбочкой больничной гардеробщицы. Здравсьте, Матвей Филиппыч! Он сухо кивал старухе. В здании пять этажей, а лифта нет. Что ж, это полезно, ноги пусть ходят по ступеням. Ножки, шевелитесь. Он поднимался на второй этаж и уже задышался, будто тонул, а подходя к четвертому, к своей хирургии, пыхтел как паровоз.

Беспощадный дневной свет заливал ночные, сонные лица. Больные лежали, вставали, ходили, и все как во сне. Они ничего не хотели, и они хотели всего. Они хотели, чтобы он сказал им, как правильно своровать здоровье. Украсть: с богато накрытого, с винами и заморскими фруктами, стола, из ящика старого, с тараканами, нафталинового шкафа. Струились вниз простыни. Горбилась чья-то спина под пятнистым халатом. Пояс развязывался, халат падал на вымытый с хлоркой пол, и ночная рубашка лилась кислым молоком, и в ее вырезе обнажалась коричневая, горелая плоть — высох пирог, зубом не укусишь, зуб сломаешь. Кожа да кости. Всех в землю положат! Матвей подходил к больной, клал свои ловкие, воровские руки ей на плечи. Лягте! Я вас осмотрую. Старуха послушно ложилась. Панцирная сетка лязгала. Матвей вел кончиками пальцев по лбу, по ключицам, бабка, кряхтя, трудно переворачивалась на живот, он мял жесткий хребет, и под его пальцами звенели ксилофоном и уплывали прочь легкие деревянные позвонки. Доктор, что у меня? Только не врите мне! Он беззастенчиво врал больной: дела на поправку! Выходя из палаты после обхода, кивал медсестре и бросал на ходу: эта бабуля, у окна, умрет завтра вечером. А у нее есть родня? — деловито спрашивала сестра, поправляя на лбу белую шапочку и кокетливо глядясь в Матвея, как в зеркало в коридоре. Нет никого, одна она. Сразу куда надо везите.

Эти люди, они блуждали вокруг. Обступали его. Больница уже была не больница, а его странный странноприимный дом, его бедняцкая гостиница, где накладывали холодной каши в казенную тарелку, а по палатам носили в клетке волнистого попугая, чтобы он почирикал людям их глупые, людские слова и они на миг забыли о своих страданиях. Птица в клетке! Они все тоже сидели в клетке. Только не вылететь уже из нее. Падают простыни на пол, их подхватывают и заворачиваются в них. И так стоят, в белых, в желтых тогах. Счастливы те, кому выдали цветное белье, розы, маки по подолу. Волнистый попугайчик картавит, скрежещет по-человечьи. Кривой клюв щелкает, раскрывается и закрывается. Да он не живой, а заводной! Игрушка! Попугая обступают люди в античных тогах, птица косит хитрым блестящим глазом, синим с золотым ободком, и хитро думает про людей: я настоящая, а вы все игрушки.

Люди перемещались по палатам и коридорам, шастали в отхожее место, несли в дрожащих руках грязные тарелки на кухню; и люди лежали, и лежачих было больше, чем ходячих. Лежачих надлежало жалеть больше, но внутри Матвея не осталось жалости. Подходя к очередной койке, он хватал все с ходу цепкими глазами: возраст, кость срастется плохо. Щитовидка, грубый шов, белые губы, голос низкий и хриплый, началась микседема, лишку правой доли оттяпали. Откидывал простыню. Отлеплял от живота пластырь. Удаляли аппендикс, а шов разошелся! И температура, и сколько? Под сорок? На стол, у больного перитонит, начинается сепсис! Не углядели! В хирургии много чего можно не углядеть; если с ножом лезешь внутрь человека, ты разрезаешь

в нем вековые связи. Сокровище на куски кромсаешь. После склеиваешь, сшиваешь; напрасно.

Он шагал по больничному коридору тяжело, медленно. Входил в палату. Прикрывал за собой дверь. Клетка с говорящим попугаем стояла на подоконнике. Матвей садился на край койки и робко и мрачно, исподлобья, оглядывал палату. Так сундучный паук оглядывает свое ветхое богатство: тряпки, ложки, чашки, отрезы. Под сводами слепого потолка ходили слепые. Они не хотели видеть смерть. Шамкали смешными ртами. Обсуждали чью-то участь, не свою, нет. У кого мерзла голова, тот сидел на койке в вязаной шапке и ноги кутал в одеяло. Вчера прооперировали рабочего речного порта, он упал с подъемного крана; его задранная нога торчала в туманном воздухе, белое березовое полено, прицепленное к железным стержням и подвескам. Так он будет лежать месяц, может, больше. Надо сказать близким, пусть веселые книжки ему принесут. Операцию делал другой врач, не Матвей: моложе втрое. В сыновья ему годился. Иногда больные в полутьме оборачивались к нему, и он дрожал: у них были странные лица его умерших сыновей и дочерей.

Чуднее всего в палатах было вечером. Вечерний свет менял лица и фигуры. Люди из больных становились царями, слугами, насекомыми. Гранитными, бронзовыми памятниками. Поднимали руки и так стояли, указуя путь. Зеленый маленький попугай вылетал из клетки и садился памятникам на плечи, на затылок. Молчал; нечего было сказать. Когда в окне, за грязным стеклом, появлялась первая морозная звезда, попугай смятенно хрипел: «Яша хар-роший! Яша хар-роший!» Все ему верили. Этот сумасшедший старый врач, зачем он к нам заглядывает? Он стоит в дверях, не заходит. Наблюдает. Какой врач, что ты мелешь? Нет никакого врача! Есть только эта, вот эта палата. Этот кусок жизни, и он ржаной. Погрызи его еще слабыми челюстями, пососи. Очень ведь вкусно. Вкуснее не бывает. Я ничего вкуснее не едал. И я тоже. И я.

Фигуры смещались, наплывали друг на друга. Заслоняли друг друга. Из трех делалась одна. Два глаза из-под круглого черепа, обтянутого вязаной шапкой, смотрели на Матвея, и он знал, тут не два глаза, а шесть. Сам воздух обращался в зрение. Плыл и выгибался крупной, круглой толстой линзой. Палата страдала дальновзоркостью. Больные глубоко вдыхали вечерний воздух — из открытой настежь стеклянной двери, из хлорного коридора, втекал в ноздри грубый запах кухни: вчерашние пирожки с капустой, нынешняя рисовая каша, горелый завтрашний омлет. Фигура в светлой, светящейся простыне подходила к окну. За окном угасал свет. Взамен наружного света свет теперь шел от мятой простыни, от плеч, укутанных в парчу и виссон. Царь, прокляни меня! Или благослови меня! Сгибались спины. Стукались об пол колени. Сильно, терпко пахло хлоркой. Глаза Матвея плавали под кустистыми, страшными бровями. Он наблюдал, как жизнь плотней запахивает тогу на груди. Как волочит за собою парчовый, жалкий подол. Его изорвала когтями эта полоумная птица! Скорей, скорей ее обратно в клетку!

А чуть позже в темной палате зажигались свечи, и больше сюда уже никто не входил и отсюда не выходил — люди застывали торосами над ледяною гладью постелей, и даже говорить они уставали, а этот доктор, чудик, он ушел или нет еще, да давно уж ушел, а он что, дежурный, а какая разница, если с кем плохо, он в ординаторской на кушетке спит. И без одеяла? Ну что ты, дурачок, с одеялом, конечно. И с подушкой. Как же без подушки. Спи-усни, угомон тебя возьми!

А нынче все эти больные, эти немощные цари и холопы вдруг пришли сюда, в его квартиру, смешались с его прозрачной, незримой роднею, и он теперь не мог достоверно различить, где родня, а где чужаки. Пытался рассмотреть их всех затылком. Мороз подирал по коже ссутуленной спины. Потные, скользкие ноздри раздувались. И легкие раскрывались, разлетались двумя парчовыми, ало-золотыми лоскутами. Когда

он дышал, молчал, лежал, ел или шел, он анализировал свою хитрую физиологию: вот жидкость втекает в пищевод, вот суставы сгибаются и разгибаются, создавая иллюзию движения. Фокусы, усмехался он над собой, всюду фокусы! Нам только кажется, что мы живем. Ведь на самом деле мы не живем. А может, только вспоминаем о жизни!

Шорох шагов, шарканье подошв по полу; солдатские сапоги, стариковские тапки. Босые ноги бегут по сухой, как кость, половице беззвучно. Не девочка, бабочка: дрожит крыльями, они в золотой пыльце, перебирает лапками. Тонкое брюшко обсыпано серебристой, мелкого помола мукой. Сахарной пудрой. Печальная старуха склонила голову. На ее костлявых плечах дырявая простыня. Она пытается закутаться в нее, как в пушистую шубу. Шуба истлела. Осталась больничная бязь, вся в казенных черных печатях. А, да это же его покойная жена! А почему она старуха? Она же молодая! Такая поджарая, горячая степная кобылица! И играет под ним. И он на ней скачет, скачет вперед, все вперед и вперед, по голой и мертвой степи. Огненный шелк, раскаленные ребра. Это все тоже обман. Где кобылица? В земле. В длинном странном ящике, сколоченном из сырых, плохо струганных досок.

Люди молчат за его спиной. Ходят тихо. Мерцают глазами, руками. Тускло гаснут одежды. Горят пальцы, как свечи. Может, он во храме? Он туда не ходил. Он был всегда атеист, сначала красный галстук, потом комсомольский значок, застылая капля красной блестящей смолы; потом уличное дежурство, дружины, красная повязка на рукаве; потом подбивали вступить в партию, а он толком не знал, что такое партия, хотя во всех газетах хором гремели ей славу, но он ее боялся, как боялся змеи в песках или волка в зимнем лесу; и он отказался, и на него в больнице косились, шептались о нем в столовой и в курилках, а потом о партии забыли: Родина лопнула по швам. Ее сшивали новыми стальными иглами и новыми суровыми нитями, и он, уже бывалый хирург, наблюдал, как на Красной площади народ танцует бешеные танцы, как новым умалишенным танцем, хороводом, парами, вприсядку люди обреченно обнимают всю страну, больную, ослепшую, и дрожащими руками она ползает вокруг и впереди себя, осызает путь — и не нашарит.

Пояс старого красного длинного халата развязался. Он завязывал его, и руки тряслись. Кошка черною худой лапой трогала красную кисть.

Нет, это не храм. Это дом. Его дом. И нет страха. Или есть страх? А перед чем страх? Перед этим пресловутым переходом? Переход. Он прошептал его латинское название: репагулум. Какой, к чертям, переход! Латиняне имели в виду преграду. Забор, короче! И он подойдет к забору. Может, очень скоро. Уже пора ему. И скажет: ну вот, дурак репагулум, давай-ка и я через тебя перейду. А может, тебя просто повалить, забор треклятый? Уронить, разрушить? Пнуть тебя как следует — и станцевать на твоих деревянных костях?

Храм. Дом. Тьма. Люди за спиной. Они ходят за спиной. Время идет по земле мерными и тяжелыми стопами. Матвей страшился обернуться. Он трусил увидеть время в лицо. Закрывал глаза. Сильнее горбил спину. Он думал: время, у тебя слишком яркие глаза, горящие, острые, они проткнут меня насквозь. А я еще пожить хочу!

Сидел в кресле с закрытыми глазами. Затылок ощущал чужие дыхания. Когда-то они были родными. Вскочить, замахать руками! Отогнать назойливых мух. Призраки, родные и любимые, прочь! Вон отсюда, кыш, кыш! Холодно, насмешливо думал о себе: это работа психики, идет распад тканей, нейроны теряют силу, артерии мозга склерозируются, и делу конец.

Возник звук. Дверь открывалась. Входная? В комнату? Затаил дыхание. Губы стали холодными, а лоб мокрым. Вошли? Открыли замок отмычками?

Шаги. Медленные, осторожные. Они раздавались еще далеко.

Может, в прошлой жизни.

Я брежу, подумал Матвей, мне снится сон, и надо быстрее проснуться.  
Шаги из прихожей переместились в комнату, где он сидел в кресле у окна.  
Надо встать, думал Матвей беспомощно, обязательно встать!  
Ноги ослабли, хилые макароны. Он продолжал сидеть и думать о том, как он встает.

Во весь рост. И оскаливается страшно.

Важно сделать страшную маску, неподвижную, и ею, дикой, подземной, напугать бандита!

Кошка тихо, хрипло мяукнула.

Он вспомнил бандюков, кто прижигали ему ступни утюгом. Он уже это все пережил; зачем Бог опять показывает это ему? Одну и ту же чертову картинку? Ты забыл, Бог, я это затвердил уже, выучил наизусть. Сейчас отбарабаню без запинки.

Люди за его спиной потемнели лицами и засветились глазами. Лица сожрала тьма, а глаза разгорелись ярче, бешеной. Они стали сбиваться в кучу. Прижиматься боками, плечами друг к другу. Они словно мерзли и хотели согреться. Как в нетопленной палате, в выставшей больнице зимней ночью.

Люди пожирали его сутулую спину и лысый затылок голодными, горящими глазами.

Он понял, почувствовал: люди хотели пищи, и ему надо было их — самим собой — накормить.

А он себя жалел, не давал кромсать никаким ножам.

Ах ты, хирург, сам-то режешь налево-направо. Сам... кромсаешь...

Шаги ближе. Ближе. Он зажмурился. Жмурься сильнее! Еще сильнее! Сейчас из-под прижмуренных век полетят искры боли, и ты займешься пламенем и проснешься!

Шаги стихли.

Тот, кто стоял за его спиной, рядом с его мертвецами, молчал.

Было слышно только его дыхание: хриплое, медленное, редкое.

Хрипы звучали громче, когда он вдыхал, у него булькало в груди. Выдыхал человек через заложенный нос, носом свистел, как чайник. Смешно и страшно.

И запах. Этот никогда не чуемый им запах.

Гадкая, рвотная смесь пота, мочи, моченого хлеба, водки, опилок, соленой рыбы, дерьма, дерна, земли. И немного, чуть, горелой сдобной корки и яблочной гнили.

Еще чем-то пахло.

Таким, что из него вытекли, будто быстро и крепко выжали его, быстрые, стыдные слезы.

Матвей медленно, со скрипом разгибая колени, поднялся из кресла. Выпрямить спину было трудно. Больно. И ни к чему. В его выгнутые лопатки, в позвоночник вонзался огонь этих чужих зрячих глаз, его обдавал этот безумный запах.

«Жаль... как жаль... надо в кармане халата дома всегда... нож таскать... а лучше пистолет... пистолета нету... где я возьму пистолет... и главное... теперь уже поздно...»

Теперь надо было только повернуться. Больше ничего.

И он повернулся.

Две черные кошки с хвостами-крючками безмолвно, недвижно стояли за ним. У его внезапно ослабевших, с робко согнутыми коленями, тощих ног.

Напротив него стоял лысый старый человек.

А может, долыса бритый. А может, молодой, он еще не понял.

Иглы, колючки вместо волос. Колючее лицо. Грязь на щеках. Будто плакал грязью.

Лицо человека было ему тесно. В нем он задыхался. Он глазами лез, вылезал из лица, глаза умирали на лице, проклинали все, что видели, и тут же воскресали.

Они еще могли воскресать, хотя вылезали из орбит, будто на рот лысого наступили сапогом и подошвою давят, давят, и хрустят кости и зубы.

Лохмотья на плечах. Дыры вместо куртки. Дыры вместо рубахи. Лоскуты мотаются. Вспыхивают заплаты. И опять зияют дыры, а в них светится тело, век немытое, дикое.

Не человек. Зверь. Только глаза человечьи.

Стоял он спокойно, чуть ссутулясь. Будто Матвея в зеркале отражал. В самом себе. Спокойно с виду, а внутри чуялась пружина: вот-вот вздрогнет, оттолкнется ногами от половиц и полетит. Куда? В окно вылетит? Как ангел Божий? Или чертово помело? Слишком лысый. Гладкий до страха череп. Яйцо костяное, и разбить его рука тянется. Ни молота в руке, ни чайной позолоченной ложки. Скорлупа эта лишь чудится хрупкой. На деле она тверже железа.

Матвей обводил его глазами. Кто это? Скулы торчат. Щеки ввалились. Кожа обтягивает черепную кость. Голоден! Это грабитель. Это просто нищий! Он просто вперся к тебе пожрать. Как он открыл дверь? Ни ключей у него в руках. Ни отмычек. Ни лезвия. Плечом выдавил? Его железную, тяжелую, как баржа, дверь?

Матвей глаза на его ноги перевел. Ноги, Господи. Ноги. Эти ноги шли. И пришли. Дошли. Как они дошли сюда — в таких башмаках? Это же не башмаки. Это опорки. У сапог обрезали голенища изношенные, и вот то, что осталось, он истаскал вдрызг. Бродяга. Бедный.

Жалость вызвала в Матвее дрожь.

Он стал дрожать, сначала мелко, потом все крупнее, дрожь налетала судорогами и сотрясала его.

Глядел на него лысый человек, взгляда не отрывал.

Матвей дернул головой вверх и вбок, повел подбородком, пытаясь лицом от этого зрячего огня ускользнуть. Не получалось.

Запахом страшным тянуло, обнимало.

Матвей вытянул вперед руки. Будто хотел оттолкнуть бродягу.

И вдруг бродяга качнулся, сильнее пошатнулся — и, будто кто его косою хлестнул под коленями, кулем повалился на пол, к ногам сгорбленного, зверем дрожащего Матвея.

— Отец!..

Волос за волосом стали подниматься на голове Матвея; неудержимо восставали вокруг лысины жалкие волосы, это пламя над ним восставало, обнимая его темя мрачно-красным, обжигающим нимбом.

— Как... что...

Он внезапно ослеп. Веки напоззли на радужки и зрачки. Принакрыли, упрятали от него видимый мир, и этого нелепого нищего на коленях, что так нагло, дико посмел к нему обратиться. «Это всего лишь насмешка. Абсурд. Ворвался сюда. Втек неведомо. Кем притворился?! Зачем?! Бандит, а нарядился жителем свалки! Боже! Я в Тебя не верю. Но Ты не дай ему надо мной... издеваться... этому... прибуде...»

Бритый бродяга стоял на коленях, как примерз к полу. Будто застыл; глаза застыли, руки заледенели. Губы не разомкнутся. Ой, нет, вот дрогнули и раздвинулись. Он скалился. Он... улыбался! Или сложил рот для крика? Для плача?

«Может, мне завопить и зарыдать первому? опередить его? Обмануть?»

Руки протянуты вперед. Он сам шатается и вот-вот упадет. Нет опоры. И тяжести тоже нет. Оба невесомы. Это сон, и ему придет конец. Вот сейчас! Не приходит. Длится молитва. О чем безбожник молится? Дай вдохнуть воздух. Задыхаюсь. Я тону, и толща воды смыкается надо мной. Время всасывает меня в себя. Этот лысый зверь, зачем он свалился к ногам другого зверя, и оба дрожат? Дрожь слышна. Она слышна так же, как и запах. Остался только запах, а зренья нет, и боли нет, и мыслей нет. Есть еще слух.

Но и он гаснет. Нищий шепчет что-то — он не слышит. Невнятный шорох доносится из чужой пересохшей глотки. Он хочет пить, Матвей, он долго шел по земле, дай ему напиться! Он замерз и изнемог. Неужели ты не дашь ему стакан воды? Не протянешь руку? Не уложишь на матраце своем, не укроешь теплым, верблюжьим одеялом своим? Матвей шел вперед, шагал, ему казалось, крупно, на самом деле он еле полз, ноги гладили половицы двумя холодными утюгами. Он стал видеть не глазами, чем-то иным. Видеть не только то, что моталось перед ним. А все сразу. Что сзади. Что за спиною этого лысого, бритого. Будто летел, висел вверху, под потолком. Свисала с занебесного потолка махровая, роскошная паутина. Лохмотья, коими был беспомощно укрыт бродяга, вдруг дрогнули, снялись с места, как лодки, что отвязали от причала, и тихо поползли вниз. Матвей испугался, что он весь сейчас обнажится, и станут видны его кровящие язвы, подсохшие струпья. Тогда надо будет его жалеть и любить, а как это сделать, если превыше любви в тебе страх поселился? Его внутренние, страшные глаза видели, как с левой ступни бродяги медленно свалился опорок и оголилась натруженная, сбитая пятка.

Эта голая пятка ножом резанула его по сердцу. По закрытым, слепо плывущим глазам. Глаза косили из-под век, плыли вдаль, уплывали, прошивали скользкими рыбьими тельцами плотную, вязкую и прозрачную толщу, — чего: воды? времени? боли? смерти? — они еще оба живы были, и оба связаны этим чудовищным запахом: так грубо и гадко, а вместе дико и мощно пахнет жизнь, и значит, они оба еще не пережили ее, не переплыли, — не прожили, и она у них сейчас, вот теперь, одна — на двоих.

Матвей, слепой, шагнул ближе к упавшему на колени мужику с обритой головой. Красный халат падал с его плеч. Нет, красный плащ, и невидимый ангел поправлял плащ ему, опять набрасывал на дрожащую, потную спину. Матвей, преодолевая страх пустоты, пошарил в темноте руками, нашарил сначала лысую колючую башку бродяги, ощупал ее, всхлипнул, потом возложил руки ему на плечи, и плечи мужика под его крепкими, твердыми ладонями хирурга затряслись, затанцевали в рыдании.

— Сынок мой!..

Это рот сам вылепил, за него. Он — не хотел.

Лысый-бритый нищий дернулся, будто под током. И опять застыл. Он повернул бритую башку и щекой прижимался к животу Матвея. Нежно, осторожно. Будто боялся грязной головой своей испачкать красные Матвея одежды, струи красного плаща, медленно стекающего с боков и груди. В шерстяном старом плаще зияли дыры. Они вспыхивали, как черные звезды, ткань разлезалась под руками. Нищий смиренно держал руки свои у себя на животе. Его повернутая набок голая колючая голова слабо светилась в полумраке. Свет гас в больших невымытых окнах, а голая башка разгоралась, как нечищенная керосиновая лампа. Лампа такая имелась у Матвеева деда, он иногда чистил ее обшлагом рукава и потом медленно, вдумчиво зажигал ее, подвертывая фитиль, пощелкивая ногтем по выпуклому гигантскому опалу, овалу толстого стекла. Мрак завладел комнатой, а нищий все стоял на коленях, отвернув набок, как гусь, голову, и Матвей все держал ходящие ходуном слепые руки на тощих плечах, с них сползали ветхие гнилые одежонки и никак не могли сползти. Матвей не помнил, когда он брился: вчера, позавчера или неделю назад, а может, не брился уже никогда, потому что ему щеки согревала невесть откуда взявшаяся борода, он косил глазом на серебряные нити, сбегавшие с подбородка на грудь, и с ужасом думал: вот я уже и старик, — а руки глупо торчали вперед, под ладонями плыла и горела гниль чужих отрепьев, оба глазных яблока Матвея вращались под мелко дрожащими веками и вдруг стали падать, слепота на миг раздвинула шторы, и он плохо и мутно увидал — из-под алого его, изношенного плаща торчат его запястья, а они обтянуты красивой богатой тканью, он, оказывается, стоял тут в шальной сорочке, небось из модного бутика, серебряные кружева

умалишенной оторочкой бежали вокруг манжет, с виду гляделись как стальные; он даже подумал: вот торчат мои бедные руки из железных кружев! но это же бабьи кружева, мужики такую дрянь не носят! — а серебристая парча блестела, посверкивала морозной дымкой, сизым инеем, и слепой глаз косил на торчащий деревянным мячом нищий затылок, от затылка шел призрачный свет, и Матвей думал, задыхаясь: вот я все-таки вижу, вижу, не ослеп, спасибо Тебе, Господи.

Нищий внизу, под его дрожащими ладонями, завозился.

— Да... да... Отец!.. прости...

Слепые глаза косили и плыли вдаль и вбок. Слух умирал и возрождался. Из тьмы бежали прибоем светящиеся волны, плескали на ноги, на голую пятку бродяги. Матвей по-прежнему видел все целиком: и снизу, и сверху, и справа, и слева, и со всех сторон. И даже, вот ужас, видел то, что только будет. Испуг, и вместе радость. Так бывает! Он боялся: сейчас это все исчезнет. И бродяга пропадет. Он назвал его сыном. Что ж, спасибо ему за это. Завтра с утра надо пойти в аптеку и купить там феварин. Или реланиум. Сильные психотропные препараты пока жрать не надо. Это всегда успеется. Но психоз надо немедленно снять. Это же чистой воды психоз, Матвей Филиппыч! Ты же понимаешь, клиницист со стажем! Он все понимал, да. Но нищий в отрепьях, вздрагивающий под его руками внизу, притиснувший башку к его животу, понимал больше него. И лучше него. И выше. И чище. И сквозь этот дурнотный, дикий запах — горячее, светлее. До слез.

— Марк?..

Мрак тесно обнял их, и во мраке они оба стояли, застыв: Матвей — в рост, бродяга — на коленях.

— Я, я...

Петлю накинули на шею Матвея, и так душили, и мокрой горечью и огнем, прожигая длинные шрамы на щеках и подбородке, выходили из него, из слепых глаз его все эти одинокие годы.

— Марк, сынок... Как же так... как...

Слух опять улетучился; он не слышал, что испускали в темный воздух его омертвевшие, соленые губы.

Мрак усилился, окна погасли, а потом опять разгорелись; в них загорелся ночной мир, и Матвей не мог достоверно понять, что там за окном — поздняя осень ли, ранняя ли ледяная весна, дрожащая ли зима, колышущая синий лунный маятник от тепели до лютого колотуна, когда вороны и воробьи замертво падают с деревьев, обращаясь в мохнатые кусочки темного колючего льда. У времени теперь не было имени. Его можно было щипать за ягодички, за безвольно висящую руку, за ногу, за нос, бить его кулаком в скулу и в затылок — ему было все равно. Оно прекратило течь и превратилось в бритую лунную голову бродяги. Луна брела-брела по небу долгие века и набрела наконец на Матвея. Уважила его старость. Сочинила ему напоследок глупую шутку про воскресшего сына.

Губы Матвея говорили. Задавали вопрос. Он сам не слышал какой.

Он услышал ответ.

— Вы рано меня похоронили!

Тогда Матвей догадался, что, как он его спросил, коленопреклоненного.

Он спросил его: «Мы тебя похоронили, а ты воскрес?»

Он восстановил из мрака свою старую, подземную боль — и ужаснулся ей.

Бродяга отнял щеку от выпяченного под рубахой, огрузлого живота Матвея. Вот теперь приبلуда задрал голову, лицо закинул, чуть выпятил вперед подбородок, опять раздвинул губы в беззубой ухмылке и слезными, влажными, чуть выпуклыми глазами глядел снизу вверх на Матвея. И тут Матвей признал его: рука бродяги вскинулась, и он быстро, мгновенно, будто пытался муху поймать или комара убить, ущипнул се-



бя за нос большим и указательным пальцами. Это был жест из его детства. Милого, смешного. Родного.

Руку нищий опять положил над другую руку, смиренно, как во время церковной службы, лежащую на груди. Правую поверх левой.

«Как на исповеди, и на коленях передо мной стоит».

Матвей тихо пробормотал:

— Ну что же ты... стоишь вот так... Ты... поднимайся...

Нищий теперь смотрел не на него.

Он смотрел поверх его головы. За его плечи.

Во мрак, что клубился за его красным плащом.

А может, это красный плед, траченный молью, свисал с плеч отца.

А сын глядел на тех, кто клубился и дымился за спиной отца, во тьме.

— Батя! За тобой... люди. Я вижу их!

Матвея будто мокрым бельевым жгутом вдоль голого тела хлестнули.

«Он видит их! Значит, они все — есть!»

— Не гляди туда, — прошептал Матвей, — не рассматривай их. Мы давай лучше... помолимся за них...

Бродяга ощерился.

Мелькнули в фонарном тусклом свете из окна его голые десны с редкими зубами.

— Ага, боишься! Что за них молиться? А ты что, верующим стал? Да?

Матвей не снимал рук с плеч нищего.

Нищий бесстрашно смотрел в глаза Матвею.

Его ухмылистые, гадкие губы дрогнули и сморщились. Из глаз по корявому колючему лицу, нет, это не было лицо его милого Марка, это была чужая дикая рожа и скалилась, и язык между зубов отвратно дрожал, полились мелкие быстрые капли.

— Батя! Да ты же над Богом смеялся! У нас же дома ни одной иконы! Ты же доктор! Ты же знаешь...

Матвей стоял недвижно, его сердце, мятное и холодное, напрасно билось ему в ребра.

— Что — знаю?..

— Да что просто все! — беззубо, зло, продолжая смеяться ртом, вышамкнул бродяга. — Откинешь кони — и все! И больше нет тебя! И нет никакого твоего Бога! И ничего нет! Нет и не было!

— Нет и не было, — послушно, как волнистый больничный попугай, повторил Матвей.

Он снял руки с плеч нищего. Надо бы его поднять с пола. Хватит ему на коленях стоять. Как пахнет от него! Запах опять полез Матвею в ноздри, раздирал его изнутри. Он же голоден, черт знает сколько он шел, ничего не ел, побирался, надо быстро его накормить! И напоить. Жажда! Без пищи можно долго терпеть, без воды не продержись и трех дней. Он просунул замерзшие от ужаса руки под мышки нищему. Стал тягать его вверх, поднимать. Тащил, а нищий упирался. Всей тяжестью повисал на его жестких, жилистых руках.

— Вставай... — бормотал Матвей. — Вставай же...

Бродяга тихо, злорадно смеялся. Смешок этот облеплял уши Матвея мелким кусочком, кровавым гнусом.

— Не встану, пока не простишь меня! Ха, ха, ха-ха-ха-ха-ах-ха-ха...

«Простить — значит признать его! Вспомнить! Но ты же уже вспомнил. Как он себя за нос-то цапнул! Марк и Марк вылитый. Жест нельзя подсмотреть. С жестом можно только родиться. И... умереть...»

Матвей дышал тяжело и громко. Уличный фонарь горел у самых ребер, у гулко бьющегося сердца дедовской керосиновой лампой. Он боялся обернуться. Бродяга видит призраков за его спиной. Не хватало еще ему увидеть их!

— Я... прощаю тебя... и...

«Что-то надо тут такое еще сказать. Что?!»

— И... принимаю... и никогда...

«Что я мелю языком. Языком своим, без костей».

— Никогда... не попрекну тебя... ничем...

«Да, да, вот так, так. Верно».

— Ну... что ты из дома ушел... бросил нас...

«А вот про это не надо. Ему и так больно. Вон слезки текут. Плачет!»

— Ты вернулся... и... давай...

«Надо его успокоить. Обласкать. Ты что, ласкать разучился?! За эти годы...»

— Давай забудем все... что с тобой приключилось... всю твою...

«Жизнь, договаривай, жизнь».

— Всю твою... жизнь...

Он выдавил из себя слово «жизнь», и внезапно тяжелое смиренное тело нищего стало легче легкого, стало насмешливым и по-цирковому ловким, он засучил ногами, завозился всем телом, налег грудью на его услужливо просунутые ему под мышки старые руки, хватал ртом воздух, будто тонул, и поднимался — снизу, с пола, из ямы, в которой лежала все эти долгие годы его мысленно погребенная плоть, а душа, вот же она, лезет из глаз, губы ее выдыхают, летит беззубой плохой улыбкой, сияет лысой колючей головой, — и поднялся, и встал, и стоял, качаясь на кривых ногах, одна нога босая, другая в грязном опорке, слишком рядом с Матвеем, слишком близко, лицо в лицо, и Матвей увидел: они одного роста, нищий и старик.

Матвей теперь мог глубоко заглянуть в его глаза, ведь они стояли глаза в глаза. Они были одного роста, и зрачки Матвея нащупали зрачки бродяги и глубоко ввинтились в них, вонзились, едва не вышли наружу, два черных бура, из затылочной кости. Из этих зрачков, и чужих и родных, на Матвея хлынула тьма.

Он этой тьмы, врач, по горло навидался, он уже устал от нее, уже шел мимо нее, проходил, не задерживаясь, опытными, цепкими мыслями охватывая диагноз: обречен, не проживет и трех суток, — или так думал: если полгода протянет, пусть судьбе спасибо скажет, — у этой тьмы было обыденное имя: смерть, — и он так затвердил это имя, заучил наизусть, оно в зубах навязло, и он его выковыривал изо рта, сплевывал, как прилипшую к зубам горькую смолу, — и больные глядели ему вслед, лежащие провожали тоскою и ненавистью, но чаще монашьим, пещерным смирением, сидячие охватывали себя руками, жадно обнимали сами себя, в последнем жару бесстыдно трясясь, тыкаясь глазами в его лицо, как щенки мордами — в теплое брюхо суки: буду жить? буду? нет, ну ты, доктор-всезнайка, скажи, буду или нет?.. — а он уже шел, бежал мимо, надо было быстрее убежать и больше об этой тьме, плещущей в больных глазах, не вспоминать. О смерти. По крайней мере, сегодня. Сегодня надо прийти домой, распахнуть холодильник и вынуть из него осетринку горячего копчения в промасленной бумажечке. И «Брауншвейгскую» колбаску. И баночку красной икры. Настоящей, камчатской. И еще какую-нибудь вкуснятину. И положить на фарфоровую тарелочку острый нож и свежую булку. Нет: скальпель и ком ваты. Бред! Селедочку еще! Селедочки хочу! Доктор, он должен побаловать себя после ужасного рабочего дня. Две операции, одна два часа, другая три часа, тяжелые. В перерыве он курил возле открытого настежь окна. Он, старик, даже научился курить! Расслабляет. Это чтобы спирт разбавленный не пить каждый день. Не пей спиртягу, Матвеюшка, козленочком станешь.

Он сразу, бесповоротно понял: человек тяжело болен и должен умереть.

Диагноз точный поставил, и рентгена не надо.

«Кашель. Хрипы. Одышка. И этот запах, запах, когда выдыхает».

— Что стоим? — беззвучно вылепил губами Матвей. — Давай сядем.

Бродяга пошатнулся.

«Ну да, все верно; слабость, еле на ногах стоит, он и сюда-то, видно, еле приполз».

Матвей осторожно обнял его за плечо. Гнилая ткань разлезалась под рукой, и гнилью пахло, будто оба стояли у отхожей ямы. Он тихо пошел вперед и потащил бродягу за собой. Бродяга послушно перебирал ногами. Они оба подошли к дивану. Пестренькая обивка, дешевая, тускло-голубой фон, по нему разводы ветвей и листьев, под старинный гобелен. Бродяга увидел обивку, и слезы из его маленьких глазенок с припухшими веками полились чаще, смешнее.

«Ага! Помнит. Диван-то старый! Неужели же... тот самый... когда... он сбежал...»

— Сядь ты, ляг, — плел языком кренделя Матвей, — я тебя плодом укрою...

Нищий размашисто сел, продавив диван; пружины оголтело зазвенели. Матвей насильно повалил его на подушки. Когда нищий лег, он задышал тяжелее, и хрипы в груди усилились. Он повернул на подушке голову, надсадно кашлянул, из угла его рта вывалился темный кровавой сгусток и расплзся по атласу наволочки.

«Все верно, отходит легочная ткань вокруг пораженных лимфоузлов».

Матвей стянул с себя красный шерстяной плащ, он и правда оказался поеденным молью плодом, неудобно как, весь в дырах, да штопать он не умеет и никогда не умел, хотя раны вот зашивал, и разрезы, и нагноившиеся швы, и швы потом, после его шитья, заживали вторичным натяжением, и он, рассматривая и щупая шов, радостно сам себе кивал: все, Матвейка, праздник души, чистая работа!

«Здесь не будет никакой чистой работы. Здесь будет только...».

Недодумал. Этот человек при смерти. Еле добрел к нему, дотащился. Сейчас некогда трепаться, отец он ему или не отец, сомневаться, выуживать из его темной толщи золотые рыбки тайны, ахать, охать, молоть языком. Надо быстро поставить чайник. Горячий чай. С лимоном. С коньяком. С медом. Все это, слава богу, дома есть. Пусть лежит под плодом. Как тяжело дышит! Хрипит. Согревающий компресс на область бронхов. Спиртовый. Спирта нет, есть водка. Ничего. Завтра он из больницы и спирт принесет. Хоть флакончик. Старшая сестра нальет. Флакон, это же не канистра, это незаметно.

«Я все вижу, все понимаю. Страшная болезнь. Как он сюда шел? Где жил?»

Нигде. Никогда. Некогда. Обрывал нити мыслей. Не завязывал узлов. Принес еще одеяло из спальни, толстое, овечье, на больного навалил. Подоткнул. Бродяга лежал как в коконе. Куколка, и скоро вылетит бабочка.

Измерил шагами дорогу на кухню. Зажег газ, воду налил, чайник поставил. Пустую сковороду на конфорку швырнул. Кинул на нее казенные котлеты. «Боже, сам я стряпать не могу! Пусть скажет спасибо, что этидохлые котлеты в морозилке завалялись! Пусть... скажет...» Все шипело, пузырилось, огонь работал. Огонь сам все делал, и стараться не надо. Так, на тарелку — румяные котлетки, чуть украсить вялым укропом, картошки вареной нет, зато есть чипсы, а это тоже картошка, вот так положить, веером, красиво. Чай в чашке дымится, плавает золотым мальком лимон. Сахару! Как можно больше. Нужна глюкоза. Коньяку! Столовую ложку? Две? Э, да тут и так мало!

Матвей вылил из бутылки в чашку с чаем весь коньяк. Звенел ложечкой, быстро, истерично. Будто в набат бил на колокольне, на площади.

Масло брызгало со сковороды. Заляпало ему рубаху. Он забыл выключить газ.

Рассерженно, рьяно засучил рукава рубахи, закатал их до локтей.

Бросил рядом с котлетой кусок хлеба. Ухватил чашку и тарелку. Потащил в гостиную.

Сел на стул у изголовья бродяги. Еду и чай растерянно держал в кукольно расставленных руках.

Бродяга спал.

Он спал, чуть приоткрыв беззубый рот, и вокруг него все стоял густой тошнотворный дух, и все так же гладко, масляно светилась, сияла во тьме комнаты бритая башка, он мирно, как ребенок, положил обе руки поверх алого, как густая кровь, старого пледа, сожранного молью, и узоры дыр бежали по шерсти, как арабские письмена, нет, как славянская вязь, буквыцы первопечатной книги, чудом не сожженной в раскол Псалтыри, по ним можно было читать летопись пустоты, ведь все на свете, Матвей это хорошо знал, быстро и бесповоротно становилось пустотою, обманом. Спал, а над обитой поддельным гобеленом спинкою скрипучего дивана, под потолком, с него же свешивалась махровая слепая паутина, за деревянными суставами дверей и их живыми плечами, недвижимыми, как каменная строгая кладка, ходили, гуляли тени тех, кто их знал и любил. Милые их люди. Тела, обращенные в души. Мать этого нищего; его сестрички и братья; его бабка, что когда-то так же, как он сам, убежала из дома; его прадед, что веками стоял за гробовой конторкой, натертой морилкой, великий столпник, — а где конторка? И где люди, и где жизнь?

«Спит. Ну и хорошо. Еще в нем теплится жизнь».

Матвей поставил котлету и чай на журнальный столик близ дивана. Острый запах лимона на миг перебил запах гнили. В груди у бродяги булькало и клочкотало. Он вдыхал воздух порциями: ух-ух-ух, при этом гармошка под ребрами оживала, невидимый гармонист начинал перебирать ее перламутровые, костяные пуговицы, и изнутри, из-под ребер, из кровавых, широко растянутых мехов раздавались сипы, свисты, переборы, сбивчивое влажное бормотание, будто бежал и перекатывался на камнях грязный, бурливый ручей. А когда выдыхал, вместе с густым хрипом из легких вырывался длинный тягучий стон.

Так стонет метель. Ах да, зима. Конечно же, зима. Зима на улице. И зима внутри. Снаружи ли, внутри — о чем горевать?

Восточные, худые темно-коричневые кошки, беззвучно, медленно ступая по пыльному полу тонкими мягкими лапами, вышли из-за шкафа. Их темная, ночная бархатная шерсть мерцала и лоснилась в свете фонарей, в зимнем призрачном свете. Кошки робко подошли к дивану. На диване лежал незнакомец; он по-чужому пах. Кошки застыли, вытянули шеи и осторожно, раздувая черные африканские ноздри, вдыхали новый запах. Та, что покрупнее, брезгливо тряхнула лапой. Та, что помельче и поизящнее, тонко и отрывисто мяукнула. Обе повернулись, подкрались к Матвею, прыгнули ему на колени и стали нюхать воздух вокруг холодной котлеты.

«Кошки, спасители мои. Если бы не вы, я бы сдох давно от тоски. Так же вот коротко крикнул: мяк! — и ноги протянул».

Матвей гладил их, гладил. Во мраке из-под его ладони сыпались искры. Кошки мягко соскочили с его колен, царственно направились куда глаза глядят. Во тьму. В пустыню. «Все на свете есть пустыня, и нам только кажется, что мы живем среди людей».

Бродяга пошевелился под пледом и овечьим одеялом. На голом темени проступили капли пота. Он покатал башку-кеглю по атласной подушке и внятно произнес:

— Жизнь, черта лысого.

«Сам лысый и о лысом говорит».

Матвей сунулся вперед, вытянул руки, снова чуть не ослеп — перед словами, что выкатились из него пятью горячими слезными горошинами:

— Где ты был всю жизнь?

Лысый мужик лежал с закрытыми глазами. Матвей чувствовал: он не спит. Хитрит. Просто глаза прикрыл, а слушает. И слышит. Говорить ему лень. А может, он спит и говорит во сне. Скоро он будет от боли кричать. Это пока такая стадия, они еще не вопят от боли. А вот потом, когда прихватит, он криком тут стены разнесет.

«Как все это будет выглядеть? Он будет тут лежать? Да. Лежать. Здесь. Вот на этом самом диване. А может, лучше в больницу? Да ну ее к черту, больницу. Умирать в боль-

нице! Как это пошло. Все стариков в больницы отвозят, умирать. А тут молодой. Какой он молодой, он же тоже старик, гляди! Нет, врешь, он тебе в сыновья годится. В сыновья? В какие сыновья? В самые настоящие. Ты что, разве не слышал, что он тебе сказал? Отец, сказал он. А, и ты поверил! Как в кино. Такие чудеса бывают только в кино. В пошлом кино. Бабенки вынимают платочки и сморкаются. Но я-то не бабенка ведь. Я врач. И я все вижу. Все? И себя — видишь?»

Себя он не видел. Ни под линзой, ни в мареве улыбки. Ни сквозь белое бешенство законной метели. Опять слепой, и, быть может, уже навсегда. Метель вилась и подвывала, и восточные кошки, лежащие рядом за шкафом в матерчатой лодке, плотно, тесно перевитые одним бархатным карим вензелем, наостряли уши — метель выла голодной злой собакой, и даже тут, среди тепла и ласки хозяйской руки, ее надлежало бояться. Не видел ни сердца своего, ни души своей. Ни Бога своего; опять мираж, фантом! Бог! Вот Он, Бог — на диване его, задрал колючую морду, сладко спит, забыв про боль, про нелепый ужас кромешной жизни своей. Да, смерть для него всяко лучше, чем грядущие муки. Муки эти уже слишком близко. Не отвертисься.

«Я принесу ему завтра из больницы все, что нужно. Я сам его буду... лечить... Лечить? Или... длить ему боль его...»

Бродяга опять заворочался, открыл глаза. В глазах его плескалась злоба. Он перекатил глазные шары под веками туда, сюда, белки хищно блеснули гладкими опалами в разводах тонких красных нитей, поплыли под набрякшими веками.

— Батя. Ты не веришь мне. Ну, что это я. Поверь.

Бродяга повернул руку венозным синим ручьем вверх. Матвей уставился, дрожа. Узловатая лиловая жила вилась, текла по искореженной, взбугренной безобразными шрамами коже. То ли сам резал вены, то ли резали его в поганой, пьяной драке. «А какие там у него ребра? Спина? Может, он весь дьявольски покалечен? Ты еще не видел его тела. Боже, как он пахнет! Я буду его мыть. Всего. Всего. И тогда я... узнаю...»

Он вспоминал, с болью, с трудом, какие же у него, мальчишки, на его тощем, шелковом юном теле могли быть единственные опознавательные знаки. Родинки. Шрамы. Пятна. Порезы. Отметины Божьей длани и адского когтя. Да чего угодно! Лишь бы были! Лишь бы вспомнить!

Бродяга медленно задирает рукав, оголяя локоть, синяя жила бежала до самого локтевого сгиба, изуродованная, в синяках, рука вздрагивала под отчаянными зрачками Матвея, и зрачки наконец узрели, ухватили — среди прочих шрамов маячил один, странный, полукруг и полукруг, а оба не сходятся, не получается целого круга, и глубоко в смуглую, исколотую иглой кожу уходят заросшие белой тканью вмятины зубов.

— Отец!.. помнишь?.. да?.. помнишь?.. Меня покусала собака. И ты...

Матвей уже гладил знакомый до боли шрам вздрагивающей ладонью.

— И я... И я... велел тебе делать уколы... сорок уколов...

— Бать... а ты помнишь... как ту собаку звали?..

Из-под прикрытых век Матвея уже густой обжигающей рекой лились слезы, стекали по шее, за воротник рубахи; капали на обнаженную, уродливую руку бродяги.

— Помню... ее звали...

Бродяга поймал воздух вонючим ртом.

— Ее звали... Верка...

— Да, точно... Верка...

Матвей протянул руки по одеялу, вытянул их, так кошки, полусонные, вытягивают лапы, наклонился вперед, глубоко дышал, уже не чувствовал запаха гнили и грязных тряпок, не слышал ужасающих хрипов, с краями наливающих костяную чашу худой груди, и медленно, счастливо положил лысую, со щеткой сивых жалких волос вокруг темени, голову на грудь приبلудному, незнакомому мужику; мужик этот и вправду

был его сын, и теперь никто в целом мире не смог бы его разуверить в этом, он бы просто посмеялся над тем вруном. Он, как собака, лежал головою на медленно, мерно вздымающейся больной груди бродяги, и счастливая улыбка взошла на его лицо и уже оттуда не уходила. На мокрое, все сплошь залитое радостными слезами лицо. Он прекратил дрожать. Он был спокоен и велик. Высок. Абсолютно чист — как медицинский спирт, как хрусталь. Голова его лежала на груди сына, а ему казалось, она парит высоко в черном ночном небе, в звездной гиблой метели. А глаза его ясные сияют. Они сияют под веками, никто не видит сияния. И не надо. Его сердце стало плачущими глазами. И пальцы стали глазами: они ощупывают и видят. Вспоминают. И губы стали глазами: они видят шепотом и поцелуями. И зрячая грудь видит грудь. И радость видит радость. Сынок мой, я так тебя вижу всего. Всего. Но ты не волнуйся. Нельзя тебе сейчас волноваться. Ты отдыхай. Ты...

— Дыши только ровно... и спи. Спи. Тебе надо спать. Отоспаться. Потом поешь. Я разогрею. Ты мой милый, родной. Кровиночка моя. Усни. Надо поспать. Ты долго шел. Пусть тебе сон хороший приснится... светлый. Ни о чем не волнуйся. Ты дома. Ты...

Он прижался всем лицом к отошальной, костистой груди бродяги и целовал ее, покрывал поцелуями ее, грудь единородного сына своего, через все наросты лет, ветров и грязных лоскутов. Руки его, ладони и нервные пальцы, ласкали, будто бегло и порывисто целовали, плечи, запястья, потную шею, виски, уши, щетину на щеках и подбородке. Руки плакали, глаза струились бесконечным светом, слезы текли и стекали пылающим временем, и лицо становилось плывущей свечой, соленый воск то таял, то застывал умалишенными наростами, он сам, весь, бедный человек, был нарост на времени, и зимой он превращался в заметенный снегом могильный холм, и холм оживал и шел на работу, в больницу, и холм напяливал на себя белый метельный халат, да, врач, ты будешь спасать сына своего, вот он к тебе пришел: он воскрес из мертвых, он пропал и появился. Он пришел к тебе потому, что любит тебя. Он сам вспомнил, что любит тебя. Не ты его нашел, он нашелся сам. Он нашелся не потому, что ты его искал. Он нашелся оттого, что он нашел тебя.

Тебя.

Мерно, медно пробили настенные старинные часы в спальне. Барометр с деревянной головой изюбря показывал на «БУРЮ». Матвей вытер мокрое лицо о лохмотья бродяги.

— Сыночек...

Нищий опять спал. В груди у него тихо клокотало. Он закатил глаза под веки, и сивые ресницы дрожали. Мокрое его лицо блестело в совместном свете круглой синей луны и тускло-желтого, рыбьего фонаря за столетним, кривым окном. <...>

\* \* \*

Сын лежал, отец ухаживал за ним.

В больнице уже весь персонал знал: к Матвею Филиппычу вернулся сын, и он смертельно болен. Главный врач предложил: а давайте-ка, дорогой Матвей Филиппыч, сынка-то к нам, в палату! — и получил ледяной надменный ответ: что я, сам сына не выхожу? Главный задумчиво поглядел мимо Матвея, в широкое окно. Ну вы же знаете, дорогой Матвей Филиппыч, знаете... Да, кивнул он, я знаю все и даже более того. Но я верю. Главный усмехнулся. Для веры нужна не только вера, а нужны еще десятки препаратов, каждый из которых стоит сотни тысяч рублей. Он у вас еще не кричит? Еще нет, сказал Матвей, и вышел из кабинета главного, и изо всех сил постарался не хлопнуть дверь.

Не было в мире ничего, что могло бы спасти их обоих.

Принести еще лекарств. Зарядить еще капельницу. Проткнуть еще вену; на локтевых сгибах кубитальные вены уже были все исколоты, он втыкал иглу в худые запястья, в синие жилки на тыльной стороне ладони, однажды воткнул в лодыжку, а сын неуклюже дернул ногой, игла вывалилась из-под повязки, Матвей чертыхался, опять иглу втыкал, руки дрожали, плакал, потом целовал сына в лоб и виски и судорожно, нервно гладил его по впалым щекам. Ты не огорчайся! я же все поправил! нет, лекарство не вытекло! все в порядке! это очень хорошее лекарство, тебе будет лучше! Завтра будет лучше, вот увидишь!

Он покупал на рынке у таджиков и узбеков рыжий урюк и колол абрикосовые косточки старинным молотком. Вынимал ядра и совал в рот сыну: жуй! Сын жевал. Ночью его тошнило и рвало. Сестра-хозяйка в больнице присоветовала ему: пусть пьет соду, один наш больной стаканами пил и поправился, вот ей-богу! Он купил коробку, на ней крупными буквами стояло: «ПИТЬЕВАЯ СОДА», он вскрыл ее и долго глядел на мелкий белый порошок. Развел чайную ложку соды в теплой воде. Отпил глоток. Плюнул в раковину, содрогаясь от отвращения. Дал сыну выпить чашку. Ночью опять его вырвало.

На другое утро отец пошел в церковь и купил там в церковной лавке икону Божьей Матери Казанской. На черном бархате лежали нательные крестики, золотые и серебряные цепочки, образки: Богородица, Николай Угодник, святой Пантелеймон Целитель. Отец купил серебряный крестик, пришел домой и надел на шею сыну.

Бать, это лишнее. Ну зачем ты.

Так надо. Это поможет.

Чему поможет, не смей меня.

Сынок, я сам не знаю чему. Но все носят и молятся. И ты носи и молись.

Бать, да катись оно все к чертям, какие молитвы? Я вырос давно из этих детских штанишек. А ты, бать, видать, их еще и не примерял.

Сын пытался сорвать крест с груди слабыми пальцами, но не сорвал. Оставил.

Отец принес из больницы судно и утку. Выносил за сыном. Глядел, нет ли пролежней. Пролежней пока не наблюдалось. Сын пытался смеяться при виде утки. Чесал себе грудь под рубахой. Отец задирает рубаху и рассматривал его кожу: нет ли чесотки. Нет, просто грязь и пот, мыться пора. Отец носил его в ванну на руках. Сын очень исхудал. Отцу казалось: он, когда домой явился, был потолще. Отец давал сыну обильное питье, чайник то и дело стоял на огне. Чай, сок, минеральная вода, травы. От кашля грудной сбор № 4, лучше всяких иностранных пилюль. Сын грыз абрикосовые косточки и горькие косточки миндаля, да грызть-то нечем — три зуба во рту, и те шатаются. Батя, я ведь курил когда-то. Еще недавно курил. А ты куришь? Как раньше? Нет, сынок, я уже стар курить. Иногда засмолю, после операции. А, ты все-таки оперируешь? Редко. А меня, бать, можно прооперировать? Ну, легкое мне, к примеру, вырезать к едрене-фене?

Отец думал секунду.

Нет, сыночек. Нельзя.

Вот даже так? Ну я понял. Кранты мне.

Ты лежи спокойно. Я чайник выключу.

Отец выключил на кухне тонко, пронзительно поющий ржавым свистком обгорелый чайник, прикрыл глаза рукой и трясся у черного ночного окна, глотая слезы. Фонари били в окно копьями лучей. Алмазные наверхия разбивали стекло, оно затягивалось трещинами, как инеем. Отец вытирал ладонями мокрое лицо и выходил к сыну, улыбаясь. Сынок, а на ужин у нас сегодня тушеный кролик! Батя, я не буду есть кролика. Мне его жалко.

Кто это сказал, взрослый мужик? Или ребенок, весело сидящий на детском деревянном стульчике, и размахивает вилкой в крепко сжатом кулаке? Он проткнет себе вилкой глаз, осторожней! Выньте у него из руки вилку, отберите!

Вилка лежала на столике. Рядом с салфетками. Сын вертел в руках серебряный крестик. Рассматривал, как сушеную стрекозу.

За окном плясала вьюга. Матвей слушал хрипы сына. Он слушал их как музыку. Сын еще жив, и отец еще жив. Они оба живы, и это уже счастье.

Отец присел на край дивана. Диван сedito скрипнул. Простыня сползла, обнажив зеленое озеро смешного гобелена, ветки сплетались, деревья клонились, по веселому небу неслись пухлые сдобные облака. Рука больного бездвижно лежала поверх одеяла. Восточные кошки, свернувшись в черные шелковые клубки, спали у Марка в ногах. Отец положил руку на руку сына и тихо-тихо попросил:

— Сынок. Расскажи мне о себе.

Сын разлепил ссохшийся рот.

— О себе? А разве...

Отец понял, он хотел спросить: а разве все, что было со мной, правда?

— О своей жизни. Ну, как ты жил.

Сын облизнул губы. Отец глядел на его жесткий, как наждак, бледный язык.

— Бать. А разве я жил?

— Ну, жил, конечно. И теперь живешь!

— А когда помру? Молчишь?

— Ну, не хочешь — не рассказывай.

Отец хотел встать с дивана. Услышал за собой хрип:

— Черт с тобой, батя. Слушай. Расскажу я тебе. Только обещаю...

Матвей повернулся к сыну. Губы его стыдно дрожали.

— Что?

— Что ни разу меня не прервешь. И реветь, как баба, не будешь.

— Обещаю.

Матвей ссутулился. Взял руку сына в обе руки.

Погрел его руку дыханием, будто сын шел долго по морозу, и вот пришел в тепло, и замерз, и дрожал, и он хотел ему своим теплом его ледяную, железную руку отогреть.

Одна черная кошка на миг проснулась, вытянула по одеялу тонкие бархатные лапы. Потянулась. Коротко муркнув, уснула опять.

Сын набрал в грудь воздуху. Хрипы усилились.

Он стал рассказывать.

Рассказ сына был страшен.

Отец видел себя в сыне, как в кривом ужасающем зеркале.

Но кривое это, ледяное зеркало бесстрашно отражало погибшую правду.

Правду — и время.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАССКАЗ БЛУДНОГО СЫНА

Я хорошей жизни хотел. Нет, батя! неправильно я сказал. Не хорошей, а — роскошной. На вокзал сперва пешком пошел. Потом думаю: что это я, как нищий! Тачку тормознул. Богатую. Водила на меня косит, с таким презрением. Я его мысли читаю: пацан, килька в томате, ты ж за десять метров дороги не сможешь зачистоганить! Я ему говорю: на вокзал гони. У вокзала встал, смеется уже в открытую, ждет. Я вытаскиваю



деньги из-за пазухи, пачку. И отслонявливаю водиле черт знает сколько. У него шары вывалились. Я дверью сильно хлопнул. Бать, я деньги у тебя украл. Я шел и шептал себе под нос: я вор, вор. Это звучало как «герой». Я впервые в жизни у отца украл. И это оказалось так классно. Наслаждение! Безнаказанное! Мне за это никто пощечину не даст, к стенке не поставит! Вокруг меня люди крутятся. А я — столб карусели. Вокруг меня все кони бегут, и ослики, и козочки, и яркие шары, и девчонки и мальчишки на лошадаках сидят, в трубы дудят. Ду-ду! Громко продудели! Мою жизнь продудели! Да, все эти люди. Все поезда эти. Я оглянулся туда, сюда, к кассе подошел. Деньги из кармана вынул, они потные. Я их крепко в кулаке зажал. Жалко отдавать. Руку все равно в окошко просунул. И сам нагнулся. Кричу: мне билет один! до Москвы! Москва казалась огромным пряником. Град-пряник. Откусить хоть кусочек. Про себя я думал: ну я-то уж не кусок, от меня-то уж не откусят. Кассирша мне орет из-за стекла: вам на ближайший?! Я ей ору: да! на ближайший! Она мне: а он отходит через десять минут, успеете?! Я ору весело: успею! я быстро бегую! Кассирша выписала мне билет и дала сдачу. Я стоял и глядел на деньги на ладони. Бумажки и кругляши, серебряные, медные. Денег стало меньше. И жизни — меньше. Я побежал на перрон, мой поезд отходил уже, медленно так от перрона отчаливал, я впрыгнул в вагон на ходу. Отдувался. Пот лил с меня. Проводник долго изучал мой билет, чуть на зуб не пробовал. Я устал ждать, когда он мне билет обратно отдаст, и бросил ему сквозь зубы: ну, ты! давай кончай изучать бумажку, не докторская ведь диссертация! Он ткнул мне билет в пальцы и тоже сквозь зубы процедил: щенок, куда едешь, ты, рожа воровская!

Он как чувствовал, тот проводник, что я вором стану, — мятая пилотка, грязная рубаша клетчатая, форменный пиджачишко на тощие плечи накинута. От рожи у него табаком пахло: курильщик. Ну очень тощий. И кашлял надсадно. Вот как я сейчас.

Я нисколько не жалел больных. Болееешь? ну и болей. И вообще я не жалел никого, кто страдал и, в особенности, кто жаловался. На жалость бьешь? — а не хочешь, я тебя тоже побью? Словами, да. Или просто от души по морде дам. И тогда иди жалься кому другому. Юный был, жестокий. Нет, бать, я и сейчас жестокий. Еще больше жестокий, чем прежде. Просто я видел жизнь с разных сторон. Со всех, наверное, сторон я ее видел. Мне повезло. А тому, кто плачется, не повезло. Он увидел только ее пыточные орудия: дыбы, клещи, топоры, испанские там сапоги всякие. А я еще кое-что у нее видел. Потом, бать. До всего еще дойдем.

Поезд ехал себе, у меня щеки горели. В зеркале в вонючем туалете я глядел на свою румяную рожу. Кудлатый, лохматый, красный как рак, веселый, столица нашей Родины скоро-скоро, — эх, гуляй не хочу! Живи! А как я хотел жить? Я и сам не знал. Ноль мыслей в башке. Нет, что-то такое, роскошное, я себе воображал, конечно. Ну, комнату найду, сниму. Телефонную книжку в киоске куплю. Буду по телефону звонить туда, сюда, в разные крутые места. На работу устраюсь? нет! зачем мне работа! Можно прекрасно жить и без работы. Да! прекрасно!

Я не размышлял особо, какой это способ — превосходно жить без работы. Я знал.

Я знал: я буду вором. Так захотел.

Вор — это тот, кто отнимает у другого сначала его вещи, потом его мысли, потом... его жизнь, это понятно, сейчас мне понятно, но тогда я об этом еще пугался думать. Гнал от себя эту мысль, о чужой жизни. Я хотел сначала немножко пожить — своей. А моя — она какая? Немножко денег в кармане куртки, напротив сердца, и ветер в голове! Метель, пурга! Поезд подгрел к Москве, и золотая осенняя метель, из листьев, что по ветру неслись, сменилась белой. Первый снег, мать его! Я таращился в окно. Эх ты, какие огромные дома! Я никогда таких не видал. Я сидел на вагонной полке, открыв рот. Поезд шел между домами, как корабль во фьорде. Дядька, попутчик, зло сказал мне: «Закрой пасть, парень, муха влетит».

Вышел. Давлю ногами перрон. Следы мои на снегу. Черные утюги! Вспомнил, как ограбил магазин с дружками. Дружки в тюряге. А я на свободе. Значит, я умнее! Да знаю, знаю, бать, ты заблажишь сейчас: это я, я тебя выкупил! Ну, выкупил, ну, так захотел. Сыночка спасти. Это твое личное дело. Что, скажешь, сам бы я не вывернулся? Вывернулся. Я — скользкий. Я уж, угорь. Иду вперед, плыву, угорь. Толпа вокруг. Толпа везде одинакова. Подошел к вокзалу. На нем объявления ветер рвет. «СДАМ КВАРТИРУ», «СДАМ КОМНАТУ НА НОЧЬ», «СДАЮ ЖИЛЬЕ НА СУТКИ, ПЛАТИТЬ ЗАРАНЕЕ», ну и все такое. Я несколько адресочков оторвал. Пригодятся. Вошел в здание вокзала. Это Курский вокзал был, на Курсняк мой поезд приплюхал. Вошел — и застыл. Страшную картинку вижу, бать. На полу бродяги вповалку лежат. Кто спит, кто ворочается. Воняет от них! И все, как монахи, в черном. Будто по команде в черную одежду нарядились. Или она от грязи черной стала? Спят. А один среди спящих — сидит. И что-то в руках перебирает. Будто четки. Я издали не видел. Ближе подошел — гляжу: это баба, как мужик, в штанах, и она вяжет. Крючком вяжет черный берет. Вдруг ноги у меня ослабли. Я жрать сильно хотел. А баба от вязанья глаза поднимает и — в меня их вонзает. Как два крючка. Молчим, и она и я. У нее щеки ввалились и глаза голодные. Я ей говорю, на автопилоте: «Мать, я щас в буфет схожу, пожрать куплю!» Она мне: «Бреши больше!» Я пошел в буфет, купил сосиски в тесте, по карманам рассовал, купил два бумажных стакана горячего черного кофе. Несу кофе этой бомжихе, он дымится. Или оно? Пес с ним. Ставлю бумажный стакан на гранитные плиты, рядом с теткой. Она растерянно вязанье положила на колени, и я сосиску в тесте ей прямо в этот ее дрянной черный берет, на колени, как в миску, кладу. Бросаю небрежно: жри, бабка! И сам рядом с ней на корточках сажусь, кофе отхлебываю, язык обжигаю. Бать, ну до сих пор помню вкус сосиски этой в тесте, тесто чуть подсохло, а сосисочка отменная. Сочная. А баба, в растерянности, как-то неловко локтем двинет — стакашек бумажный набор — бульк, и кофе как выльется да под спящего рядом бродягу как потечет! Обожгло ему бок. Он дернулся, привскочил и как заорет на весь вокзал: ты! туда и сюда тебя так-перетак! Жужелица! Меня облила! Так у меня щас ожог третьей степени на пузе! Ответишь! мазь мне в аптеке купишь и пластырь, растуды тебя! А тетка в это время берет сосиску и ест. Глядя на меня. И я ем. И мы оба жадно жрем эти сосиски дерьмовые. И смеемся. И вдруг меня сон сморил. Я сам не помнил, как я на полу этом оказался гранитном, на этих вокзальных плитах холодных, и руки себе под щеку подкладываю, и уже соплю, храплю. Сквозь сон еще помнил: тетка ко мне наклоняется и что-то мягкое мне под голову подсовывает. Этот ее черный берет шерстяной. Неоконченное вязанье. Вместо подушки.

Провалился в сон, в ночь. Вдруг среди ночи — меня по плечу — бац! И еще раз, по голове — бац! И по спине — бац! бац! Очень больно. Жуть! Я продрал глаза, а вскочить не могу, меня бьют и бьют. Тот, кто надо мной стоит, хорошо размахивается и крепко бьет. Я рассмотрел: дубинкой милицейской. Резиновой. От души лупит! Я ору. Кровь по лицу льется. Пытаюсь в сторону откатиться. А тот, кто надо мной, за мной идет. Я качусь — а он идет и лупит! И лупит! Рожа уже вся расквашена. Э, да их тут много! Ментов! И все в черном! Униформы новые, как у фашистов! И все бродяг бьют! Бродяги кричат, руки вперед выставляют, руками защищаются. Бесполезно. У одного бомжа с носа сбились очки, стекла разбились, вся будка в крови, он орет: «Ах вы, стервецы, ах вот ваша вся демократия вшивая!» Я ищу глазами тетку мою. Нашел. Уж лучше бы не находил. Ее за шиворот мент волокет. Доволок до барной стойки, хорошенько размахнулся — и дубинкой — с размаху — поперек лица загвоздил. Она как упадет навзничь. А у нее из-за пазухи вдруг — зверь вылезает! Маленький такой зверек! Белая мышка. Или крыска, не знаю. И зверек жалобно пищит, и он весь в крови. А баба замертво валяется. Черный мент ее бьет под ребра сапогом и выдыхает, как пьяный: «Развелось тут дряни!

Вставай! Вставай!» Мышка белая ему под сапог сунулась. Он сапогом на нее наступил и придавил. Я впервые видел, как при мне убивали животное. Кровавая лепешка на граните. Она только пискнула, когда ее давили. И тетка лежит. У меня в ушах вдруг, бать, птички запели. Зазвенели, крохотные, колибри, соловушки. Зачирикали. Я даже боль ощущать перестал. Лежу, как мертвый. Глаза закрыл. Черный поганец перестал меня бить. Я приоткрыл глаз. Черный всматривался в меня. Потом пнул, не сильно, а слегка: ты, мол, откуда тут затесался? Одежка на тебе клевая. К бомжам зачем прибился? Что, не чувствуешь, как воняют? Или у тебя тут кто родственник? Я медленно сел. Вокруг меня ворочались, стонали избитые среди ночи бомжи. Я глядел на застывшую под вокзальными лампами бабу. Лежала не шевелясь. И рядом с ней раздавленная ее мышка. Я сказал менту: вот она моя родня. Тетка моя родная. У нас дом снесли, для новостройки, я к бате жить поехал, а она вот бродяжить пошла. А ты зачем нас бьешь? Чем мы тебе не угодили?

Черный уже не слушал меня. Он уходил, утекал вместе с другими черными. Они вразвалочку шли по Курскому вокзалу, ноги кривые, дубинки от крови тряпками вытирали. Может, носовыми платками. Я не разглядел.

Бать, мне потом эта мышка раздавленная ой как долго снилась. Только засну — зверек приходит. Живой, и мордочка остренькая, и весь беленький, будто снеговой, и рядом садится. И лапками мордочку умывает, а глаз — черная бусинка. Я бы такую мышку себе завел. Зачем ты мне слезы вытираешь? Брось! может, я поплакать хочу. Носом пошмыгать.

Они ушли. Я встал. Гранитные плиты в крови, в табаке, что просыпался из рваных сигарет. И этот черный берет. Недовязанный. Я его с пола поднимаю. И на голову напяливаю. Вот, думаю, первый снег на улице, а я из дома отлично убежал, без никакой теплой шапки, и в одной куртяшке задохлой, и кроссовочки не для зимы. Ничего, шептал я себе зло, вот настоящим вором стану и все самое лучшее себе куплю.

Вор, бать, вор. Сколько романтики! Москва раскрывалась, как черный веер, и на нем — приклеенные блестки ночных фонарей. И глаза девок блестят. Ночью по Москве тогда много девок шаталось. Они все различались, кто что умел. Табель о рангах. Привокзальные. Эти давали даже на рельсах. Машинные: ну, кто около шоферов трется. Банные, это понятно, где промышляют. Когда шел мимо саун, часто встречал таких. Они и зимой, в морозы, перед сауной топчутся в лисьих шубенках чуть ниже жопки, в телячьих сапожках, в сетчатых колготках, — мерзни-мерзни, волчий хвост. Те, что снуют в толпе: их в толпе сразу видать — ярче всех накрашены, и опять же в любой мороз без шапки, волосы замысловато уложены и все на виду. И серьги люто сверкают. Гостиничные около отелей тусуются. В кучки сбиваются. У дверей топчутся, к иностранцам ластятся. Возьми нас, возьми, от нас откуси! Еще частенько, столичными безумными ночами, видал я таких: рожи не первой свежести, и потрепанные, и даже уже откровенно старые, но вот он тебе грим, умелая краска, и за молодуху во мраке сойдешь, — они расхаживали у обычных домов, и сами типовые, банально так одеты, а это всего лишь означает, что в этой хрущевке подпольный бордель, и это рыбачки Сони как-то в мае перед своим офисом слоняются, гуляют. Ловят. Вор ловит одно, шалава — другое. А я что ловил тогда в Москве? Судьбу свою ловил. Подворотни! Мое время пошло, новое. Застучали часики, побежал отсчет. Мне будто голос с небес был: лови момент, другого не будет. И терпи все, что тебе под ноги на дороге упадет. Поднимай! К сердцу прижимай! Даже если это граната-лимонка и сорвана чека!

Так вот с шалавами этими я отчего-то быстро общий язык находил. Чем это я им так приглянулся? Ума не приложу. А вот поди ж ты. Иные как меня завидят, так хохочут, ладошку к губам крашеным прижимают, и ладошка вся пачкается в помаде. Я себя оглядываю: смешной я такой, что ли? Другие пальцем подзывают меня к себе. Одна,

волосы иссиня-черные, на крупную вороную кобылу похожа, так подозвала меня, вынимает из кармана яблоко и мне дает. Яблоко, бать, ты такого никогда не видел. И я тоже. Это не яблоко, а целая тыква. Такое большое. Я яблоко беру обеими руками, прижимаю к животу. А ее товарки, этой, чернявой, вокруг нас кругом стоят, пальцами тыкают и вопят: «Ева, Ева!» Ева, мать ее. Так звали ее, я понял. Яблоко я сожрал. А чернявую под локоть подхватил дядька, круглый как шар, из шара палочки торчат: две ножки и две ручки. И повел, и она шла и не упиралась. Шла на работу свою.

Я догадался: шлюшкам я маленьким казался. Ну, пацаненком. Худенький, глаза большие. Обманчивое впечатление. Я был взрослый, хитрый и умелый. И ни жалеть, ни ласкать меня не надо было. Я хотел на первые большие украденные деньги купить себе большой хороший пистолет. Потому что я тогда уже знал: отстреливаться придется.

Да, подворотни. Я с вокзала начал и подворотнями продолжил. Почему? А очень просто. Я хотел грабить, а ограбили меня. Пока я на вокзале том дрых на холодном граните, у меня из куртяшки, из кармана напротив сердца, все, бать, твои деньги, что я у тебя слямзил, и вытащили. Кто? Может, тетка та, с мышкой? Не думаю. Тетка эта, в портках мужских, была, я это чувствовал, честной. Ну, может, где со столов в буфете и тащила недоодеженный крендель. А впрочем, зачем ручаться! Никто не знает, на что он способен. Я вот знал точно. Я хотел красть, а после жить хорошо, сладко.

Страну, бать, ты ту помнишь. Не помнишь, так напомним! Страна вся была одна сплошная огромная подворотня. И в нее не ходи. Заловят, руки за спину заломят, по карманам пошарят, и скажи спасибо, что по затылку камнем не дадут. Иду по Москве. Красивый городишко, черт! Небоскребы, стекло, бетон, а тут колонны с лепниной, а тут решетки чугунные, кружевные. И церкви, церкви. Вон как боженку любят, купола аж до слепоты начистили! Новые храмы наспех строили. Я эти новоделы не любил. Уж лучше старина. Однажды я в церковь забрел, прихожанином прикинулся удачно, потихоньку к иконе одной маленькой подгрел и, пока поп гундосил, а певчие пели, среди теплой толпы и кучи огней незаметно смог ее со стены снять. А скрытых камер тогда в церквях не понатыкали. Я иконку под куртку — вжик! — и пячусь, пячусь. Вот я уже у двери. И надо же, старухе на ногу со всей силы наступил. На больную. Она как взвывает! И блажит на всю церковь: «Отдавил, отдавил! Ножечка, ножечка моя!» Все на нас стали оглядываться. И вижу, сквозь толпу эту умоленную мент пробирается, в форме, все честь по чести, прямо ко мне. То ли он тут молился, то ли это у них такая охрана маячила. А тут, как назло, у меня икона из-за пазухи выпала! Я ее подхватил и опять за пазуху, да все уже всё увидели. Заорали как резаные! Я повернулся и бежать. Он за мной. Я деру дал как следует! Выбежали из храма. Я бегу впереди, он следом и свистит в свисток. Подворотня! Я в нее. И между домов сную, и пригибаюсь, думаю, как бы не стал ментяра стрелять! Подворотня, счастье мое, вот и ты на доброе дело сгодилась! Убежал я тогда. Унесся! Только и слышал за собой свисток. Свисти, мент поганый, все деньги высвистишь!

А иконку ту я дорого тогда загнал. В одном антикварном салоне, не в центре, нет, на окраине. Антиквар долго вертел икону, мял ее медный оклад, как старый драп. Щелкал ногтем по грязным рубинам, по гладким зернам опалов, в них красные огни перекатывались, по мелкому просу речного жемчуга. «Сколько ты хочешь?» — спрашивает, исподлобья глядит из-под совиных очков. И глаза выпуклые, птичьи; еврей, должно быть. Я говорю сколько. Цену я заломил, это да. Но это потому, что я никаких цен не знал. Брякнул наудачу. Антиквар пучеглазый головой покачал, как маятник: туда-сюда, туда-сюда. «А ху-ху не хо-хо? Губа не дура. Но ты ее, мой мальчик, раскатал!» Я пожал плечами и цапнул иконку со стола. За пазуху засунул и шагнул прочь. Человек-птица схватил меня за полу куртки. «Ну, ну. Не кипятись. Думаю, сговоримся». И мы сговорились.

Я был впервые в жизни богатый, бать. Жутко богатый! Конечно, сейчас вспомнить про эти иконные деньги смешно. После всего, кем я был и чего навидался. Но тогда! За пазухой вместо краденой иконы у меня лежали в конверте новенькие хрустящие бумажонки. Я жмурился, как кот. Гуляй, рванина! Для начала я зашел в модный бутик, долго оглядывал полки, долго шастал меж вешалок и примерял всякую всячину, зырил на себя, красавца, в примерочной в большие, до потолка, зеркала, а на меня подозрительно косились продавщицы, а я делал им глазки и губки складывал, как они, сердечком, дразнил их. Девчонки фыркали и поворачивались ко мне спиной, задика обтянуты короткими юбочками, такие дивные задика, крепкие орешки. Они ждали, что я у них вот-вот что-то куплю. Я ничего у них не купил. Надул я их! Пошел в магазинишко дурацкий рядом, в обычный, и там приоделся. Я решил не сорить деньгами. Москва есть Москва! В ней надо иметь за пазухой на черный день. А потом, надо же жить где-то, снимать комнату, а еще лучше, пусть это и другие бабки, хату снимать, в хате твори что хочешь, догляда за собой нет, ты не представляешь, бать, как я нажился дома, под надзором неусыпным, туда нельзя, сюда нельзя, это полезно, это вредно, руки по швам, а где был, а ну дыхни, а ну кивни, а ну пырни! Вот свобода. Она и правда сладкая! Слаще меда! Вино, пей и пьяней!

А вокруг шумела, вспыхивала и шуршала ценными бумагами, а может, предсмертными прощальными письмами бешеная девка Москва, старая шалава, накрутилась густо, а штукатурка сыплется, и себя за молодуху выдает, дорого продает, да ей никто не верит! Около станций метро, круглых каменных жерновов, стояли бабы с вещами в руках. Вещи разномастные: шапки, сардельки, мыло, духи, шампунь, булки, старые бусы, и вертят на красных на морозе пальцах, кто с пишущей машинкой в мешке топчется, мерзнет, кто с перепелиными яйцами в изящных коробочках, кто бровровым воротником, со старой шубы срезанным, трясет: купите! купите! ах ты черт, бать, как ты пел раньше: купите фиалки, букетик душистый! Морозец знатный, ну, я и решил, я ж при деньгах, себе норковую шапку купить. И купил! Нашел! Отличная шапка, и мне как раз. Совсем чуть-чуть ношенная. И просто за копейки! Бабенка мне кланялась вслед, будто я был царь Горох. Я в шапке иду. На Москву гляжу! Будто лечу над ней и сверху вниз на Кремль смотрю и на ее Красную площадь! Шарф у меня через плечо, ярко-красный, цвета крови! Смешливо думаю: на Лобном месте в крови, брат, выпачкался! И что ты думаешь? Сдернули с меня в подворотне эту шапку. Когда я к себе домой, в комнатенку свою, по снегу плыл! Каморку я у самой Красной площади и снимал. Тоже за копейку! Дом на слом. В том доме жили дворники, бедные актеры, нищие художники и пара бомжей. И я. И туда, в старый, как белый школьный скелет, дом этот надо было опять подворотней идти. Напали! Подножку сунули. На снег повалили! Избили. Деньги выгребли! Шапку сорвали! С моей буйной... головы...

Опять я без денег и опять бедняк — ну как это переварить? А?

И, главное, как из этого выкарабкаться?

Тут волей-неволей воров станешь. Обретешь все воровские ухватки.

А вся Москва, да и страна вся стала воровской малиной. Жестко говорю, да? Это я еще слишком мягко. Вся страна стала одной огромной подворотней, ни конца ни краю. И всех, кто мимо этих чугунных ворот бежит, грабят: р-раз — из-под арки — рванутся, мешком накроют — цоп тебя, и обчистили! Ободрали как липку! Оглянуться ты не успел. И хорошо еще, если под зад ногой поддали, бежишь, не оглянешься. Скажи спасибо, не убили! Жизнь! Все в жизни приспособляются. Не приспособишься — не выживешь! Не поваляешь — не поешь! Приспособление, бать, это такая беспощадная штука. Как воровство. Раз своруешь, потом не удержишься, тыришь. Раз приспособишься, подлижешься, приклеишься — и напешься, и обогреешься, и выживешь, — потом уже без этого подхалимажа жить не сможешь. В крови он уже течет! Вот ска-

жи, что мне делать было? Я нищий. Гольный абсолютно. Все мечты о богатстве разбились, как хрустальный, ешки-тришки, бокал. Из комнаты выперли. На вокзале ночевать? Домой вернуться? Домой, батя, да ты не смотри так. Не нужен мне уже тогда дом был, и ты не нужен был, и мешанская эта житуха не нужна. Советские вы люди все равно. Краснофлажные. Старые книжки вы, и страницы жук поел. Старые трусливые ежи. А тут иное время настало. Злое, да! Но яркое. Ослепительное.

Иду вечерочком одним по Тверской. Везде надписи на Тверской на магазинах и ресторанах уже английские. «ПИЦЦА ХАТ» — читаю. А слюнки текут! Не для меня. Не для меня Дон разольется, не для меня, не для меня. Из ресторанов сытые люди выходят, на иностранных языках лопочут. У меня с английским всегда было плохо. Я не умел ни цокать, ни шепелявить. Ни катать гласные во рту, как леденцы. А интересно, о чем говорят. Ни черта не понимаю. Встал рядом. Тихо так стою. Мужик такой, веселый, кудреватый, дамочку под ручку держит. Бабенка ничего. В соку. Мужик староватый, но ничего, сойдет. Видать, сговорились. А я тут воздух ушами стригу, зачем? Хотел уже плюнуть и отойти, пока меня не турнули, и тут к бабеночке подкатывается хмырь и шурится на рекламу. Наш, русский хмырь. Ну, думаю, ясен пень, сутенер. А дамочка — валютница. И тут этот хмырь ей такое говорит — у меня уши на затылок сами двинулись. «Дашка, — говорит, — я еще двух стариков обработал, и еще четверых Ванька Луков привез, короче, у нас сегодня три хаты наших, да одна проблема, забиральщика нам надо! У тебя, Дашк, на примете никого нет? Мы отлично будем башлять! Чувак не обидится!» Дамочка, Дашка эта, не отбирая руки своей у иностранца, наклоняется к этому хмырю, шурится и цедит: «Может, и есть, а сколько платить-то станешь?» Хмырь рот открыл. И изо рта у него вылетела такая цифра — закачаешься. Я и закачался. Улица Тверская, вечер, холод, фонари. Бабы носы в шарфы кутают. Лохматый иностранец кудерьками трясет. А хмырь неотрывно на Дашку смотрит. Я, под фонарями, в свете жутких красных реклам, будто на меня кровь чья-то льется, шагнул вперед из тьмы и проблеял: «Ребята, тишина в студии, я буду вашим, этим, как его, забиральщиком».

Они, все трое, на меня уставились. Прохожие идут мимо, реклама горит в высоте, струит красную ледяную кровь. Я стою с чувством собственного достоинства, не дергаюсь, не шустрю. Ну я же не сявка! Не жалкий фраер какой-нибудь! Жду. Хмырь меня от затылка до пяток обсмотрел. Будто на мне, как на рояле, грязными пальцами все клавиши перебрал. И послушал, как звучу. Звук мой ему понравился. Он улыбнулся. И Дашка эта разулыбалась. А чужеземец стоит, башкой кудрявой встряхивает и даме все бормочет: «Летс гоу, летс гоу!» Ну эту хрень даже я понял. Пойдем, пойдем! И за руку ее тянет. Она вынула из кармана костюма маленький перламутровый веер и этим веерочком иноземного мужика по рукаву ударила. И по-русски сказала: «Отстань, пожди!» И к нам повернулась. Хмырь опять улыбался. «А ты не боишься?» Я хоть и тощий с виду, а парень не промах. «А ты-то сам не боишься? А то за угол зайдем, и...» — «Что „и“, ствол вытащишь?» — «И вытащу», — сказал я и засунул руку в карман, вроде как там волюну ощупываю. Хмырь подмигнул дамочке. «Смелый парень!» Дашка эта зубы в улыбке оскалила. «Я смелых люблю». — «Но, но! — вскинулся хмырь. — А меня? Я еще какой смелый!» Иностранец покорно ждал в сторонке. Он ни черта не понимал по-нашему, я видел.

«Давай работай, — подмигнул Дашке хмырь, — а мы с парнем пойдем перетрем все дела». Дашка под ручку с иностранцем усвистала, а мы с хмырем пошли перетирать дела.

Ночь опустилась. Черный платок валяется на Москве, на всех ее башнях, шпилях, крышах и трубах. На куполах. Дома горят, круглыми софитами подсвечены. Мне часто эта ночь снилась, ночь и Москва, Замоскворецкий мост, желтый, как сотовый мед,

Манеж, красные зубчатые стены, река черная, в диких огнях, масляная, огромные купола, размером с подлодку, и эти звезды кровавые, кровь в них мерцает и медленно перетекает, можно видеть кровь света как на рентгене. И все здания алмазными гирляндами облеплены. Как елки. Елки-палки, короче! Вот по такой ночке мы с хмырем и идем. Он мне: «Давай знакомиться! Митя Микиткин». Я буркнул: «Марк я». — «Марк, а дальше?» — «По батюшке тебе?» — обозлился я. Митя прищелкнул пальцами. «Дерзкий! Люблю! Наш человек!» Я недолго думал. «Не наш, не ваш и никогда ничьим не буду». Митя скорчил рожу. «А зачем же тогда со мной поперся? А может, я тебя сейчас куда заведу...» Я уже смеялся. «И что, заведешь, на столе разложишь и выпотрошишь?» Он тоже смеялся. «Заведу, руки свяжу, на столе разложу и поймею! Власть!»

Время, скажешь, такое было, бать? Извращения всякие? Бать, кончай. Пороки были всегда. И будут всегда. Их человек с себя не стряхнет, не выведет их на себе, как вшей.

Долго ехали на метро. Приехали. Станция «Перово», жить там х...о; станция «Новогиреево», жить там еще х...й. Вылезли. В автобус сели. Ехали-ехали-ехали. Шли-шли-шли. И пришли. В чистом поле, на пустыре, стоит домик-крошечка, в три окошечка. Длинный такой, будто конюшня. Или свиноферма. И вроде бы пахнет свиньями. А может, навозом. Я нос ворочу. Митя меня, как даму, под локоть по грязюке ведет. Ворота ногой толкнул. На крыльце мнемся. В дверь постучал условным стуком. Дверь нам открыли. В коридоре темень. Из темноты два глаза, как два карманных фонаря. Как у совы! И веками хлопают. Мультик, короче. Я, как дурак, кланяюсь. Митя опять берет меня за локоть, только уже крепко, не вырвешься. И бросает этим совиным желтым глазам: «Нашего человека привез. Забиральщика. Неопытный? Всему обучим».

Так, батя, я стал забиральщиком. Что тарашисься? Слово плохое? Не хуже и не лучше всех остальных. Я забирал из столичных квартир стариков и привозил их сюда. В дом престарелых. Митя Микиткин называл его пышно: дом милосердия. Там такое милосердие творилось! Погоди, до милосердия еще дойдем. Какие старики сами подписывали документы. Какие — под нажимом. Какие швыряли бумагу в лицо нашим агентам, и агенты пятились и проваливали, а на другой день у подъезда тормозила машина, и из нее выскакивали мы. Забиральщики. Звонили в дверь. «И хто та-а-а-м?» — «Слесаря. Плановая проверка канализации!» Дедушки, а в особенно бабушки страх как боялись, если канализацию прорвет. «Ща-а-а-ас!» Долго кряхтел ключ в замке. Бабка или там дедка открывали дверь. Воняло черт-те чем. У кого горелым печеньем, у кого мочой. Мы врвались. Хватали старика, старуху за жабры. Совали в рот кляп. Аккуратный такой, резиновый. На детскую клизмочку похож. Укутывали в шаль. Чтобы лицо закрыть. Ножки свяжем, ручки свяжем. И — на носилки. И — несем, будто в «скорую помощь»; а мы-то в белых халатах, как медбратья, все честь по чести. Не подкапашься. Да никто и не подкапывался.

Старикан уже в машине. На сиденье сажаем, у него зенки из орбит вылезают. Мычит! Водитель с места в карьер. Где-нибудь уже за кольцевой — кляп из зубов вынем. И хохочем, ржем! А старикан плачет-разливается. И верещит: «Только не убивайте! Только не убивайте!» Мы ему: «Сдались нам твои старые кости, дедок». — А куда ж вы меня везете, милки?!» — «Куда надо. В дом милосердия!» И привозили. И сгружали перед крыльцом. И выходил, бать, знаешь кто? Главный врач этого самого дома. Как его звали, угадай с трех раз? Верно, Митя Микиткин.

Стариков этих мы там недолго держали. Убивали, спросишь? Вон глаза какие страшные сделал. Они сами мерли. Мы их заставляли работать. Кого сапоги тачать, кого бревна таскать. Знаешь, бать, уроки великого Советского Союза не прошли даром. Беломорканал там, Чуйский тракт! Селечка соловецкая, мать ее! Уголек воркутинский! Труд облагораживает человека, внушали мы им, труд освобождает. Трудитесь хорошо — и мы вас выпустим отсюда. Они верили. Даже кто шить сапоги не умел — шили!

И халаты синие, черные на швейных машинках строчили, рабочие робы сатиновые! Мы их потом на Черкизовском рынке продавали. Хорошо те халаты шли. И сапоги сбывали. По дешевке. А старики долго не выдерживали. Жизнь моя — кинематограф, черно-белое кино! Дохли. Просто пачками. Мы их нарочно плохо кормили, дерьмово, суп в рот не возьмешь, второе как замазка. Витаминов нет, свежего воздуха нет, кого и били, издевались, прямо по лицу лупили, они на пол головой шмякались, сотрясение мозга, ать-два, и в дамки. Ну, на тот свет, значит. Я первое время забивался в угол, забирался на чердак, там такой чердак был, голубиный, а может, мышиный: то ли птичий помет всюду валяется и, сухой, хрустит под ногами, то ли мышины слезки. Я туда приду, скрючусь в углу, возле слухового окошка, и реву. Ревел всласть. Ну, тогда еще, наверное, человеком был. А потом стал постепенно превращаться в железную болванку. Так было легче жить. Выжить.

Старуха там была одна. Ох, хороша! Голова на шее гордо сидит. И плевать, что шея сморщена, как у черепахи, а волосы, как метель, белые. Зато какие густые! До старой собаки густые. Воображаю, в молодости какая была. Огонь, конфетка с коньяком. И стройняшка! Никаких жиров на заду и животе, никаких толстых подушек. Подтянутая, что тебе балерина. Волосы эти метельные, густые, в прическу укладывала, крупными кольцами. Фыркала: «Что у вас за бардак, тут вообще душ есть или нет? А джакузи?» Микиткин хапнул у нее удивительную квартиру: с зимним садом, с малахитовым джакузи. На улице Чайковского, в сталинском доме напротив американского посольства. Не квартирка, а мечта поэта! Красивую старуху звали чудно: Нинель Блэзовна Ровнер. Я думал, она еврейка. Ан нет. Она мне про себя рассказала. Отец, Блэз, был француз. Парижанин. Украиночку в Одессе подцепил. Еще до революции. Хохлушечка забрюхатела. Нинельку родила. А французик погиб, в лучших традициях, на баррикадах — в красной Одессе, сражался за русского царя. Легенда, выдумка уже этот царь был! Что за вчерашний сон биться! Убили его. Мать Нинелькина ее петь выучила. Нинелька консерваторию окончила, с блеском. В театральный институт в Москве поступала. А ее взяли и в одном летнем платье — в телятник, и на восток, в Приморье, в уссурийские лагеря. За что взяли? А это ты Сталина спроси за что. За красоту, видать! Туда много евреев отправляли, Сталин, видать, как Гитлер, с евреями боролся. И девочка эта нежная, худышка, а голос у ней с целый дом, в глаза бросилась этому ее муженьку, Ровнеру. А Ровнер-то кто был? ни за что не догадаешься. Флейтист из оркестра Госфильмофонда! Нинелька кошкой жмурилась: «О, Марк, если бы вы слышали, как флейта пела в его руках!» И вы пели вместе с флейтой,брякнул я. «И я пела», — кивнула она, и лицо у нее, знаешь, таким стало серьезным и таким красивым, что я впервые в жизни захотел у женщины руку поцеловать. У старухи. Но для Нинель времени не было. А-а-а... Извини, зеваю.

Она от гнева умерла. Да, от гнева! От злости тоже умирают. Я теперь знаю. У нас там, в доме этом милосердия, был подвал. А проще, погреб. Туда мы спускали особо вредных стариков. Ну, когда кто провинится, не делает дневную норму или поскандалит. Или еще что-нибудь отчебучит. И вот старик там был один. Простецкий такой, совсем неизысканный, говорил даже на «о», как деревенщина. Ухватки грубые. Короче, люмпен чистый. От станка. Или вообще от сохи. И вот Нинелька к этому старику душой прикипела! Что она в нем нашла? Я зайду в каморку, где спала Нинелька и еще шестеро старух; глядь, опять они оба на кровати сидят, и рука в руке, как голубки. Любовь такая, глупость большая! Я, честно, дивился: и в девяносто с гаком лет, оказывается, можно любить! Да еще как! Смотрят друг на друга, не посмотрятся. Мужик, старый гриб, и старая королева. Мезальянс, черт! И знаешь, доставляло мне удовольствие несказанное на этих старых голубей глядеть! Однажды я зашел, они так сидят. Я им от двери бросил насмешливо: ребятки, козлятки, поцелуйтесь! Слабо?!



И они... бать, они... поцеловались...

И вот этот старикан, мужлан, не помню, что сделал, но Митьке не понравилось.

А для шкодливых стариков у нас особое наказание было.

Митька сам производил казнь. Он вразвалку подходил к старику, который набедокурил, и внятно, угрожающе говорил: «Папе не понравилось!» И старик начинал дрожать мелкой дрожью. А Микиткин медленно так берет его за шкуру, и медленно тянет за собой, и доводит до входа в погреб, и ногой отпахивает доски, что дыру закрывают. Вглубь ведет лестница. Шаткая. Иные старики с нее падали, а глубина погреба метра три или больше. Разбивались, кости ломали. Оттуда, из-под земли, охи, вопли, стоны. А Митя крышку закроет, песенку сквозь зубы засвистит и так же вразвалочку уйдет. На весь дом эти стоны разносятся. На вторые, третьи сутки утихают. А через неделю Митька сам в погреб спускается. Если старик еще жив — он его добывает. Рукоятью волены по башке. Но там, в погребе, чаще всего уже мертвец валялся. Меня или кого другого из забиральщиков звали на подмогу. Мы спускались по лестнице в черный ад и вытаскивали оттуда, из ада, мертвых ангелочков. У них такие лица были, бать! Ты таких никогда не видел в своей больнице. И не увидишь. Человек, который умирает не просто в муках, а в ужасе и унижении, у него такое лицо, такое... передать не могу. Перевернутое. Мир для него перевернулся. И лицо перевернулось. На месте рта — глаза. Подо лбом — рот. Поглядеть, кондратий хватит, не очухаешься.

Старик тот, Нинелькин запоздалый хахаль, на койке своей сидел колченогой, морщинистую рожу вскинул, когда Митька к нему утенком разлапистым подходил. Митька подошел и руку тяжелую старикану на затылок положил. Так подержал. Потом как-ак даст ему подзатыльник! Старик с койки на пол свалился. Другие старики завозились, заахали. Митька пинками его поднял и пинками же погнал вперед. Старичок брел, спотыкался и чуть не падал, за стены держался. Я понял, куда Митька его ведет. В погреб. Так и есть. Довел, крышку откинул, под мышки взял и вниз спустил. Старик цеплялся за ступеньки чахлой лесенки и орал недуром. Митька захлопнул крышку. Я слышал, как он крикнул над закрытой крышкой погреба: «Посиди тут, подумай о жизни!» И ушел. Вразвалочку, как всегда.

Потом, помню, мы ели в специальной, для нас, жральной комнатенке. Ну, вроде столовой. Варила нам одна из старух. Она сначала отказывалась, Митька выпорол ее ремнем, и она стала стряпать. Она раньше работала поварихой. Сам Бог велел.

И вот мы поели-попили, а меня тошнит. Тошнит уже от всего этого. И хоть Микиткин нам всем, и забиральщикам, и юристам, и водителям, деньги хорошие платит, я подумываю, как бы отсюда сделать ноги. Спасибо, как говорится, этому дому, пойдём к другому! То-се, дальше время течет, я про старикмана того и думать забыл. А тут мне Митька водочным хрипом на ухо шепчет: «Ты поди красотку кабаре проведай, кажись, бабка помирать собралась, ну так давно ж пора». Я вспомнил про старикашку. «А тот, хахаль ейный, с мордой как у селедки, он где? в подвале?» Митька хохотнул. «Эка припомнил. Да его ребятки давно уж в лес сволокли. И закопали. А мадамку его в погребицу не спустишь. Она сама по себе сдыхает. Лежит злая как черт, как я подойду — мне в рожу плюнет! Бить ее бесполезно. Она вся будто из железок скручена. Поди глянь, а?» И я пошел в палату к старухе.

Палата, громко сказано. Каморка! Как у них у всех тут, у стариков. Подхожу к ней. Лежит, вытянулась. Койка под ней не шелохнется. Как мертвая. Глаза открыты. В потолок смотрит. Я протянул руку. Я ее, бать, пожалел. По лбу мраморному погладил. Эй, говорю, Нинелька, ну, это самое, Нинель Блззовна, вы как тут? вам, может, поесть принести? С другой койки старушня жалобно верещит: «Дык ето, парнишечка, дык она не ист ничево уж какой денек! Она голодовку объявила!» Я старух обвел глазами и грозно спрашиваю: «Вы что, хотите сказать, что у нас тут тюрьма, да?» Все мол-

чат. Пришипелись. Я сел на табурет, у изголовья старухи. Руку ее в свою взял. Ну как доктор, елки. Или как этот ее хахаль, покойный. И нежно так ей говорю, и голос мой, слышу, дрожит, и стыдно мне все это лепетать, но вежливо лепечу все равно: «Вам обязательно надо пожрать. Ну хоть немножко. Я вам куриного бульона принесу, с белым мяском». Мне с кухни миску куриного супа приволокли; его старикам не положено было, а варили только нам, персоналу; старуха поварила мяса щедро, от сердца, наложила. И хлеба белого кусочки. Я кусочек раскрошил, в бульон покидал. Ложкой подцепил и Нинельке в рот сую. А рот у нее уже как дупло в коре дуба. Она лежит, глаза в потолок уставлены, но головой вдруг как мотнет, и плюнет, и ложку боднет, и ложка в одну сторону полетела, суп в другую, на колени мне вылился, горячий, а я на табурете весь оплеванный сижу. Обжегся. И в слюне старушечьей. Анекдот! Я это перетерпел. Себе говорю: может, она уже с ума сбежала, и вся эта еда напрасна. Миску крепче ухватил и ложку в рот ей опять толкаю. Она опять плюет. И вдруг рот разлепляет — и мне говорит, хоть и без вставных челюстей валяется, да отчетливо так, зло: «Убийцы. Дряни. Грешники вы великие. Вы будете гореть в аду. Если не покаетесь. Бог — есть!» И замолкает. Старухи вокруг крестятся испуганно, молча. Говорить боются. Я тихо поставил миску с бульоном на пол. Вроде как для собаки. А собаки нет. Они все тут собаки. Принимаются, суп чуют, вот-вот загавкают, еды попросят. И уже вижу: голодные, к миске подбираются. Тихо тапками шаркают, подползают. Жадно на миску эту глядят, глаза горят! Я обозлился. Встал, к двери шатнулся, выйти. И тут за спиной голос услышал, Нинелькин, жесткий, злой: «Нам ад при жизни сделали! А вы в аду будете гореть после смерти! Вечно!»

И больше она, батя, мне ничего не сказала. И никому.

Умолкла навсегда. И так молча и померла.

Мы мертвых стариков закапывали в ближнем лесу. Сначала на опушке, потом в глубь леса стали продвигаться. И Нинельку в лесу закопали. Я сам закапывал. Я яму рыл, напарник мой Нинельку к яме в мешке доволол, и так, в мешке, мы ее в яму сбросили и землей забросали. Забросали, я себя слушал, нутро свое: как я? переживаю: нет ли? что я чувствую? ну хоть что-нибудь чувствую? Я ничего не чувствовал. Как панцирная сетка. Дзынь, и тихо. Дом милосердия шиворот-навыворот то пустел, то опять наполнялся. Мы процветали. Микиткин богател. Нам отламывались от краденых стариковских квартир кусочки. Он нас хорошо содержал. Чтобы мы горя не знали и могли хорошо жрать и хорошо развлекаться. Я в Москву часто ездил: в рестораны, в киношки, залавливал дешевых девчонок, я ж говорю, они меня любили. «Марк, душечка! А ты при деньгах? Марк, хочу ликер „Амаретто“! Марк, а пойдём в зоопарк, хочу на павлинов поглядеть!» Кто-то из них вел меня к себе в хату. Малина, хаза, опасный кельдым! Кто-то забегал со мной прямо в подворотню. Тьма, снег, ветер, я портки расстегиваю. И мы оба смеемся. Эх, кабы знать, что я буду те деньки-ночки вспоминать как самое светлое времечко! Несмотря на то, что я в доме том милосердия — на смерть работал...

Батя, в жизни есть только смерть. Ты ж это тоже прекрасно знаешь, вшивый ты доктор Лектер.

И я это уже тогда знал. Знал, что без смерти никакой жизни нет, и смертью за жизнь надо платить, и смерть жизнью, да, можно побороть, только временно. Все на свете временно! Вечна только смерть. А мы еще копошимся, дергаемся. По мне, так давно надо перестать дергаться. Конец один. Видишь, каков я? Погляди на меня. Блевать не тянет? Да ладно, отвернись. Я не об этом. Зашел в кафешку, там зеркала до потолка, у зеркала стоит красавец парень, Том Круз просто, аж лоснится от красоты, в зеркалах отражается, вертится, себя, как бабенка, придиричиво разглядывает. А я разглядываю его. Беззастенчиво. Он меня в зеркале увидел. Обернулся быстро. Глазами меня измерил. Думаю: сейчас бросит мне ругань, как кость, а я ее подберу, сгрызу и его по-

зову: пойдём выйдем. Ну, из кафе на воздух, чтобы удобнее в морду дать. А он вместо матюгов — мне так изысканно: «Привет! Ты отличный типаж. Я как раз такого, как ты, искал! Тебя как звать?» Я приосанился. «А тебя?» Мы сразу стали на «ты». «Я Антон Богатов, а ты?» Я буркнул: «Марк». — «А фамилия?» — «Неважно». — «Будем снимать, что, псевдоним в титрах?» Я вытаращился. «Я не шлюха, чтобы меня снимать!» Он хохочет. «Дурень, я режиссер. Мы тут фильм один забабахали! Ты нам подходишь. Ты что в жизни-то делаешь?» Ну не говорить же этому Тому Крузу, что я стариков втихаря убиваю. Я и отвечаю: «Ничего не делаю. Жизнь прожигаю. Жгу с двух концов!» Он опять хохотать. «Не промах ты! На тебе визитку. Звони! А у тебя визитки, случайно, нет?»

Бать, я визитку впервые увидел. Вертел долго в пальцах квадратик глянцевой яркой бумаги. Том Круз исчез, как дым рассеялся. Вокруг меня зеркала кафе, холодные, я словно среди айсбергов один стою. Даже жрать расхотелось. Кино! Вот так история! Значит, от Митьки надо сбегать. А тут такое дело. Митька в дом милосердия на этот раз не старика привез, не старуху. А девчонку. Такую странную, до предела. Я про себя называл ее — девочка из будущего.

Ада ее звали. Милое имечко, да? Она была эмо. А, брось, все равно не поймешь. Черные чулки, полосатая кофта, руки в рукавах прячутся. Волосы пестрые: прядь черная, прядь розовая, прядь седая. Ощущение, что о башку ее художник кисть вытер. На груди, на бельевой веревке, болтается игрушечный череп. Веки накрашены так, что вместо глаз на роже торчат две черные дыры. В волосах бантик, как у куклы. Умора. Она мечтала о смерти, Ада. Только о ней и говорила. В первый же ее вечер в доме милосердия мы с ней курили вместе, на тумбочку блюдце чайное поставили, пепел стряхивать. За сигареткой она много чего мне поведала. Тебе это неинтересно. Я ее спросил: ты что, Митьке квартиру подписала, и он тебя на ренту обещал посадить? Ты что, больна неизлечимо, спрашиваю. Она ржет-смеется и новую сигарету из пачки тянет. Пока сидели вечерок, всю мою пачку искурила. Я только глядел, как она дым колечками пускает. Нет, говорит, я не больна. Но умереть, говорит, хочу. И очень даже! Я ей: почему? Жизнь что, такое уж дерьмо? А она мне: нет, жить, может, оно и клево. Но умереть — это высший кайф. Кайф — не быть. Тебя нет, и ты не страдаешь, и никто не страдает вообще. Нет — великое слово. А у тебя, говорит, еще сигареток нет?

Ну я, вместо сигареток, ей и брякнул: радуйся, тебя здесь живо укокошат! Тебя куда надо привезли! Она ресницами накрашенными хлопает. Меня, говорит, Дмитрий сюда привез позабавиться. Ну, отдохнуть. Ну, с ним отдохнуть. Ну, покурить, мне шнурки курить запрещают. И с мужиками спать тоже запрещают. А я хочу. Смеется, а зубы черные. Черной краской выкрашенные. Жуть. Я на зубы ее смотрю. Оторопь меня берет. Я шепчу ей, сквозь дым: поспите всласть, и он тебя прямо в постели задушит. Что будет с родителями твоими? Она мне так серьезно: у меня шнурки крепкие, они выдержат. А когда я умру, мне до них дела не будет. А им — до меня. Поревут и забудут. Все на свете все забывают!

А у меня под темечком одно бьется: кино, кино. Кино, вино и домино!

Ночное кино, жесткое порно, с Адой в главной роли, я не видел. Но слышал. И все забиральщики слышали, и все старики. Ну, может, только совсем глухие не слышали.

Через пару дней я подобрался к ней и тихо, но отчетливо сказал у нее над ухом: сегодня делаем ноги, готовься. Она вздернула плечи. Потрогала этот свой дурацкий глиняный череп на полосатой груди. Тоже тихо отвечает: а что готовиться, я готова, хоть сейчас сорвемся. Вот тебе и жажда смерти. Каждый, каждый хочет жить. Даже четвертованный, обрубок, самовар. Даже этот, как его, лысый хibaкуся, облученный в Хиросиме япошка: ему на земле всего ничего осталось болтаться, два понедельника, а и он хочет жить. Даже эти, эмо. Умру, умру! А сама: давай, Марк, не зевай, спаси меня. Осень,

дождь, иногда со снегом. Я уже в куртке накинутой, вроде прошвырнуться в лесок собрался. Ей бормочу: куртку надень. Она мне: нет никакой куртки у меня, ваш Дмитрий меня у дома подловил и в машину затолкал. Я мусор выносила. Все так быстро случилось! А сейчас случится еще быстрее, сказал я ей зло и рванул за руку. Вечер, темень, одинокий фонарь над воротами. Мы за руки взялись и быстро идем. Скользим по грязи. Обувка сразу вся перепачкалась. Я все ждал, что нам в спины начнут стрелять из-за ворот. У Митьки на крыше всегда сидел наблюдатель, вооруженный. Куда он провалился в непогоду? Может, покурить спрыгнул или отлить? Факт тот, что мы до леска добежали нормально. В тишине. И только когда взбежали на опушку, вслед защелкали выстрелы. Я толкнул Аду в спину: ложись! Сам на землю упал. Поползли. По грязюке. Как по сырому тесту ползли. Изгваздались оба в край. В лесок вбежали, я знал тропу к шоссе. Побежали. Бежим и падаем. Ада зацепится ногой за сосновый корень — и бух! Я поднимаю ее, вымазанную, и дальше чешем. Как к шоссе подковыляли, не помню. Дождь такой сек, что мало не покажется. Ада мне кричит: тачку не заловим, нас таких в тачку никто не посадит, попачкать побоится! Я выбежал на середину дороги и раскинул руки. Стою крестом. Машины дудят! Одна тормознула. Дверца открылась, из дверцы на меня — ушат матюгов. В бога-душу-в-бога-душу-в-бога... Я морду трагическую скорчил. Кричу: за нами погоня! спасите! Голос изнутри проорал: «Да скорей вы, в бога-душу-мать-перемать!» Мы, все в грязюке, бухнулись на сиденье. Водила с места в карьер взяла. Орет: «Вы что, ограбили кого?!» Ада молчит. Я тоже как воды в рот набрал. Водила гонит тачку, шпарит чуть ли на красный свет! Цедит сквозь зубы: «А это что ж такое, в бога-душу, а?!» И оборачивается. И мы, немые, оглядываемся. И видим, хорошо видим: за нами машина чешет, и эта машина — Митькина, и из этой машины в нас — стреляют.

Батя, батя, ну вот в тебя стреляли когда-нибудь? Нет? Ну и сиди тогда молчи в тряпочку! Ты не знаешь, каково это, когда пули свистят, а потом свист будто захлебывается, это пуля в твою тачку воткнулась. И стекло разбила. Или в сиденье застряла. Водила, с матерками, по шоссе виляет, газу дает. Погоня за нами! Мы на сиденье сжались, пригнулись. Он вопит нам: «Хрен ли я подобрал вас, щенки вонючие! Сейчас меня расквасят и вас долбанут, и делу конец!» Газует изо всех сил. Тачка аж трясется. Все из нее выжал. Оторвались. Кольцевую проскочили. Слава богу, без пробок. Уж поздний вечер. Москва, дома. Мрачные каменные сторожа. Шоферюга нас вывалил около светофора, на перекрестке. Мы — деру, а он нам в спины кричит: «В рубашке родились, вы, придурки!» Мы сами виляли по улицам, переулкам, пробежим десять метров — оглянемся, туда-сюда зыркаем, а на нас дьявол из блестящих прозрачных витрин — корявым манекеном смотрит. Кривой козел, да, а чуть отойдешь — из другой витрины — он же — лохотный такой, правильный, гладенький, глазки улыбочивые, ротик красочкой подмазанный, как у гея, а из ушей дым валит, и изо рта — дым. А может, дьявол курит, не знаю. Да, курит, и пьет коньяк, и девочек целует, и все что угодно. Может, человек вшивый как раз этому всему у него научился. Мне один умный мужик, поп-расстрига, объяснял: человек слаб, мелочен, мал, подл и грешен! Человек гадок, мерзок, похабен, он пошлый и ушлый! Он только притворяется, что он создан по образу и подобию Бога. Хотя, продолжал этот занятный поп, росло это дерево в райском саду, ну, это, с яблочками, и вот все кричат: любовь! любовь! — а первым людям даже как следует полюбоваться не дали, завопили со всех сторон: грех! грех! И что, висит золотое яблочко? Висит груша, нельзя скушать! А если тот Адам просто-напросто жрать хотел? И баба о нем позаботилась. Всего лишь! А вы на весь мир раскудахтались: грех, грех! — закрикали...

Грех, грех. Мы вместе бежим по улицам. Улицы свиваются в ленту. Витрины и рекламы мигают, пестрят, по зрачкам больно бьют. Сливаются в одну яркую цветную кашу. Мы ею давимся. Шархаемся. Мы...

...они сцепились руками крепко и больно, их руки не разорвать было, только если разрубить, и то Марк тянул Аду за собой, то Ада вырывалась вперед и, как на аркане, тащила за собой Марка. Сиамики близнецы. Бешеные двойняшки. Хотят родиться на свет и не могут. Ночной дождь сечет из лица, плечи и спины, они оба вымокли, будто в собственной крови, так темно, страшно стекают по ним толстые, перевитые, как веревки, струи ливня. Ливень тьмы, грохот орудий неба. Небо обозлилось на человека и решило его исстегать. Исхлестать, издубасить до смерти бичами ледяной воды. Неон адски горел над головами людей, гигантские рекламы вздувались и гасли, а потом срывались с насиженных мест и улетали во тьму, как воздушные шары или сиротливые громадные, древние птицы. Махали светящимися крыльями. Фосфор светился и трещал. В костер ночи люди подкладывали дрова: свои холодные и жалкие тела. Марк спиной понял: сейчас! Резко присел, дернул руку Ады. Оба миг, другой сидели на корточках. Пуля ушла над их головами. Разрезанный ею воздух неслышимо сомкнулся. Марк ввалился в темную круглую арку проходного двора. Ада — за ним. Они опять побежали. Задыхались. Белки глаз Ады блестели. У нее с черной челки свалился в грязь розовый бантик. Глиняный череп, выпачканный в грязи, мотался на груди. Кофта из кокетливо-полосатой стала половой коричневой тряпкой. Марк понимал: радоваться рано, за ними могут ринуться в подворотню. Он потянул Аду в глубь дворов, запутывая след, то и дело шарахаясь в такие щели меж домов, где мог пролезть только кот или тощий шкет. Они царапались, скреблись, вырывались из каменных когтей. Ползли и выползали. Оставляли на гвоздях и колючей арматуре, на ее железных костях клочья одежды. Дьявол гнался за ними по пятам. Он корчил им рожи. Они страшились оглянуться: думали, оглянутся — и застынут под ледяными, властными глазами рекламного василиска. Зрачки пульсируют красным неонам. Голубая и зеленая холодная кровь медленно, вспыхивая, течет по вздувшимся стеклянным жилам.

Ах ты, дьявол. Смышленный. И пахнешь ты паленым мясом. А, черт, это же из ресторанички так пахнет! Забегаловка в подвале. Они мимо бегут. Что, если? Он переглянулся с Адой. Дождь бил в их лица и нагло полз по их трясущимся губам. Они оба и правда очень замерзли. «Нас туда не пустят», — тихо сказала Ада. «Плевать, — ответил Марк, — нам их разрешение ни к чему. Мы сами войдем». — «Ты знаешь волшебное слово?» Она пыталась смеяться, не получалось. Из витрин, сквозь их прозрачное толстое стекло, обильно и мутно политое дождем, на них глядели, подбоченясь, изумительные, блестящие, крутые мэны и обалденные телки: роскошь столицы так и перла из них наружу, ее было видать за версту, и манекены так тщательно копировали живых людей, что у мужчин хотелось попросить прикурить «Мальборо», а одну из картонных девчонок ткнуть пальцем в бок — а может, у нее живое ребро! — и прогундосить ей в ухо: мать, да ты совсем даже ничего, одолжи на ночьку жемчужное ожерелье твое, дай поносить! На смуглых пластмассовых грудях мерцали камни: рубины, изумруды. Марк ногой толкнул дверь в подвальчик, откуда ползли сытные запахи. Они с Адой скатились по мрачной лестнице. Вошли в зал, и люди, жующие и пьющие за столами, уставились на них, с ног до головы в грязи, мокрых, с дикими, полными ужаса глазами. Марк не растерялся. Он выдохнул — громко, на весь ресторанный зал: «Только что со съемок! Кино снимают! Мы участники массовки!» Люди молча продолжали есть и пить. Только из-за дальнего стола раздался равнодушный, звенящий железом о железо, механический голос: «Кино? Где, где?»

И все смолкло. Играла тихая музыка. Марк подмигнул официанту. «От вас тут можно позвонить? Режиссеру». Халдей презрительно обвел его сонными, будто пьяными глазами. Марк видел, он не верит ему. Но подвел его к барной стойке, к телефону. Марк пошарил в кармане и вытащил грязной дрожащей рукой, как курьей лапой, визитку режиссера Богатова. Набрал номер, пачкая пальцем циферблат. Трубку взяли. «Але?»

Антон? Это Марк, привет. Вот звоню. Вот...» Он правда не знал, что говорить. Красавчик Том Круз, по имени Антон, на том конце провода засмеялся и крикнул: «Ты сдобные булочки любишь?!» Марк отнял трубку от уха и очумело уставился на Аду. Она сидела за столиком и грела руки дыханием. Ее сложенные у груди ручонки походили на маленький голый череп. Грязь медленно ползла у нее с висков по щекам, как черные слезы. Жрущие и пьющие тарасились на нее, но молча продолжали есть. В ресторане угощение превышает всего. Хоть костер тут загорись посреди зала, люди с места не тронутся. Так же будут сидеть и грызть цыпленка табака. И пить херес. И курить. И молчать. В ресторане всегда хорошо молчать, эй, ты не замечал?

«Люблю!» — глупо крикнул он в ответ. Ухо ловило время и место встречи. Мозг деловито запоминал. Записать было нечем и не на чем. Рот повторял чужие слова. Марк подумал о том, что все мы в жизни говорим одни и те же слова. Только каждый складывает их в речь по-своему. Этим все мы и отличаемся; а так все мы одинаковы. Все мы, подумал он вдруг со странным облегчением, будто кто-то оправдал его, отмыл и очистил от тяжкого греха, все мы воры, воруем друг у друга и прощения не просим, потому что не за что и не у кого. Разве вор у вора должен прощения просить?

В переулках жуткого града осталась их бегущая жизнь, застыла плывущая грязь. Дьявол скорчил пьяную рожу и подслушивал их теперь здесь, под землей, среди дымов и ароматов. Марк пошарил в карманах куртки. Бумажник был при нем. Он прерывисто, как ребенок после рыданий, вздохнул. Подсел за столик к Аде. Шепнул: «Пойди умойся». Она встала, как пьяная, шатнулась вон из зала. Потом вернулась, и Марк с изумлением глядел на ее насквозь мокрую одежку. Его спасенная эмо выглядела как мокрая курица. «Что ты наделала?» — «Я постиралась», — просящим прощения, тоненьким детским голоском вывела она фиоритуру. «Что тебе заказать?» Ада беспретно протянула пальчики к меню. «Дай я сама выберу».

Она долго возила зрачками по строчкам меню, что-то бормотала, Марк плохо слышал. Потом ткнула в меню пальцем, тоньше вязальной спицы. Он прочитал: «БУРГУНДСКОЕ, БОКАЛ». «А пожрать?» — сердито спросил. «Я хочу согреться», — проблеяла она и застучала зубами.

Еду он заказал сам. Принесли поднос, ставили на стол блюда. Над мясом вился парок. Вино мерцало свежей кровью. Марк уже знал маленькую курильщицу: заказал пачку сигарет «Кэмел». Эмо жадно ела, жадно и быстро выпила вино, жадно курила сигареты, одну за другой. Они молчали. Зубы Ады перестали стучать. Щеки зарумянились. Марк думал про сдобные булочки. Наверное, Антон имел в виду толстеньких, аппетитных бабенок, смутно думал он; а халдей, по одному щелчку его пальцев, уже волок новый поднос с новым угощением, и Марку нравилось чувствовать себя в глазах малютки Ады всеильным богом.

Они переночевали в гостинице около метро «Октябрьская». Спали на одной кровати, в вале. Утром, в дикий дождь, шли пешком через Крымский мост, опять держались за руки и смеялись. Дьявол, что бежал за ними, хитро прикинулся громадным городом — руки дьявола превратились в каменные столбы, ноги — в стальные опоры мостов, круглым животом станции метро он катился на них из-за поворота, ухмылялся и пропадал вдали острым, как нож, шпилем высоты. Город, мир и дьявол теперь составляли одно. Марк не мог их пока различить. Махал рукой: да ладно, потом. Они с девчонкой шли мимо витрин, и да, жизнь была витрина, за ее стеклом они могли хорошо и подробно рассмотреть себя — и сами себе они не нравились.

«А ты бы могла работать живым манекеном?» — спросил девчонку Марк. «Могла бы! — гордо вскинула голову эмо. — У меня подружка знаешь кем работала? Рыбой! Ну, приделали ей рыбий хвост, блестящий такой, и плавники, на башку и на спину, к лифчику прицепили, и она плавала в огромном аквариуме, в рыбном магазине на Солянке!»

«И что, — потрясенно спросил Марк, — долго проработала?» — «Нет, недолго! Она под водой задохнулась! Не выплыла вовремя и воду вдохнула! И захлебнулась! Не откачали!» Эмо подумала малость и выдохнула: «Счастливая!» — «Так, может, зря я тебя от Митьки-то увез?» — вкрадчиво спросил Марк и подмигнул Аде. Она хохотала под дождем, закидывая голову, и в хохочущий рот ей влетали дождевые струи: она пила вино небес.

Они появились в назначенный час около дома, где их ждали. Ждали одного Марка, но он позвонил в дверь и, когда ее открыли, вытолкнул Аду вперед себя. Богатов устался на девчонку. «Это что еще за чудище?» Марк прищурился, глядел из прихожей в сияющий роскошью зал: на столе, среди ярких яств и бутылок, стоял черный жостовский поднос, на нем горкой лежали крошечные сдобные булочки с изюмом. Богатов проследил за глазами Марка. «Еще теплые!» — похвастался он. Девчонка сбросила ботики, Марк не стал разуваться. Так, босая и обутой, они прошли туда, где им теперь надлежало быть, жить: в новую жизнь Марка.

Новая жизнь загомонила, вспыхнула, развернула веер и стала им заманчиво обмахиваться. Лукаво и бесстыдно. Сдобные булочки сладко пахли. Он слышал голоса: «Сухостоев, Сухостоев!» Огромный лысый человек шел по залу, раздвигая пространство лбом и гладкой, как кегля, головою. Руками делал такие движения, будто плывет. Толстые руки смахивали на неповоротливые ласты. Подвижные тонкие, замысловато изогнутые губы играли на лице. Марк воззрился на него и понял: это он к нему идет.

Сейчас его новая жизнь без стеснения подойдет к нему, хлопнет его пухлой, как задница, ладонью по плечу, как по заднице, и выпьет с ним вина. На брудершафт.

Светские гладкие плечи, полоумье тусовок. Антон Богатов сразу окунул Марка в ту воду, где он не плавал ни разу и не знал, как плыть и в какую сторону. Марку вся толпа, бестолково крутящаяся, нарезающая круги вокруг пиршественного стола, казалась странным детским фильмом, давно забытым мультиком: вот кланяются и выпрямляются фигурки, подают друг другу кукольные ручки, деревянно смеются, стыдливо зевают, вынимают из бумажников игрушечные деньги, — где я, кто меня нарисовал и оживил? Сдобные булочки, с виду вроде оторопь и ужас, а на деле никакой загадки. Антон просто их очень любил, особенно свеженькие, с пылу с жару. Время плыло мимо них грязной водой, мутной и вонючей, и так важно было, побултыхавшись в его месиве, принять чистый холодный душ, растереться и запустить зубы в свежий горячий хлеб. В булочку с изюмом.

Режиссер Богатов снимал странный фильм, он свято верил, что фильм будет иметь бешеный успех в первые дни проката; это была лента про человека, который убил женщину и всю жизнь в этом каялся; еще там были наркоманы, их осудили и посадили в тюрьму; еще там были подростки, что брили головы налысо, вздергивали кулаки и кричали: «Убей инородца!» — а еще был один герой, совсем неглавный, но именно его Антон предложил сыграть Марку; человек, что задумал обокрасть другого человека, слишком богатого, — а вышло так, что он обворовал целую страну. Странный и тягучий фильм, никому не нужный, тек со старинной серебряной ложки времени, как мед; истаивал, как сахар в дворянской сахарнице фамильного сервиза; Антон не владел формой, у него внутри просто жило очень много всяких чувств, и он толком не знал, как их показать. Воплотить, вочеловечить. Он с радостью снял бы вместо всего фильма и сутолоки его героев просто один голый, на пустыре, ветер и его завыванье. Этот ветер дул и выл внутри него, и он-то был начало и конец всего, альфа и омега. Но фильму, вернее, людям, что будут его смотреть, нужны были живые люди в квадрате экрана.

Этих людей Богатов искал там и сям. И находил. Не проблема была найти актера. Проблема была в том, чтобы снять сразу последний дубль. Зачем искать, работать? Все делается само. Эта девочка, дикая эмо, что она тут делает? Поставьте ее сюда! Нет, сю-

да! Девочка, да, Ада, ты знаешь, что говорить? Она знает! Она будет говорить! Девочка, у тебя лучшая роль! Парень, у тебя лучшая роль!

Он каждому говорил, что у него лучшая и главная роль. Люди глядели на него с почтением; он был царь, они — слуги. Он безжалостно, как собак за шиворот, таскал их по окраинам и пустырям в дождь и слякоть, в снег и пургу. После рабочего дня он закатывал пиры. Грязная одежда брезгливо сдергивалась и летела в стиральную машину. Эту прикольную девчонку, эмо, наряжали, как Анджелину Джоли: платье декольте, туфли на каблуках шестнадцать сантиметров. Антон не удивился, когда, между двумя тостами, ему сказали: ваш актер покончил самоубийством после съемок. «Какая муха его укусила? Может, эта муха — я?» Заходился в хохоте, а все молчали. Марк неловко стукал бокалом о бокал Антона. «Богатов! Не парься! За тебя!» Через миг-другой народ весело гудел. Эмо, сидя в углу в кресле, старательно перевязывала на ботинке длинный шнурок. Марк глядел на яркую красивую тусовку, слушал возгласы, застольные речи, смешки и грызню, видел, как через стол летели пьяные плевки, его по глазам били белые молнии голых плеч и голых женских рук, он же был еще такой молодой, даже чересчур, малый щенок с острым нюхом, он раздувал ноздри и пытался учуять, откуда тут богатством несет, тут было столько богатого народу, а он был один тут бедный; нет, еще его жалкая эмо; тут плыли все осетры, белуги, севрюги, лососи, нерки, а он барахтался в этой золотой, серебряной водице один грязный ершишка. Колючие плавники свои гордо и жалко топырил. И никто тут не верил его важности. Все тут прекрасно видели: он — нищий ерш.

Ерш, ерш... им только отхожее место чистить...

Среди застолья ему камнем била в лоб мысль: а что если и отсюда, из этого нового дивного мира, сбежать? а куда? Адреса такого он не знал. Где он жил теперь, тоже не слишком осознавал; Богатов поселил его в особняке своего богатого отца — в таком доме можно было потерять самого себя и никогда больше не найти. Марк подсовывал руки под позолоченный кран, вода текла сама собой, и он в испуге руки отдергивал и над собой смеялся. Кто-то невидимый каждое утро чистил ему штиблеты. Кто-то незримый накрывал стол к завтраку. Завтрак вроде обычный, но как преподнесен! Серебряный кофейник... ручка чашки — золотой завитушкой... На хлеб щедро намазана осетровая икра, и так пахнет, так... В стальном кувшине — жульен с жареными белыми грибами... Опять запах... пьянит...

Он научился обонять чужую жизнь как свою.

Где приткнулась его эмо, его жутковатая зебра, с полосатыми волосами и в полосатой кофтенке, он не знал, не вникал в это; вспоминал, как она говорила ему о смерти там, в доме милосердия: «Покончить с собой — правильнее некуда». Но он пока не хотел воровать смерть у смерти. Он хотел своровать жизнь у жизни.

Снега погребли землю под тяжелым белым ковром, но на улицах Москвы белизна тут же превращалась в вязкую, хлипкую черноту. Ни зима, ни весна. Вечное безвременье. Рекламы взрывались и неистово пылали, их невозможно было прочитать и понять — все на разных языках. На наречиях большого мира, что лежал за пределами столицы, за границей сломанной, как черствая булка в жирных руках, безропотной страны. А кто будет устраивать революцию? На любую восставшую толпу найдутся пушки. На любой народ, бегущий штурмом брать дворец, — самолеты и бомбы. Не стать ли мне военным, хулигански думал о себе Марк и отбрасывал эту мысль в поганую корзину — она ломалась мгновенно, быстрее яичной скорлупы. Он хотел бы своровать у знаменитого генерала его славу, его ордена на кителе и смеялся над собой, шептал: Марк, пора в детский сад. С жадностью первопроходца глядел он на съемочной площадке, где бегал кругами и оголтело орал в матюгальник Антон, на камеры на колесах, на гигантские софиты: он узнал, как делалось кино, а делалось оно совсем не так



изящно, как смотрелось. У любого явления есть неприглядная изнанка. Он это хорошо понимал. Деньги воняли. Бугрилась узлами и заплатами оборотная сторона роскошного холста. Стиралась позолота, и нагло просвечивала грубая свиная кожа. Марк царапал толстую кожу ногтем, напрочь сцарапывал жалкое поддельное золото, и его чуткие, воровские пальцы жадно осязали подлинную жизнь: ему даже не надо было разглядывать ее в лупу, чтобы удостовериться: да, свинья, и откормленная лучшими отрубями.

Богатов щедро снабжал его деньгами. Марк косился: не гей ли, не переспать ли хочешь? Откуда рекою, как шампанское в новый год, лились деньги на тяготящийся Антонов фильм? А зачем ему было дознаваться? Ему просто нравилось жить в роскошестве, и он шептал себе под нос, бормотал: наслаждайся, это же временно. Рано он понял временность всего. И тем сильнее, острее ему хотелось своровать у времени время.

И все больше, волчком вращаясь среди чертовой кучи разнообразных людей, часто заглядывая им в лица, но никогда — глубоко в глаза, он думал о том, что вот он пока никакой не вор, а слуга: в услужении у смерти, не у кого-нибудь. Запах смерти он ощущал так же ясно и отчетливо, как запах тонко нарезанной на фарфоровой тарелке буженины на завтрак. Как она пахла? Уж не так, как у Митьки в доме милосердия. Не погано. Она душилась изысканными парфюмами и мазала себе черепушку яркими румянами. Все равно издали видать было: идут кости и гремят, и только шарахнуться от скелета, — и, может, опять спасешься.

Страна обратилась в такой гремящий костями скелет, из пыльного школьного кабинета анатомии, и страна мерно и медленно шла в завтрашнюю гибель, прикидываясь живой. Красное знамя сдернули с древка и растоптали, извозили в грязи. Новое, трехцветное, удивляло, как новое концертное платье знаменитой старой актрисы: а вот здесь, где морщины, заколите брошкой, пожалуйста, а вот здесь, не бойтесь, поглубже вырез! Народ бежал ночью на Лубянку и прыгал вокруг памятника давно мертвому вождю. Народ стаскивал эту позеленелую тяжелую бронзу с пьедестала и плясал на поверженном монументе, как пляшут на костях врага. Народ бежал к дому, где пряталась власть, и защищал этот дом от огня, а другая власть дом расстреливала, как человека. Народ голосовал и надрывал глотки, бесился, дрался. За что? Марк не понимал. Он пожимал плечами: пусть дерутся. Звери всегда в клетке дерутся. Все равно мы все в клетке. И вся задача — стать дрессировщиком.

Для этого надо своровать зверью судьбу.

Ты хищник, ты загрызешь! И не сомневайся! Марк сказал режиссеру: Антон, отпусти на волю, хочу пару деньков отдохнуть. Богатов засмеялся: организуем! У меня отец на Красное море летит с зазубой, может тебя взять! На Красное, осторожно спросил Марк, а это далеко? А это где? «Темнота, — фыркнул Богатов, — атлас изучи! Хургада, курортник супер! Там плывешь, а по дну морские звезды ползут, яркие такие, оранжевые!» Звезды, повторил растерянно Марк, морские. А потом спросил Антона: Антош, а ты что это так меня обихаживаешь, как девицу? Что, нравлюсь так? Богатов вздернул подбородок. «Хороший вопрос, парень. Получишь хороший ответ. Все слабаки, а ты силен. И умен. Но только, увы, сам об этом не знаешь». Расхохотался, раскатисто и обидно. Марк вторил: стыдно было молча, столбом, стоять.

Он не признался Богатову в одном желании: не столько на роскошные моря он хотел попасть, сколько — к забытой и одинокой земле, и остаться один. Пришел на Курский вокзал. Сел в электричку. Поехал на восток. Вылез, где в голову взбрело. Перешел рельсы и вошел в лес. Ноги вязли в снегу. Шел, ветви хлестали по лицу. Черные стволы перемежались красными. Деревья оживали и тянули к нему руки, он шарахался. Ему чудилось, деревья кричат: «Камера! Мотор!» Послышались шорох и тихое хорканье. Дорогу ему пересекли маленькие кабанчики; они бежали глубоко в снегу, над

скатертью снега виднелись только их мохнатые полосатые спины. За ними развалисто шла матка, мощная черная свинья, темные лохмы висли с ее круглых боков и мели снег. Марк встал недвижно и глядел на кабанов. Секача поблизости не было видно. Да Марк и не думал об опасности. Странное глубокое, сонное равнодушие охватило его. Он вспомнил маленькую эму. Ее тонкий мышинный голосок запищал у него в ушах: «Ты никогда не знаешь, где тебя обнимет смерть! Она такая загадочная! Она — красавица!» Красавица, тьфу, тихо плюнул он в сугроб. Кабанчики заметили его и быстрее побежали вперед, разрезая ногами и грудью снежную толщу. Свинья обернулась и глянула на Марка красными глазами. Он человеку не глядел в глаза, а вот свинье — посмотрел. И он...

...и я, бать, почему-то четко учуял, глядя в красные глаза свинье в том зимнем лесу: я — в услужении у смерти, у гибели, да. Ну благо бы я был ракетчиком! Или, там, служил в войсках любого рода! Или, к чертям войска, просто был бы наемным киллером! кстати, модная профессийка тогда стала, бывшие биатлонисты хорошо зашибали на этом деле. Я никогда не стрелял, а видишь, убивать уже умел. Смерть, она такая разная. Разномастная, собака! Я это свое чувство черного слуги топил в наших пирушках. Антон, ты понял, был разгульным дядькой, любил размахнуться по полной программе. Деньги позволяли. Кто там такой был его батья, я его об этом подробно не пытал. Сам расскажет, когда время придет. Знаешь, я не торопил время. Будто чувствовал, что оно потом, скоро, само заторопит меня. Будет толкать в спину, в бока: ну вперед, что вяло шевелишься, ножками перебирай, наддай!

Кино, ведь это было такое нереальное покрывало, и его Антон и его батька накидывали на все хорошее, что втихаря творили. А что всегда творит человечек? Правильно, бать, деньги. Деньги творит! Все завязано на деньгах, и можешь сейчас корчить возмущенные рожи, и махать руками, и квакать: да нет! не все! и не у всех! — мели, Емеля, твоя неделя, не верю, сказал Станиславский, — все и у всех. И кто сумел, тот и съел; а кто не успел, тот опоздал. Так все просто. Сколько преступлений совершается без наказания! По деньгам ходят, их подбрасывают носками башмаков, и их даже не собирают, так их презирают; такая они сволочь, дрянь, так на них надо наступать и давить их, раздавливать, рвать на куски безжалостно, — но это для виду, это спектакль для зрителей, это фильмец в темном престижном кинозале, для кучи людишек, они дорого заплатили за премьерный показ, а на деле-то ты уже договорился с раздатчиком, и тебе щедро отсыпали золотого овса в торбу, тебе отрезали наижирнейший кус от бревна-осетра и швырнули: лови! Заслужил! Ты подпрыгиваешь, ловишь. И сам виноват, если осетрина упала в грязь. Значит, неловкий ты и сам бревно.

Нереальное такое кино, да. И я сам себе казался нереальным. Мы курили с Антоном травку. Шатались по ночным клубам. Я обнимал голых девчонок, что змеями извивались у шеста. Совал им купюры за блестящий лифчик. Тот зимний лес, где свинья поглядела мне в глаза, я помнил как собственную, в снегу вырытую белую могилу. Земля для меня оказалась мертвой, я уже не был человеком на земле. Я просто ходил по ней, топтал ее, но вся каменная, горящая неонами и мусором шуршащая Москва выгибалась под моими ногами каменную корку, и ни до какой земли уже было не докопаться. Да и городской же паренек я был! Если бы, бать, ты хотя бы был у меня крестьянином! Ну ладно, тогда я бы ощущал то, чего сейчас не могу ощутить ни за какие коврижки. Только не смейся, бать, фильмец Богатов так и не снял, облом вышел, может, с батькой поцапался, может, еще какой казус приключился, не знаю, а вернее, не помню, бабки взяли и не вовремя кончились, а новые ниоткуда не приплыли, да на Красное море я с этим башлевым батькой и его бабой все-таки полетел: и поздно мне уже было назад пятками, взяты билеты, Рубикон перейден. Я впервые в жизни, прикинь, летел са-

молетом. Ощущение — не передать! Я астронавт, и вот сейчас на Луне высажусь. Батка Антона и его шлюха всю дорогу до Хургады глушили коньяк. Стюардесса на столике развозила еду и выпивку, и все ели и киляли. Ну, и мы тоже. Я пил скромно, чтобы не наклюкаться. Черт, я же языков не знал! Ни одного чужого языка! Два жалких словца по-английски. Хау ду ю ду, сенкью вэри мач. А стюардесса говорила по-ненашему. Я ей только скалился вежливо. И пальцами знаки показывал, как немой немому. Она тоненько смеялась и мне коньяк подливала. Я косился на бабу Антонова папаши. Ничего баба, я заценил.

Бабенка молодая, но, я понял, старше меня. И глядит на меня как на паршивого щенка. Мол, навязали нам тебя, ну и сиди тихо, не твякай. Прилетели в эту Хургаду. Пальмы везде. Заселились в лучший отель. Номерочек у меня что надо. Синева вдали меж домами торчит, стеной вздымается. Мне говорят: это море. Я пожимаю плечами: эка невидаль! Хотя когда мы на пляже оказались, я просто рот разевал от изумления. Вода и правда до того прозрачная, все видать: и рыбок, и водоросли, и цветные камни на дне. Плаваю, я хорошо ведь плавал, это ты меня научил, спасибо, в нашей большой и широкой реке, не побоялся, хотя я эти рассказы о том, как брат мой утонул, все свое детство слышал. И они мне, честно, надоели как горькая редька. Ну вот вместо него я бы утонул. И что? И вы бы с матерью так же бы обо мне другому сыну рассказывали. Живому. А какая, хрен, разница.

Так вот, шлюшка эта. Плыву и думаю: хороша, у старшего Богатова есть вкус! А она тут, поблизости, плывет. Руками взмахивает. Не так чтобы очень близко, но я ее вижу, и она меня видит. И вдруг я ее видеть перестал. А вокруг визги страшные поднялись. Люди плывут, барахтаются, руками по воде колотят и так визжат, что уши закладывает! И все ринулись к берегу! Дружно поплыли! И вот, да, ее вижу, шлюшку эту, башку ее завитую, у ней волосы такие были пышные, золотистые, натуральная блондинка, вымирающий вид! И так гребет, задыхается! Надрывается! Я ничего не понимаю и тоже со всеми к берегу шпарю и тут понял: акула, черт! Акула!

Бать, я увидел ее всю, рыбину эту. Сначала тень ее, сквозь воду прозрачную, на песке, на дне. Потом — ее. Страшная, дрянь. И большая. Длинная. Длинная эта смерть и долгая: пока тебя раскусит, пока от тебя не откромсает руку, ногу, ты в море кровью обольешься, соленой водой захлебнешься, а все будешь плыть. И жить. Расстрел, слушай, гораздо лучше. Пулю в затылок — и ваши не пляшут. А тут все блажат и плывут. От смерти уплывают. Кому повезет? Знаешь, ноги этой красотки — под водой — вижу! Как она ими истерично бьет, перебирает! Плывет, а акула, гадина, все равно быстрее! Не обгонишь!

И тут вдруг вода — красным окрасилась! Черт! Лицо над водой красоткино — вижу. Побелело оно. Я все понял. Под нее поднырнул и так стал нарезать к берегу, что в глазах потемнело. А тут катер. Береговая охрана. И отрезал нас от акулы. Они стрелять в рыбину стали, с катера. А я на себе красоточку тащу и понимаю: сознание потеряла. Мне не поглядеть, какая рана, смертельная или выживет баба. Мне главное — до берега добраться. Ну вот песок. Я бабенку на руки — и с ней на берег выхожу. А по мне ее кровь течет. И я гляжу: рука прокушена. И прокушена страшно. Мясо аж вывернуто. Подковки зубов отпечатались. Короче, руке конец. А может, еще не конец! Швы наложить... в больницу, хирурга хорошего! У папика же денег куры не клюют! Кровь на песок течет. Машина подъезжает, прямо по песку. Я к машине бегу, весь в кровище. И папик тут, морда белая. «Я любые деньги!.. любые деньги...» И по-английски дальше. Люди вокруг кричат и плачут. Мы в машину впихнулись, шофер гнал как полоумный. Больница кафелем дышит неземным. Чистота такая, что сам себе кажешься куском дерьма. Я по коридору бегу, с красоткой на руках, в операционную, на стол ее кладу. На меня руками машут: брысь, брысь! Я ухожу. В коридоре сидим. Папик стонет, буд-

то это его акула укусила. Я обозлился и говорю ему сквозь зубы: вы потише стоните, раны зашьют, если заражения крови не будет, через неделю в море купаться разрешат! Он тарасился на меня круглыми совиными глазами. В его глазах гуляла ненависть.

Батя, человек человеку волк, давно доказано. Тут и спорить не надо. Ни к чему. Выкатили к нам бабенку на тележке, укрытую простыней. Она в сознании. И будто еще красивей стала. Щеки впалые, губы огнем горят. Шепчет: я ничего, я нормально, а вы тут как? «Мы, — процедил папик, — мы переживаем». И тут я сам не знаю, что со мной сделалось. Я захохотал. В полный голос. И ляпнул сквозь смех: «Это он переживает, он, он, — и пальцем в папика тычу, — а я вот нисколько не переживаю, нисколючки!» И дальше ржу. Ко мне врач подгребают. Меня за руку хватает, пытается увести прочь от тележки. Красотка слабо вскрикивает, рука забинтованная поверх простыней бревном лежит: «Простите его, у него чисто нервное!» Папик шипит: «Говори по-английски, дура!» А мне в зубы тычут мензурку вонючую. Я выпиваю. И море по колено.

Так начался наш южный отдых, вот так отдохнули, и так началась, батя, моя жизнь, о которой я лишь мечтал. Обедали в лучших ресторанах. За обедом эта шлюшка пила обезболивающее горстями. Бледнела и смеялась. Слабым вином запивала. На пляже наша красотка сидела под огромным белым, как снежный холм, зонтом с кружевами, папик ей купил в лучшей барахольной лавке, смотрела, как мы купаемся, и махала нам здоровой рукой. Раз в сутки я возил ее на перевязки. Папик смотрел в отеле телевизор. Красотка, под конец отдыха, захотела шикануть. В Хургаду тогда прибыли король Саудовской Аравии Фахд и наследный принц Абдалла. Мне-то что в лоб, что по лбу. А вот красотка заявляет папику: хочу на прием! Папик вытарасился: ты что, умом тронулась?! С перевязанной-то лапой! А она смеется. Смелая бабенка была, однако. Все равно пойду, режет ему, как бритвой, и не запретишь.

И таки нарядилась, пошла. Мне кричит с порога: этот старикан не хочет со мной идти, так ты пойдешь! У меня ни смокинга, ничего. Она подмигивает: смокинг по дороге купим, в любом бутике, будешь выглядеть зашибенно! Когда она из номера вышла, одетая, я аж присвистнул. Обалденно она была хороша, батя, а может, я просто в жизни своей таких баб еще не видал, ну вот и пялился на нее, как на алмаз «Шах». Черное платье с золотой ниткой, туфлишки лаковые, черные, в пол-лица глаза блестят, грудь наполовину голая, на груди — не камни, звезды с неба горят. И в ушах, и на пальцах. Это ей здесь, в Хургаде, папик золото и брильянты накопил. Прельстили меня эти побрякушки. Как ребенка, прельстили! Батя, но я же ведь и был еще ребенок! Плохой ребенок, невоспитанный, жалкий, и красивым камешком меня можно было запросто опьянить, сбить с панталыку!

Я не оправдываюсь. Это я сам себя так уговариваю. Сам себе песню пою, колыбельную. На самом деле, батя, я родился вором и вырос в вора, и никуда мне было не удрать от воровской своей судьбы.

Она мне сама купила смокинг. Я первый примерил в бутике, он в пору оказался. Мы в машину юркнули, у палат таких остановились, что вверх, на фасад, глянешь — башка в танце закружится, и из кружения того не вынырнешь. Поднимаюсь по мраморной лестнице и думаю: черт, здесь такие акулы водятся, не спастись! Сам кошусь на ее забинтованную руку. Красотка вне себя от радости. Вся аж светится. А ну-ка, среди таких хищников золотая русская рыбка плывет. Я тогда не понимал, где мы, кто мы. А все стали на нас глядеть и нас обсуждать. Гул поднялся. Все смотрели на замотанную бинтами, толстую руку красотки. Как ее звали, спрашиваешь? Эх, да как звали... Поминай как звали — вот как.

Катя ее звали, Катька. Катерина, разрисована картина.

Ее, с этой прокушенной и забинтованной рукой, то и дело приглашали: то на танец, если музыка играла, то потреться, важные такие господа, я старался на них тоже

этак независимо смотреть, а то и сверху вниз, ну, значит, таким же, как они, прикидывался. Не думаю, чтобы это у меня отлично получалось. Я видел, как губы моей красотки изгибаются смешливо. Она все понимала, что творится со мной. Но меня одного она бросила плыть в этом людском море. И косилась: выплыву? не выплыву? Я молился про себя: эй, прием, ну ты уж закончись когда-нибудь! И да, прием этот закончился, и моя красotka с перевязанной этой рукой, акулой прогрызенной, блистала там будь здоров и имела успех. Я сам видел, как к ней подходит этот, как его, ну, нефтяной король. Или он настоящий король? Я понимал, что он король, все перед ним склонялись в поклонах. И рожа у него была такая, царственная. Белым платком обмотанная. А сам старец старцем. Песок сыплется. Так вот, моя красоточка подвалила к нему и улыбается ему, и, о ужас, сама за руку его берет. А он другой рукой ее нежную ручку — цап-царап! — и морду старую свою к ней приближает и что-то ей тихое бормочет. Что-то личное, думаю. Думаю так, он переспать ей предлагал. А она закинула кудрявую золотую голову и захохотала. Смеялась она уж очень хорошо. Светло. Будто разом куча рыболовных колокольчиков зазвенела. Король ее рукой по руке гладит. Собой прельщает. Вернее, миллионами своими. Я гляжу внимательно. Ключет? не ключет? И все дыхание затаили. Весь зал. И, вижу, красotka согласно голову склоняет. А это все на камеры снимают, как старый король, у него же сто жен, наверняка гарем, перед русской шлюшкой ковром расстилается. Жены, плачьте! Точно, они обо всем сговорились. К бабке не ходи. Я сам видел. И чуял. У меня всегда было хорошее чутье. Как у волка.

Ночь Хургады, теплая, безумная ночь. Мы в машину садимся, во взятую напрокат. И вдруг красotka моя, слышу, не наше название отеля шоферу называет: другое. Я сижу с ней на заднем сиденье. Ее в палантин газовый заботливо укутываю. Изображаю из себя такого наивняка. А сам дрожу уже, как зверь. Спрашиваю: ты что это, куда тебя несет? А она мне: туда же, куда и тебя. И сама мне на шею бросается. И я целую ее и будто бы я залпом бутылку коньяка выпил и не охнул. Такой сразу пьяный от нее стал. У меня же, бать, вообще никого не было в Москве, и даже на ту бедняжку, полосатую эмо, я не напрыгнул, не польстился: жалел, да и не вставало у меня на нее. А тут! Прикинь: прием у короля, акула руку прокусила, красота неопиcуемая у бабы из рожи так в мир и хлещет, неостановимо, и что, мне стоять и ждать? Или, хуже того, ее в темной душной машине — отталкивать? И прикидываться импотентом?

Она раздвинула ноги под платьем. Я запустил руку под черную, с золотом, жесткую парчовую юбку. Она льнет ко мне. Шофер все понимает, и гонит быстрее, и подхихикивает. Подъехали. Не помню, как она брала на ресепшене ключ. Как расплачивалась: должно быть, дорого. Мусульманская страна, строгие нравы. Не помню, как поднимались в лифте. Камень и железо плыли под ногами. Я снова плыл в море, и вокруг плыли акулы и скалили зубы. Треугольные пасти сверкали на потолке и на паркете. Мы рухнули на кровать, и, кажется, я порвал на ней это жесткое парчовое платье, с парчовой золотой розой у края декольте. Так озверел. Но мне хотелось докопаться до нее как можно скорее. Я спятил от жадности, я слюной исходил и спермой. Боялся только одного: кончить раньше, чем войду в нее. Тогда стыда не оберешься.

Батя... У меня таких баб, как Катька, больше никогда не было. Всякие были, а вот таких не было. Первая и последняя. Но я не жалею. А о чем жалеть? И кого винить? Мы друг на друга в ночной тьме смотрим, и глаза у нее в темноте блестят, как у рыси, а на груди у нее, и в ушах, и на пальчиках — все эти ее алмазные бирюльки, и я вежливо предлагаю ей, как рыцарь: давай сниму с тебя все это добро? Она хохочет. Я тоже хохочу. Мы оба стаскиваем с нее алмазы. Я говорю: надо куда-нибудь в укромное место сложить, а то утром будем дрыхнуть без задних пяток, а горничная придет убираться. И стащит! Она опять смеется. Засунь, говорит, в наволочку. Я наволочку с подушки сдираю — и туда. И потом опять обнимаю ее, и у меня опять встает. А она и ра-

да. Мы оба рады, счастливы, безумцы. Батя! Ты когда-нибудь был безумцем? Или так, скучно и прилично, гладенько прожил свою жизньешку?! Ах ты, жаль мне тебя. Значит, ты не знаешь, что такое жить. А я, я знаю.

Поэтому, батя, мне не страшно умирать.

И вот она уснула, а я не мог уснуть. Она уснула, а я украл у нее все ее сокровища. Алмазы пустынь, золото шейхов. Всю восточную сказку слямзил. Встал тихонько, осторожно, оделся беззвучно. Крепко увязал наволочку. Драгоценности слегка брякали. Я зажал наволочку в руках. Пожалел, что у меня с собой не было никакого оружия: ни пистолета, ни ножа. Все-таки чужой ночной город и чужая страна. Билет мой на самолет был со мной. Мы улетали утром. Я изловил машину, примчался в аэропорт, живенько поменял билет на более ранний рейс. Сумку купил. И две шкатулки. Сокровища из наволочки в шкатулки вытряхнул. На черном бархате они сияли, как моя бедная жизнь. Век бы любовался. Девушка на досмотре ахнула. Вертела в руках кольцо, кольца, длинные серьги — Катьке они до плеч доходили, золотыми ольховыми сережками свисали. Я понял: от меня хотят объяснений, что это и кому предназначено. Я на пальцах показал: готов заполнить декларацию! По-русски внятно, как учитель детям в школе, чеканил: «Э-то я ку-пил у вас сво-ей же-не! В по-да-рок!» Долго писал на россыпи бумажек буквы, цифры и даты. Мне подсказывали, что писать: на ломаном русском смуглый, как головешка, таможенник. Почему они не поняли, что я это украл? Не хотели в это верить?

Человек видит то, что хочет видеть. И верит в то, во что хочет верить.

Ну купил я это золотишко, купил, ну отстаньте вы все от меня. Какие же вы все гадкие! Все вы хотите уличить меня в чем-то. Я всю жизнь крал, а меня всю жизнь хотели уличить. Поймать за руку. И ловили, батя! Еще как ловили! Да я вырывался. А тогда, в Египте, не поймали; благополучно я прилетел в Москву, домчался до особняка папика, быстренько набил чемодан всяким добром, на улицу вывалился, шестеренки под черепом крутятся: теперь куда? на кудыкину гору? Отвык я уж за это короткое богатое время от нищей кудыкиной горы. Какой ты нищий, присвистнул я, ты же теперь богатый! Продай Катькины египетские бирюльки крутому ювелиру. Ювелир на меня внимательно поглядел, все сразу понял, бестия, что я вор, не мои это сверкальцы, и ляпнул мне: ты, парень, хочешь, к лошадям приставлю? Я возрился на старика: к каким еще лошадям? Он смеется, челюсти беззубые кажет, на голове шапчонка такая, умора, черная, бархатная. А в скрюченных пальцах лупа. «К таким, — отвечает, — к самым что ни на есть настоящим, в конюшню!» Вот так вышло: приплелся сбывать рыжье, а угодил под конские хвосты. Кульбиты делает судьба! Да я сообразил: лошади, богач, я снова буду при кормушке, да забавно это все, на лошади хоть скакать научусь, все польза. Я ювелиру кивнул, он мне кучу денег отсчитал, просто хренову тучу, у меня с собой никакого кейса не было, чтобы все это туда скласть, и старикан мне преподнес мешок. Ну да, что смотришь так, простой мешок, из грубой холстины, такой грубой — ладони обрежешь. Я туда купюры стряхнул и натужно, дико засмеялся. Смех из меня порциями выходил.

Ювелир тот на рваной бумажке мне телефончик начертил. Звони, говорит, не ошибешься, я тебе добра желаю. Мой дружок закадычный, гонорова шляхта, богач полумный, на лошадках спятил!

Лошади, их запах. Навозец, конюшня просторная! Богач дельный оказался. Умный дядька, любо-дорого с таким поговорить. На дворе мороз, колотун, а в конюшне тепло, как в парилке. Лошади весело хвостами машут. Еда у них самолучшая, круче людской. Меня поставили начальником над подсобными рабочими: вроде как бригадиром. Конским генералом. Я раздавал команды. Чистили, кормили, выгуливали — другие. Спаривали — другие. Я только наблюдал и приказывал. Для этого мне надо бы-

ло вникнуть в суть дела; я и вник. Вникал я во все быстро. А еще в то, что хозяин мой — последний недотепа, и справиться с ним будет проще пареной репы.

Лошади, лошади! Я скоро всех их знал по кличкам. Бать, лошади, они умнее, лучше и чище, чем люди. Они не оскорбят, не раздавят. Они тебя за руку не схватят, когда ты крадешь. Им это по хрену. Они животные, от слова «жить». Милые! Морды длинные, хвосты шелковые. Машут ими, трясут. Кожа бархатная. Глаже, чем у той красотики, шлюхи Катьки. Я, прежде чем в дом пойти и лечь спать, каждую в конюшне обойду, каждую по морде поглажу. Они ласково ржут. Приветствуют меня. Нет, точно, звери выше людей. Они не знают нашей ненависти. У них зло свое и ненависть своя: да, они готовы убить соперника, но в честной борьбе. А мы? Я шел в дом, посреди полей стоял он, так я опять оказался близко от земли, я вдыхал ее запахи, и лошади мои выбегали на землю живую и резво скакали по ней, — и все-таки я ее уже не чуял, как чуяли мои кони. Я не мог разделить их веселого ржанья. Хотя с радостью заржал бы вместе с ними. Однажды оседлал вороного жеребца, гладкого, аж лоснился весь, какой откормленный, и долго на нем носился по черным полям. Стояла ранняя осень. Тоскливо мне было среди этих беспросветных полей. И навоз я устал нюхать. Хотя счет мой изрядно пополнялся. Богач мой щедрым был. Поляк, сам охотник, и из семьи охотников, и сам вдобавок знаменитый оружейник, сам выделявал охотничьи ружья и дорого продавал — ну такой охотничий Церетели, не иначе. Ружья с завитушками, с медными нашлепками, и одностволки, и двустволки, и даже берданки, тянуло его на ретро, он мне показывал ружьишки — я любовался, языком шелкал. Лысенький, высоченный, как Петр Первый, ножки длинные-тонкие, качается, будто бы подвыпил, глазки прозрачные, ледяные, на тебя глянет — полярным холодом обдаст; и зубы как у лошади: длинные, желтые, крупные. Трубку курил вишневого дерева. Дымок вечно над его лысиной вился. Собак держал: русских борзых. Ох и изящные! Грации полные штаны! Собаки по полю бегут, в струнку вытянутся, длинные мордочки свои по ветру вытянут, запахи земли жадно нюхают, а хозяин стоит, глядит на них из-под руки, шапку-конфедератку на затылок сдвинул, трубку сосет. Господин Высоковский, ексель-моксель. Тогда все в стране, помнишь, от товарищей плавно переходили к господам, да рот не мог привыкнуть. Сам себе господин! Я — владыка! Эх, да что ты говоришь! Врешь и сам себе не веришь! Я на ружья эти узорчатые косился, а сам думал: эх, стащить бы одно, самое красивое, и деру. Да, и тогда я уже подбирался к чужому добру! И уже задумывал побег! Меня прямо трясло от возбуждения, когда я помышлял об этом. О том, как с ружьем пана Высоковского по осенним полям иду, ну вроде как охотиться, только без лошади и без собаки, вообще без ничего, и если мне уж до конца повезет, то со стащенным у поляка бумажником за пазухой. В те поры наличные деньжата были больше в ходу; это сейчас у всех в зубах карты, карты. А тогда бумаги еще шуршали. И у моего хозяина их водилось так много, что он запросто мог на черную пашню выбредать и сеять их в землю: по ветру. И проросли бы.

Деньги! Бать, вот ты задумывался когда-нибудь, что они такое? Что это за игрушки такие человеческие? Деньги, что это за чертовня? Вор понимает. Бать, вор — все понимает! Но, как та охотничья собачка пана Высоковского, остромордая и курчавая, твякнуть не может: объяснить. Вот и я все понимал. И теперь понимаю. Деньги, бать, это мы сами. Деньги украсть — это все равно что у человека жизнь украсть. Все деньгами измеряется. Дома, деревья, лошади, судьбы. Думаешь, я пошлый такой? Что, сидишь глядишь на меня, зыришь и думаешь, что вот я всю жизнь только и думал о деньгах?! Врешь, бать. Не только о них. Но я твердо и отлично усвоил: за тебя заплатят ровно столько, сколько ты стоишь. И ни копейки больше. Даже если ты задумаешь покупателя обмануть. Не выйдет! На роже у тебя висит твой ценник. И цифры эти текут в твоей крови.

Правда, знаешь, были моменты, когда я уговаривал себя, ну, как девушку уговаривают пойти с тобой в постель: ты, ну брось кобениться, брось выдумывать, на себя наговаривать, ты же прекрасно знаешь, есть высшие драгоценности, есть сокровища круче, чем счета в банках, а что это за сокровища, а погляди-ка, а догадайся, недогадливый, разве красота не сокровище? разве поцелуй не сокровище? разве ребенок, твой ребенок, долгожданный, не сокровище? разве, черт дери, мир на твоей земле, когда снаряды не рвутся, когда не рвутся бомбы в метро или на стадионах, — мир блаженный, счастливый, — не сокровище?! Да пусть в этом мире нищие по улицам шастают! И бомжи на вокзалах дрыхнут! Пусть люди в этом мире друг друга подсиживают, обманывают, вцепляются друг другу в хари, ласкают и милуют друг дружку, да хоть на голове стоят, да хоть костры на Красной площади жгут, — а все равно это все мир, не война! И все они — не погибают! Ах, ха-ха, а своею смертью — помрут. Что уже хорошо, не правда ли?

Так я уговаривал себя, внушал себе праведные и чистые, благородные мысли, а дьяволенок, что жил во мне, крепко он во мне поселился, глубоко внутри, всеми когтями вцепился, мне нашептывал поганенько: вот гляди, внимательней гляди, девушка красивая и глядит так мило, так сердечно, ну сразу видать, душа-человек, — а на деле ей за гадость хорошо приплатили, щедро, и она сделала эту гадость, совершила, и не охнула! Гляди, вот дядька представительный, грудь выпятил, орет с трибуны о благе и силе, о развитии и мощи, — а дядьке-то классно заплатили, чтобы он все эти лозунги прилюдно орал! Чего человек не сделает ради денег! Да все сделает!

А потом наступал вечер. И я оставался один. В новой квартирешке, я снял ее за гроши около дальней станции метро, в бедном квартале, домишки такие, нищета на нищете сидит и нищетой погоняет, с новым, между прочим, паспортом за пазухой, и на чужое имя, мне совсем не улыбалось, чтобы меня взяли и цапнули. И — в каталажку. Все, закончилось кино. И вино, и домино, и богатые попойки, и рысистые лошадки. А ружьишко-то я так и не стащил у пана Высоковского. Так и не стащил. Жалею. А что жалеть. Я бы все равно не смог его с собой по жизни своей таскать.

Ружьишко не спер, зато бумажник спер. Мне пан Высоковский спел однажды старую песенку, времен его детства, должно быть: «Пока смотрел „Багдадский вор“, самарский вор бумажник спер!» Хохотал, кофе попивал, я тоже кофе из золоченой чашечки отхлебывал, косился на новое ружье, мастером сработанное: оно лежало на кровати, поверх китайского шелкового покрывала, с крупным, как цветок, медным завитком на цевье. Я частушку ту воспринял как руководство к действию. Старый пан поперся спать. У него была жена, да померла; он мне в альбоме ее фотографии показывал. Когда-то красавицей кокетничала, по слухам, отменной портнихой была: пол-Москвы баб к ней ездило наряды заказывать. Всему бывает конец. Я сидел и допивал кофе. Пан в соседней спальне захрапел. Он доверял мне. Я не знаю, почему, но люди с ходу доверяли мне. Я быстро втирался в доверие. Это тоже дар. Не каждому дано. Дверь в спальню пан не запер. Я осторожно вошел, под музыку этого длинного храпа подкрался к стулу, на спинке висел пиджак. Просто — пиджак! Без всякого там сейфа! Дурак ты, хозяин. Не так надо жить. Я вытащил из кармана бумажник, пробрался к себе в каморку, вскинул сумку на плечо. На первой попутке удрал. Ночью очутился в Москве, и это была чертова ночь.

Вот так ночь! Всем ночам ночь! Я и не думал, что в Москве такое может быть. Выстрелы. Прохожие бегут. Головы руками закрывают, приседают. Вопят: «Снайперы! Снайперы! На высотках!» Грузовики по дорогам тряслись. Откуда-то издали надвигался ужасающий гул: это шли танки, я понял. Танки в центре столицы! И вот уже на улицах костры горят. Я так мечтал о живом огне, и вот он явился. Люди бежали, и я поддался общему безумию, я тоже побежал. Бегу, задыхаюсь. Куда бегу, не знаю.



Вдруг в ночи передо мной — дом. Я его не узнал! С виду как мощные белые соты. И горит. Черный дым из него валит, и белая стена уж вся почернела. И вот они, железные могучие коробки, прямо на меня прут, нет, на всех людей, что толпятся, бестолково грудятся, качаются, и отскакивают, и снова напирают, не знают, куда бежать, а все равно бегут! И я, бать, вижу, как прямо передо мной падает мужик, ему грудь пробило, и еще второй падает, асфальт ногтями царапает, а я-то прямо за ними бегу! Гул нарастает. Танки за нами. Я внутри варева, ну и месиво заварилось! Не выберусь. Страшно завопила женщина. Схватила ребенка за руку, тащит, а он ноги подогнул, и она его по земле волочет. Как куклу тряпичную. А тут рассвет. Тусклый, серый. И все видать стало. Все лица, пушки танков, всех убитых. По асфальту дорожки темной крови. Я впервые видел бойню. Считаю, что видел войну. Любое убийство — война. Потом замазывай не замазывай содеянное. Человечишко так устроен, что ему лишь бы себя оправдать. Бьет себя в грудь кулаком и кричит: я хороший! я хороший! Часто он кричит это сам себе. А громко орет, как глухой. И что думаешь? Он себя в этом убеждает. Что он хороший и даже, черт, святой. Если самому себе все время твердить: я святой, я святой, я святой, — поневоле святым станешь.

А каково это, бать, когда свои — своих бьют? Сидел ты тут, в нашем городе на реке, вдалеке от Москвы, и ничего этого не видал-не слышал, а тебе о бойне этой даже в газетах не рассказали: властям не нужна правда. Правда всегда вывалится наружу, да лишь по прошествии времени. После драки вдруг замашут кулаками. И закричат: вот правда, правда! А какая она, эта правда? Какие деньги заплатили властям, чтобы они свой народ расстреляли? Какие деньги заплатили танкистам, снайперам? Снайперы метко били. Винтовочки с оптическим прицелом, новейших марок. Пан Высоковский такими бы гордился. Кто его знает, пана, может, он и оптикой занимался. Сбили его оптику! Сбили мою! Сбился прицел. Куда бежим, черт, а?!

Чьи-то руки меня, чую, тащат. Так, соображаю, значит, это я упал. Значит, тоже подстрелили! Но, черт, почему же не больно нигде?! К себе прислушиваюсь. А меня по асфальту тащат. Штаны мне обдирают. И кожу на локтях и на икрах — до крови. А вокруг свист. Это пули. А потом: бабах! Это снаряд рвется. И я смутно думаю: сейчас в меня шархнет. И, знаешь, никакого страха нет, ну, что вот сейчас сдохнешь. Да сдыхай на здоровье, примерно так о себе, любимом, думаешь. Я не вру, нет. Я слишком много в жизни врал. Перед смертью врать нельзя. Не ты жизнь себе подарил, не ты ее у себя должен отнять. Дать — отнять! Я бы этим, кто у орудий и кто, скрюченный, на шпилях высоток сидит, так и крикнул, завопил прямо в уши, и чтобы у них барабанные перепонки полопались: не ты дал! Зачем отнимаешь?!

Бесполезны все эти крики, бать. Честно, бесполезны. Один я, что ли, так захотел покричать? Да сто тыщ, мильон народу. А толку. Вот заложили меня внутрь железного пирога живой начинкой, внутрь пушки снарядом заложили, и сейчас как рванет, глаза повылазят, костей не соберешь. И начинка из пирога наземь поплывет, красная. Соленая, не сладкая. Те, кто так близко видал смерть и глубоко вдохнул ее, затаился ею, как сигаретой, те уже не боятся, черт, никаких злых мест.

И я не боялся.

Меня по асфальту, под выстрелами и разрывами, протащили, в подъезд втащили, по лестнице на верхний этаж втащили. В комнате, огромной, как корабль, сильно накурено. Хоть топор вешай. Мужик ко мне подходит. Ножницами на мне куртку, рубаху разрезает. И отдирает от меня прилипшие лоскуты. Я кричу от боли. Это меня подрали, и ткань к ране присохла. Мужик поливает меня водкой, прямо из бутылки. Ватой промакивает. Цыкнул на меня: «Хватит хныкать!» Я замолк. Он нож водкой полил, потом ею же полил, черт, не поверишь, обычные плоскогубцы. Говорит мне: ну, молись! Подбородок небритый. Щеки синие. Зубы под губами поблескивают: один живой,

один серебряный, потом дырка, потом опять железный, потом снова живой, желтый. Вот так доктор! Всем докторам доктор! Сейчас меня резать будет! Как барана!

Я набрал в грудь воздуху. Пока вдыхал, мужик меня и полоснул ножом. Распахал рану, как плугом. Запустил в нее плоскогубцы, через мгновение пулю вытащил и у меня под носом ею повертел, и кровь с пули капнула мне на губы и по подбородку ползла. Вот, смеется, лучше меня хирурга в Москве вашей чертовой нет! А потом пулю как швырнет только. Она полетела в стену и врезалась в батарею. И зазвенела. Я лежу, слезы по щекам текут, я и сам как пьяный, а мужик этот небритый горлышко бутылки мне ко рту подносит и в зубы сует: на, на, не робей, глотни! Сейчас водярой рану твою глупую залью, и перевяжем!

Он так и сделал. Я потом с ним сдружился, с Хирургом. Понял я, куда угодил. Машины, хазы, притоны, катраны, стрелки забить, отхватить, оборваться. Научился я говорить по-ихнему. Нехитрое дело. Любили меня мои бандиты, и я их любил. А что? Они же люди. <...>

«...за тобой охотились?» Марк неудобно, боком, неуклюже вывернув руку, лежал на заднем сиденье. Разлепил губы и выдавил: «Топленое молоко жалко, вот специально купил, люблю его». Шофер захохотал: «Молоко! Значит, стрелял твой убийца, а попал-то в молоко! В молоко! Промахнулся!»

Марк вежливо вторил ему, смеялся вместе с ним, дуэтом. Оборвал смех: смеяться не мог. Заплакал, выгнулся, будто в судороге. Началась истерика. Художник остановил машину возле большого, в небеса уходящего старинного дома. Открыл заднюю дверцу, вытащил Марка из салона на воздух. Лицо Марка, залитое слезами, в свете фонарей гляделось жалкой набеленной маской кукольного Пьеро. Луна в небесах над Москвой горела, как синий фонарь. Художник осторожно взял Марка под локоть и повел. Там у нас лифт, лифт, тихо и нежно говорил он Марку, тебе не придется ножками шаркать, у меня тринадцатый этаж, все хорошо, хорошо.

Говорили отрывисто, скупо. Попутно художник готовил еду и чай. Ты кто? Человек. Да ведь и я тоже человек! Мы оба, так выходит, человеки! Москвич? Нет. Приехал сюда мальчишкой. А ты? Москвич? Нет. Приехал сюда недавно. Откуда? Пес знает откуда, друг. Из тайги! С реки Лены! Оттуда, где она только начало берет. Гнуса там в тайге — пропасть! А это картины твои? А то чьи же! Мои! Я их из Сибири привез. Вот, друг, прославиться хочу! А что хохочешь? А что, нельзя? Да нет, можно. Что можно — смеяться? или прославиться? И то и другое. Ха! ха!

Смеялись. Курили. Грызли козинаки. Жгли свечи. Марк жадно глядел на палитру. Там светились выдавленные щедро, горами, краски. Масло, и лак, и позолота, и грубые зерна на исподе холста. Как ты все это добро с Лены — сюда — доvez? Добрые люди помогли. Свет не без добрых людей. Ты какой любишь, черный или зеленый? У меня и красный есть. Мне все равно, знаешь. А мне нет! я буду зеленый, с лимоном! Слушай, дружок, в тебя стреляли, это плохо. Куда уж хуже! Так я не про то. Ты отсидись тут у меня, да? Поживи немного, да? Ну, у себя не появляйся пока. Пускай время пройдет. Все утрясется. А я тебя не стесню? Да нет, ну что ты. Это же мастерская. Друга моего мастерская. Он за границу укатил. Может, там и останется. Мне вот ключ всучил. Я и рад. А ты — рад? Я... я — не знаю... А что тут знать! Радуйся! Радуйся, я с тобой! И у нас жратва есть! Нехилая! Я сегодня на Арбате холстик продал — и всего накупил: и колбасы копченой, и кофе, и чаю, и курицу, чуть попозже в духовке запекую, и вот даже козинаки! Хочешь курить? Да. Я тоже! Посмолим?

Опять курили.

Марк исподтишка разглядывал своего спасителя. Маленькая лысинка, как тонзура. Брови седые, серебрятся, кусты ветлы у воды ясно-серо-синих, прозрачных, чуть

в зеленцу, речных глаз. Добрых! Добрейших! Улыбка нежнейшая, и сам весь исходит добротой, светом нездешним: сияет, лучится. Пушистые волосы вокруг лысинки, за ушами, шевелятся и светятся. Руки, пальцы вымазаны краской. Не отмоешь. В годах! Зачем в столицу прикатил на колченогом, шатком поезде, где дуло во все щели, а ночью грызли из банки вареную курицу и резались в сальные, дивные карты? Слава, слава! Да ведь и художника зовут — Слава. Святослав, а фамилия? А зачем тебе? Она тебе ничего не скажет! Меня в Москве пока никто не знает! Пока... Ну кто-то ведь да знает! Кто-то, да. Кореш мой, Витек. Витек Агафонов, пусть тебе прибудет, а от тебя не убудет! А где твой Витек-то? А в Канаде! А где это Канада? Ой, чувак! Ты не знаешь, где это Канада! Так ведь там же Ниагарский водопад! Брызги Ниагары стучат в мое сердце, понял?!

Я всю свою мастерскую из Сибири сюда перевез! Всю жизнь свою — перевез! Грузовой вагон заказывал! Мне деньги на поездку друзья год собирали! Хорошие у меня друзья, да. Сибиряки! Не чета столичным жителям! Здесь все бы только урвать, украсть! Стащить, слямзить! Так устроен здесь человек. А сибиряк — он, нет, не такой! А что, в Сибири не крадут? Нет, мужик, нет! Ну если и крадут, так это просто из рук вон! Вору там сразу морду бьют! В кровь, в кашу! И руки выдергивают, чтоб не крал! А раньше вору руки вообще рубили! По локоть, знаешь?! Ух, как страшно. Как безрукому жить? А вот так, брат, и жили! Миску зубами со стола ухватывали и суп хлебали! А то и лакали, как собака, из миски!

Слушай, давай сменим тему. Давай! А покурить? Давай!

А хочешь, чтобы тебе не было скучно, я тебя тут буду учить рисовать? Что, что? Рисовать? А зачем это мне, рисовать? Ну как это зачем! Рисовать — это все равно что дышать! Это для тебя дышать. А мне что в лоб, что по лбу. Тебе легче будет жить! А кто тебе сказал, что мне трудно жить?

Лысенький художник со слезным, лучистым ликом святого, с пушистыми волосами, их будто развевал ветер вокруг его бедной, уже стареющей головы, всплеснул руками и так жалобно поглядел на Марка, будто Марк болел тяжело, и никаким снадобьям та хворь не поддавалась. Так ведь всем, всем, милоч, трудно жить! И тебе тоже! Еще как трудно! Недаром в тебя стреляли! Не зря!

Эту карту было нечем крыть. Марк низко, к самым коленям, опустил голову. Хрен с тобой, золотая рыбка, гуляй же ты на просторе. Учи меня рисовать.

Так он вслух сказал художнику; а про себя, тихо, добавил: старый дурак.

Он даже на улицу не выходил — художник его не пускал: боялся за него. Он выходил на балкон и так дышал воздухом. Иногда за дверью раздавалось наглое мяуканье. Это приходил тощий черный кот с желтыми глазами. Художник кормил его килькой в томате. Марк гладил кота по выпирающему под ночной шерстью хребту. В мастерской стоял холодильник, и на двух обожженных кирпичках мерцала серой спиралью старая электрическая плитка. Марк то и дело кипятил на плитке ржавый чайник и от тоски заваривал крепкий чай. Сахар хранился в жестяной банке из-под кофе. В чашке медленно плавал золотой лимон, кот громко мурлыкал, засыпая на продавленном диване, а Марк подцеплял густые, как сметана, краски с грязной пестрой палитры и щедро вминал в туго натянутый холст. Краски — это была дикая, звериная забава. Иногда ему казалось: это лучше женщины. Так же весело, жарко, только без запахов духов, канители, и соленой влаги, и пота, и слез, и сетований, и упреков.

Прислушаться к себе. Как самочувствие? Нигде не болит? Не жжет, не колет? Он, еще до выстрелов на ночной улице в снегопаде, прошел курс хорошего лечения за очень большие деньги; а краски мелькали перед глазами, смеялись ему в лицо, лились, плыли, плакали, шептали, угодливо размазываясь, ковром расстилаясь под податливой кистью: вот, Марк, уразумей, художник-то просто ловит жизнь, как птичку в силоч, он остав-

ляет ее на холсте, а ты что пытался делать? пытался деньги ловить, золотишко, счета, почет, тяжело пытался весить на весах человеческих, да все ты такой же тощий шкет, все такой же воришка, — нет, не надо вспоминать, ты еще молодой, тебе не в прошлом копать надо, а будущее — снежком в ночь запускать! Из будущего — в свое гадкое и стыдное прошлое — навскидку стрелять.

А гадкое и стыдное прошлое у него было; да, было.

Но он о нем даже себе не намекал; и по ночам не снилось оно ему; и уж художнику, его приютившему, спасителю его, он ни сном ни духом не обмолвился о темных невидимых крыльях у себя за спиной.

Шептал себе, как в жару, в бреду: еще навспоминаюсь... еще...

Художник уходил, куда он исчезал, Марк не вникал; он лежал на скрипучем диване, курил и от нечего делать пел коту песни, а потом играл со своим именем: переставлял в нем буквы, и получалось «Мрак». Окно залеплял мокрый снег. Его жизнь потихоньку залепляла мокрая белая смерть, тоскливая, как бродяга, ищущий пустые бутылки у помойки. А картины были живые. Они толпились, вспыхивали, золотились и лоснились, играли снопами искр, в ночи горели и гасли, и опять чуть тлели, их пламя билось во мраке, даже когда Марк выключал свет и бессонно таращился в серое ничто. Картины, свечи! И в церковь ходить не надо. Славы не было. Чужая каморка вся пылала чужими кострами, что не он разжег.

И вдруг он до боли, до ужаса захотел, чтобы весь этот огонь стал — его.

Он вскочил с дивана. Диван лязгнул под его сильным молодым телом всеми пружинами. Он провел ладонями по вмиг вспотевшему лицу. Дрожал. Эх, как он раньше не догадался! Охотничий гон, чуйка вора, вновь бешено, властно восстали в нем. Он обвел глазами горящие краски. Вещный мир! Зримый! Все это можно в одночасье сжечь. Все подвластно уничтожению, все! Но люди из эфемерности делают славу. И делают деньги. И делают — себя. Судьбу. Вот и он! Что — он?! ну что, что?!

Он храбро, нагло додумывал: вот и я чужое сделаю своим! Только игра эта будет покрупнее. Счет пойдет на немислимые цифры! А даже и не на деньги, шут с ними! На славу! Да, на славу, на нее! Какова она на вкус?! Он жизнь проживает и не знает. Теперь узнает! Эти картины... они...

Он ни черта не понимал в живописи. Он просто видел: это красиво, и это можно дорого продать. Не их, дурак! А себя! Себя, как того, кто их родил! О да, это станут его дети. Он их усыновит, эти холсты, эти картонки. Он везде напишет на них свое имя. Имя! Марк! Мрак! Черт! Как это красиво! С фамилией отца его, родовой? Нет! Просто Марк! Ну вроде как марка! Фирма! Круто! Круче не бывает! Все богатеи всей Москвы, да что там, всего Токио, всего Нью-Йорка и Парижа, Кейптауна и Стокгольма, и какие там на земле есть еще знаменитые громкие города, купят его картины! Он будет висеть во всех музеях мира! К нему будут вставать в очередь за автографом! Он...

Оборвал себя. Тихо, вслух сказал себе: ты же рисовать ни шиша не умеешь. К мольберту не встанешь. Да, ты уже малюешь, возишь кисточкой по холсту, детский лепет.

А зачем обнародовать свою кухню? Пусть никто не знает, как и где он работает. Пусть его мастерская будет... будет...

Мысли скрежетали шестеренками. Летели черными воронами. Взрывались подо лбом, как петарды. Ему впервые было так тяжело думать. Надо убирать с дороги Славу. Куда? Надо стать Славой. Как? Ни одного ответа не маячило во мраке. Он обхватил голову руками, и ему почудилось, что под его ладонями — лысый череп художника, его светлые пушистые волосенки.

Ну, это же не гадкое низкопробное кинцо, и он не будет себе менять внешность, ведь картин Славы пока никто не знает, это девственный товар, и можно сделать просто: убрать помеху с дороги, и все дела. И все дела! Дела начнутся потом, после. Главное

дело надо сделать сейчас. А что сделать? Убить? Убить, ха. Но ты же не киллер! Или тебе понравилось, как в тебя палили, и ты решил искусство перенять? Глупо все, глупо. Думай хорошенько. Думай лучше. Придумай такое, к чему не подкопаешься. Не придерешься.

Раздобыть пистолет? Приказать Славе под дулом убираться восвояси? Нехорошо, он в суд подаст. Какой там суд, нет свидетелей! Все равно разъяренный малеванец потом появится. Вынырнет из омота. А не надо, чтобы выныривал. Надеть маску, когда в мастерскую войдет, пьяненький-веселенький, насесть на него? Связать, кляп в рот, скотч на глаза, в мешок, в лыжный рюкзак, и вперед, вокзал-билет, и куда? в другой город? в леса, поля, луга? бросить в снежном поле, связанного его снег быстро заметет. Нельзя, это тоже убийство! Марк, ну ты же не убийца! Обмануть? Сказать: знаешь, с Лены твоей позвонили, тебя там срочно ждут, на похороны, друг у тебя умер! Какой друг? Имени не знает. Кто звонил? Не спросил. Глупо, художник может в Сибирь сам позвонить. И вылезет наружу вранье. И ссора, ругань. И потом примирение, пьянка. Водки ртутной бутылка на грязном столе, среди кистей и тюбиков. И тишина. Тишина!

Нет, конечно, нет; убивать он его не будет. Убить — это пошло, это чересчур гадко. Для него? Или для всякого человека? Мысли сшибались. Ну ясно, для всякого! Но ведь, Марк, молча орал он сам себе, среди кучи всяких разных всегда попадают те, кто убивает! И куда нам всем от этого не уйти! А войны? Марк, а войны? Куда ты денешь войны? Узаконенное грандиозное, многоглавое убийство. И войны ведут владыки стран; и народ за ними идет, встает под ружье; и на полях сражений решается судьба всех: быть всем или сразу всем помереть. Второе, оно, конечно, ужасней, но ведь меньше народа, больше кислорода.

Не убивать! Только не убивать! Глупо, напрасно...

Ему почудилось, как художник тонко кричит, по-бабьи: «Только не убивайте! Не убивайте!» Просит пощады. Этот бредовый дальний крик стоял у Марка в ушах. Он зажал ладонями уши. Старинные настенные часы громко цокали, медный лунный маятник качался, бил. Медные блики выхватывали из тьмы очумелое лицо Марка: открытый, как для плача или вопля, рот, заросшие щетиной щеки, лоб, исчервивленный морщинами. Сразу старик стал. Луна в окно светила, ее свет падал на зеленую медь маятника. Маятник бил неостановимо. Марк не заметил, как дверь отворилась и в комнату вошли.

Думать было уже некогда. Марк шагнул к вошедшему. Кот мяукнул. Марк закинул ему руку за шею, вроде бы обнять. Потом быстро сместил локоть вбок. Захват. Художник, чуть пьяненький, выпучил серые светлые глаза, в них вспыхнул прозрачный ужас, ужас просветил до дна, как толщу воды, всю его дикую, далекую таежную жизнь. Пытался отодрать руку Марка от горла; Марк подключил к захвату другую руку, он вспомнил все свои драки, всю известную ему борьбу и болевые приемы; схватил художника за правую руку, перегнул ему руку в локте, художник заорал, Марк локтем крепко двинул его по губам, кровь потекла, Марк наклонился и мощно ткнул его головой в живот. Художник упал, кровь изо рта капала на паркет. Марк придавил его всем телом, левую руку крутанул и вывернул наружу. Художник только слабо крикнул: «За что?!» — и открыл рот и замер, а изо рта, из угла губ, по подбородку и скуле на паркет все стекала кровь, и маятник бил, и лунные пятна медленно ходили по стенам. Картины бесстрастно глядели на возню людей.

Художник лежал недвижно. Марк отпрянул от него. Затряс его. Его кровь, прежде его ума, поняла, что сделалось. Сделалось то, чего он боялся, не хотел. Марк не хотел, но он убил. Это было хуже всего. Он сидел над мертвым, скрючившись, сначала не двигался, потом закачался взад-вперед. Что же случилось? Что? Он его не задушил,

по башке камнем не ударил, ножом не ткнул. Он умер — сам по себе! От ужаса? Да, может, от ужаса. Ужас, он может стать убийцей. От убийцы убежишь, а от ужаса уже нет. Эй, ужас, проваливай! Прочь! Его самого охватила оторопь. Еще шаг, и ужас. И он тоже сдохнет. Два трупа, негоже. Как избавиться от хлама? Хлам выкидывают и завтра забывают о нем. О том, что ты ел-пил, на чем спал, кого любил. Твое прошлое — хлам ненужный! И люди — хлам. Вот хлам лежит перед тобой на окровавленном паркете. Миг назад это был человек. Но он отжил, отработал свое. Теперь он хлам. Быстро убери его. Как? Куда?

Марк разогнул спину и огляделся. Теперь он тут хозяин. Он пошарил в карманах Славиного пальто и вытащил ключ и мятые купюры. От рта, испачканного кровью, шел грубый водочный запах. Плохую водку пили ребята. Или плохо закусывали. И снова было некогда думать. Он цапнул со стула старую рубаху, крепко вытер мертвецу рот, сдернул с дивана изодранное котом покрывало и завернул в покрывало художника, он стал похож на колбаску для великана, на гигантский мясной рулет. Заколол покрывало булавками. Замотал скотчем. Мертвец, о счастье, оказался щедушным; хорошо, руки не оттянет.

Марк долго бродил по мастерской. Он сам не знал, что искал. Нашел. Это были старые санки, еще со старинной железной, узорно изогнутой спинкой. Марк тепло оделся в чужую одежду, понимал, что нынче придется всю ночь по городу бродить. Чужой овечий тулуп, чужая лисья шапка, вся вытертая, моль поела. Чужие рукавицы. Закрыв мастерскую, подхватил закатанный в покрывало труп, санки, стоял в лифте, считал секунды. Вышел на улицу. Мело. Бельевою веревкой крепко, надежно он прикрутил мертвеца к санкам. На санках уместились только голова, грудь и живот. Ноги свисали. Это ничего, сказал он себе, если спросят, что везу, скажу — елку.

Пошел вперед, нагнувшись, покатыл санки за собой. Тяжело, но придется шагать, такой груз в метро не возят. Да и закрыли уже метро. Часа два ночи. А может, и больше. Куда ты идешь, спрашивал он себя, ну куда? Он не знал. Теперь он уже ничего не знал. И знать не хотел. За него все знала эта ночь, и эта метель, и эти фонари в метели, они светили мутно, туманно, и эти тени, он шел и отбрасывал тень, а иногда не отбрасывал тени, тогда он оборачивался, чтобы увидеть это, понять и снова испытать ни с чем не сравнимый ужас. Ужас ударял его током, ему было очень больно, потом ужас хитро исчезал, но вместе с ужасом исчезал он. Это было непонятно, и вот тут можно было сойти с ума. Чтобы не сойти с ума, он брел, тащил за собой тяжелые санки и повторял себе: тебя теперь все узнают, все, все, и ты будешь Слава, Слава, да, он, он, она, она. Слава.

Долго он шел по ночной метельной Москве и волок за собою страшные санки. Наконец устал брести, взмок, пот вымочил всю одежду, над тулупом вился пар, он теперь понимал, как умирают исхлестанные, загнанные лошади. Его все-таки спросили, что он везет: подгулявший парень со свертком под мышкой, из свертка торчало серебряное горло шампанского и батон колбасы, а потом, через квартал, подслеповатый бомж, в надежде, что если съестное мужик везет, то, может, ему отколется. И оба раза он ответил четко, как и задумал: «Елку купил!» Парень с шампанским подозрительно протянул: ну-у-у-у, это ты припоздал, земля, Новый-то год вроде уж прошел, а, нет? Бомж крикнул ему в ответ: а, елка, елочка, в лесу родилась елочка, в лесу она росла! И оба раза он на эти речи смолчал. А что было говорить?

Забрел в пустынный двор. Снег лежал белыми барханами. Зыбучие пески снега затягивали, вглатывали. Далеко, на краю двора, виднелись мусорные контейнеры. Еще когда и как найдут; да и найдут ли. Может, и не найдут; железные клещи ящик подцепят, мусор в кузов вывалят. Свалка, Слава, вот твоя могила. Отвязал труп от санок. Подтащил к железному ящику. Увалил. Хорошо упал мертвец на дно, удачно; снаружи

не видно, не торчит заманчиво перевязанная веревкой, скотчем замотанная праздничная елка.

Вот оно и все тут, шептал себе, возвращаясь налегке, таща за собой ставшие легче пуха санки, вот оно и все, а ты боялся. Все на деле оказалось до смешного плевым, гилью, ерундой. Так присваиваются вещи; а жизни? Марку предстояло примерить на себя чужую жизнь, и вдруг он развеселился. Да так неистово, что в пляс захотел пуститься! С трудом себя останавливал. Посреди ночной Москвы — да вприсядку, не заберут ли его в лечебницу? Ах, молодец, Марк! И от поганой болячки вылечился, и теперь знаменитым станешь! Вот так подфартило! Ему петь хотелось. Завершился ужас, больше не захлестывал волной. Начиналась жизнь настоящая, такая, про которую в книжках читают: он знаменит, он дорого стоит! Осадил себя: да сейчас самый твой труд только и начнется! Надо сделать так, чтобы твое имя гремело везде! А это — денег бешеных стоит! Ухмыльнулся: деньги? добудем! Да деньги своровать — нехитрое дело! А на хорошее дело, на славное имя, денег никто не пожалеет! Потому что все возле моего имени, как возле костра, захотят погреться!

Он все-таки сплясал посреди ночного фонарного, слепого от снега города. Остановился. Раскинул руки. Присел. Сердце мощно билось. По скулам текла влага. Да это просто таял снег. Чепуха какая, слезы! Разве мужик плачет! А если ревет, то — от радости. Давай валяй! Ногу выбросил вперед. Выкинул коленце. Он никогда не плясал русского. Это было все мертвое, забытое. На дискотеках в школе терся возле девчонок, топтался, кулаками тряс, вот и все танцы. А тут он как вдруг в пляс пошел! Как с цепи сорвался! Руки, ноги сами задвигались. Ему было все равно, глядят на него из окон, и слепо-темных, и уже горящих, или не видят его. Наплевать, пусть видят. А не видят, тем лучше. Пляска оказалась сильнее его. Он в этой пляске плясал все: горы, и увалы, и родную холодную, широченную реку, ее ледяную зимнюю пустыню, и первое воровство, когда первый кошелек из кармана толстой тетки на рынке украл, и небо в грозных тучах, и первый ливень, и страх ледяных просторов земли, что он еще не видел, а сердце знало: еще увидит, — и дороги перед ним расстилались живыми руками, а равнины и берега — мертвыми голыми, тощими телами, и торчали ребрами сваи, и громоздились спинами и локтями камни и битые кирпичи, и внутри него, под сугробной кожей, под зальделыми позвонками его кровь шла в нем нескончаемым красным снегом, мела красной метелью, и горели во тьме не людские глаза, а костры, и огнем тянулись к нему руки, а пляску его было не поймать, так он ускользал от жадно ловящих его зрачков и цепких рук, так радовался своей близкой славе, так веселился, зная, что никогда, ни в жизнь не отработать ему эту живую, чужую славу! А все равно, какое же счастье, праздник какой — обонять, осязать чужое! Присвоить его! Присвоить — и есть на нем, на чужом, и грызть его, и пить, и однажды до косточки, до ребрышка съесть его! И вот тогда, тогда чужое станет твоим! И вас уже будет не отличить! Не разъять! Не разодрать!

Пусть только попробуют!

А если попробуют — я легко докажу, и покажу, что я, я сам все это родил! А не он, чужой!

Потому что я его, безвестного, смело похоронил, а на его могильном холме, укрытом его старым покрывалом, что драл когтями его тощий кот, сплясал свою, свою собственную пляску! Так посмейте теперь сказать мне, что я — вор! Какой же я вор, если я чужие слова перемолол и свой хлеб испек?! Какой же я вор, если я чужой воздух вдохнул, а выдохнул — свой? Этот чужой воздух — он моей, моей кровью стал! Он уже во мне течет! Вор, да, ну и что, вор! Об этом я и сам знаю. А люди, люди о том никогда не узнают! Людям я — себя покажу! Только себя! Себя одного! Свои картины! Свои! Мои...

Он застыл на снегу. Вздернул голову и поймал взгляд. Из-за шторы на него глядела глазами, полными ужаса, седая растрепанная, только с постели, старуха. Марк отковырял ей, отряхнул снег у себя с плеч, с рукавов. С воротника чужого дубленого тупа. Огляделся. Голая голова, и ветер волосы треплет. Лисья шапка валялась под ногами. Он поднял ее и нахлобучил на темя. Какая прекрасная, жадная штука жизнь! В ней главное — не зевать. Ему повезло! И он не убил, не убил.

Он подхватил ремень санок. Шел, санки шуршали полозьями по снегу. Повторял сам себе: я не убил, нет, не убил, не убил.

Когда он пришел в мастерскую, он уже свято верил в это.

И в то, что он сам все эти картины написал.

Платье чужой жизни жало только первое время. Потом швы разъехались, расставились. Далекий Витек лежал на дне Канады. Марк обзвонил знаменитых галеристов, набрал номер лысого Сухостоева. «Ты в курсе, что твоя кремлевская протезе пыталась меня застрелить? Нет, не из ревности. А может, из ревности, не знаю. Я чудом спасся. Кстати, что с ней? Уехала из страны? Туда ей и дорога. Слушай, Сухостоев! Я теперь художник. У меня открылся дар. Ну да, вот так просто и открылся! Все великое просто! Старик, сними мне просторную мастерскую! Ючусь в халупе. А мне нужен размах! Ну да, вот такой финт ушами! Не говори, во сне не приснится!»

Лысый снял ему огромной величины апартаменты возле самой Красной площади. И это лысый первым купил у него один из лучших холстов бедного мертвеца: мрачные дома, угрюмый пугающий город, каменные соты, дикая пурга, снег вьется безумными кольцами и спиральями, встает серебряными столбами, и в кружении снега, на ветру, стоит женщина; она распахнула шубу, в отчаянии разодрала на груди кружевную сорочку, голую плоть сечет снег, волосы дымом летят по ветру, глаза во все лицо, в них ночь, и боль, и проклятие, и любовь, и прощение — все сразу. Мазки плотные, густые, светятся. Марк поставил на холсте, внизу, в правом углу, свою подпись, старательно вывел буквы своего смертного имени кисточкой, обмакнутой в угольно-черную краску. Баба на картине напоминала ему златовласую Катку, у которой он стырил украшения в Хургаде. Лысый Сухостоев важно ходил меж украденных работ, в огромные окна лился свет, далеко вспыхивали вечной алой кровью звезды на башнях Кремля. «Ну что, Марк, тебя можно поздравить? Ты гениальный художник! Ты, брат, уже бессмертен! Как тебе удалось, — шурился хитро, — за такое короткое, черт подери, время?» Марк опускал глаза. «Я талант. Только я об этом не знал. Теперь знаю». Умный Сухостоев тер ладонью блестящую лысину, вертел головою-дыней. Он все понимал, но боялся об этом прямо сказать Марку: сбежит добыча.

Сухостоев задумал сделать на Марке большое состояние; прежде всего он был бизнесмен, затем политик, затем уже человек. Человека в Сухостоеве оставалось совсем мало, на доньшке. Человек Сухостоев еще умел считать. Он украдкой пересчитал все картины: около ста больших холстов, штук пятьдесят небольших, бесчисленно этюдов: везде раскиданы, стоят стопками у стен, рассованы по стеллажам. Глаз у него был на искусство наметан. Он согнул свою толстую, мощную спину, наклонился над временем, заглянул в глубь этих чужих холстов, как в прозрачное озеро осторожно заглядывают с берега, пронизал зрачками всю толщу воды, до дна, где драгоценные камни раскиданы, где золотые, алые и серебряные рыбы медленно, важно плывут, — и понял все про россыпь сокровищ, лежащих на дне: нырять надо, и глубоко нырять, и на поверхность вытащишь то, о чем всю жизнь грезил: крупную, величиною с жизнь, жемчужину.

Лысый похлопал Марка по плечу. А что у тебя руки не в краске? Мало сейчас работаешь? Марк отводил глаза. Да, мало работаю. Сухостоев, прищурившись, рассматривал чистый холст на мольберте. Что задумал написать? Еще не знаю. Я — импрови-



зирую. Я никогда не знаю, что и как ко мне придет. Кто зайвится. Знаешь, Сухостоев, я тебе тайну открою, у меня внутри такой бешеный источник вдохновения существует, я даже сам боюсь. Оттуда фонтаны красок хлещут. Я их вижу и даже слышу. Когда этот фонтан вдруг забьет, я хватаю кисть и сразу — к мольберту. И тут уже меня никто не остановит. Даже ты.

Даже я?!

Смеялись оба. Выпивали. Сухостоев важно поднимал палец: художники много пьют, да ты не спейся. Я не сопьюсь, серьезно отвечал ему Марк, я для этого слишком умный.

Вторую картину Сухостоев продал человеку из Кремля. Человек был знаменит в узких кругах, уже появлялся в телевизоре, уже глядела на него страна и обсуждала его по косточкам, кто восхищался, кто плевался, а человек знай себе делал свое дело, обрастая деньгами и связями по всему миру. Он имел уже свободный доступ к безумным мировым деньгам, и лысый это знал. Картину новомодного живописца он предложил человеку из Кремля за такие деньги, о каких в приличном обществе говорить было нельзя: и стыдно, и страшно. Человек из Кремля, увидав картину, дал согласие на покупку. Сухостоев потирал руки. Когда лысый и Марк поделили переведенный на счет человеком из Кремля гонорар, они двое суток кутили в ресторане «Прага»; их облепили ночные бабочки, но Марк, осторожный, уже обожженный жутью испытанной хвори, ни с кем никуда веселиться в полуночной постели не ехал.

Колесо покатилося! Все быстрее и быстрее. Сухостоев вложил деньги в звонкое звучание его имени. «Марк, Марк!» — щебетали девочки с телевидения. С первых страниц газет, с обложек глянцевого журналов глядело лицо Марка, и сам он стоял около мольберта, в рубаше апаш, с палитрой, испятнанной яркими красками, с огромной, почти малярной кистью в руке. То улыбался, а то глядел мрачно, угрюмо. Он небрежно листал таблоид и сам себе нравился. Ему уже нравилось все это: шумиха, кваканье и криканье, лепет и щебет. Кадры, пошлая музыка рекламы, торжественные песни о нем, пляски вокруг его картин в его мастерской. Его? Он начал забывать, что картины — чужие. Он втерся в них, сросся с ними. Какая, оказывается, красота — жить чужою жизнью! А какая разница — своя, чужая? Все люди плывут в одном море. И всех кусают за руки, за ноги одни и те же акулы.

Паркет кремлевских палат был такой блестящий! Немудрено поскользнуться. И не однажды. Шел, и новые башмаки от Гуччи чуть поскрипывали, шел по залу получать награду. Лысый пробил ему награду — сейчас на грудь ему нацепят священный орден, и он приобщится к хору избранных. Марк! Святое имя! А, да, ведь кто-то ему сказал: давным-давно жил на белом свете такой Марк, и он написал какую-то святую книгу. Ха, ха, да он же не святой! Он — вор! А что если книгу ту добыть да прочитать? А может, тот, кто ее написал, у кого другого — своровал? Ведь все воруют друг у друга. Все!

Он теперь знал это доподлинно.

Лысый воровал у друзей. У врагов. Враги воровали у врагов и делали их друзьями. Власть воровала у народа, а потом кричала на весь свет: народ меня сначала выбрал, а потом нагло обокрал меня! Власть крала у народа накопленные им деньги, жалкие гроши, а потом обвиняла народ в том, что он глуп и туп; быстрее надо мыслить, живей идти в ногу со временем! Время не будет ждать тебя, нищий народ, возле выхода метро! Я, власть, обокрала тебя; да тебе поделом! Не зевай!

Марк сухими губами беззвучно повторял этот нахальный клич: крадите и делитесь! Он вступил в круг, очерченный воровским мелом, и ему теперь надлежало делиться. Лысый подсказывал ему, что делать. Скоро он уже ловко резал на куски жесткую, звонкую денежную колбасу. Ему приказывали: кради! — и он крал. Ему шептали: отка-

ти! — и он делился. Все было просто, как в аптеке. Провизор отвечивал лекарства по рецепту. Умный фармацевт, умнее любого врача, успешно излечивал стыдную болезнь.

Награду из владычных рук он получил. Знаменитые руки долго, неловко прикручивали орден к его лацкану. Он опускал голову, касаясь подбородком груди, и косился на темный лацкан: ярко горел железный костер, пылала расписная звезда. Символ чести и славы. Слава! Слава! Туго перехваченная бельевой веревкой елка! На какой ты свалке гниешь?

Дорогой особняк. Дорогая посуда. Есть и пить с дорогого, с драгоценного? Да пожалуйста! Дорогое время: минута стоит диких денег. Власть, с нею можно здороваться за руку. Он пока еще рукопожатный. Вокруг него нимб гения. Гений Марк! Дорогая машина. Превосходный «бьюик». Он ехал по забитой железными повозками Тверской, вцеплялся в руль и повторял: «Я бессмертен, я бессмертен». Повторял, повторял — самому себе молча, в уши, вопил: я бессмертен! — и внезапно холодный пот прошибал его, и тек у него по спине, и он брезгливо поводил плечами, мокрая рубашка липла к лопаткам под пиджаком: он врал самому себе. Он — обкрадывал — сам — себя.

А что он у себя крал? А он воровал у себя — правду.

Правду воровать легко и приятно, шептал он себе, машины мигали, гудки прорезали вечер, огни россыпью обступали его, красные, резкие, загоня в угол, под стволы охотников, под выстрелы. Кто завтра пальнет в него? Чью правду он сворует завтра?

Он научится жить завтрашним днем; предвидеть и вычислять; но он не предвидел лишь одного. Самого страшного.

Устраивал вернисаж. Модная галерея, закрытый показ. Нарочно выпачкал бархатный пиджак масляной краской. Втер в бархат каплю скипидара, чтобы от него художником пахло. Встряхнул волосами. Похлопал себя по щекам. Гладкие, смазанные лосьоном. Весь лощеный, лаковый. Ни к чему не придраться. Лысый сообщил: будут первые люди. Люди, люди на блюде! Он тихо хихикал, влезая в башмаки, засовывая в нагрудный карман кружевной носовой платок от Фенди. Гладко он выбрился, а сейчас модно шататься небритым. С бандитской рожей. Щетина чтобы торчала. И волосы торчали. Это модный стиль «гарлем». А он бреется по старинке, аккуратно. Надо быстро перенять моду. Картины уплывают! Скоро все распродаст, и что будет делать? Кого-то нового обворовывать?

Хохотнул, спустился вниз. Особняк три этажа, сауна, бассейн. По стенам бегут козули, олени, лоси, лошади. Ему нужен бег. Чтобы все время бежать. Оголтело нестись куда-то. Спокойно — не жить. Куда ты бежишь вместе с этими зверями? На водопой? Лизать соль? К любви и смерти? А ты можешь соперника — ради любви — убить? Хоть кого-то — убить — сможешь?

Едва не смог; Бог помог. Бог? Или кто другой?

Разве вору помощь нужна, кривил он губы, и железная повозка несла его в себе, бежала, бежал, летел снег за окном, эта вечная зима ему уже надоела, ах, Москва, ты такая красивая, ты меня выкрутила, как тряпку, но ты мне поднесла, на золотом подносе, всю себя, с потрохами. Не зря я в тебя приехал! Он бежал по городу на круглых резиновых ногах, мимо него бежали дома и лица, и он хотел смачно плюнуть в лица всех людей внутри снежного вечера, ведь они были такие маленькие, жалкие, а он был такой важный, драгоценная птица павлин с развернутым на весь Кремль сине-золотым, зеленым хвостом. Зал раскрыл объятия. Он целовал воздух многозубыми улыбками. Раздавал их налево, направо. Он слышал невнятный шепоток: такая изумительная живопись и такой, мягко выражаясь, дурак! Он же необразованный, тупой как пробка... он же ни одной книги не прочитал, это видно за версту, он же... он же... Картины висели по стенам. Стояли на мольбертах, укрытые тканями. Белые простыни сдернули. Обнажили огонь. Все восторженно вскрикнули и бурно захлопали. Шампанское лилось

и проливалось на паркет, пузырилось. Звон, стон стекла. Смешки и возгласы, музыка залов, предчувствие сделок. Вся жизнь — сделка, разве не так, опытный вор? Он шарил по залу глазами. Предчувствовал. К холстам, нагим и ярко горящим, с другого конца зала подгробал старик. Марка обдал изнутри кипятком. Лицо старика, оно же с портрета! Вон с того, что у стены, на мольберте. Деревянные ноги мольберта сами пошли. Мольберт пошагал к старику. Старик еле заплетал ногами. Он шел и шел, путь все не кончался. Мольберт подошел к старику быстрее. Вот они уже стоят рядом. Вот уже старик вздымает седую тощую бороденку, и Марк видит: это же его отец!

Отец. Забытый.

Зачем он здесь?

Некогда задавать вопросы. И некому. Старик с трудом поднял руку, подтащил ее к поверхности холста и поковырял нашлепки краски ногтем. Народ перестал говорить. Бокал с шампанским опрокинулся, выпал из рук. Осколки летели вбок и вверх, медленно падали на паркет. Хрустели под каблуками. Старик, с головою, обвязанной полотенцем, будто после бани, как из больницы сбежал, пиджак расстегнут, под ним старый, в заплатках, военный френч, все царапал ногтем холст. Рука упала вдоль тела. Обернул лицо. Глазами нашел Марка. Марк, с глупым бокалом в пальцах, глядел на старика; потом озорно поднял бокал ко лбу и поглядел на безумца сквозь желтое вино. И вино — выпил. Старик глядел, как дергается кадык Марка, пока он пьет. Марк выпил бокал до дна и жажнул его о паркет. Морозные осколки. Вечная зима. В гробовом молчании старик стащил с башки тюрбан. Его маленькая лысина смугло блестела в свете люстр и софитов. Пушистые серебряные волосы разлетались вокруг сморщенного печеной грушей лица. Славка, это же ты, ты воскрес, сам себе сказал Марк, и только он себя услышал. Старик вытер потное мятое лицо ладонью. Узловатый, скрюченный его палец прямо и жестоко указывал на Марка, и все головы обернулись к нему. Раздался голос. Марк предчувствовал, что он раздастся. Молчание подошло к пределу.

«Вот он! Да! Он! Он все это своровал! Все! Все картины! Все до одной!»

Люди превратились в нелепое, стыдное тесто. Время мяло их в жестких бесстыдных пальцах. Вскрики, ахи, ругань. Опять замолчали. Ждали. Старика обступили, как старого, умирающего гиббона в зоопарке, в тесной клетке. Теснили к холстам. Старик вжался спиной в ярко, жарко светящийся холст. Холст всеми масляными шипами, выступами и выгибами карябал ему спину. Подслеповатые, рыбами плывущие глаза старика, глубоко запавшие под череп, искали, бегали по чужим лицам. А старик был родной. Он был родной Марку, и Марк это знал. Предчувствие стало знанием. Не надо ничего объяснять. Все уже случилось. Старик раскрыл лягушачий рот, растянул губы до ушей и крикнул, и старческие синие жилы на его тощей закинутой шее напряглись и вздулись узлами.

«Это Славкины картины!»

Ринуться к старику. Зажать ему рот рукой. Ты что, спятил?! Старик отдирает его руки от сморщенного, запеченного в печи времени лика. Нет. Не сошел я с ума. Мне сказали. Я не верил. Но я увидел. Все правда. Ты своровал Славку. Всю его жизнь. Я эти картины наизусть знаю! Он когда очередную заканчивал, мы с ним выпивали. Как тебя сюда пустили? Пустили вот. Пусти меня! Не пущу. Заткнись! Не заткнусь. Я теперь буду на каждом углу о тебе кричать! Славка, ведь это друг мой! Брат мой, а я тоже художник! А где Славка? Где?! А?! Убил Славку?! Ответишь! Гад! Молчи. Иначе я убью и тебя. Пристукну в подворотне, как выйдем отсюда. Да ты отсюда не выйдешь. Я тебя в каталажке сгною. Это я тебя сгною! Ты — вор!

Жилы опять надулись. Крик рвался вон из старика, и Марку не под силу было затолкать его внутрь.

«Он все украл!»

Марк встал впереди старика. Закрыв его телом. Будто от выстрелов спасал. Люди расстреливали их глазами. Чьи-то рты уже кривились в ухмылках. Любопытные собирали скорую жатву. Пули глаз летали по залу. Отскакивали от потолка, от стен с лепниной рикошетом. Марк разинул рот. Ему надо было лживым воплем перекрыть крики старика. Воздух горячим дымом втек в его ноздри. Задыхаясь, он крикнул, и собственная глотка показалась ему ржавой железной, подземной трубой.

«Это не я украл! Это — у меня украли! У меня! А я — вернул свое!»

Зал взорвался. Голоса полились, растеклись, нефть голосов мгновенно подожглась и ярко, чадно горела, и люди ногами утопали, по щиколотку стояли в говорильном, черном, сплетневом огне. Все задвигалось: руки, ноги и щеки, люди корчили гримасы, отбивали ногами морозную чечетку, хватали друг друга за локти, за плечи, беспощадно трясли, пытались выведать что да как, и зачем так, а не обман ли это, ну да, все обман, кивали людям люди и несли околесицу, что старались выдать за правду; и в уши Марку лезли эти вопли, они огненным хором восстали вокруг него, пылали яркими столбами, пламенными колоннами рушились на него, и он поднимал руки и закрывал лицо от горячего падающего камня, пытаясь спастись, сохранить себя, — не обратиться в кости, в пепел.

«Как это — вернул? Какое свое?!»

«А так! Просто! Я работал! А у меня все мое — стащили! Скопировали! Точь-в-точь! Внаглу! И тогда я... я...»

Ему трудно было кричать: глотка враз охрипла. Выталкивал из себя слова, текла лава, сыпались жгучие камни.

«Я... я... уничтожил...»

Старик опять вытянул узловатый дрожащий палец. Палец раскаленной спицей протыкал грудь Марка.

«Ты! Его убил! Ты сядешь в тюрьму!»

Марк кричал. Важно было кричать. Не останавливаться.

«Я сжег! Сжег! Все холсты! Те! Чужие! Что украли! У меня! Да! Сжег! Все, до нитки! До щепки последнего подрамника! Все! За сараями! На снегу! На задах дворов! Там, далеко... — Сморщил лоб. Все лицо кривилось, корежилось отвратной судорогой. — В том городишке! Где жил мой вор! Далеко! В Сибири! На реке... Лене...»

Набрал в грудь воздуху. Старик опустил корявую руку. Теперь он просто смотрел на него.

«Он предал меня! И я...»

Старик глядел.

«Я забыл его имя!»

Полотенце лежало у ног старика, обращалось в маслянистый, резко и больно сверкающий атлас. По атласу тускло и ярко сверкали, выпускали наружу лучи краденые самоцветы. Камни, что жили в земных недрах, тешили людей. Развлекали. Люди в зале толпились вокруг старика и Марка. Они ужасались и развлекались. Цирк не кончался. Надо было его кончать.

«Забыл! И не вспомню никогда! И не вспомнит никто! Потому что воров не помнят! А помнят, венчают на царство — только нас! Настоящих! Подлинных!»

Осмелился. Все-таки выкрикнул это.

«Нас! Гениев!»

И тут все загудели. Заурчали, завизжали. Все впали в истерику. Летели порванные ожерелья. Рассыпались по паркету жемчуга. Рвал уши дикий свист. Кое-кто кого-то бил, быть может, сильный слабого. Люстры ярко пылали, но люди зажгли свечи и несли их в руках, тащили, грудили огни, высоко вздымали их над головами, будто хотели как можно ярче осветить оболганные, странные картины, в безжалостном свете

понять, что в них подлинное, а что поддельное. Кто-то крикнул: «Имитатор!» Кто-то вторил ему: «Поганец!» Дама в голубом норковом боа томно откинула кудрявую золотую голову, шептала на ухо ухажеру: «Я его знаю. Это еще тот делец. Он у меня украл...» Не договорила что. Толпа вспыхнула криками, визгами. Старик шагнул к Марку. Размахнулся. Пошечина прозвучала громко, звонко и оказалась тяжелой и постыдной. Тяжело, больно ударил человек человека по лицу. И тот, кто говорил правду, устоял на ногах, а вор пошатнулся.

Не упасть. Уже валюсь! Как плохо, пошло. Камеры снимают. Это скандал. За скандал дорого платят! Кому? Герою? Или тому, кто из скандала готовит лангет, антрекот? Удержаться. Не могу! Никто руки не подаст. Никто в толпе и никому, и никогда руки не подаст! Ты разве не знал? Я знал все. Ты врешь!

Марк падал неловко, тяжело, и старик тяжело глядел на него, глаза его плыли двумя черными мальками на мелководье, они плохо уже видели, его глаза, но они видели вора, и подлеца, и вруна, и наглеца, и еще много всяких имен жизнь могла присвоить Марку, а старик стоял над ним кривоногим судьей, чуть согнув ноги в коленях, ноги наездника, и Марк снизу, уже лежа на полу, увидел: старик раскос, степное у него, дикое лицо, седые патлы висят вдоль щек, а лысину, должно, под снегом и ветром прикрывает островерхая меховая шапка, а носки сапог весело загнуты кверху, и тулуп подпоясан кушаком, и, может, он прискакал в Москву на лошади, на малорослой степной лошадке, ее же снег не сечет, ветер не бьет. Старик отпустил на волю двух рыб своих полуслепых глаз, много красок на веку видали эти глаза, много людей, да такого вора, как Марк, видали впервые. Марк валялся на полу, а этот старик, наглый степняк, сейчас уйдет. Старик плюнул на паркет рядом с Марком, пригладил седенькие жалкие патлы и медленно, кривоного пошагал к выходу из зала. Сорванный с башки тюрбан валялся на полу.

С мольберта на несчастного, на паркете распластанного вора глядела, бешено косилась блестящими глазами женщина: кровать, взбитые подушки, ноги расставлены, живот восстает громадным сугробом — рожает; а рядом, на атласе кресла — корона: царица. Повитухи крутятся возле родильного ложа! Друг дружку с ног сбивают! Неприлично, нагло, без стыда торчат разведенные в стороны круглые, мощные колени. Одеяло откинута. Из живота лезет ребенок. Он лезет в жизнь, и этот кровавый путь, сквозь темноту и сочленения костей, тягостен и ужасен. Плод рвется в жизнь, и, может, он не доползет. Умрет.

Уж лучше бы я умер, чем такое.

Уж лучше бы ты умер!

Марк пытался встать. Старик уходил вон. Он уходил не из зала — из жизни Марка, и жизнь Марка теперь не стоила ломаного гроша. Люди еще кричали и шептались, но утихал гомон, и меж господ сновали слуги со щетками в руках, подметали осколки. Царица, в родах, напрягала живот, тужилась. Повитухи на холсте стояли с белыми, как метель, пеленками в толстых добрых руках. Выгибался потолок терема. Расшитое золотой ниткой одеяло валилось на пол. Голый безумный, горою, живот, голые белые ноги царицы, ее высокая грудь под задранной белой рубахой надвигались с холста на народ. Народ пятился. Перед народом являлась жизнь: она давно умерла, а на холсте она еще не родилась.

Старик толкнул кулаком дверь. Его шаги раздавались на мраморной лестнице. Ему позволили уйти.

Изловите его! Свяжите, пытайте! Он оболгал меня!

Он правду обо мне сказал.

Марка подняли за ноги и под мышки перенесли на пуфик. Брызгали ему в лицо водой. От бархатного пиджака смертельно пахло скипидаром. Боже, как обидели худож-

ника! Гениального мастера! Он же бессмертен! А этот старикашка, кто он такой?! Послать за ним, пока далеко не ушел! Схватить его! Допросить! Есть люди, они разберутся!

Марку вытерли мокрое лицо его кружевным, из нагрудного кармана выдернутым платком.

Не надо, не хватайте его, не мучьте.

Почему?! как раз надо схватить! Он же вас так очернил! Просто пригвоздил! Он вас, простите, просто распял! Распятый художник — это же поразительно, это же просто чудовищно! Он — вас — грязью поливал! Негодяй! Нет, послать, послать за ним! Хватайте его, он не успеет убежать!

Марк весь подался вперед, выпятил грудь. Оперся локтями о пуфик, пытался встать. Пытался крикнуть, но голос не сразу повиновался ему. Трудно было вымолвить то, что он он хотел сказать.

Пожалуйста. Прошу вас. Не трогайте его.

Да кто он такой, что вы так его защищаете?! кто?!

Марк закрыл глаза.

«Это мой отец». <...>

## СОСЕДИ

### ХОСПИС

По всему коридору медной ладьей плыло биение часов: девять... десять... одиннадцать... двенадцать... — и в открытой двери палаты, как под крышкой кастрюли, клоко-тал, задышался кипящий кашель.

Надсадно, надрывно, будто в последний раз, кашляла женщина, жадно ловила ртом воздух.

А может, и правда в последний раз.

Коридор пуст. Никто не спешил утишить одинокий кашель.

Поздний час. Слишком чисто вокруг, все блестит. Намыто, надраено. Или так кажется?

Ночью всегда все не так, как днем. Все — кажется.

Каморка кажется дворцом. Дворец — халупой.

Смирно висящая на стене икона кажется грозным, с тучами и золотыми молниями, окном в небесное безумие.

Женщина идет по коридору к женщине. Живая женщина — к умирающей.

Живая — главная здесь. Она раздает команды. Устала их раздавать.

Главный врач хосписа, ответственная за смерти.

За смерть.

Тучей за ней клубится, летит ее родная мошкара: медсестры, медбратья.

Они летят за тобою в твоём воображении, Заряна. Они тебе мнятся, снятся.

А по-настоящему ты одна ночью идешь по коридору, и тело твоё, грузное, мощное, переваливают с боку на бок твои ноги-лапы, огромные, крепкие, как у мужика-дровосека. Иди, иди. Она кашляет слишком уж страшно.

Заряна вошла в палату, когда старая женщина, с белыми волосами, будто вьюгой обхвачен выпуклый, медно горящий под белизной лоб, выгнувшись на койке коромыслом, вертела головой по подушке туда-сюда. Будто хотела просверлить подушку мокрым горячим затылком.

Старуха чуть, узкой щелкой, приоткрыла глаза, приподняла железные веки и увидела другую женщину. Другая смутно белела в палате без света. Медленно двигалась от двери к ней.

— Прочь, — прохрипела лежащая, — уйди, сволочь... я не хочу тебя... не надо... не на...

Сволочь-смерть, пронеслись в ее мозгу последние слова, это за тобой сволочь-смерть пришла, а ты не хочешь с ней. Ты еще хочешь здесь. Вот тут. Кашлять и задышаться. Но — не уйти.

Рано еще уходить! сегодня — рано! не хочу! не буду! не...

Лежит голая, сдернула с себя все до нитки. И как ухитрилась стащить? Халат валяется на полу. Трусы в ногах. Ноги худые, а живот толстый и отвисший. Когда-то был красивый. Художники ее голую писали. Вены на руках веревками вздуваются.

Белая женщина подошла к голой. Положила ей руку на лоб.

Губы белой шевелились.

Молитву читала? Успокаивала? А надо ли?

«Пока мы живы, мы успокаиваем себя. И друг друга. Что этого никогда не случится. Что это произойдет со всеми, но не с тобой. Не с тобой. Нет: с тобой, но не со мной!»

Голая разлепила веки. Смотрела на белую, и зрачки плавали.

— Сгинь, — отчетливо, вполголоса выдавила.

Белая отняла руку от влажного скользкого лба. Все сморщенное лицо лежащей старухи почудилось белой женщине громадной, покрытой зеркальной слизью улиткой.

Она хотела выбросить ответное слово из сжатых зубов — и не смогла. Слова кончились.

Люди вообще мало говорят. Особенно когда приходит ЭТО.

Она, почему смерть — она? А как у других народов?

Смерть, память. Мать. Все очень близко, не разлепишь.

Белая села на край кровати. Взяла седую голову старухи в ладони, и голова тянула руки вниз, оттягивала, страшно тяжелая, дрожащая. Тихо, ты ее потревожишь. ЕЕ?

Ясно. Все ясно. Яснее некуда.

Ты же не первый раз видишь ЭТО. Зачем же ты плачешь?

Влага, мелкая, как древние дикие монетки, забытые, раскопанные в гробницах, в заросших бурьяном курганах, по-древнему, обычно и просто, страшно катилась по морщинистым щекам. Сама-то старуха уже. А туда же. Царить хочешь.

Уйти, уйти давно пора. Уйти отсюда.

ОТСЮДА?!

Нет. Не сейчас. Не сейчас!

«Я должна проводить. Всех — должна. Но эту!»

Она подумала о лежащей цинично — «эта», как о пленнице дров, как о доске, о бревне.

Вещь. Человек — вещь в руках более Сильного. Сильный наиграется и бросит. И разобьешься. И все полетит в стороны, прахом и осколками: мечты, воля, дела, предметы, что старательно, потея, наработал; поцелуи, ссоры, дети.

Дети?!

Лежащая странно, угловато приподнялась на койке на локтях. Локти скользили, не могли хорошо упереться в матрац.

Белая, грузная, неловко, медленно натянула на голую холодную сырую простыню.

— Ты...

Молчание забило горло серой ватой.

Седая женщина под простыней угловато подняла колени-кочерги, и простыня приподнялась белой пирамидой. Повела головой вбок, и голова неуклюже скатилась с подушки. Тяжелая стриженная кегля. Здесь всех, кто пожелает того, стригли; раз в месяц.

Иногда те, кого стригли, плакали: последняя стрижка.

Лежащая под простыней попыталась поднять голову. Голова старалась заполнить на подушку. У нее это не получалось. Тогда белая взяла голову голой и нежно, бережно положила ее в теплую пуховую ямину; и голова успокоилась, затихла, и глаза закрылись, веки чуть дрогнули.

Белая глядела на голую, и к горлу подкатывала тошнота.

Это был не каприз кишок. Не физиология. Ее мутило сначала от ясного сознания, а потом и от бессловесного чувствования того, что тут совершалось бесповоротно, навек.

У голой еще раз дрогнули веки, и она опять открыла глаза.

Глаза внезапно стали огромными, страшными, стремительно полетели, укрупняясь, впереди далекого лица, и так близко оказались с лицом белой, что она отшатнулась.

— Ты пришла...

Из горла голой старухи вырвался странный клекот, будто рвали жесткую плотную простыню на лоскуты, мощными руками, зубами. И хрустела ткань.

Голая попыталась выпростать из-под простыни руки. Руки уже стали такими дикими, слабыми, они прятались вдоль тела, по бокам, как звери в кустах, как змеи за камнями. Они понимали, что спрятались навек.

А глаза все летели впереди лица, и все увеличивались, и все расширялись.

Все страшнее и страшнее.

Белая встала с койки и отошла на шаг. Еще на шаг.

Она понимала, что никуда не убежит. Что ей суждено стоять возле этой койки всю оставшуюся ей, всю сужденную жизнь.

И страшно ей стало.

Она не захотела такой жизни.

Да ее никто не спросил.

Все вышло, как вышло.

«Что-то надо сделать сейчас. Что-то надо быстро, немедленно сделать».

И она быстро, мгновенно, будто ноги подломились и она упала, встала перед койкой на колени.

По простыне к ней поползли угрюмые руки. Смуглые, с обвисшей, сморщенной, как выжатая мокрая тряпка, кожей, темные на бязевой белизне.

И белая протянула по простыне руки.

Руки медленно двигались навстречу друг другу.

Проходили минуты, года и века.

Наконец руки встретились. Белая дернулась, как от ожога. Голая содрогнулась под простыней. Губы ее разлепились сырой, безжалостно смятой глиной.

— Ты... все-таки...

Она хотела сказать: «пришла за мной», но не смогла, зубы блеснули за раскрытым в полуулыбке-полуплаче темным, запекшимся ртом.

Белая накрыла руками руки голой и крепко, горячо, больно стиснула их.

Так стояла на коленях, как в церкви перед иконой. Колени болели.

На койке в отдельной палате хосписа, ночью, как это обычно и бывает у людей и зверей и всего живого, страхась и проклиная, теряя сознание и снова на миг обретая его, умирала ее мать.

Русудан Мироновна всегда считала себя красивой. Даже слишком красивой. Таки-ми красивыми люди просто не могли быть. А вот она такую родилась. С юных лет она любовалась собою в зеркале, поворачивалась перед зеркалом, разглядывала себя и анфас, и сбоку и, беря в ладонь маленькое зеркальце, исхитрялась увидеть свою спину



и затылок — с толстой и пушистой черной косой, с узкими прямыми плечами, а шея такая длинная у нее была, что бус не хватало ее обкрутить.

Ее красоту не понимали никакие люди, среди которых она жила свою жизнь.

В нее, теряя голову, влюблялись, она посещала мастерские художников, и художники писали ее с натуры, нагуло, и она тихо гордилась этим: вот она как Венера перед зеркалом или Даная под золотым дождем; и однажды она, как ни берегла себя, все же поддалась напору чужой страсти; мужчина, получив свое, не женился на ней, а на диво быстро и трусливо убежал от своего красивого счастья; Русудан, обнаружив живот, не вытравила плод, благополучно родила. Хорошенькую девочку; и думала — красавицу, в себя.

Но иная кровь коварно проникла в ее кровь, зародив в ней чужое печальное уродство: не просвечивало никакого изящества в бедной девочке, она уже с детства набирала вес, росла смешной и грузной, как тюлень, топала могучими ногами, шлепала по воздуху руками-ластами. Русудан приходила в отчаяние. Она орала дочери: «Не жри так много!» Била ее по щекам, когда дочь лезла в буфет за сладостями. Била по рукам, когда за праздничным столом руки Заряны тянулись к лишней ложке салата, к зефиру в хрустальной вазе. Выгоняла ее по утрам во двор — обливаться холодной водой из ведра. Заряна, в нищенском купальнике, оставив глаза в землю, выходила во двор, вставала к песочнице, и весь дом преникал к окнам, наблюдая, как несчастная толстая девчонка, покрываясь на ветру гусиной кожей, выливает на себя ведро ледяной воды: «Олимпийские игры начались!» Сажала дочь на хлеб и воду, на одну зелень, как корову или козу. Все напрасно. Тюлень оставался тюленем. Жир никуда не исчезал. Мать больно щипала дочь за ягодицу и шипела: «Срезать бы к чертям этот жуткий окорок! И закоптить!» Соседские дети дразнили девчонку тушей и баржей. Какие там мальчишки! В институт бы поступила. «Мозги-то хоть у тебя есть?! Есть?! Жиром не заплыли?!» Толстуха училась хорошо, сцепив зубы. Сдала экзамены в медицинский. «Я стану врачом и сама себя вылечу!»

Русудан Мироновна так и не вышла замуж. Она старела и злилась. Зеркало безжалостно отражало бесповоротный путь. Волосы седели, вываливались из пучка. Ресницы выпадали. Тени для век с золотыми блестками и ягодная иностранная помада помогали все хуже. Зло сгущалось в ней, лилось наружу черной липкой смолой. Дочери она не давала шагу шагнуть. Она так и норовила ее обидеть. Унизить. Растоптать. Ей доставляло неслыханное удовольствие крикнуть ей, усталой, вымотанной пациентами в край: «Погляди на свою рожу в зеркало, жаба! Краше в гроб кладут!» Заряна нахально раздевалась на глазах у матери и, голая, направлялась в душ. И целый час стояла под душем, глотая воду, глотая слезы. А потом выходила из ванной, распаренная и мрачная, и пила на ночь пустой чай.

Ты зачем, зачем брызгаешь душем на пол?! и не подтираешь потом! Носом тебя, носом в грязь твою, как паршивого котенка! Ты зачем часами болтаешь по телефону?! Что, богатая такая, за телефон платить?! И за свет, жжешь свет недаром, какие жировки приходят, уму непостижимо! Ты что думаешь, мы дети Рокфеллеров?! Ах, ты ничего не думаешь?! А надо думать! Значит, ты безмозглая скотина! Да ты вообще скотина! Ты только жрешь и пьешь! Ах, ты врач?! Врач, подумайте-ка! Какой ты врач! Так, врачиска! Подвизаешься, суетишься около медицины! Где уж тебе стать врачом! Настоящих-то врачей — я видала. А ты — никогда! Сейчас не на врачей учат, а на рвачей! Профанация вся нынешняя медицина! Только бы деньги с больного содрать! Только бы выгоду свою поиметь! А остальное вас не касается! Вам на больного плевать! Вы его — с радостью — уморите! Да, да, вы ваших больных, врачи-уроды, пачками отправляете на тот свет! А безропотный больной — он что?! Он даже вякнуть не смеет!

Когда в их городе открыли первый хоспис и Заряну назначили его главным врачом, Русудан Мироновна как с цепи сорвалась. Она орала так, что слышали все соседи и вся улица: лето, жара, окна настежь раскрыты, и басовитый, хриплый голос стареющей скандальной дамы вылетает на улицу, как огнедышащий змей. Ах ты, сволочь! Ах ты, дрянь! Пролезла все-таки! В начальницы подалась! Чем место это купила, а?! А ну-ка признавайся! Передком или задком?! А впрочем, у тебя что передок, что задок, разницы нету! Есть, есть там и у вас в горздраве такие мужички, извращенцы, что жирненькие окорочка любят, наяривают, и с нашим удовольствием! А ты и рада стараться! Услужила! Знала, дрянь, за что стараешься! Местечко — заслужила! Честно отработала! Ну, ну, и что же ты теперь будешь делать, а?! Над смертью — начальница, а! Видали ее такую! Мало ей жизнями распорядиться, так она смертями владеть захотела! Наглая какая! Смотрит на мать и не краснеет! Хоть словцо в свое оправдание выдала! Зубы сжала — и как немая! Мимо матери зырит! Это так она, значит, мать презирает! Люди, вы видели когда-нибудь, чтобы дочь так презирала свою мать?!

Русудан Мироновна набрала в грудь побольше воздуха и выдохнула уж совсем непотребное, сама от себя такого никак не ожидала: хоть бы ты там, сволочь ты редкая, в этом своем новоявленном хосписе, сама взяла да померла, что ли!

Заряна закрыла рот ладонью. И так смотрела на мать.

А мать осовело глядела на дочь.

И так они друг на дружку глядели и молчали.

Утихли крики. Утихло все: шторы, качаемые жарким сквозняком, и шорох листвы, и возгласы прохожих за окном, смолкли гудки трамваев и машин, замерло, застыло все, что двигалось, дрожало, говорило и пело. Мать вслух пожелала, чтобы дочь умерла. И мир напряженно прислушивался к дрожи воздуха после звучания этих слов.

Как часто люди желают друг другу смерти! Да, часто. Они только тщательно скрывают это. В ответ на обиду; в ответ на причиненную сильную боль. В ответ на пощечину, живую или словесную. Словом можно воскресить, а можно и казнить; древние народы знали это, и часто противники убивали друг друга не на ристалище, а ядовитой, гадкой клеветой. Но есть вещи пострашнее клеветы и наговоров. Страшнее наглого, в лицо, жестокого вранья. Это когда родной человек желает смерти родному человеку. Дочь заливается слезами и сжимает кулаки, глядя на мать: ах, чтоб ты сдохла! сдохла! меня от себя освободила! — а мать в это время, руки в боки, вопит: ты, гадина, шалава, дешевая подстилка, я отравлю твоего хахаля, пьяницу, в вино ему крысиный яд подсыплю! А всего-то греха у дочери было — сидели с мальчишкой на лавке во дворе, из бумажного стаканчика ркацителю пили. И нежно за руки держались. И даже не целовались.

Ах, чтоб ты сдохла... сдохла... чтобы ты умерла...

Господи, Ты есть, — сколько же на небесах ты горьких, страшных исповедей услышал — о том, что пожелал я смерти брату своему, что вот пожелала я мучительной смерти матери своей! Бедная моя мать! Да, она била меня. Да, измывалась надо мной! Но ведь в ней и во мне одна кровь. Одна красная река в нас течет. Один огонь мы внутри носим. И передадим его детям нашим, внукам. Тогда зачем я ей смерти желаю? Так ли велика обида моя? А ведь велика, если я родному существу смерти хочу! Неизбывна! Ничем ее не залечу. Рваная рана! И болит, и кровит. Зашивали уж! А нитка рвется! И кровь опять течет! И горит рана моя огнем. Не заживет никогда!

Никогда? А может, завтра?

А может, через минутку?

Люди, чтобы умер тот, кого возненавидели они, лепят фигурку из глины или вырезают из бумаги, и прокалывают ей сердце иголкой, и режут ножами, и бормочут над

нею колдовские заклинания. Смех, детский сад? А если от такого укола иглой в смешную игрушку тот, кого ненавидят, и правда умрет?

Услышав пожелание смерти себе из уст матери своей и постояв так с минуту, с приклеенной ко рту ладонью, Заряна тихо оделась и, не говоря ни слова, ушла из дома.

Целый день она бродила по городу. В хоспис к себе не пошла. Пусть оборвут телефоны. Пусть разыскивают ее с собаками. Ее сегодня нет, просто нет для мира живых.

Она все всем объяснит завтра. А сегодня не надо. Сегодня надо просто молчать. И не жить. Слоняться, ходить, переставлять мертвые ноги мертвого тела. Мертвые сраму не имут, и она тоже. Она сегодня мертвец. Ее мать пожелала ей смерти. Наконец-то.

Хоть на один день, но умереть, выходит, так надо.

Когда Заряна вернулась домой, дом встретил ее молчанием и холодом.

Дом был пуст. Мать исчезла.

Ни записки. Ни собранных вещей. Чемоданы на месте. А, сумочки материной нет. С паспортом и деньгами.

Заряна села на диван. Он страдально зазвенел всеми ржавыми пружинами под тяжестью ее слоновьего тела.

Ничего, погуляет и вернется. Как я. Я же вернулась.

Пришел черный вечер, потом ночь; мать не вернулась.

Заряна уснула на скрипучем диване одетая.

В шесть утра оглушительно зазвенел будильник.

Заряна привскочила и долго соображала, где она и что с ней.

Все поняла, вспомнила. Матери не было. Телефоны молчали.

Она встала, умылась, оделась, выпила чашку кофе без сахара и пошла в хоспис.

Вошла в свой настоящий дом.

Коридор и палаты — обычный коридор; обычные палаты; как в любой другой больнице.

Она шла по коридору, тяжело наступая на чисто вымытый нянечками линолеум толстыми, в три обхвата, ногами. Медленный, тяжкий, мерный шаг. Будто статуя сошла с пьедестала и идет. Тяжко движется.

Мертвая статуя, и вот ожила, и вот идет.

Где-то, за стенами хосписа, идет жизнь. А здесь умирают.

Сюда приходят только умирать.

Лишь умирать, больше ничего.

А больше ничего в жизни и нет; жизнь — это дорога в смерть, и когда это понимаешь, душа плачет, а мысли текут спокойно и горько. Утекают в никуда.

Смерть, никуда и ничто.

И, главное, никогда.

Заряна тяжело переступала по коридору слоновьими ногами, переваливалась с боку на бок, неся свое угрюмое, необъятное тело скорбно и горестно, обреченно; иной раз ей надоедало его таскать на себе, на своих слабых костях, и тогда она шептала: ну хоть бы сдохнуть поскорее, что ли. Так она сама желала себе смерти, и осекалась, и жмурилась, и у Господа, в которого верила смутно и слабо, просила невнятного, нежного и робкого прощения.

Она нажала рукой на ручку двери. Открылась дверь в палату. Тут лежали две женщины — молодая и старая. У кровати молодой сидела беременная на сносях, ее высокий живот дышал, двигался и плясал. Брюхатая держала руку молодой и наигранно-весело глядела в худое, иссиня-бледное лицо на подушке, на круглую лысую голову.

— Лапочка, ты только не переживай, — чирикала воробьем брюхатая, — мы тебя сюда заложили не для того, чтобы... Ну, одним словом, не для... Ой! Заряна Григорь-

евна! — Вскочила. Живот колыхнулся и замер. — Нам сегодня лучше! Правда, лучше! Мы, глядишь, скоро выпишемся отсюда! В обычную больницу!

Заряна обняла лысую глазами. Рак позвоночника четвертой стадии. Борьтсья не можем, бессмысленно. Боль уничтожаем наркотиками. Скоро конец. Брюхатая, совсем еще девчонка, судя по всему, ее сестра.

— Посидите еще немного и... Процедуры, уколы. А вам, — кинула взгляд на шевелящийся живот, — созерцать это не полезно.

— Я сейчас, — щебетала брюхатая, — я еще немножко...

Заряна подошла к другой койке. Старая больная поглядела на нее ясно и строго. Ее глаза знали всю правду и правду говорили. Они говорили: я скоро умру. И утешать меня не надо.

Заряна наклонилась к умирающей.

— Вы знаете, — она взяла костлявую, легкую старую руку, — я очень боюсь смерти. Да, так, вот так, все называть своими именами. Говорить правду вслух.

Больная тихо улыбнулась. Углы ее губ приподнялись и застыли.

Улыбка впечаталась в ее рот намертво. К посылке в небо — почтовый сургуч.

— Да что вы говорите? — Голос звучал насмешливо и нежно. — Я тоже.

— Видите как, — Заряна покраснела, ей стыдно было своего здоровья и тяжелого грузного тела, — мы с вами боимся одного и того же.

Больная заправила седую прядь за ухо. Другой рукой слабо пожимала руку Заряны.

— Я, наверное, боюсь не того, чего боитесь вы. Я боюсь, что я... не готова. А это ведь большая тайна. Она... — морщинистый, обвислый подбородок задрожал, — священна.

— Да, — кивнула Заряна, — священна.

Оглянулась, будто ее подслушивали. Ей показалось, в палату вошел человек, неслышный и невидимый. Не человек, а марево, и просвечен насквозь пучками солнечных лучей из немытого окна.

«Окна вымыть. Приказать волонтерам».

— Мне страшно, — беззвучно, губами, произнесла седая женщина.

Теперь уже Заряна сказала:

— Мне тоже.

Склонилась и нежно, осторожно коснулась губами тощей, в набухших венах, руки больной: кости просвечивали сквозь истонченную кожу.

Она целовала живую руку, как целуют икону.

Поцеловала, прикоснулась лбом, потом снова прижалась к руке губами.

И только потом выпрямилась.

Выйти из палаты. Прикрыть глаза. Не дать вылиться слезам. И так каждый раз. Это каждый раз здесь. Невозможно удержаться.

«Зачем я пожелала матери умереть? Вот она пошла и умерла. Ушла из дома и умерла где-нибудь на вокзале. Или под мостом. Или на скамейке, на остановке. Смерть — остановка! Туда все приходят, чтобы — уехать. И чемодан с собой в дорогу не берут. Незачем. Вещи там, куда едут, не нужны. Ты сам там будешь вещь. Косная материя. Кости, мощи. Что я вру себе. Мощи — это у святых. А никто не святой!»

Вдруг прошиб стыдный пот, изумление обняло ее и затрясло: и даже святые — не святые, они все были когда-то грешниками, вот она знает, Мария Египетская блудница была, и император Константин, сын царицы Елены, убийца, сколько народу перебил в боях и казнил на площадях, а потом вдруг он — да и святой. Почему?! Разве достаточно уверовать, чтобы превратиться в святого — и умереть с честью, со славой?

«Господи, что я несу. Прости, Господи. Я не святая, да. И никогда в нее не превращусь. Тем более моя мать беглая, несчастная, не превратится. Она меня по щекам била! И ремнем, вперехлест! Вера, вера... Значит, веруй, всего лишь, и будет тебе сча-

стье?! Да, сейчас! Разбежались! Сколько здесь у нас... истинно верующих... умирает в безвестии, в слезах... страдает страшно... забытые, брошенные... всеми, и родными тоже... И — в муках умирают, в душевных муках... твердят: мы грешники, грешники насквозь, нам страшно, страшно... А я их успокаиваю. И онкологи успокаивают. И терапевт наш, Леша Сеницын, с вечным фонендоскопом на груди, как с серебряным ожерельем, мотается по палатам, гладит их, бедняжек, по мокрым щекам, утешительно шепчет: вы хорошие, хорошие, и вам там будет хорошо, тихо и спокойно, вы как будто уснете, ну что вы боитесь!»

Коридор вспыхивал, стены качались, пол кренился и выпрямлялся опять. Может, это высокое давление. Надо каптоприл под язык. И все пройдет.

«Три к носу, и все пройдет. Так ребятня шутила в детстве, во дворе. А мне кричали: тюлень, жирный тюлень, как жрать тебе не лень!»

Отворила дверь другой палаты. Здесь лежали мужики. Эх, мужики, кончается ваша жизньешка. Четверо мужиков, один из них доктор. Собрат. Иногда его навещает тоже доктор; лысенький такой, и умирающий таким красивым именем называет его, Господи, она забыла, а, вспомнила, Матвей Филиппыч. Она еще спросила больного: а ваша родня какой доктор? терапевт? или узкий специалист? Он мне не родня, ответил больной, просто мы старые друзья, вместе учились, а так он хирург, хирург от Бога, лучше у нас в городе нет хирургов, я не знаю, работает он сейчас или уже нет, знаю только, тысячи жизней спас. Матвей Филиппыч приносит больному доктору сетку апельсинов. Всегда — сетку отборных, сияющих, тяжелых апельсинов. Кладет на пол, под койку и на полу, когда уходит, забывает. Нянечка ругается, вытаскивает из-под койки апельсины, моет под краном и раскладывает на тумбочке.

— Товарищи-господа-друзья-мужчины, здравия желаю!

Нарочный бодрый голос; как в армии; зачем она с ними сегодня так?

Надо, как всегда: тихо, просто, печально. Смерть не любит площадных увеселений.

— Здравия желаем, товарищ военврач!

— Какой я военврач?

Уже смеется.

— А как же! На войне как на войне! Вы-то с нами тут замучились! Не хуже, чем на поле боя! Нас на себе... в смерть... перетаскиваете... на своей спине...

Смерть — ее собственным именем называют. Прямо в лицо. Не страшатся.

Заряна села на ближнюю койку, и панцирная сетка глубоко, почти до полу, прогнулась под ней. Тот, кто умирал на койке, ахнул.

— Граждане, все, лодка! Поплыли! Перевозчик подвалил!

— Ах, водогребщик... приплыл-таки...

— А мы-то думали — чуть попозже...

— Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Заряна, не понимая, что делает, гладила, гладила руки человека, поправляла одеяло, а человек с подушки, из глубины продавленной железной сетки и тощего матраца глядел на нее, глядел, глядел. Их обоих будто кто-то сильный, насмешливый быстро и ловко опутывал сетью. Не распутать ее. Не выбраться.

— Вы, главное, дышите глубже. Мы все тут с вами. И... — она повторила это в тысячный раз, — не бойтесь. Мы вам никто не мешаем. Мы вам сочувствуем. Мы... понимаем вас. И что с вами происходит. Это будет со всеми нами. Поймите, со всеми!

Она возвысила голос. Человек испуганно, потерянно глядел на нее. На то, как шевелятся ее губы.

— Мы уже ничего не поправим. Не изменим. Знаете, что я вам скажу? Вы должны понять, что такое никогда. И принять. Вы никогда больше не пойдете на рыбалку. Никогда не будете жарить мясо на костре. Никогда не... — она все-таки выговорила

это, — ляжете спать с женой. Никогда, понимаете? Ваше вчера, оно ушло. Убежало. Ведь молоко с плиты убегает! Завтра... Оно у вас, может, еще будет. А может, уже не будет. У вас есть сегодня. Сейчас. И сейчас вы живы. Ваше сейчас — это... это... ваше всегда.

Человек вздохнул. Седой пух на его голове встал дыбом.

— Что вы мне все врете тут, доктор.

Заряна тяжело вздохнула. Больше ничего не сказала; опять гладила, легко и судорожно поглаживала чужие плечи, руки.

Потом встала с койки. Огляделась. Все мужчины пристально и настороженно смотрели на нее. Будто она была циркачка и сейчас отколет смертельный номер.

— Все слышали? — Чувствовала себя училкой в классе, где сплошь малышня. — У всех есть только сегодня! Никакого завтра — нет!

Молчали мрачно. Обдумывали эти слова.

У двери койка. Там лежит старик. Он без перерыва трясется. Будто он лежит в рефрижераторе, как мясная туша. Его привезли с обморожением. Дочь, пьяница, раздела его догола и открыла настежь балконную дверь. Снег летел в комнату. Дверь, чтобы он не вышел, приперла комодом. Соседи позвонили им, в хоспис. Заряна поехала на вызов с онкологом и терапевтом. Снаружи богатый дом, балконы отделаны гранитом, мрамором, подъезд малахитом обложен, а дверь открыли — свалкой пахнуло. Переступали через мешки, картофельные очистки, старинные баулы, древние сундуки. Пьяная баба маятником шаталась перед ними. Заряна указала на дверь, припертую комодом: открывай! Дочь крикнула: сами отворяйте! — и показала язык. Врачи отодвинули комод, его ножки провизжали по мраморному полу. В спальне, поперек широкой кровати, на голой клеенке раскинул руки и ноги голый человек. Моча затекла ему по клеенке под спину, под шею, под седые лохмы. Он царапал клеенку длинными звериными ногтями. Бормотал и плакал без слез. Заряна закричала, сходя с ума: жив еще, жив! хватайте, тащите в машину! Онколог Митя Звонарь и терапевт Сеницын подхватили старика, понесли, легкого и уже почти святого, мученика безвинного, вон из квартиры. А дочь стояла в открытых дверях и вопила на весь подъезд: да, да! тащите, тащите окаянного! жизнь мою заел! урод! Он же меня в кладовке запирает, без еды, к двери подходил и ехидно цедил: ну, как ты там, царевна Несмеяна?! что ж не ревешь?! пореви! а я послушаю! Я рыдала, и дверь трясла, и телом выламывала, а толку! На весь дом орала, в стенки пустой бутылкой стучала, бутылку разбила, руки поранила, никто не пришел меня спасти! Погибала! С голоду! А он меня выпустит, как пса, покормит отбросами из псиной миски, да на пол ставил, на пол, чтобы я из той миски — лакала! А пожру — под зад меня ногой пнет! И я растянусь на полу, носом об пол, кровь течет! а он подойдет и ногой меня по морде, по морде! И вы еще спросите, отчего он со мной так?! Да ни отчего! Ненавидел он меня, и все тут! Все кричал мне: твоя мать гуляла, гуляла напропалую, изменяла мне налево и направо, ты не моя дочь, не моя! Приблуда ты собачья! А тут у него сердце прихватило! упал и валяется! ну, я его рассупонила да на сквознячок! на морозец! а чтобы быстрее замерз! И все, дура, соседке разболтала! Уж так радовалась, что поганца этого больше на свете не будет! Соседка, дрянь, меня подпоила, я ей все и выболтала! как батюшке, дура! А соседка — не батюшка! Ей, видишь ли, старика жалко стало! ну она вам и звонить! Только я в больницу к нему не приду, не-е-е-е-ет! Никогда! Никогда!

Они уже к первому этажу подходили, уже парадную дверь отворяли, а пьяная баба все орала. И вот он, тот старик. Оживили его. В чувство привели. Зачем они это сделали? Зачем жизнь, в глазах других живых, обязательно свята? Кто так постановил? Кто так учредил? Почему за жизнь, и только за нее одну, надо так усердно, упрямо

бороться со смертью? Не лучше ли дать смерти волю? Полную свободу? Делай, мол, смерть, что твоей душеньке угодно.

Старик глядел только в потолок. Больше никуда. И мелко, панически трясся. Дрожал, сотрясался; он мерз душой, не телом. Тело — горело. Ему то и дело мерили температуру. Заряна твердила себе: все, конец, это терминальная температура, он из этого жара уже не выберется, скоро начнется Чейн-Стоксово дыхание, и быстро разовьется сердечная недостаточность. Зачем она такая грамотная? Зачем сдавала экзамены, зачеты, где без ошибок выпаливала профессорам, как грамотно надлежит человеку умирать?

Один вопрос не давал ей покоя. Она наклонилась над койкой старика.

— Вы меня слышите?

Трясаясь, он слабо кивнул.

Заряна склонилась ниже.

— Вы... генерал?

Старик глядел белыми, тусклыми глазами.

— Почему вы так мучили вашу дочь? Вы же погубили ее.

«Зачем это я у него перед смертью выпытываю! Я сволочь».

Старик повел головой на подушке.

Заряна склонилась совсем низко над его койкой, придвинула ухо к его впалому рту.

— Я... не генерал... я... ординарец... генерал Карамаз меня очень... любил... у себя... поселил... дочь моя... не моя... жена моя... с генералом... спала... он ей... квартиру отписал... Дочь моя... пьет горькую... это она меня... терзала... истерзала всего... вот... умираю...

Заряна выпрямилась. Мужики в палате прядали ушами. Попытались расслышать, о чем она шепчется со стариком.

Она тихо вышла из палаты, стараясь тише топтать слоновьими своими, тяжелыми ногами.

В третьей палате лежали дети.

Это было страшнее всего.

Дети хотели жить более всех.

И не хотели умирать — сильнее всех.

Слишком заманчивой, вкусной им казалась жизнь, они не успели еще ее распробовать, а ее у них отнимали.

Трое детей. Троица святая. Воистину святая. Еще не успели, не сумели нагрешить.

Три девочки. Вера, Надежда, Любовь и святая их мать София.

Нет, конечно, их звали по-другому, и матери у них были разные, и то только у двух, у третьей никакой матери не было, и никого родных не было, ее привезли из детского дома, запущенная лейкемия, обнаружили слишком поздно. В жизни если что слишком, так это слишком — уже рядом со смертью стоит.

— Ну, как вы тут, родные мои?

«Родные мои. Да, я все правильно говорю».

В ответ — молчание.

Им уже трудно говорить. Они, все трое, уже слишком слабы.

И слишком хорошо знают: все — поздно.

Заряна встала посреди детской палаты и вертела головой, оглядывала детей.

«Господи, какие маленькие. Пять лет, семь и восемь. И таких ангелочков Ты берешь к Себе! Зачем? Разве тебе не хватает Твоих старых ангелов, над бездной Твоей?»

Девочки молча, мрачно созерцали ее; так равнодушно смотрят плохой фильм, скучный телевизор или тасуют равнодушные, сальные, слепые карты.

Одна разлепила губы, вытолкнула из себя с трудом:

— Я уже умираю.

— Нет. — Заряна тяжело шагнула к ее койке. — Ты еще не умираешь. Если ты еще дышишь, еще говоришь — ты живешь. И ты... еще... чувствуешь. Ирочка, Иришенька. — Она поправила на девочке одеяло. — Хочешь поесть? К нам на кухню сегодня привезли настоящую красную рыбу. Форель. Малосольную!

— Форель не хочу, — шелестел голос, — она живая... и плавает... а ее — выловили... и убили...

— Хорошо... хочешь ананас? Резаный, спелый, его жевать легко! Тает во рту!

— Тетя Заряна, — раздался голос с другой кровати, — а Бог в раю тоже ест ананасы? Мне мама сказала — амвросию и нектар! А что, Бог разве тоже голодает, как люди? Он же не человек!

Надо было так ответить, чтобы раз и навсегда все стало им ясно.

— Он — человек, — трудно, тяжело сказала Заряна.

— Как это человек?! — Малышка забила худыми кулачками по одеялу. — Нет! не человек! не человек!

Надо было соглашаться. Та, ближе к окну, старшая здесь, уже плакала, хлюпала носом.

— Хорошо. Да. Не человек. Это я нарочно, для веселья придумала. В виде человека Он иногда приходит к людям.

— И ко мне придет? — плача, еле выговорила старшая.

Заряна наклонила голову. Белая врачебная шапочка сползла ей на лоб.

— Если будешь правильно умирать, — сглотнула горькую слюну, — то и к тебе.

— Подойдите ко мне! пожалуйста...

Заряна подошла, еле перетащила ближе к койке свое необхватное тело.

Смотрела на старшую; хотела радостно, а получалось — слезно.

Старшая девочка, с лейкемией, безволосая голова повязана белым платком, и завязан на шее узлом, так старухи ходят в церковь по праздникам, глазами, тоже всклень налитыми слезами, пытая и спрашивая глазами о чем-то самом важном, и надо успеть спросить, попытаться, через все рыдания и слезы, как через тюремную решетку, тоскливо смотрела на нее.

— А вы... вы мне скажете, когда у меня наступит последний день?

Заряна опешила.

А надо быть готовым к таким вопросам. Всегда.

«Отвечай первое, что в голову придет. Не молчи!»

— Скажу.

— А вы откуда узнаете, когда он придет?

— Я... я-то знаю. Я... у меня...

Она хотела сказать: у меня много таких, как ты, больных тут умирало, но поняла: скажи она так, и девочка отвернется к стене, откажется есть и просто умрет от горя, — и надо было выкручиваться, она, дрожа, вылепляла помертвелыми, холодными губами:

— У меня вот такая же девочка, доченька... как ты... умерла... и я... я знаю.

«Боже! Что я мелю! Я же вру напропалую! Я же гадина, Господи!»

У нее никогда не было никакой дочери. И никакого мужа.

У нее была только злая мать, и она исчезла.

Старшая девочка широко открыла глаза, и слезы живо выкатились из глаз, потекли по иззелена-бледным щекам и затекли под платок.

— Правда? Ваша дочка? Она тоже умерла?

— Да, тоже. Тоже.

— А от чего?



— От... от того же, от чего и ты теперь умираешь.

— А сколько ей было лет?

— Столько же, сколько и тебе... сейчас.

«Господи! Прости меня! Это же святая ложь! Ложь во спасение!»

Девочка глубоко и тяжело вздохнула.

Заряна видела: она перевела дух.

«Все хорошо, Господи, все же хорошо... помоги ей... прошу Тебя...»

— И как она умирала? Ей не было страшно?

— Было. Еще как страшно. Но я была рядом с ней. Вот как сейчас с тобой.

Она подошла к изголовью девочки и протянула руку. Девочка схватила ее руку. Платок у нее под горлом развязался. Сползал на подушку. Голая голова тихо мерцала перегоревшей, мутного стекла, мертвой лампой. Девочка катала голову по подушке. Старалась крепко сжать руку Заряны, а сил не было.

— Но вы ведь сейчас уйдете?

— Да. Уйду.

— Значит, сегодня еще не последний день?

— Нет. Не последний.

— А когда — последний?

— Скоро.

Тут она не могла ей соврать.

Платок белым снегом раскинулся по подушке, и голая голова ребенка лежала на снегу и каталась по снегу, и взблескивали последними слезами глаза, завтра она уже не сможет плакать и говорить не сможет, она сможет только ловить воздух ртом и часто, отчаянно дышать верхушками легких, и никакие капельницы не помогут, никакие внутривенные вливания, они просто продлят ей муки, не жизнь. Где же эта вожденная сладкая смерть? Нежная, чистая, праздничная, как награда за все страдания? Где тот последний целебный укол, и какой врач его делает, отправляя бессмысленного мученика на тот свет, солнечный и счастливый?

Да, как же, солнечный, держи карман шире. Вечная тьма. Молчание.

Во сне живому хоть сны снятся; тут тебе уже ничего не приснится. Ты был, и нет тебя.

«Господи! Ну что бы Тебе прийти к нам ко всем и во всеуслышание, громко, на весь мир, сказать нам всем: там, за смертью, все есть! Все! Там — целый мир! Новая жизнь!»

— Вы мне обязательно скажете?

— Обещаю.

Девочка вздохнула. Призрак улыбки легко мазнул по бледным щекам.

— Я умираю так рано за грехи.

— За какие грехи?

«Господи, напраслину на себя возводит ребенок! Какие грехи у нее! За хвост кота таскала...»

— У меня дедушка людей расстреливал. Много очень расстрелял. Сюда, в больницу, святой отец приходил. Ну, в рясе. Нас всех исповедовал. И сладким вином поил. А до этого много всего расспрашивал. Про то, как жили наши семьи. Ну мы ему все и объясняли. Кто что плохого у нас сделал. У меня вот дед людей казнил. А вон у нее, — кивнула на соседнюю койку, — отец вообще убил ее мать. Мать у нее играла на гитаре и пела! Артистка. Отец женился на другой. Она с мачехой выросла. Он опять нагрешил, мачеху однажды избил до крови, и она его опять в тюрьму посадила. Он и сейчас в тюрьме сидит. А Маринка здесь вот умирает. Маринка! эй, Маринка!

Третья девочка молчала. Лежала себе и лежала.

Будто ничего не слышала.

Будто не здесь пребывала.

«Верующие истинно — в вечную жизнь за гробом — верят. А я? Почему я ни во что не верю? Потому что я знаю, что человек жесток. Родная мать! Что она всю жизнь делала со мной!»

— Маринка... эй...

Бездвижно лежал ребенок.

— К ней никто не ходит. Она умирает с горя. Она все ждет, что кто-нибудь придет. А никто не идет! Она вчера сказала: вот когда я умру, все ко мне сразу и прибегут.

Заряна подошла к койке Маринки.

— Маринка... Слышишь... ты сегодня как? Позавтракала? Или нет?

Девочка молчала.

— А может, тебе музыку поставить? У меня хорошие записи есть. Ты что больше любишь? Какие песенки? Веселые?

Девочка молчала.

Заряна пошла ва-банк.

— Маринка! Ты скоро умрешь. Уйдешь... на небеса. Может, ты хочешь... что-то свое... ну, самое тебе дорогое... кому-то... завещать? Подружкам... Игрушки! Любимые книжки!

— У нее нет никаких игрушек, — прошептала старшая девочка, завязывая белый платок на лысой голове.

— Мариночка! Я сегодня еще раз позвоню твоей маме. Она придет! Наверняка придет! А может... когда ты увидишь ее... ты возьмешь и выздоровеешь!

Девочка молчала.

Малышка Иришка закрыла лицо ладошками и заплакала.

Горько и громко.

Она плакала от боли.

Заряна вышла в коридор. Громко и хрипло закричала, и голос понесся вдоль по коридору, кипятком затекая под двери, брызгая в оконные стекла:

— Сестра! Быстро! Морфин! В шестую палату!

Лица людей выплывали из мрака. Чернели на белизне. Еще живые, они на глазах Заряны становились святыми и красивыми. Даже уродливые; даже невзрачные. Что просвечивало в них через бугры и выступы плоти? Она не знала этому имени. К Богу она обращалась по общей привычке; потому что все люди всегда к Богу обращались, и она с детства слышала это, даже из уст вечно плюющей ядом матери: «Ах, Господи Боже мой! ах, Боже мой Господи!» Нездешний свет ласкал золотыми ладонями лица, струился из глаз, как слезы, на казенное белье. Мученики. Смертники. Это же как камера смертников. У каждого — одиночная камера. И молча страдают, ждут. Боятся. Сначала боятся; потом отрицают все: вы ошиблись! вы все перепутали! у меня отличные анализы! потом отчаянно восстают, кричат медперсоналу и себе: нет! этого никогда не будет! не хочу! — потом замирают, закрывают глаза и лежат обессиленно, руки вдоль тела. Молчат. Это выдох. Устали. Все поняли. Впадают в оцепенение. В ступор. В полное, лютное безразличие. Не хотят видеть и слышать, что происходит вне их; слушают только, что у них внутри. А внутри — боль и пустота. Пустота.

Тишина. Слишком тихо.

Так внутри тихо — можно оглохнуть.

А потом из неподвижного, ко всему безразличного, твердого как камень лица начинал течь тихий свет.

Будто человек постепенно рождался, воскресал.

Лился из лиц, из-под век нежный свет. Золотой. Лицо преображалось. Новая любовь появлялась в нем. Человек молчал, а лицо его говорило: я все понял, и всех про-

стил, и всех полюбил — заново, крепко. Простите и вы мне, люди, прости мне, милый Бог. Скоро я увижу Тебя.

Не у всех так было. Иные так и костенели в молчаливом покорстве своем.

Заряна уходила вон из палат, а тихие лица в воздухе летели за ней. Она приходила в кабинет, садилась за стол, закрывала ладонями глаза — а лица толпились вокруг, лезли ближе, обхватывали плотно, вспыхивали все жарче и ярче. Нельзя было отбиться от них, отмахнуться. Они висели перед ней и сзади нее плотной золотистой попоной, сверкающей церковной парчой, будто реяли в воздухе празднично одетые батюшки, и, летая, как ангелы, совершали невидимую, неслышимую небесную службу. Вдавливая в пол кресло всей тяжестью своею, она сидела, слепая, и видела лица всех своих умирающих — вот этот вчера плакал горько, а она наклонилась над ним и прижимала его голову к своей громадной, широкой и тяжелой груди, уговаривая, шепотом утешая. Вот эта выгибалась дугой на кровати, ее скручивала судорога сопротивления, неистовой боли, ненависти к миру и к Богу: я так не хотела! а меня туда — насильно волокут! я же никогда не хотела, чтобы так было, и вот это происходит! так будьте же вы все прокляты, все, кто на земле и на небе такую судьбу мне придумал! — а Заряна ловила ее руки, крепко держала, женщина билась в ее руках, потом лежала без сил, пот тек по ее лицу, искусанные губы слабо шевелились. Вот они, плывут на нее и вокруг нее, все эти лица, лица, лица, сто лиц, двести, тысяча, Боже, да это уже и не ее хоспис, это какая-то третья мировая война, ядерный взрыв произошел, развернулся вдали слепящий грибок, и вдалеке, вкось и ввысь полетели люди, их лица оторвались от них и брызнули в разные стороны, полетели над землей и вот прилетели к ней, окружили ее, кричат безмолвно: мы не хотели так! мы не хотели умирать! а нас всех, туда, в огненную яму, скопом! и поодиночке мы тоже не хотим! у нас у всех, у каждого, свой ядерный огонь и своя ядерная зима! зачем вы нам не говорили, что это случится со всеми?! надо было нам это твердить всю жизнь! с утра до вечера! ночью пробуждать и над ухом орать: умрешь! умрешь! а мы-то ничего не знали, не помнили! мы думали, жить будем вечно!

Нет. Никто вечно не живет. Зачем мы, врачи, лечим людей, если они все равно умрут? Потому что мы милосердны? Не более, чем кошка или собака. Священники, в своих церквах, они что-то такое важное знают о смерти. О человеке; о том, как его надо утешить — Богом. Они слуги Бога, и они знают тайные древние слова. От этих слов молоко и мед разливаются по телу и по сердцу. Мир полон тайн. Смерть тоже полна тайн. Заряна, наблюдая свой хоспис каждый день, прекрасно понимала это.

Когда привезли эту больную, Заряна не помнила. И как это произошло, тоже не помнила; она слишком была занята всею своею, на глазах умирающей огромной семьей, чтобы сразу, с ходу обратить любовь и внимание на нового в ней человека; помнила только, как в дверь кабинета всунул голову терапевт Леша Синицын, бормотнул невнятно: «Заряна Григорьевна, там умирающую привезли! загляните! в первую палату ее положили! ну да, на место Ариадны Смолокуровой, освободилось же! я пока назначил питательную капельницу, панангин там, для сердца, глюкоза!» Она подумала: как просто, место освободилось. Это значит — Ариадна умерла. Сегодня ночью, пока она, главный врач, мирно почивала дома, в теплой постельке. А может, Смолокурова тоже мирно спала. Нет. Не мирно. Умирающие, даже если агония началась, и на чужой взгляд они — уже без сознания, на самом-то деле все видят, слышат и сознают. Просто за сознание, за усталый мозг у них внутри работает душа. Непонятная материя; вернее, нечто бесплотное, не поддающееся ни описанию, ни ощупыванию, ни убийству.

«Неужели душа — бессмертна? Неужели это и правда так?»

Заряна кивнула Синицыну: да, подойду, сейчас.

Аккуратно перебрала и сложила бумаги на столе и тяжело, отдуваясь, пошлепала в первую палату.

Первой, всегда быть первой, бессмысленно повторяла она себе, пока шла, а ты всегда была последней, но вот тут, при смерти, при ее костяном троне, ты почему-то стала первой, так распорядилась судьба, не ты сама.

Она увидела эту женщину издали, еще от стеклянной двери. Умиравшая спала. Раскинула руки, будто хотела обнять кого-то. Седой развевшийся пучок смешно, ободранной курицей, восседал на ее затылке, как живой; из пучка на подушку повыпали шпильки. Обвислая кожа собралась в мятые, жатые складки под остреньким подбородком, стекала по шее оплавленным живым воском. Она вся была еще живая, и грудь дышала, укрытая крахмальной простыней.

Пока Заряна, уткой переваливаясь с боку на бок, тяжело подтаскивала тело к ее кровати, она ее узнала.

Ее мать лежала перед ней и спала.

Еще лежала на земле. Еще спала, живая.

Когда Русудан Мироновна проснулась, она увидела рядом с собой толстое тело и широкое, как сковорода, лицо. Обрюзглые щеки, жирные складки подбородка. Вертикальные морщины прорезали углы скорбного рта. Женщина, сидящая перед ней, была еще не старая, но выглядела как старуха. Точно старше ее, писаной красавицы! Она и в своем возрасте красотка еще хоть куда! А эта... эта... Кто такая эта? Имя вертелось на языке, но она не могла вымолвить его. В память вбили клин. И проткнули в ней, в памяти, важный и крупный сосуд. Вытекла кровь. Сосуд сохся, опустел. Кровь больше не билась в нем. Не вспоминала боль и чудо. Как может вспоминать пустота? О чем она может спеть?

Русудан Мироновна изумленно оглядела свои руки в рукавах пятнистого халата. Вытертый! Застиранный! Кто она, Господи, и где она? Сморщила лоб. Вспоминала мучительно. Ничего не вспоминалось.

Она недовольно покосилась на толстую, слишком тяжеловесную даму, безмолвно сидящую перед ней на казенном стуле. Какая громадина! Слон и слон. Ноги как у слона. Зад висит курдюком. Вся шея в складках, рожа в кочках. Если бы я родилась такую уродиной, я бы удавилась, брезгливо подумала Русудан Мироновна и захотела отвернуться, но не смогла.

Так и лежала, закинув голову, на высокой подушке, косилась на незнакомую толстуху.

По щекам толстухи текли мутные, как самогонка, слезы. Они текли и текли, им не было конца. Толстуха плакала так, будто оплакивала конец мира. А что, мир разве уже кончился? Ей никто не сказал. Надо спросить!

Она попыталась спросить, жив мир или уже нет, но рот не слушался ее.

Через час или два Русудан Мироновна попросила принести ей зеркало. Толстуха вытерла слезы полкой белого халата, встала и удалилась. Медицинская сестра принесла маленькое круглое зеркальце. Русудан Мироновна схватила его и жадно стала искать там, внутри, на его прозрачном дне, себя. Нашла. Она себя не узнала.

Это была не она. Нет! Не она! Другая женщина. Совсем некрасивая. Растрепанная, как метла. Эта спутанная седина, крупная чечевица, приклеенная к щеке. Неужели это ее миленькая, как мушка, родинка, ее изюминка, так чудовищно выросла? Зачем? Кто позволил? Как звали эту неряшливую, встрепанную бабу? С мордахой билетерши, подавальщицы, торговки?

Она так напугалась созерцания непонятной бабенки в зеркале, что забыла свое имя.

Как меня зовут, спрашивала она медсестру и хватала ее за рукав, вы не скажете мне, как меня зовут? Сестра приблизила к ней юное, не знающее ужаса лицо и тихо, по словам, сказала ей: Ру-су-дан Ми-ро-нов-на. Запомнили? Она кивнула. Русудан Мироновна, повторила она шепотом.

Потом пришли другие люди, она не знала их, и тихо, прямо сказали ей: Русудан Мироновна, вы находитесь в хосписе. А что такое хоспис, выкрикнула она, а вдруг это страшно, я здесь не хочу! Здесь! Что это за место? я не знаю это заведение! А вдруг тут меня отравят! а вдруг убьют! Незнакомые люди столпились возле ее кровати. Один из них произнес: вы только не волнуйтесь, Русудан Мироновна. Вам нельзя волноваться. Хоспис — это такая больница, ну, знаете, последняя больница. Как последняя, вскинулась она на подушках, почему последняя?! Человек, она не знала его, тихо и терпеливо сказал: последняя, потому что тут умирают.

Она враз утихла, обмякла. Лежала в подушках и беззвучно повторяла за людьми их речи. Умирают, повторяла она, умирают, значит, я умираю. Я — умираю? Это правда? Люди наклонили головы. Они соглашались с ней.

Она испугалась. Боже, как она испугалась! Она не помнила, как и откуда привезли ее сюда, в этот ужасный хоспис: из дома престарелых, из дальнего села на берегу широкой холодной реки, она хорошо жила там, прижимала к ногтю сожительниц, а как попала в этот старушечий дом, предпочитала никому не рассказывать. Забыла! Все и навсегда! Как шла по дороге, глотая слезы, себя ругая: ну зачем, зачем пожелала дочери смерти?! ведь это моя дочь, моя! кровиночка! плоть от плоти! — а потом, когда налетела ночь, налегла на глаза и на душу, и страшно стало, — забыла, как подрулил к ней хороший человек, высунулся в окно машины, крикнул: куда это вы бредете по дороге, да так поздно, дамочка?! собьют ведь, недорого возьмут! — а она вдруг закрыла лицо руками и заплакала, и ей стало плохо, оседала она на обочину, падала сном, и шофер из машины выскочил, поднимал ее с земли и усаживал в свою таратайку, на пропахшее псиной и табаком сиденье. Забыла, как расспрашивал ее этот сердобольный водила: кто вы да что, и откуда, и не потерялись ли, и зачем шатаетесь по дорогам ночью, одна, — и она сморщила красивое лицо и заплакала: да, я потерялась! мне нужна помощь! я не знаю, куда мне податься! — а мужчина, от него пахло табаком, все выпрашивал: а дома у вас есть? а родня у вас есть? или вы одна-одинешенька? Она, рыдая, бормотала: одна я! и дома у меня нет! бросили все меня, оставили меня! — и тогда шофер наморщил лоб и быстро сообразил: а давайте-ка я вас, тетенька, в одно такое хорошее местечко отвезу! Довольны будете! А что это за местечко? — осторожно пыталась выпросить она, боялась: вдруг завезет куда да обчистит! — а обчищать было особо и нечего, немножко жалких денежек таилось в кошельке, остатки от пенсии.

И шофер привез странную седую, плачущую даму в родное село, в дом престарелых. Но забыла она об этом. Забыла.

В доме престарелых Русудан Мироновну раздели, обмыли, переодели во все чистое, накормили манной кашей с вареньем и сливочным маслом, а попить налили крепкого чаю с лимоном, кусок белого хлеба на стол положили: еда была простая, но пахло все вкусно, а каша таяла во рту. Ей выделили койку. В комнате еще две койки стояло; и две соседки, как две лисы, пойманные в капкан, глядели на Русудан Мироновну круглыми печальными глазами. Она, вскинув красивую гордую голову, разбросав по плечам мокрые, чисто вымытые волосы, презрительно глядела на двух старух. Деревенские бабки! А она, городская красавица, зачем здесь? Спихватывалась. Она оказалась тут потому, что ушла из дома. Ну хорошо, смирялась она с судьбой, будь что будет. Пусть все идет как идет. Пусть дорога сама о себе заботится.

И так она повторяла себе каждый день; и все это она забыла. Забыла.

Когда она стала задыхаться, она тоже забыла; и говорить на разные голоса, тоже забыла; и когда стала сама себе писать письма, не помнила. Под черепом поселилась боль, она сначала тихо гудела, потом стала громко взрываться, и осколки разлетались в стороны, улетали далеко, прошивая чернотой слепящую снежную белизну. Потом боль превратилась в огонь. Когда огонь обнял всю голову, и всю ее грудь, и руки, и красивые ноги, и все ее и в старости красивое тело, она ощутила, как земля под ней трясется. Это ее везли куда-то. Куда? Она не знала. И не знала, что ее везут. А когда боль на миг отпустила ее, она о боли забыла.

А теперь к ней приходили люди и говорили ей о том, что она умирает и непременно умрет. И чтобы она была готова к смерти.

Она боялась смерти всегда. Боялась и сейчас. Она прятала голову под подушку, пытаясь спрятаться от смерти. Закрывалась одеялом с головой. Задыхалась там, в темноте. Потом откидывала одеяло и ловила воздух ртом. Глядела перед собой и опять обнаруживала на стуле эту странную, громадную толстую бабу. Толстуха неотрывно глядела на нее. Теперь она не плакала. Она смотрела на Русудан Мироновну тяжело, горячо, и била себя в грудь огромным толстым кулаком, и шептала ей: мама, мама. Какая я тебе мама! Какая нелепая выдумка! У меня нет никакой дочери! Нет и не было!

Настал день, когда Русудан Мироновна узнала свою дочь.

Когда она узнала ее, глаза ее расширились и побелели. Это узнавание совпало с осознанием неизбежного ужаса. Она наконец поняла: то, что она умирает, не выдумка, все по-настоящему.

Русудан Мироновна сначала тихо сказала: Заряна? Толстая баба вздрогнула и всунула пальцы себе в зубы. Ее глаза кричали Русудан Мироновне: да! да! я Заряна! я Заряна! а ты моя мать! Русудан Мироновна рывком села на койке. Железная сетка лязгнула. Она сжала кулаки и подняла оба кулака перед искаженным лицом. Лицо обратилось в живой страх. Страх кривился и дергался. Из страха донесся вой: нет! нет! не-е-е-е-ет! никогда-а-а-а!

Заряна рухнула перед койкой матери на колени. Наваливалась на нее грудью. Мать дергалась под ней. Била воздух и ее толстое тело крепко сжатыми, железными кулаками. Вопила. Нет! Я не умру! Это все не со мной случится! А с тобой! Ты лучше умри! Ты! Гадина! Ведь это ты меня убила! Ты! Ты меня прогнала! Ты лишила меня дома! Я из-за тебя скиталась! Мерзла! Страдала! Голодала! А ты! Ты тут жила в тепле, в холе! Лучше ты умри, сдохни ты, сволочь! Сволочь! Сво-о-о-о-о...

Уже бежали по коридору, вбегали в палату медсестры со шприцами. Задирали рукава ее халата. Растягивали руки больной по кровати. Уколы, что делали здесь, действовали мгновенно. Русудан Мироновна мирно закрыла глаза и засопела. Она спала так тихо и сладко, что Заряна, с залитым слезами лицом, внезапно почувствовала себя маленькой девочкой; такой еще маленькой, когда мать еще не мучила ее и не издевалась над ней; когда она ее еще ласкала и держала на красивых, грациозных руках. А Заряна любила играть с черной, кудрявой материнской прядью. Сидела у матери на руках, хватала ее волосы и тянула их в рот.

Сладкий тихий сон! Чем же смерть отличается от глубокого сна? А ничем.

Нет разницы между сном и явью и между вечным сном и бессмертием.

Потом наступили странные дни.

Русудан Мироновна то отрицала все: ты не моя дочь! я тебя не знаю! у меня нет дочери! — и про смерть свою так же говорила: у меня никогда не будет смерти! для меня ее просто нет! вы все зря мне о ней говорите! я все узнала, вы все меня обманываете, просто чтобы испугать меня, чтобы я испугалась и от страха умерла, вы все злые, но

я сильнее вас! — то опять орала: нет! нет! этого не будет! я убегу от смерти! я спрячусь от нее! заруюсь в землю! влезу на дерево! Я буду жить под крышей, на голубином чердаке, и меня никто оттуда не вытащит! Спать я буду в сундуке, и накрываться крышкой, и запираюсь изнутри на замок! Никакая смерть не проникнет!

Заряна со всем соглашалась. Она кивала: да, мама, ты ото всех убежишь. Тебя никто не догонит. Да, я поселю тебя на чердаке и постелю тебе постель в большом старинном сундуке. Тяжелую его крышку никакая смерть не поднимет. Ты меня слышишь? Слышишь?

Русудан Мироновна поводила головой туда-сюда. То ли да, то ли нет.

Оцепенение пришло неожиданно.

Оно слетело прозрачным покрывалом, дырявой застиранной простыней и тихо, будто слоем снега, закрыло койку, ее никелированную спинку с сиротски висящим сырым полотенцем, лицо старухи, космы седых волос на подушке, ржавые углы локтей, сухие щиколотки, торчащие из-под простыни, оконные стекла, тумбочки, оловянный блеск подстаканников, апельсиновые корки в блюде.

Оцепенение закрыло уродство и ужас жизни и родило глубоко внутри, в истрадавшемся, плохо бьющемся сердце печаль и покой истинной смерти: умиротворенной, ясной, все прощающей, все покрывающей. Ее тихий тусклый голос звучал ниоткуда: я защита, я щит от вечной муки. Любите меня. Я не сделаю вам ничего плохого.

Русудан Мироновна лежала теперь неподвижно.

Заряна приходила к ней по нескольку раз в день.

Она словно боялась, что Русудан Мироновна умрет в ее отсутствие.

Ей казалось, она должна проводить мать туда, куда мать так хотела затолкать ее самое; при этом держать ее за руку, глядеть ей в глаза, ловить ее дыхание, — ловить последние огненные языки жизни, последнее мерцание ее дотла сгоревших головней.

Когда она застывала около ее кровати, она видела одно и то же: старуха лежит, руки поверх одеяла, на груди, тихо и часто дышит, кисти рук, пальцы, предплечья в синих пятнах, это лопаются сосуды, и кровь разливается под кожей.

Ее сюда привезли из далекого села, потому что ее после сильной неукротимой рвоты осмотрел сельский фельдшер и сказал: нет, не отравление, везите в город, к врачам. Врачи тут же поставили диагноз. Неоперабельная опухоль головного мозга. Русудан Мироновна не знала таких сложных слов. Ей их и не сказали. Она думала теперь только своими словами, простыми и гордыми, и не слышала чужие слова.

Заряна подолгу глядела на тихо лежащую мать.

— Мама, ты меня слышишь?

Она молчала.

Заряна видела: мать слышит ее.

Но не хочет ей отвечать.

Впрочем, так было всегда.

Заряна наклонялась и мощной рукой осторожно гладила мать по плечу.

— Мама! Может, ты что-то хочешь? Что тебе принести?

Тишина и сопение. Свист носом.

Притворяется, что спит.

На самом деле слушает свою дочь и ненавидит.

Ничего не изменилось.

Лицо бледное, как простыня. Чуть приоткрыт рот. Нет, и в самом деле спит.

Будто замерзла. Застыла.

— Мама, тебе холодно...

Заряна приносила еще одно одеяло, укрывала ее, подтыкала под нее одеяло.

Русудан Мироновна не шевелилась.

Заряна вздрагивала: а может, умерла! — брала за руку, щупала пульс.  
Нитевидный пульс еле прощупывался.  
Она жила.

И был день.

Русудан Мироновна открыла глаза.

Леша Синицын бежал по коридору, сияя глазами.

— Заряна Григорьевна! Идите скорее! Ваша мама глаза открыла! Может... на поправку...

Старуха и вправду глядела. Но уже не глазами. Этих глаз уже не хватало для вновь рожденной души, чтобы душа плескалась в них. Светлая, тихая улыбка обвила лицо, морщины проявились и укрупнились. Лоб сиял мелкой испариной. Заряна вытерла матери пот со лба полотенцем.

— Мама! Как...

Осеклась. Ничего не надо было спрашивать.

Во всей огромной жизни ничего теперь не надо было говорить.

Ни объяснять, ни оправдываться; ни признаваться, ни ругать. Ничего.

Молча дрожал, пылал и плыл воздух. Это было лучше всего.

Тайна молчания. Светлое приятие: я принимаю все, все теперь мое.

Все, даже то, что я не вижу, не осязаю и чего не касаюсь мыслью. Весь мир.

Он — мой.

Он — ее? Ее матери? А дочери, значит, ничего не отломилось?

Заряна не смогла, не успела рассердиться.

Она сама, ее дочь, тоже входила в круг того, что мать поняла, заново открыла, приняла и полюбила.

Полюбила? Не слишком ли громко сказано?

Ведь она ненавидела всю жизнь.

А кого? Ее, дочь?

Нет. Целый свет.

И вдруг этот свет распахнул ей объятия и крепко обнял ее; и деваться ей было некуда.

Надо было в ответ обнять свет, стать с ним на равных.

И как только Русудан Мироновна обняла обеими руками свет, ей стало легко и чисто.

Свет был свет, и она была свет.

Они обнимались так крепко, сильно, что стали друг другом.

Разве это можно было рассказать какими-то там словами?

Ком в горле стоял у Заряны. Она стояла, озаренная светом. Бросала отблески на чисто вымытый утренней нянечкой пол.

— Мама! может, булочку... с изюмом...

И опять порвали, грубо оборвали ветхую нить ее голоса.

Вошла сестра с чашкой горячего куриного бульона в руках. Осторожно поставила чашу на стол.

Хотела что-то сказать, но Заряна прижала палец ко рту.

Сестра, пятясь, вышла из палаты.

Заряна молча смотрела на мать.

Она знала: при появлении такого, вот такого ясного и тихого света начинается агония.

И это началось.



Свет исчез. Накренился, покосился мир, с него вниз стали падать мебель и стены, деревья, звери и люди. Черные тучи стали вихрем, он снова принес забытую боль, и боль обкручивала тело, а потом добралась до души. Дышать стало трудно. Русудан Мироновну крутили вихри, она летела в пустоте, раскидывая руки и ноги, и не за что было уцепиться. Только не было у нее крыльев. Тяжесть давила, тянула тело к земле. А земли не было. Всюду была пустота. Русудан Мироновна одна была сгущением в этой пустоте. Ее дух сгустился, стал тягучим и липким, превратился в ее туловище, в бешеный комок сердца под ребрами. Она слышала грохот своего сердца и пугалась его. Все это на свете — последнее! Последние удары сердца. Последние вихри, что крутят и мнут тебя. Есть жизнь, в ней все еще движется. Когда все замрет? Остановится? Она не знала.

И не знала она, чего ей хотелось теперь больше всего: чтобы все продолжало крутиться, беситься или чтобы все застыло.

Извне ничего не долетало. Кругом пустота, и из легкой она постепенно становилась вязкой, потом плотной, потом тяжелой и превращалась в обреченную на гибель густоту. Трудно было лететь в густоте. Густота летела сама по себе, а Русудан Мироновна в ней как стрекоза в янтаре. Не вырваться. Мир окостеневал, падая, но не было низа и верха, он падал, куда хотел, а Русудан Мироновна хотела лететь сама, и этого было нельзя. Кто запретил? Кто повелевал ей? «Боже, Боже», — тихо вылепили ее неподвижные губы; это сказала она больным, последним проблеском мысли. Так она позвала Бога. Она не верила в него. И дочь к вере не приучала. А теперь, обнятая тяжелой тьмой, она вдруг испугалась остаться совсем одной, навсегда; ощутила потребность прижаться к чьей-то родной груди. Она захотела сама стать не матерью, плохая она на земле была мать, она это давно поняла, а дочерью. Обнять отца или мать, все равно. Сильнейшего, лучшего — обнять. И чтобы сказали ей: успокойся, Русудан, небеса не страшные, на небесах растет сладкий виноград! И ангелы едят его!

Виноград, и далекие горы, и далекое пионерское детство, и раздавленная сладкая ягода под языком. Она не помнила отца. Ей потом, в детском доме, сказали: твой отец, Мирон Абуладзе, погиб на войне. Матери она не знала. Детский дом был ей отцом и матерью. Ее жалели нянечки и больно били злые воспитательши, а добрые — угощали домашними хинкали, а дети таскали за роскошные косы. Однажды ее, в шутку, захотели повесить: дети играли в Зою Космодемьянскую. В сарае накинули веревочную петлю на матицу, подтащили табурет, поставили на табурет Русудан. Она гордо вскидывала красивую голову с тяжелыми косами и кричала: всех не перевешаете! Мальчишки надели ей петлю на шею. Они совсем не хотели ее вешать, так просто, играли, и все, но самый маленький, малявка Петька, пинком выбил у Русудан из-под ног табурет. Сколько мгновений она висела в петле? Тонкая хилая веревка порвалась быстро. Русудан упала на землю сарая. Куры заквохтали, сгрудились в углу. Дети боялись подойти к Русудан. Как куры, сбились в кучу, вскрикивали. Самый смелый подошел. Затряс Русудан за плечо. Эй, очнись! Она не открывала глаз. Дети гурьбой побежали к воспитательшам, плакали, указывали пальцами на сарай: умерла! умерла! Русудан откачали. Неделю она провалялась в больнице. Она ничего не помнила, что с ней было. Как — повесили? Кто — повесил? К ней больше не приступали с расспросами и рассказами.

Виноград, и далекое море, и снега в горах, и спускаться с горы на лыжах, как страшно и прекрасно! Она знает: одно неверное движение — и она ломает руку или ногу, разобьет голову, умрет. Смерть рядом, но это же так весело! Если далеко уплыть в море, можно не вернуться. Ты просто не доплывешь и утонешь. Опять тебя ждет смерть. Она везде; дядя Мераб застрелил Кетеван Яшвили на охоте, а она всего лишь попросилась с ним на охоту, посмотреть, как охотятся с борзыми собаками. Какая красивая Ке-

теван лежала в гробу! У смерти тоже была своя красота. Русудан глядела на себя в зеркало: она хороша, и очень хороша, ее будут все любить, на руках носить, ну конечно. Она станет женой генерала, или знаменитого художника, или самого богатого богача на всем Кавказе! У нее будет совсем особая судьба! И она никогда, уж это точно, не умрет!

Краем уха она слышала, что вот есть такие особенные люди, святые и праведники, и еще есть преподобные, и еще мученики, вот они никогда не умирают, говорят, они живут вечно. Как и где живут — это уже второй вопрос. Главное, живут! А всех остальных хоронят. Засыпают землей. Русудан содрогалась, воображая, как ее будут засыпать землей. Не будут! Никогда! Разве таких красивых, как она, засыпают землей?!

От гор и моря она уехала в снега и льды. И сама стала льдом. Скользила по льду. Падала, разбивалась больно. Ее все время обижали, обижали. Плевали ей, красавице, в лицо. Нигде не замечали: в очередях, на улице, нигде. Подло бросили ее с ребенком на руках. Она, красивая, родила на свет уродину. Не на свет, а во тьму!

А зачем она жила? Что же главное, самое главное у нее в жизни было?

А может, она сама была пуста, как пустой, без вина, глиняный сосуд кевври?

И разбить его; и осколки не собрать.

Густота внезапно разошлась в стороны и опять стала пустотой. Русудан Миронова опять летела вольно и страшно, невесть куда. Переворачивалась в пустоте. Вихри швыряли ее, сминали, крутили. Тело еще чувствовало верчение, движение. А душа — сияние. Извне лился свет, его источник нельзя было определить, да она сама была светом, она теперь могла светить и светиться; может, это испускала лучи ее рука, нога, кочергой сгибаясь в сумасшедшей пустоте.

Вдруг все встало. Больше не летело никуда. Неподвижно лежала умирающая, а воздух сам ее держал. Нежные руки воздуха, ладони пустоты. Чуть покачивалось тело, как в люльке. Тело не видело, не слышало, как над ним плакали, как горячие слезы капали и стекали по нему; оно, став душой, теперь понимало только одно: свечение и благословение. Большая и добрая рука тянулась к ней из тьмы, и она остатками слов говорила себе: я буду жить вечно, я тоже святая. И тянула к светящейся руке свою старую руку. И ловили руки друг друга, беспомощно скользили друг по другу, как звездные рыбы в глубоководной толще неба.

Меня вешали, а я не умерла! Я — святая!

Нет, ты не святая. Ты замучила свою дочь!

Я?! Замучила... свою...

Она хотела возразить, все отрицать, но сил не было, только свет бился и тлел.

Он мерцал внутри, далеко отсюда.

Там, где еще летели в пустоте люди, где клубились и стонали живые ветра.

Заряна держала мать за руки.

Она не впервые наблюдала агонию.

Но тут умирала ее мать, и это было не наблюдение.

Заряна умирала вместе с ней.

Все произошло так, как она и хотела — мать умирала при ней, она была здесь, на работе, и ее позвали в палату, и она пришла, села на стул, взяла холодеющие руки матери в свои и так сидела.

Мать сначала лежала без движения, потом закинула незрячее лицо. Хрипела.

Заряна молилась: скорей, только бы скорее.

«Господи! Возьми ее скорее к Себе, прошу Тебя!»

Опустила голову, устыдилась.

«Зачем я прошу Его о том, чтобы — быстро? Он сам знает как, когда. Господи! Да будет воля Твоя, а не моя!»

Мать мучилась. Или уже нет? Свет, что лился из ее лица на Заряну, разгорался ярче. Заряна зажмурилась. Положила ладонь себе на лоб и глаза. Она восседала на широком стуле, как на троне, она и была здесь царицей, царицей хосписа своего, бедной последней больницы, где люди еще надеются, а потом отчаиваются, а потом наливаются призрачным, вечным светом. Свет памяти! Мать ее не помнила ничего. Опухоль съела и выпила ее память. И слава богу, она забыла, как истязала дочь; как била ее кулаками, била словами, резала острыми ножами насмешек, накидывала ей на шею веревку презрения. Память исчезла, но вместо нее явился свет. Он заменил напоследок все: память, любовь, нежность.

Любовь и нежность в свете. Память в свете. Внутри, в его круге. Стоять в круге света — это и есть быть святым; так стояли святые.

Она, Заряна, не святая. И никогда ею не станет.

Она просто врач, врач, и больше ничего.

И никакой врач, и она тоже, не вылечит от смерти.

Заряна тонула в свете, исходящем от матери. Она испытывала то же, что и мать. Ей было страшно, как ей. Больно, как ей. А потом благостно и светло, как ей. Она наизусть знала все эти переходы состояний из жизни в смерть, хоспис демонстрировал ей смерть в разных обличьях, но суть смерти оставалась одна и та же, она приходила и забирала людей одинаково, и Заряна гляделась в чужие смерти, как в зеркало, она уже подло и пошло привыкла к ним, да нет, конечно, это она зря так думала про себя: не привыкла, нет, и ужасалась каждый раз до глубины души, — но организм защищал ее от созерцания смерти, срабатывал механизм, чтобы не скатиться с ума, не забиться на больничном полу в судорогах отчаяния, — вот и теперь она гляделась, как в вечное черное зеркало, в смерть матери, и нельзя было ничего поделывать: ни остановить, ни помочь, — только смириться. Последний укол? Смертельная инъекция морфина? Что же, и так бывает. Она допускала все.

Когда глядишь на смерть, можно все.

И человек смог бы все; да вот Бог не разрешает.

Она начала мелко дрожать, как под током. Руки матери в ее руках ослабли, сделались легкими, будто невесомыми, будто вырывались из ее рук и хотели уплыть, сами по себе, в океан воздуха и света, две легчайших лодки. Заряна еще сжимала ее руки, но это было уже напрасно: умирающая перешла порог, а за ним вся человечья плоть уже не пела и не пылала на поверхности земли; она теперь могла петь только в земле; агония кончилась, и наступило то время в смерти, которое Заряна тоже хорошо знала: легчайший, короткий миг между последней жизнью и первой смертью. Первый шаг туда, откуда уже никто не вернет.

Заряна, не помня себя, низко склонилась над смертным ложем матери своей.

Прижалась лбом к ее рукам, спокойно лежащим на груди.

Миг назад эти руки еще вцеплялись в край одеяла.

Движение. Только одно. Воля к жизни.

Последняя воля.

— Мама, прости меня!..

Она просила у мертвой матери прощения.

Кто у кого должен был в жизни прощения просить?

Она не знала.

Знала: так надо; надо прижаться лбом, припасть губами.

Губы, они знают лучше, больше, чем мысли, даже больше, чем сердце. Ни к чему теперь не надо прислушиваться. Ничего решать не надо. И плакать ни о чем не надо. Слезы в прошлом. Они умерли. А вот она смерть, живая. В жизни есть только смерть!

Когда люди это поймут, им будет легче. Они по-новому научатся любить жизнь. А то: война, война! Всемирная! Взорвем города! Убьем людей как можно больше!

Нет никакой войны. Есть только смерть одна.

Вот она, вечная мировая война. Идет себе и идет. По всей земле. Во все века.

За спиной Заряны и вокруг кровати встали люди; шевелились головы, затылки темнели, сияли лбы, кричали и истекали влагой глаза, рты молча улыбались, молча молились — все молча, как и надо было. Тьмы тем мертвых, они вставали и двигались к ним, забрать новую. Новая лежала смиренно. А ее дочь целовала ее.

Так, как при жизни никогда не целовала.

Поздно! Да, все поздно. Почему так? Почему мы всегда опаздываем?

Так устроено время или такие уж мы?

Руки вытянулись по одеялу, навстречу мертвому лицу.

Догнать нельзя. Схватить! Не получится. Зачем? Срок кончился.

И Заряна ложилась лицом на грудь матери, ей казалось, она еще теплая, и плакала так отчаянно, и сладко, и чисто, и неутешно, как никогда в жизни своей не плакала ни над кем.

Она лежала лицом на мертвой матери и плакала, а в дверях палаты стояли, не в силах пройти дальше, сестры, и терапевт Леша Синицын, и два онколога, и старый геронтолог, и все они смотрели, как Заряна плачет, и никто из них не подошел, не обнял ее, не утешил, не отвел прочь от койки умершей. Надо было дать ей свободу.

Плакать. Родиться. Жить. Заледенеть.

Они не успели здесь противостоять друг другу.

Кончилось их противостояние.

Умерла их вражда.

И верно, зачем ненавидели? Зачем боль причиняли?

Пытаться объяснить — не надо.

Ничего и никогда не надо объяснять.

Надо просто радоваться. И печалиться. И прощать. И жить.

И никогда никого и ни за что не наказывать.

Смерть придет и сама тебя накажет.

Там, за ее порогом, все сразу станет тебе ясно.

Раскрой ей руки. Прижми к сердцу своему.

Упади головой на ее грудь.

Она так долго ждала тебя.

Смерть — это самое важное, что с тобой в жизни случилось.

Похороны Заряна заказала самые скромные. Похороны — это не праздник. По улице медленно ехал автобус. Внутри автобуса стоял гроб. Заряна сидела на кожаном сиденье в необъятном, величиною с целый дом, черном драповом пальто. Свободные складки растекались, сползли с плеч на грязный пол автобуса, на крышку гроба. Впереди автобуса шли музыканты. Они замерзли на морозе. Красными руками нажимали медные кнопки труб, рвали кулисы тусклых, будто ржавых, тромбонов. Сыграв бессмертный похоронный марш, полезли в автобус. Грели руки дыханием. Кое-кто из них смеялся. А что, всем плакать, что ли. Жизнь продолжается.

Доехали до кладбища. Никто не говорил никаких речей: Заряна запретила. Врачи стояли понуро у разрытой могилы. Заряна со страхом глядела в глубокую яму. Отчего-то ей захотелось сейчас запеть. Казачью песню, разудалую. Или материну, ее любимую, как это Русудан пела, когда Заряна еще лежала в пеленках: гапринди шаво мэрцхало, гахкхэв Алазнис пирсао... Амбави чамогвитанэ, омши цасули дзмисао! Лети, чер-

ная ласточка, неси нам о героях весть! Она утратилась этого позорного, непонятного надгробного желания и зажала рот рукой в пушистой варежке. Тихо, тихо, говорила она себе, как норовистой лошади, куда тебя несет. Гроб опустили в яму на ремнях. Заряна следила, как его опускают. Как ее опускают в землю: ее мать.

Ее мать, это все равно что ее саму.

Разве можно себя ненавидеть? Убивать себя?

Втаптывать себя в грязь?

Да нет, конечно.

Что же это было? Что?

Это была жизнь.

Если жизнь такая, тогда смерть — счастье?

Нет. Смерть — это горе. Самое главное горе в жизни. Его ничем не излечишь.

Лопаты стали быстро и жестоко засыпать землю глинистую яму, и Заряна наклонилась, чтобы бросить на крышку гроба ком земли. Она не устояла на ногах, грязь поплыла под сапогом, и она тяжело, грузно упала на холодную, чуть побеленную седым жестким снегом землю.

К ней бросились — поднять. Терапевт Леша Синицын закусил губу и сморщился, поднимая ее.

Ему показалось, он поднимал взорванный чугунный мост через холодную, закованную в лед родную реку.

Заряна не хотела вставать с земли.

И все закрывала и закрывала глаза.

Веки склеены. На ее веках лежит земля. Они забиты досками и засыпаны землей.

Все. Кончено. Кончена жизнь. Нет ее.

Ее подняли насильно.

Ей кричали: Заряна Григорьевна! Откройте глаза! Вам плохо?! плохо?!

Поддерживали ее под руки. Всовывали в рот таблетку.

А она все стояла у могилы с закрытыми глазами.

\* \* \*

<...> Монахи, я уеду. Я хочу вернуться туда, где родился. Хотя там давно все умерли. И там меня никто не ждет. Но я все равно хочу туда вернуться. Это желание сильнее меня. Спасибо вам за просветление. Я это просветление никогда не забуду. И ледяную воду в ведре. И вашего Будду.

Монах старательно все перевел за ним. Марк вскинул руку и показал на медного Будду. Потом сложил ладони вместе и прижал руки к груди: так делали монахи, он тоже сделал так. Монахи повторили его жест и склонились перед ним, будто он был бог. Он улыбнулся. Он так часто улыбался здесь. Он привык улыбаться. Даже если рядом никого не было.

Монахи тщательно собрали его в дорогу. Он думал, они соберут ему вещички в котомку, а они преподнесли ему модный чемодан, из натуральной кожи, с множеством карманов и отделений. В чемодан сложили все, что нужно для дальнего путешествия. Ты полетишь сперва в Пекин, говорили монахи ему, там найдешь русское посольство, все про себя расскажешь, без утайки; когда тебе выправят документы, купи себе билет на поезд, ты должен увидеть землю, которую ты покинул давным-давно, да, именно землю, а не облака в небесах. Они давали ему ценные наставления. Помни, человек, о добре. Помни о зле. Помни о том, что человек слаб, и помоги слабому. Помни о том, что на самом деле ничего нет. И этого самолета нет! И этой горы нет! И этой столицы нет! И этого поезда нет! И этой еды нет; и слез этих нет, и радости тоже; все утекает, как

песок сквозь пальцы. И этой земли нет? И этой земли тоже нет; сегодня она есть, а завтра ее нет; и она сгорит во вселенском огне; помни, человек, о конце мира.

Монахи говорили на их звенящем, медно плывущем по воздуху, колокольном языке, а монах, что подал ему руку, тихо и спокойно повторял эти речи по-английски. Марк кивал. Оба чужих говора текли разными потоками, не сливаясь. Ухо выхватывало в стремнине знакомые слова. Мозг тут же все забывал. Голова забыла многое из того, что надо бы помнить; разве можно упомнить все на свете? Он обнялся с монахом, что когда-то протянул ему руку. Попятился от него. Подхватил чемодан и пошел вперед. Монахи долго шли по каменистым горным тропам; впереди шел проводник, Марк замыкал шествие. Белая гора качалась над ними, под солнцем таяли, плакали снега.

Маленький аэродром, странный маленький, как стрекоза, самолет. Марк вспомнил, как падал в самолете над океаном. Он сказал себе: не дрейфь, смерть подстерегает только раз, и сам себе не поверил. Он слишком часто видел смерть и слишком близко. Он шепнул себе: смерть, ты тоже жизнь! Это было ближе к истине.

Истину, как оно там по-настоящему, он не знал, ему ее никто еще не открыл.

Да он и не допытывался. Не у кого было.

Помни о конце мира — так говорили монахи? А что о нем помнить? Ну придет и придет, эка невидаль. Умирает отдельный человек, и умирает мир. Он ждал своей очереди — в посольстве, в отеле, на вокзале. Людей было так много, что сразу не происходило ничто. Всегда надо ждать. Может, в небесных глубинах и есть мир, где ждать не надо. Кожаный модный чемодан был гораздо импозантнее и внушительнее, чем он сам, исхудалый, печальный, чересчур загорелый. Когда он увидал себя в вокзальном зеркале, он изумился: он стал раскосым, как все эти здешние люди. Мимикрия! Человек приспособливается ко всему, и меняется его облик. И пластику делать не надо, посмеялся он над собой, теперь и без операции его на родине никто не узнает. Его, убийцу и злодея! Деньги совершили, как всегда, невозможное. Он снова гражданин своей страны; и он сейчас сядет в поезд, чтобы приблизиться к ней, чтобы въехать в нее и оказаться в ней, внутри, — пусть ее люди, ее дома и снега опять обнимут его и, может, простят.

Он погрузился в поезд. Место в купе, и улыбчивые проводницы разносят чай и сладости, и он долго, удивленно глядит на странные изделия из теста, лежащие на кружевных салфетках на стальном подносе: что это? Ему улыбаются в ответ. На смешном русском языке раскосая проводница любезно отвечает ему: «Уважаемый господин, это русские пирожки! Пирожки с капустой! А это пирожки с грибами! А это пирожки с зеленым луком!» «Пирожки» она произносит как «пиросики». Марк хватает с подноса пирожок, и нюхает, и, сам себе изумляясь, целует. «Не нюхайте, — весело говорит раскосая молоденькая проводница, — все очень свежее!» А ему кажется, она говорит ему: не плачь, сынок, все это вечное, все это теперь навсегда с тобой.

Он купил у проводницы весь поднос с пирожками. Двухместное купе, о, кажется, в России, раньше, это называлось СВ. К нему никого не подсаживали. На границе долго, дотошно проверяли документы. Марка тщательно сличали с его фотографией во вновь выделанном паспорте. Когда железные рельсы серебряно, дико побежали, заструились по Сибири, он обнял себя за плечи: они тряслись. Забайкальск! Чита! Улан-Удэ! Это уже Бурятия, шептал он себе, это Бурятия, я ведь еду по России, по России! Заснеженная тайга напознала на железную дорогу, домишки близко подползали к сверкающим под солнцем рельсам. Синева небесная, почти как в Акапулько! Нет, как в Тибете! Он закрывал глаза, брал в пальцы пирожок, опять нюхал его, кусал, ел и плакал, запивая холодным сладким чаем, это был пирожок с капустой и рублеными яйцами, и он давил капусту зубами, и катал вареный белок под языком, и смеялся бешено мелькающим елям и кедром за разрисованным морозом окном.

Когда поезд подкатил к Иркутску, Марк отважился и пошел в вагон-ресторан. Он сказал себе, опять со смехом: только не своруй ни у кого ничего, иначе тебя из страны вышвырнут. Прошел железными анфиладами вагонов, мотающихся, как белье на ветру. Набрел наконец на вагон-ресторан. Запахи еды ударили в голодный нос. Он сел за столик и развернул меню. Страница по-английски, страница по-китайски, страница по-русски! Он пялился в русские названия блюд, с наслаждением проговаривая их про себя. Уха из судака! Блины с красной икрой! Он заказал порцию борща, лангет, кулебяку с вареным лососем и бутылку красного вина. Официантша принесла бутылку, он повертел ее в руках, это было русское вино, на этикетке он прочитал: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Они мчались по Транссибирке, Иркутск, с его старинным, похожим на царский дворец вокзалом, остался позади, тайга то расступалась, то смыкала строгие хвойные стволы, а небо все так же лихо, люто светилося неимоверной, густейшей синевой. Марк упоенно хлебал борщ казенной столовой ложкой, он дышал борщом, так дышат смертельно больные целебным кислородом из резиновой подушки, да, он опять потешался над собой, неужели так дорог не только язык, не только воздух и эти деревья за окном, но даже простая еда, а он ли не едал в мире всевозможных пикантных яств, и омаров и трепангов? Официантша приходила и глядела, как он ест. Он жестом пригласил ее присесть к нему за столик. Она присела, расправила на коленях юбку. Марк дожеввал лангет и пододвинул кулебяку халдейке. «Выпейте со мной! И закусите». Он с ужасом слышал, что он говорит по-русски с акцентом. Официантша опасливо косилась на него. «Думает, что я иностранец. И что я заманю ее к себе в купе». Он, успокаивая ее, налил себе вина в пустой стакан, ей — в бокал, стукнул стаканом о бокал и положил руку на ее руку. «Не бойтесь! Расслабьтесь! Я не кусаюсь. Я русский. Просто я давно не был на родине». Женщина слабо улыбнулась. Ее улыбка не была улыбкой Будды; она улыбалась робко, доверчиво, чуть испуганно, губы ее дрожали. Может, у нее внутри жило какое-то свое молчаливое горе. Они оба выпили, Марк разрезал на куски кулебяку. Потом они пили чай. Он весь вечер сидел в вагоне-ресторане и наблюдал, как люди приходят, едят и уходят. Ничего слаще и лучше этой картины он не видал в жизни. Мало кто говорил по-китайски. Почти все говорили по-русски.

Красноярск, бурливый зимний Енисей, мутно-изумрудный, и пар стоит над ним, будто в скальных берегах течет, шумя, жуткий кипяток! Горы и кедры. Пристани, вмерзшие в лед. Железный ажур моста, пугающего мрачной мощью. Дымы над городом, над скопищем камней и людей, грохот дорог, отчаянные крики машин: гудят, как стонут! Мир, это был его брошенный мир! Его покинутая страна! Какой она стала? Он не знал. Он ехал по ней, катил, сцепив зубы, и поезд болтало с боку на бок, то бортовая качка, то килевая, а перед железной грудью тепловоза снежный океан, и вот он опять в морозной, вечно зимней своей стране, и опять нельзя согреться, и надо разводить костер, разжигать дрова, а в огонь подкладывать себя и только себя! Лучшее топливо в мире — это человек! Где Бог? Он в человеке. Где ненависть, любовь? Они тоже в нем. Чтобы их из человека вынуть, нужно его разрезать! Убить! Нужно их — у него — своровать!

Украсть и бросить в мировой костер! Лучшее горючее, что ни говори!

Дни бежали, провода поверх состава мотали тонкие нити, время тянулось и сматывалось в клубок, и Марк потерял счет времени. А собственно, зачем было время считать? Оно не имело веса, как деньги, как все краденое или даром доставшееся. Он прислушивался к себе: хочется ли ему украсть. Залезть в чужой карман. В чужую жизнь. Он слышал внутри себя молчание. Нет. Не хотелось. По крайней мере, пока. Москва возникла незаметно, заколыхались в туманном вьюжном воздухе каменные водоросли. По дну снежного океана он подползал к Москве, и ему было все равно, въедет он в нее или поедет дальше; поезд мчался, и мчался в нем он, и ему казалось, это будет вечно.

Как это говорили чудесные монахи в цыпляче-желтых, густо-малиновых, жгуче-красных одеяньях: ничего этого нет! Нет этой дороги, этих рельсов, поезда этого, гудка, что рвет ветер напополам; нет и его самого, а он-то еще слушает свои мысли, и оценивает их, и презирает их, и любит ими, и плачет над ними.

Он не узнал Москву. Он потерянно гляделся в ее многослойное зеркало и не видел там сам себя. Он гляделся в ее витрины, в воду ее реки под ее мостами, в лица ее людей, и даже не ее, а тех, кого сюда временно забросила ветренная, вьюжная жизнь; он мотался по улицам, не знал, где переночевать, сон как рукой сняло, настала страшная и пустая бессонница, и снова, как всегда, не было денег, и люди, спешащие мимо, выглядели тверже дерева, а на ощупь так и совсем стальные были. Одну ночь он ночевал на вокзале; тут уже не спали никакие бомжи, все было чинно-прилично, храпели в железных креслах новые пассажиры, бесшумно плавали по мраморному залу новые уборщицы, возили щетками по зеркальным плитам. Другую ночь он решил провести в метро; забрался в тоннель, спрятался; его поймали, высветили ярким фонарем. Выволокли на волю из-под земли. Чуть пинка не дали. Он уже согнулся, готовясь к удару ногой под зад. Еще одна ночь обняла его крепкими черными руками в чужом подъезде; он стоял у чужой батареи и грел об нее ладони, щеки и нос. Его шуганула скандальная тетка; она высунулась из двери, увидала его и завопила на весь подъезд: «Штатающца тута! Дряни вонючие! Одяжки подзаборные! А ну-ка вон отсюда! Штоб тебя больше тута не видали! Забудь этот адрес, падла!» Он вздрогнул всем телом, плотнее запахнулся в пальто, чтобы сохранить тепло, и вышел в метель. <...>

И он шел. А куда шел? Он не знал. Выходило так, что он шел сверху вниз. Вверх, вниз, таков рельеф земли; разве можно предугадать, куда ты свернешь на этот раз? Он понимал: вниз идти легче, чем вверх, но снизу будет уже трудно подняться. И что, дно было таким ровным, гладким, оно вспучивалось теплой темнотой, дышало белым равнодушным холодом, изредка покрывалось нежными морозными узорами, там вповалку лежали чужие сапоги и башмаки, чужие рубахи и пиджаки, и использованные шампуни, и надкусанные тухлые пироги, а может, еще съедобные, и скисшие, когда-то соленые огурцы, и когда-то ангорские, а нынче траченные молью свитера, и разломанные театральные бинокли, и сумки из натуральной кожи, в них голуби свили гнездо, и подозрительная труба с разбитым окуляром, и варежки с отрезанными большими пальцами, и несвежие куриные потроха в крепко увязанных прозрачных мешках, и позолоченные багеты с тяжелой красивой лепниной, и косметички с замерзшими помадами, с навек застывшими блестками для век, тенями и тушью, — да, это была городская свалка, одна из множества столичных свалок, и это вещевое месиво было шикарнее и круче любого секунд-хенда, тут можно было жить, спать, есть, пить, одеться, всем чем угодно поживиться, прихватить с собою кое-что в подарок тому, у кого в жизни не было уж совсем ничего, — а зачем говорить, что ты все это великолепии на свалке нашел? Зачем открывать миру свои тайны? Береги тайну. И свалка сбережет тебя. Так все просто.

Марк быстро привык к свалке. Свалка стала родным домом, только без крыши. Днем, при тусклом свете молочного крохотного солнца, он бродил по горам мусора, по холмам хороших и жалких вещей, рылся в них, ковырялся, откладывал в сторону то, что можно было съесть или надеть. Он нацеплял на пальцы массивные золоченые перстни. Вешал на шею грузные, с крупными звеньями, бандитские цепи. Гляделся в найденное в грязи дамское зеркальце: из куска стекла на него глядел птичий глаз и птичий клюв, и он принимал себя за голубя.

Часто сидел, обрядившись в найденное, на вершине мусорной горы; раскидывал руки, подставлял тусклому солнцу лицо, обонял вереницу запахов, и чарующих и отвратных, и к нему, застывшему неподвижно, прилетали голуби. Они, может, принимали его за деревяшку. За деревянный крест, за чучело. А может, наоборот, жаждали не-



смелого тепла, человеческого воркованья. Голуби садились ему на плечи, на руки, на колени, на затылок. Трепыхали крыльями, сизыми и белыми. Один прилетал мощный, крутогрудый, с мохнатыми белыми лапками: турман. Он потерялся. Все голуби были бродяги, а этот царь. Голуби подолгу сидели на неподвижном Марке. Он боялся шевельнуться. На его лице застывало тихое блаженство. На свалке он научился сам себя стричь, даже в зеркало не глядя, ржавыми, замысловато изогнутыми старинными ножницами; а потом и брил сам себя, вот он станок, а вот и лезвия «Gillette», тупенькие, конечно, да это ничего, можно ради красоты потерпеть. Его голова напоминала неряшливо ободранный ананас. Порезы плохо заживали, медленно подсыхала кровь. Располованная кожа мерцала гладкой синевой, щетиной, поросычьей розовостью; главное, волосы в глаза не лезли, и на том спасибо. Голуби не удерживались когтями на бритой башке. Требовалось надеть шапку. Марк натягивал курчавую кавказскую папаху, вытертую, без подкладки, папаху воняла собачьей мочой. Голуби любили, когда он надевал папаху, вцеплялись в нее, сидели, ворковали, взмахивали крыльями.

А чуть яркий луч ударит, гудок раздастся, щелчок, дальний крик — голуби разом, сизой светлой тучей, вспархивали с его плеч, рук и головы, и он, закидывая лицо, долго следил, как они тают, гаснут во вьюжной тоске, в великой синеве. Порхали, сияли, светились, бормотали свое! Улетали навек! Сиянием вставали вокруг его голой, бритой головы, и отсветы от голубиных крыльев ходили по израненной тупым лезвием коже, по впалым щекам, по лбу в извивах морщин. Голуби, вы прилетите еще! Вы меня не забываете! И я вас тоже не забуду.

Он приготавливал им еду, размачивал горбушки черствого хлеба в просроченном молоке, насыпал в жестяные миски гречку и рис и так сидел и ждал. Когда голуби прилетали вновь, он им молился.

Однажды он захотел чаю. Просто горячего чая. Он целый век чай не пил. Разыскал на свалке початую пачку дешевого чая, нашел и чайник, старый и смешной, в таких рыбаки до войны с немцем чай на берегу кипятили, со смородиновым листом и мятой. Воду добыть — нехитрое дело: вон сколько снега вокруг! Набил снегом чайник. Развел костерок. С ворами он наглядился на живой огонь. Странно катилось время: где-то летели по рельсам поезда, в небе кувыркались самолеты, в духовках пеклись румяные пироги, а он сидел тут, у живого, старого как мир, бедного огня, и грел над ним голые красные руки. Снег в чайнике быстро растаял. Скоро вода закипела, Марк наблюдал, как со дна поднимаются и на поверхности лопаются пузыри. Представил себя самого этим пузырем. Со дна взвывается и лопнет! Заварку он бросил прямо в чайник. Кружка у него тут тоже завелась: шикарная, расписная. С ее бока на него глядел белый голубь. Он раскидывал крылья. Над голубем будто детская рука коряво, шатуче вывела: ДУХЪ СВЯТОЙ. Марк подцепил ручку чайника спущенным рукавом теплой куртки и налил полную кружку крепчайшего чая. Отхлебывал, жмурился. Что тебе чифиры! Пил и медленно пьянел. Вспомнил свои севера. Сияние голубиное. Крылья неба. А что, хватит уже топтать по земле. Может, надо уже пожитки в дорогу собирать. В самую главную.

Подумал об этом — и кружку ото рта отнял. И на колени поставил, и коленями сцепил. Железо кружки прожигало брюки. Марк глядел на свои башмаки. Здесь нашел. На брюки. Здесь отыскал. На кружку и коричневый чай в ней. Здесь обнаружил. Все здесь. Свалка ему подарила все. Как же ему ее не любить?

И разве, кроме свалки, он найдет сейчас кого-то ближе, роднее?

Спал он в шалашике; утеплил его со всех сторон разным тряпьем. Ляжет, в клубок свернется, надышит — вот оно и тепло. Правда, бывали дни, когда он просыпался и еле разгибал руки и ноги, сведенные холодом. Краем сознания он понимал: еще год-другой такой жизни — и загнетса он, вместе с голубями в зенит улетит.

«А что, и улечу. Разве нельзя?»

На самом дне жить — с волками, с собаками выть. Собаки прибежали часто. Иные его кусали за ляжки. Он отгонял их, швырял в них камнями, вещами и скомканными бумагами. Бросал им съедобные куски; потихоньку собаки привыкли к нему. Из леса, ближе к весне, приходили волки. Они не приближались к свалке. Марк слышал их вой поодаль, и все волоски на его отошлом теле вставали дыбом. А потом он и к волчьему вою привык. И жалел волков. Собаки, только дикие. И так же, как мы, есть хотят. И так же, как мы, ласкаться и любить.

Он уже не хотел любви и ласки.

А может, просто себе не признавался в этом.

Дно перейти вброд. Зачем? Не лучше ли залечь на дно? Залечь на грунт? Вода сомкнется. Никто не просветит острым взглядом такую глубину. Дно илом затаяет. Смерть — это океан. Все спокойнее он думал о смерти. Она вставала перед ним грозовой тучей, ложилась послушной собакой. Не выла, хвостом не виляла. Лежала, как каменная. И он мог ее всю рассмотреть.

Совсем не страшная. Жесткая. Железная на ощупь. Железные кости. Железо хрупкое, не ударяй кулаком, рассыплется в прах. Глаза под мертвым собачьим черепом живые. Смышленные. Все понимают. Она все понимает, смерть, про тебя. И про себя тоже. Зачем ей слова? Она ждет, когда ты сам так устанешь говорить, что рот твой станет землей и глаза твои станут землей. Ты будешь глядеть, а из глаз твоих будет глядеть земля. Разве мы боимся земли? Разве земля боится нас?

Руки его рылись в вещах, он повторял себе слова красных монахов: ничего этого нет, нет. Однако вещи были, они бугрились под руками. Однажды вещи раздвинулись, и на их дне он увидел ребенка. Девочку. Девочка спала. Она зарылась в старые вещи и гнилые отбросы, и ей стало тепло. Вещи и еда отдавали ей свою жизнь. Марк дрожащими руками отодвинул с ее лица дырявую козью шаль. Восточное личико, какое нежное! Она не просыпалась. Но мертвой она не была. Тихо дышала. Он вскипятил свой ржавый чайник. Заварил чай. Поднес к холодным губам девочки свою железную кружку. Тыкал кружкой ей в рот. Она стонала и отворачивала лицо. Потом глотнула из кружки. На ее лице нарисовалась улыбка. Марку показалось: это голубь слетел и мазнул ей по губам крылом.

Он взял девочку на руки. Маленькая, худенькая. Он давно уже не мог определить возраст никакого человека. И свой тоже. Откуда ты, бродяжка? А может, ты из приличной семьи? И про приличия он тоже уже ничего не знал. Земля стирала перед ним грязное белье в снежном чане. Метель стирала все различия между волей и тюрьмой, кражей и святостью. Он вдруг захотел отдать этой малышке, дрожащей на его руках, все, что он когда-либо своровал и присвоил.

Девочка дышала часто и молчала. Улыбалась. Марк прижимал ее к груди. Тихо с небес слетал снег. Он слышал толчки ее сердца. Она казалась ему котенком. Откуда-то он знал ее. Помнил. Но когда он пытался вспомнить ее, она улетала у него из рук веселым голубем.

Они стали ютиться на свалке вместе с бродяжкой. Он все время всматривался в ее лицо: все еще пытался узнать. Время молчало, не раздвигалось перед ним. Он находил ей в кучах объедков лучшие куски. Угощал ее с ладони. Она молча, улыбаясь, брала. Ела не спеша, деликатно. Слишком поздно, трудно, он понял: она немая. Вдобавок она плохо слышала. Глухая и немая, вот чудеса! Голубка, шептал он, голубка.

И верно, она слетела к нему с небес. Легчайшие облака еще не успели прогнать. Ветра еще не свились в грязный бельевого ком. Широко раскинутые крылья, открытая всем пулям птичья грудь. Губы клюют, острый глаз глядит в будущее. А может, в прошлое. Такой глаз лучом просвечивает всю толщу воды, до дна. Глаза в глаза! Гляди! Ты все равно не вспомнишь этого ребенка. Он послан тебе, чтобы ты все забыл.

Тот, кто все забыл, свободен и счастлив.

Ты когда-то был вор; а сейчас ты — счастье и свобода.

Так дари их людям. За пазухой не держи.

С маленькой глухонемой девочкой, черненькой, нежной и смуглой, он иногда выбирался со свалки туда, где жили люди: к домам, к дорогам. Машины пыхали бензином. Вывески рьяно горели во тьме. С девочкой на руках Марк подходил к придорожным ресторанишкам, видел, как за окнами, за раскрытыми в ночь дверями пылает и полыхает чужая наглая жизнь: тела, обсыпанные блестками, лукаво изгибались, бесстыдно обнажались, руки жестоко срывали одежды, рты многозубо хохотали, женщины, похожие на скользких рыб, уплывали прочь от мужчин, что уже задорого купили их, и вино, и жаркое. Все любили и умели наслаждаться. А вокруг сгущалась нищая тьма, гудели заляпанные грязью легковушки и грузовики, железные коробки сталкивались на каменном стрежне, наползали друг на друга, холод пробивали огненные свистки и яростные вопли, и когда все кончалось, вдоль шоссе тек одинокий черный ручей, тихий бедный плач. Марк не показывал девочке красивую и злую жизнь за стеклами больших окон: он закрывал ей ладонью глаза.

Они возвращались на свалку, и жизнь входила в русло. Марк заботился о немой. Немая улыбалась ему. Так они, каждый, дарили себя другу другу.

Часто они сидели так: Марк брал ребенка на руки, прижимал к себе, девочка спускала ноги с его колен, он ощущал на коленях живую детскую тяжесть и радовался ей. Так они могли часами сидеть, молчать. Слова им были не нужны. Он держал на руках жизнь.

Сидели так однажды. Вдруг сердце у Марка заболело. Застучало с переборами. Он прислушался к стуку внутри. Уловил в этом стуке забытую тоску. Нет, он не вспомнил имя. Не увидел давние прозрачные глаза. Он ничего не увидел. Девочка глухая и немая, а он ослеп. Ослепла его душа. Зрение он не мог своровать ни у кого. Времена изменились, сместились. Он не узнавал свое время в лицо. Не видел его. Из тепла ребенка на его коленях, из глухой тоски родился настойчивый стук, он повторялся, звучал внутри, бил мерно и медно: ДОМ. ДОМ. ДОМ.

Будто сотни, тысячи голубей слетели к нему с небес и облепили их обоих, уселись на них, били крыльями. Светили, светились. Птичье горячее тельце девочки о чем-то молча говорило ему. И он, обнимая ее, понял, что всю жизнь, по всем градам и весям, по всей земле и великим и малым странам ее шел домой. Домой.

ДОМ. ДОМ. ДОМ — стучало под старой курткой сердце ребенка.

А может, его собственное.

Он стал ребенком. Он вернулся в себя; и боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть себя самого.

Это девочка, как мать, держала его на забытых руках и ничего не говорила ему, потому что в смерти не говорят; там только улыбаются и плачут.

Он увидел кольцо, круг свой по широкому миру; широким поясом он обнял землю, всем собой, он не хотел, так получилось, собой он обхватил, обвертел горы и города, океаны и острова, воздух сгущался под ним, он падал в синеве, погибал и снова поднимался, он увидел себя вроде как сверху: да, живой такой пояс, со смеху умереть, землю собой обтянул, а на ком он сейчас, никчемный пояс? вот на этой теплой, живой немой девочке? как это отец над ним, века назад, шептал: живой в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится, отец шептал, а Марк думал: живой всегда, живой везде, ведь это же значит, он бессмертен, и все бессмертны, а вот бы украсть у Бога бессмертие, пусть бы Бог умер, а он бы жил вечно; и они бы все жили всегда; кто все? люди? или только его семья? бедный отец, бедная мать? он бросил их ради земли, ради того, чтобы стать живым в помощи Вышняго поясом земли или чтобы стать великим

вором и своровать всю землю, со всеми ее богатствами и сокровищами — для себя, лишь для себя?

Он встал, покачиваясь, и опять пошел вперед. Со спящей девочкой на руках.

Он долго шел, свалка осталась позади, за его спиной, веером разворачивались грязные дороги, он выбирал одну из всех и медленно шел по ней, шел, глубоко дышал, устал идти, живая тяжесть оттягивала руки, дома шли мимо него, машины ехали мимо, дымы мимо него летели и умирали, шел-шел и набрел на дом с широким пустым крыльцом, дверь слегка отъехала в сторону, ее покачивал ветер, он низко согнулся и тихо положил ребенка на крыльцо. Девочка спала. Она так и не проснулась.

Он, прежде чем уйти навсегда, еще раз посмотрел на ребенка, которого он подобрал людям.

Это мой ребенок, сказал он себе, это настоящий мой ребенок. Я узнал ее. Она похожа на меня.

Уходя, пятился. Помахал девочке рукой. Она спала и не видела, как он прощается с ней.

Повернулся и опять пошел.

Он же не червяк, чтобы ползти и пресмыкаться. Он человек.

И ловкий. И умелый. Он еще раз сворует у времени самого себя. Еще раз. Последний.

Он добрался до вокзала.

До того, на который приехал когда-то желторотым птенцом, воровским юнцом.

Зайцем сел в пыльную электричку с бельмами замороженных окон. Выпрыгнул на дальней станции. Пошел вдоль рельсов на восток.

Все на восток и на восток. На восход солнца.

Шел и повторял себе хриплым, простудным шепотом: домой, домой.

В дороге у него от башмака, найденного на свалке, отвалилась подошва. Он привязал ее к башмаку веревкой.

...бать, я привязал подошву к башмаку веревкой, и так вот ковылял, так и шкандыбал, не пойми как, подошва то и дело отваливалась, и я ее то и дело привязывал, прикидывал: за сколько дней я этот путь пройду? а может, месяцев? а может, мне на попутке добраться? ноги-то не резиновые, старые уже. А может, я научусь милостыньку просить? И мне будут подавать. А что, бабы, они сердобольные, они добрее, чем мужики. Мужик тебя еще с ходу в торец двинет, а баба — что баба, она знает дело туго. Жалеет! Вот и меня, бродягу, пожалеет.

Батя, и правда, бабы встречные совали мне кто что: кто монетку, кто бумажку, кто вареную картошку в кульке, кто посыпанную сахарной пудрой плюшку, все, что при них имелось, то и совали, бормотали: на, пожуй, бедняга! ой, бедолага! — и я, втихаря оглядывая себя, соображал: выгляжу уж очень плохо, должно быть, если так истово причитают. Одна старуха, правда, нашлась. В семье не без урода. Увидала меня, а я как раз рядом с чужим вокзалишком стоял, милостыню клячил, да как завопит: заразу разносят! чума, холера! нашествие какое этих гадов восточных! дави их, гадов раскосых, вонючих! работать на нас не хочет, видишь ли, побирается, старая собака! езжай в свою Тьмутаракань, в свою пустыню дерьмовую, в свою Мусульманию проклятую, а нас не трогай, не мутуй! и так испоганили нам тут все! взрываете бомбы в метро! девок наших портите! да вы, гады, мировую войну против нас замышляете! да что там, сволочи, вы ее уже ведете! Она орет без перерыва, а я соображаю, она ведь меня за азиата принимает; что, так я зарос и так стал раскос, глаза опухли, почки уже ни шиша не тянут, глазки в шелки превратились, вот я и вызвал в ней ненависть, да такую, дай ей волю, в клочки бы меня разорвала, волчица. Я ей говорю: мадам старуха, вы Пико-

вая дама! зачем вы так блажите? горлышко поберегите, а то охрипнете! Никакой я не азиат и не гастарбайтер, русский я, русский, и иду я домой, слышите, бабушка, домой! домой! И для верности еще раз повторил, как заклинание: домой! домой! Она осеклась. Гляжу: стоит, не верит. Но вопить перестала. Всматривается в меня. И тут у нее губа запрыгала. И я еле различил ее шепот: сгинь, мужик, отсюда, пропади, не попадайся мне на дороге, вот такие, как ты, подзаборники мою внучку в проходном дворе растерзали, двоих нашли, а двое убежали, а уж такая внученька была, чудо, загляденье, еще години не было. Вечная память. Сгинь, собака раскосая!

И я прикрыл глаза рукой и отошел в сторону. И вошел в подворотню, и сел перед сырой грязной стеной на корточках, и плакал горько.

<...>

Он слепо стоял перед дверью, качался. Глотал воздух лоскутами легких, как вино. Пил его, пьянел. Никак согреться не мог. Дрожал. Надо было позвонить. А может, постучать. Над его лбом моталась кнопка звонка. Он поднял руку, чтобы позвонить. Потом опустил и положил ладонь на дверную ручку. Нажал. Дверь подалась под рукой. Он стал толкать дверь вперед, она открылась широко. Он вошел. Оставлял следы в прихожей. Дышал шумно, тяжело. Хрипел. Старался не кашлять. Хрипы раздирали грудь. Сам себе казался старой тряпкой, и ее рвут на части сильные руки. Прошел в комнату. В кресле, спиной к нему, сидел старый лысый человек в красном халате. Руки старика лежали на подлокотниках кресла. Руки задрожали. Вцепились в подлокотники. Медленно, трудно старик встал. Колени его подгибались. Он обернулся. Марк шагнул вперед. Хрипы в груди клокотали. Ноги перестали его держать. Он повалился к ногам старика. Наклонил голую, в колючках волос, грязную голову. Шапку, похожую на гриб, он где-то потерял. Может, еще когда вдоль рельсов шел. А может, около серого прозрачного катка. Он сказал старику: отец! — а старик затрясся и вымолвил ему: сынок мой! — и положил руки ему на плечи.

И так они застыли оба. Красный халат Матвея огнем лился с его плеч, и время сначала горело вокруг них огнем, а потом пламя сковало мороз, и костер застыл, и лохмотья времени вил и трепал подземный ветер вокруг них, а волосы вокруг лысины старика поднимал ветер небесный, и влетал небесный ветер в раскрытый, страшно плачущий рот, и отвалилась от сапога насмерть прикрученная веревкой гнилая подошва, и глядела на бедный мир голая нога, и глазами целовал отец ногу ребенка своего, и руками целовал плечи его и щеки его, и прижимал голову его голую, колючую к груди своей, и шептал нежное, ласковое, а сын дышал хрипло, тяжело, теперь можно было так дышать, не надо было стесняться ничего и бояться, он ведь шел и дошел, он дошел домой, и это его отец крепко обнимал его, и слепо и счастливо рыдал над ним, и, еще живой, сливался телом и душой с ним, еще живым.

Еще...

...и вот, батя, еще живой я, живой, сам себе так думал, шел, и кашлял, и вот дошел, видишь, дошел и здесь лежу, перед тобой лежу. А знаешь, как я боялся входить домой! Не знаю, как боялся. Руку никак не мог поднять, постучать, позвонить. Руку судорогой свело. Я уж, знаешь, хотел деру дать. Ну, думаю, какая разница, где подышать, в родном доме или в чужой подворотне. Бродяга я и есть бродяга! Забыл я, что такое дом! Забыл, а ведь вот потянуло! А может, так надо, и правильно потянуло? Батя, батя... Ты меня прости, нарасказал я тут тебе всего. Всякой дряни. Голову тебе заморочил! Знаешь, как наши воры, столичные, говорили: не морочь мне яйца! Ах я гад, гад. Гаденыш я, батя. Зачем я только тебе эту жизнь свою всю вывалил! Завалил ведь просто тебя ею. Все, что накрал — держи, батя, все твое! Я щедрый! Мне не жалко! Я и еще наворую! За мной не заржавеет!

Не слушай меня. Ерунду мелю. Язык мой без костей. Сейчас боли нет. Но скоро придет. Спешу тебе все сказать, чего раньше не говорил. Но, бать, я не мальчишка! Не тот юнец зеленый, что из дома удрал красивую жизнь искать! Нет! Измочаленный я. Мочало я липовое! Осталась половина меня. Боли нет пока, но скоро она будет. Опять. Опять накатит, сволочь!

Вот накатит, буду сначала терпеть, потом орать, а в это время мозг, бать, знаешь, думает обрывками мыслей: а сколько времени человек подышает? месяц, два? три? полгода? Если полгода такого ужаса, я точно не выдержу.

Что ты, бать, такой смурной сидишь? Навел я на тебя тоску? Эх я дурак. Надо было помягче, помягче! А я тебя всем своим ужасом взял да и покромсал. Ты, хирург! Ты так, как я, своих больных не кромсал. Ты их щадил. А мне кого щадить? Бать, боль такая временами, что на стенку полезть и бегать по потолку — вот что охота. Даже не так! Не так! А выть, выть. Ну я и вою! Батя, ты прости меня, что я тут у тебя вою, как волк! Волк я и есть волк! Погибаю я! И это оказалось так больно, больно! Если так дальше пойдет, я от боли такой глаза себе сам вырву! Ребра сам себе сломаю и сердце свое в кулаке раздавлю! Не хочу я жить с такой болью! В ней жить не хочу! Внутри нее! Не могу больше!

Бать, а иногда, знаешь... как хочется курить... аж уши пухнут...

Батя... Батя... А вот мысль мне пришла... Батя, родненький! а сделай мне укол! Какой, какой... Все такой! Последний. Ведь делаешь ты мне уколы, от них боль проходит. На время — уходит. Потом опять идет, и я опять не человек, а боль. Я в нее превращаюсь! И нет ничего, кроме боли! И меня нет! А на хрена мне такая жизнь, если меня уже нет?! Батя! Прошу тебя! Вкати мне укол, а! Ну чуть побольше зелья в шприц набери, а! Ну влей ты смерть в меня! Пожалуйста! Не могу больше жить! Не хочу! Не хо... чу... <...>

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

Марк кашлял все сильнее. Матвей вынужден был быстро подбегать к сыну, когда он задыхался, сотрясаясь, и на полотенце, на салфетку подхватывать все, что он вулканно извергал: кровь и слизь, ошметки легких, все прожитое, пережитое, уже отблевшее и отгнившее, не нужное нигде: ни на земле, ни на небесах. Вытерев Марку бесильно приоткрытый рот, а после обтерев его щеки и подбородок мокрым полотенцем, Матвей, сутулясь, сел — когда на табурет, когда на диван рядом с Марком, чтобы чувствовать своим телом слабое, уходящее тепло его высохшего, слабого тела. Тело Марка отдавало тепло отцу через тонкое овечье одеяло. Пододеяльник весь в пятнах засохшей крови. В дырах: разлезается ветхая ткань, а Марк ее мнет в пальцах и даже такими слабыми, беспомощными пальцами и ногтями — рвет. Истончилась жизнь! Сквозь дыры льется последнее тепло. Зачем оно? Оно же не молоко, чтобы утром кружку выпить. Ученые говорят, время настанет, и погаснет в мире весь огонь, и все обреченно остынет, и покроется седым слоем льда. Страшное, должно быть, время придет. А огонь чем лучше? Сгореть заживо, тоже приятного мало. Все идут к обрыву. И в него упадут, а на дне пропасти — костры. И сгоришь, рано или поздно.

Матвей услышал, как сын заходится в кашле, бросил половник в кастрюлю, железо звякнуло о железо; сломя голову побежал отец в комнату; приподнял голову сына, чтобы ему удобнее было кашлять и он не захлебнулся. Кровь поползла из угла рта. Матвей ловил ручей крови кухонным, в масле, мятым сырым полотенцем.

— Вот так, так, сыночек... кашляй... сейчас легче станет...

Он врал ему.

Воровал у сына правду.

Утер ему рот, спиной содрогался, глядя на кровь на полотенце, кусал губы.

Марк перестал кашлять и отдышался.

— Бать... посиди... тут...

— Да у меня там суп.

— Вы... выключи...

Матвей послушно побрел на кухню, выключил газ и вернулся к больному. Марк глядел на него круглыми, неподвижными глазами подраненной совы.

— Батя... я... спросить хотел.

Он все еще тяжело дышал.

Отец смотрел на него, приоткрыв рот так же, как он.

— Да!.. да... да-да, давай...

Марк пошевелил рукой, она лежала поверх одеяла высохшей зимней веткой.

— Ты знаешь, бать... — Он облизнул губы. Слизал с нижней губы кровь. — Очень одиноко мне. Просто ужас как одиноко. Я... один... тут...

Матвей ужаснулся и протянул руки, чтобы за руки сына схватить, — но не схватил, руки в рывке остановились, замерли; жили отдельно от Матвея; дрожали над одеялом, над грудью лежащего.

— Что ты?! — Крик вырвался из него помимо его воли и испугал его самого. — О чем ты!.. как ты можешь... Я-то ведь — рядом... я все время здесь, сынок... ну... иногда ухожу... но ведь по хозяйству... или в больницу, за лекарствами, в аптеку... но я же быстро, быстро прихожу!.. ты и оглянуться не успел, а я уже пришел!.. что ты такое говоришь... что...

Матвей озирался по сторонам, будто наблюдал мышей, россыпью раскатывающихся по грязному полу.

А увидел кошек; кошки вышли из-за приоткрытой двери, их черные тонкие хвосты завивались крючками. Кошки исхудали: Матвей их плохо кормил. Некогда было. Он забывал о зверях и помнил лишь о человеке.

— Да нет... — Большой поморщился. — Я не про это, бать. — В груди у него закатало, и он хотел еще покашлять, а вместо этого немного похрипел и побулькал, как суп в кастрюле на плите, влажно и стыдно. — Одиноко мне. Вот тут. — Он слабо хлопал себя ладонью по груди. — Тут — одиноко! Жутко мне тут. — Он прислушался к себе. Закрыв глаза. Потом опять открыл. Глаза тускло светились подо лбом, светляками на болоте, огнями в черноте лабрадора. — Знаешь, как жутко! Завыл бы. Да ведь я не собака.

— Нет. Не собака.

— Лежу тут один... выть хочу... сердцем вою... и думаю: вот бы стать бессмертным!

Матвей прижал руку ко рту.

— Ох ты!.. эка куда хватил...

— Да! не умирать никогда. Или, может, знаешь... уснуть на сотни, на тысячи лет, просто уснуть... а потом взять да и проснуться? И опять жить, а потом опять уснуть, а потом опять пусть тебя разбудят. И опять жить! Все время жить и жить! Жить!

Марк прохрипел это «жить!» так мучительно, взорвал этим словом себе грудь и рот, и оно, попав в Матвея, пробило ему грудную клетку и выкатывалось, выливалось из разверстой ямины плоти на рваную майку, на штаны, на полотенце, на одеяло.

— Жить... да...

— И вот, бать, я еще думаю. Я умру, а может, в это самое время возьмет да родится другой я?

— Какой другой ты?

Матвей растерялся.

«Пусть лепечет, что хочет... не буду останавливать... и спорить тоже не буду... работа мозга, работа мозга... все уже гаснет, все...»

Он вдруг понял. Все понял, что сын хотел сказать.

— Ну, другой я. Такой же человек, как я. Ну не такой же внешне... а... внутри такой же. Родится... и будет... ощущать себя, как я. Ну, говорить и думать о себе: я! я! Ну, это буду я! Настоящий я! Один я лежу в земле... закопали уже меня... а другой я — вот он я! На земле! Скажи, разве так не может быть!

Матвей кусал губы.

— Да я понял, сынок... я понял... может... все может быть...

И вдруг Марк приподнялся на диване на локтях.

Для него это было невозможным усилием. Но он приподнялся.

И так, уперев локти в диван, поднимая на локтях тщедушную грудь, впалый живот, и костлявые плечи, и дрожащую, как у чучела на ветру, бритую голову, и шею, обтянутую темной обвислой кожей, с торчащим кадыком, держа на ломких костях всего себя, всю свою жизнь, как гнилое коромысло, он проорал хрипло, прямо глядя в лицо отцу:

— Да врешь ты все! Врешь! Есть только один я! И вот он я! А другого нет! И не может быть никогда! Никогда он, другой, не родится! Я — больше — никогда — не рожусь!

Локти подломились, и он упал.

Так падает со стола небрежно смахнутый полотенцем зазевавшейся хозяйки сырой, только что слепленный беляш.

И тесто, шмякнувшись, растекается по полу; и мясо вываливается на половицу, и наступают рассеянная хозяйка, в окно засмотревшись на ярко горящий церковный купол и заслушавшись пасхального колокольного звона, всею ногой в разношенном тапке на месиво, что у нее под ногами лежит на полу. Жизнь — лишь на миг быстро слепленный ловкими руками беляш; его съедят, или бросят собакам, или растопчут на скользком полу.

В мире нет ничего, что осталось бы навсегда.

Матвей судорожно, быстро гладил сына по мокрому голому, колючему лбу.

— Сыночек... ты не плачь... А может, родишься... И будешь снова — я... Ну, в смысле, ты... Ты сам... Только ты... Ты один... А я... А где же буду я?..

Отец смутился.

«А правда, где же буду я?.. А черт со мной... наплевать на меня...»

— Ты?

Марк царапал ногтями одеяло.

— Я... хотел бы опять... в той новой жизни... видеть тебя...

Марк рассмеялся тихо, странно и хрипло.

Он теперь все время хрипел: дышал — хрипел, говорил — хрипел.

— А это уж, батя, как твой Бог захочет!

— Мой?.. Бог?..

Одна черная кошка подошла, выгнула тощую спину, сквозь шелковую шерсть просвечивали позвонки. Другая черная кошка коротко и нежно мяукнула, ухватила лапками за бок кресла и стала весело драть и без того драную обивку.

— Брысь! — крикнул Матвей и махнул на кошку рукой.

Кошка села и молча смотрела на Матвея, как черный сфинкс.

Марк дышал хрипло и трудно.

— Батя... — Царапал ногтями, как когтями, простыню, край дивана. — А покажи мне...

— Что?..

— Жука... Ну, жука. Ты помнишь жука?



Матвей через миг-другой понял: сын говорит о темном ночном жуке в синей спичечной, старинной коробке. О последнем подарке навсегда ушедшей матери.

Как и зачем он вспомнил жука? Мертвого, гладкого, блестящего, как царская брошь?

Матвей встал с дивана, пружины лязгнули, неверно, пошатываясь, постоял и медленно, шаркая ногами, пошел к письменному столу. Выдвинул ящик стола. Книги, тетрадки, записные книжки, очечницы, сломанные фонендоскопы, старые тупые скальпели с ручками, обмотанными изоляционной лентой: давно служили как домашние резаки: веревку обрезать, бумагу разрезать. Крючились сухие пальцы, шарили, искали. Нашли. Спичечная синяя коробка вытянута, улеглась на ладони. Отец вернулся к дивану, снова сел, снова звякнули пружины. Он поднес коробочку к щеке Марка и медленно, будто делал инъекцию, коробку открыл — большим пальцем. Опустил чуть ниже. Положил на подушку. Пальцами придерживал. Марк косил, косил коровий глаз и все не мог так скосить, чтобы увидеть.

— Жук... ты все врешь, бать... нет его тут, никакого жука... а я же его с детства...

— И я — с детства...

— Где он?.. выкинул его ты, в окно выбросил... Или — кошки сгрызли...

— Да вот же он, вот...

Марк поворачивал голову на подушке так трудно, что Матвею показалось — он слышит скрип шейных позвонков. Матвей взял коробку двумя пальцами, а пальцем другой руки придерживал жука; поставил коробочку стоймя, на попа, и поднес к носу больного.

Бритая, в колючках и пуху, голая голова сына тихо светилась в полутьме.

— Видишь?.. Видишь?..

У жука отломилась сухая лапка и невесомо упала на одеяло.

— Вижу.

Марк слабо и глупо улыбнулся.

Матвея от этой улыбки скрутила судорога.

Не тело скрутила; то, что находилось внутри тела и снаружи его.

— Красивый?

— Еще какой.

Марк шевельнул рукой. Отец понял: он хотел жука потрогать.

«Детство свое хочет потрогать. Значит, скоро».

Он поднес коробку к руке сына. Сын осторожно, опасливо поднял руку и прикоснулся к хитиновым надкрыльям.

— Гладенький... Мертвенький... А когда-то был живой... Летал, жужжал... Мне, бать, в детстве казалось: он леденцовый... Я хотел его лизнуть... а вдруг — сладкий...

— Да... Мы все в детстве так... Что блестит — то и лижем... И хотим присвоить, украсть... Я вот маленький был — у тетки хотел брошку украсть... она ею ворот кофты закалывала... кружевной... Тоже... хотел стащить — и лизнуть, пососать... Сынок, а обедать?.. Ты хочешь покушать?.. пойду супчик разогрею... а?..

По щекам Матвея медленно, торжественно катились мелкие, как окуневая чешуя, мутные слезы.

<...>

\* \* \*

Вслед за криком обрушилось молчание.

Тишина давила на затылок и железными руками обнимала за плечи. Нечего было и бороться с тишиной: она победила бы все равно. В тишине иногда тонко и хрипло мякали черные гладкие кошки; они двигались бесшумно, крестя нежными лапками пыльный пол, и на пыли пола оставались отпечатки лап — оттиски жизни, что завтра

сметут поганым веником. В тишине скрипели диванные пружины — это отец садился на край дивана рядом с неподвижным, каменным сыном и легко трогал его за руку. Гладил руку. Сын не шевелился. Отец неслышно вздыхал. Глядел, как сын спал. Или пребывал в забытьи?

Матвей столько раз видел последние мучения человека, что душа его покрылась коркой равнодушного, врачебного льда. Если жизнь закончена — кто тебе ее вернет? А судьба врача такова: возвращай во что бы то ни стало! Тащи из черноты — опять в страдальный свет! Врач, ты же палач. Ты не даешь человеку спокойно уйти. А что, Матвей, ты хочешь стать сегодня — доктор Смерть? Эх куда хватил! Такого звания ты еще не заслужил.

А что если... последний укол...

...и все, все кончено, все... без мук, без боли...

В тишине сын открыл глаза.

Глаза, два слезящихся, мутных жалких зеркала; два осколка любви.

— Ты не спишь, сынок?

Марк разлепил запекшиеся губы и пошевелил губами. Сухо-наждачные, они потерлись друг об дружку. Он силился выдавить слово.

Не мог.

— Сыночек...

Марк схватил ртом воздух.

— Бать... я это...

— Что?

Матвей наклонился над ним; так курица распахивает старые крылья над цыпленком.

— Батя, меня... мучит одно. Страшно, батя, мучит! Не могу. Даже вот... во сне приснилось...

Матвей бегал глазами по темному страшному лицу, щупал зрачками, обнимал душою впалые щеки, щетину костлявого подбородка.

— Скажи...

— Вор... вор... к лешему все эти кражи... все!.. кроме одной. Я же, батя, не человек вышел! А — перевертыш! Как я со Славкой... с мертвым... потом-то... после той выставки... ну, в той галерее... С мертвым — расправился... с мертвыми, батя, оказывается, можно расправляться не хуже, чем с живыми... Лысый устроил мне выставку, батя, в Кремле... нет, я не сплю... и я не брежу... в Кремле... поверь уж... первые лица государства... картинки мои... ну, то есть, Славкины... в толстых золоченых багетах, как в Эрмитаже... в Лувре... а ко мне, батя, подбегают девочки-мальчики... и в руках у них микрофоны трясутся, как... черные сардельки... и они сардельки те мне в рот суют... и тархтят: ах, Марк!.. ах, какие сплетни вокруг вас!.. ах, черт возьми, какие слухи!.. да вас же грязью обливают!.. на вас же пальцем показывают и шипят вам в спину: вон, вон он идет!.. ну, который великого художника обокрал!.. обчистил!.. картины его присвоил!.. А скажите, пожалуйста, это правда или нет?.. нет, нет, мы, конечно, не верим!.. ни минуточки не верим!.. ничуть!.. но, может, это все-таки — правда?..

Задохнулся. Глотал воздух короткими хриплыми глотками. Отец подsunул ему под голову подушку-думку, чтобы лег повыше. Дышал так же тяжело, как сын: вместе с ним, его повторяя.

— И что?..

— И то, батя... Я... свалил... свалил с больной головы на здоровую... я так захотел обелиться!.. И я в эти черные сардельки... стал бормотать: да я, да я... да он!.. вы знаете, что он — настоящий вор, а не я!.. Он все украл у великих!.. у гениев!.. одну картину — у Леонардо списал!.. а другую — у Врубеля!.. а третью один в один сдул у Курбэ! Он же вор, беззастенчивый воришка!.. все, что можно, у гениев слямзил!.. И — у меня!..

Да, у меня!.. Препоганейшая история, эй вы, люди, папарацци!.. прямо для вас историйка, жареная!.. жареный гусь!.. У меня, у меня одного он, гад, Славка, все картины списал! срисовал!.. тютелька в тютельку!.. уворовал!.. скопировал!.. Я орал это... орал им в лица... сардельки перед моей рожей тряслись... руки тряслись у них... диктофоны писали мой голос... а я врал... орал и врал... врал и орал... я кричал: а все у меня украденные картины сгорели!.. Да, сгорели!.. весело в огне трещали!.. Я сам их сжег!.. Сам!.. Я... взломал мастерскую вора... и выволакивал холсты на снег... и жег их... жег... за сараями!.. Пламя до неба... ночь... костер... я жгу жизнь... мою?!.. не мою?!.. уже не знаю... но жгу!.. И сожгу все до пепла!.. до нитки!..

В груди у Марка клокотало. Кровь полилась изо рта. Матвей рванул из-под подушки измазанную кровью тряпку и прижал ко рту сына.

Марк руку отца — оттолкнул.

— Я... во имя себя... спасения своего... оболгал другого... мертвеца... несчастного... оклеветал!.. да что там оклеветал... нет, бать, это хуже дело... это... я не знаю, как это назвать, эту погань, то, что я сделал... но жжет мне это душу! Жжет! Жжет!.. жжет...

Пальцы Марка скрючились. Он по-зверьи царапал простыню. Из-под век у него выкатились две твердые стеклянные слезы.

Матвей обнял его запястья руками.

Запястья сына показались ему сухим хворостом. Где печь, чтобы сгорели?

— Сынок... Ты не печалься. Ведь все оно прошло. Прошло.

— Да... Прошло...

Стал кашлять и кашлял долго. Кровь изо рта по щеке и подбородку лилась на тряпку, на подушку. Матвей плакал и вытирал кровь. Кашель утих. Матвей все ждал с ужасом, когда Марк опять закричит от боли. Он не кричал.

— Может, уснешь, сынок... а?..

Капельница серебрено светилась во мраке.

Марк шевельнул ногами под одеялом. Из-под одеяла высунулись и горели во тьме тусклым, мертвенным синим светом голые ступни.

— Не хочу спать. У меня все внутри... как ножами режут! Режет меня мое вранье. Мое воровство! Я не брошку тут чужую своровал. Не иконку в церкви. Я — жизнь чужую... своровал! Котик сливочки слизал... и... и на Машеньку сказал... Я оклеветал мертвого человека! Даже не живого — мертвого! Вымазал его грязью! Прилюдно! С ног до головы! Назвал его, честного — подлецом и вором! Его — собой — назвал! Да ведь я же его сам и убил! Скажешь, не хотел?! Выходит, хотел! Я все всегда делал, что хотел! Я — играл с людьми! В свою игру играл! Батя! Кто я на земле был такой, а?! Ну вот кто, кто?! А... не знаешь, что сказать... Назвать боишься меня. А я, я — знаю, кто я! Я — подлец, вор! Убийца я...

Стал мотать головой по подушке. Бешено, исступленно. Глаза таращил.

— Нет! Ты не убийца! Сынок! Нет!

— Да!

— Нет!

— Да! Я вор и убийца! Оборотень! Оборотень! И я с этим — умираю! И худо мне, дико мне, тошно... тошно мне... гадко, жутко, батя! Жутко! Страшно!

Бросил мотать головой. Застыло, мертво, подземно горящими глазами глядел на отца. Глаза выкатились из орбит, белки отсвечивали то желтым, то голубым, их расчерчивали тонкие красные прожилки, и само глазное яблоко вдруг почудилось Матвею землей — той землей, что всю обогнул его несчастный последний сын, вернувшийся будто с войны, а на самом деле — из преисподней, а может, с того света, ведь там, где он побывал, никому больше не побывать никогда. Земля медленно вращалась, тяжело оборачивалась вокруг своей оси, выкатывалась из-под облаков и ураганов, вздрагивала,

ее океаны лились слезой, разъедали солью камни и пески. Земля, она тоже была человек, грешное существо, и она плакала слепым глазом по себе, по тебе. По всех, кто стекал, умирая, последней слезой по ее старой, корявой, бедной щеке. Нет, не слепая! Она — нас — видит! Видит — всех! Каждого...

Гляди... мы — голые... в тебя — кто как ложится: кто голый, кто одетый...

— Сынок! Не надо так! Не мучь ты себя! Грех на тебе...

Перед Матвеем вдруг будто молния ударила, и половицы подожгла, и огонь заполыхал и заметался.

Он понял: тяжело с грехом — умирать.

«И ведь не верит он ни в какого Бога... и никогда не верил... а вот бы покаяться... да ведь и я тоже!.. не верю... а кто у нас веру-то украл?.. кто?..»

Крючья больных пальцев царапали, царапали простыню.

Простыня сползла и обнажила бледный гобелен.

Все так же выкатывались и горели ночные безумные глаза. Все так же медленно, важно ходили тощие черные кошки из комнаты в комнату.

— Батя! Горит душа! Горит... а ну как там что-то и правда есть?!

Матвей прижал обе руки ко рту.

— Бать! Что молчишь! Ведь есть!

Матвей нашел в себе силы кивнуть. Рук от лица не отнял.

— Бать, а я правда свою прожил жизнь?.. свою?!.. а может, чужую?.. Воровал, воровал... и доворачивался... Да разве она была — моя?.. Нет!.. не моя. Нет! Я все время только и думал... как бы стибрить удачно... то... что плохо, плохо... плохо...

— Тебе плохо?!

Матвей вскочил, схватил Марка за плечи. Тряс.

— Сынок! Сынок! — Плакал в голос, всхлипывал. — Скажи мне! Скажи! Что у тебя сейчас болит! Лучше я свою руку сломаю! Ногу! Пусть у меня болит! А не у тебя! У меня! У меня!

Рыдал неудержно.

Марк выдавил из окровавленного рта длинный хрип:

— Плохо... лежит... <...>

\* \* \*

...стучали в дверь, тихо и настойчиво.

Матвей встал со скамеечки, разогнулся, застонал, поясницу крепко потер. Красный его халат распахнулся, обнажая худые, как корни сосны, ноги в штопаных домашних штанах.

Он побрел к двери и добрел до нее.

— Кто?

Детский голосок за дверью раздался:

— Откройте!

Ну, дитя, милостиво думал Матвей, небось соседское, небось понадобились кому сердечные капли, а может, луковица, а может, яйцо, а может, градусник, вот к доктору послали.

Загремел замком. Девочка стояла на пороге. Лет десяти. В отрепьях.

«А, нищенка. Побирается. Бедняжка, малышка. Надо что-то дать. Что?»

Огляделся беспомощно.

— Я... знаешь, сейчас кусочек тебе вынесу... Я — сыну приготовил... он у меня...

Не помнил, как это вырвалось.

— Умирает...

Девочка не переступала порог. Стояла перед дверью.  
Матвей повернулся и пошел на кухню, шаркая тапками. Детский голос толкнул его в сгорбленную спину:

— Пустите меня к нему!

Он остановился. Обернулся.

— Это еще зачем?! Еще тебе не хватало...

Он хотел сказать: «видеть смерть», — а вышло будто: «еще тебя тут не хватало».

Но рука сама махнула: иди!

Нищенка переступила порог.

Она вошла, маленькая девочка, беднячка, побирушка, и кто только ее прислал, а может, сама явилась, никто бы не разгадал ее появление, — вошла и безошибочно направилась в гостиную, где Марк лежал на старом скрипучем диване.

Когда девочка подошла к дивану, Марк разлепил веки.

Он открыл глаза.

Смотрел на диковинную девочку и медленно, страшно узнавал ее.

Радость залила его уродливое, отечное, синее лицо, лилась на подушку, на одеяло, на вытянутые вдоль тела руки.

*Ты пришла... но как же...*

Девочка молча улыбалась.

*Но ты же ведь уже старая!*

Девочка переступила с ноги на ногу, и Матвей с ужасом увидел — у нее босые ноги.  
Зимой!

*Я забыл, как... тебя... зовут...*

Марк вздохнул глубоко и тяжело.

*Да я и не знал...*

Девочка улыбалась.

Губы Марка шевельнулись. Он хотел сказать слово. И не мог. Щетина на верхней губе стала сизой, ледяной, будто на глазах покрывалась инеем.

*Ты что... молчишь?.. ты не молчи...*

Матвей сходил на кухню и вернулся. В одной руке он держал кусок хлеба, в другой — кусок колбасы.

«Она ведь не собака, чтобы ее — так вот — кормить! Эх я, дурак...»

Марк бессильно закрыл глаза. Не мог глядеть. Девочка подошла ближе и села на пол у изголовья умирающего. Матвей все стоял с хлебом и колбасой в руках. Все произошло до обидного просто. Хорошо, что они тут были все втроем. Марк вытянулся на диване всем телом, коротко и страшно, как птица, крикнул: от боли? прощался? или увидел что, напугался, восхитился? — закинул голову, и Матвей увидел его торчащий кадык, и кровь хлынула у него горлом на подушку и простыню, слишком темная, черная кровь, и он ею захлебнулся, а потом враз весь Марк уменьшился, опал, будто его ножом проткнули и воздух из него весь вышел; ушел головою в подушки, ступни из-под одеяла странно, деревянно вывернулись и лопатами торчали, рука с дивана падала, к полу протянулась. Застыл.

Отец все держал в руках колбасу и хлеб.

Он не поверил.

Сын умер.

А он не верил.

Он не знал.

Не хотел знать.

\* \* \*

Мир мигал и мерцал тысячью больных лиц. Они оставались за порогом. Матвей их не видел, только дрожал от их нежной близости. Марк лежал в крови, весь перепачканный кровью, будто невидимая гигантская женщина тяжело рожала его и вот родила, и он, рожденный, лежит в родильной крови, счастливый. Старый хирург, надо было безжалостным ножом вырезать, а жадными, в резиновых перчатках, дрожащими руками вырвать из внутренностей, украсть навеки лишь одно: сердце, свое собственное, украсть его у себя и отдать хирургу другому, молодому, пусть неопытному, да горячему и смелому, — пусть бы он сыну его сердце пересади! И вырезать легкие, и пересадить ему. О, нет! Нет! Не достигла еще медицина таких великих высот. Врач не Бог, и никогда им не будет. Сыночек, от чего ты умер? Ты не мог своровать себе вечный воздух. Вечно дышать! Разве есть что вечное? Человек не перпетуум мобиле. Все уходит! Все уйдут! Сын ушел раньше отца. Зачем эта девочка здесь? Кто она такая?

Сидела у ног мертвеца, около старого дивана с обивкой из настоящего неба, живых деревьев и пухлых веселых облаков.

В комнате пахло солью и гарью. Как после взрыва.

Матвей протянул девочке хлеб и колбасу.

— Возьми!

Это прозвучало как: «убирайся отсюда».

Он так хотел сейчас остаться один.

Девочка взяла еду у Матвея из рук, на него не глядя.

Она глядела на Марка.

Мертвый сын лежал на ложе. Пал под полог, тяжелый и вспыхивающий мелким жемчугом, расшитый искрами аметистовых сколов. Рвались и в рулоны скручивались старые, порванные кошками обои. За время умиранья сына у Матвея отросла белая борода. Она важно струилась на грудь, обвернутую красной тканью. Матвей, живой флаг, и древко скелета еще обхвачено честью и славой. Красный халат, кровь всех больных! Сколько он разрезал людей, а сколько заново сшил! Ему кланялись в пояс, благодарили за жизнь. Он смущался: не надо благодарности, это моя работа. Работа — вот в чем все дело! Важно хорошо работать, тщательно, крепко. Каждое утро благодарить Бога: спасибо, Бог, что послал мне этот день, еще один день жизни, — и натягивать резиновые скользкие перчатки, и вставать к стерильному операционному столу.

Старый отец, ты еще жив. Жив ты еще, курилка! Почему ты в операционной, и без маски? Потому что я задыхаюсь. Мне больно дышать. Я знаю, будет война. Мы от нее никуда не спрячемся. Раньше, позже — неважно. Я буду оперировать сотни, тысячи людей. Они будут кричать: от ожогов, от рваных ран, от дикой, острейшей боли, и будут глядеть на меня, как на Бога: спаси! излечи! избавь! сохрани! Избавить тебя от боли, дружок? Но ведь жизнь — это боль. Вынуть, вырезать из тебя боль? Но ведь любовь — это боль. Все самое живое — это боль! Даже радость. На вершинах радость и боль сходятся. Их нельзя различить.

Мертвый сын лежал спокойно. Ступни чуть вывернуты наружу. Так надо. Так уходит человек, по невидимым облакам ставя кривые ноги. Старый отец стоял рядом, бесильно разведя дрожащие руки. Седая борода мерцала. Из-под дивана высывалось судно. Девочка сидела в ногах мертвого человека, простыня, измазанная кровью, отгнулась, и яснее, веселее проступил узор вытертого гобелена: лодки, лилии, смеющиеся лица давно мертвых людей. Они скелеты! Плоть не значит ничего. Остается лишь то, что ты сам сделал, сработал.

А что делал я всю жизнь, спросил себя Матвей, что же делал я?

Родил шестерых детей. Любил женщину. Все умерли. Все. Никого нет!

И вдруг тысяча лиц, тысяча ног, что с шорохом топтались, смущенно мялись у порога, начали стекаться и влетать в комнату, растекаясь по соленому воздуху, пачкать руки и губы кровью его сына, падать перед ним на колени, принимать щеками к его мертвым рукам и ногам, да и ему, Матвею, в ноги валиться, и обнимать его ноги, и закидывать лица, полные обожания и любви, и слышал он тысячи голосов: спасибо! спасибо! великий врач, спаситель наш, спасибо! Ты оживил! Ты воскресил! Ты вытащил из ямы, а мы-то думали, надежды нет! Ты — заново — нам — наших любимых — родил!

Ваших... любимых?

Он не мог думать. И говорить.

Да, да! наших родных! Нашу, нашу любовь!

Ты родил нам — нашу любовь! Как же мы можем тебя не любить?

Он оглядывался в изумлении, в полнейшей растерянности. Как это, он родил? Спасал? Да он просто делал свою работу! То, чему его учили! А его учили, разрезая и причиняя боль, лечить больного человека! А он, он так всю жизнь хотел быть вором... вором... веселым таким вором, разбитным, всемогущим... владыкой вещей, сердцеедом, скитальцем... и презирать осторожность, и ненавидеть правила и лекарства... знать только ветер... и волю...

Нежно, взошедшей в ранней ночи Луной, сиял у него на голове огромный, неряшливо наверхенный тюрбан. Кухонное полотенце? Дамасский атлас? Тускло, тихо светились нашитые на бело-желтый, ветхий шелк камни: перепелиные яйца яшмы, густо-красные турмалины, россыпи детского жемчуга. Надо лбом Матвея, крепко пришитый к тюрбану, пылал грозный рубин в виде большой звезды. Матвей робко поднял руку и пощупал камень. Он холодом прожег ладони старика. Истрепанный, обветшалый царский плащ струился с плеч; Матвей всю жизнь считал его старым халатом. Хватался за полы, за воротник. Укутывал плечи. Ткань все равно вырывалась из рук, текла на пол, шерстяной дырявой кровью заливала давно не крашенные доски. Носки старых домашних туфель высовывались из-под красной полы плаща: когда-то туфли его покойница жена, смеясь, расшила мелкими перлами, добытыми ребятей из речных ракушек, и привезенной с Урала изумрудной крошкой. Зеленые осколки подарил покойной жене сосед Илья Ильич, покойник. Он перед новым годом тихо к ним в дверь постучался и, стоя на пороге, молча протянул жене круглую жестяную коробку из-под монпансье. Встряхнул коробку. Она зазвенела. Илья Ильич улыбнулся, поклонился, торжественно вручил коробку и ушел, сгибаясь наподобие железного, на стройке, на подъемном кране, страшного крюка.

Красная ткань еле тлела. Камни мерцали, гнилые нитки рвались, яшма со стуком падала на пол, швы разлезались. Одежда сползала с Матвея, тюрбан валился набок. Руки его, сухие и ветхие, опять напялили на плечи красный флаг, водрузили на лоб шелковую башню с красной прозрачной звездой. Зачем на него надели все эти тряпки? Кто он теперь такой? Разве в тряпках все дело? Под ними — ребра, плечи, лопатки, плоские мышцы груди, живот и поясница, и что такое живое тело, если его, всякое, каждое, все равно в землю кладут? Земля жадно разевает черный рот. Она живая, и она хочет есть.

Тюрбан все-таки свалился с его лысины, он напрасно ловил его, атласную птицу. Матвей стоял гололобый, крепко жмурился, слезы все равно медленно вытекали из-под стиснутых век. Невидимые люди обступали его плотной стеной. Ему тепло было от них. Еле слышный их шепот обнимал, и прощал, и славил его. Красный плащ никак не превращался в белый халат. Люди мерцали во тьме, наплывали роем прозрачных бабочек из клубящейся тьмы, шептали и кричали ему слова восторга и любви, и Матвей, плача от горя и от поздней радости, стоя в призрачной великой толпе, среди небес-

ной, облачной бездны народу, среди дымом курящихся людей, потихоньку становился одним из них; и он не знал, кого ему за жизнь свою благодарить. Придет день, и он станет мертвым жуком, растопырит костяные лапы, сложит навек хитиновые надкрылья, и мастер-ювелир, придирчиво прищурясь, сделает из него роскошную брошь. У земли в шкатулке тоже должны храниться сокровища.

Мертвый сын лежал в крови, погасший. Закончилась брань. Старый отец в сумерках тихо светил дряхлым телом и алым плащом, старый нечищенный, тусклый светильник. Сам себе удивлялся, стоял, смущенный незримой, неслышимой общей любовью. Зачем ему эта награда? Он сам скоро вслед за сыном пойдет. Нищенка сидела в ногах у покойника и ела хлеб и колбасу. Ее не смущало присутствие смерти.

\* \* \*

И тут весь огромный старый дом, внутри которого тайно торчала, черным сохлым изюмом в каменной булке, старая квартира старого врача Матвея Филиппыча, вдруг просветился насквозь, мощные лучи пронзили его и высветили все его дальние закоулки, и людей высветили в кельях их, в жалких, чистых и грязных, комнатах их; и стало хорошо видно, что не во всех комнатах люди жили, — в иных и умирали.

Весь огромный старый дом, тяжело дышащий старыми легкими дымоходов, сверкающий стеклянными бусами окон на старой груди, внезапно оказался хосписом — ну да, просто нищим простым, суровым хосписом, последней человеческой лечебницей, домом, где за тобой молча, то улыбаясь, то плача, то заботливо, то сердито, брезгливые губы поджав, терпеливо ухаживают, чтобы тебе было не так страшно умирать.

Вот он, дом этот, настоящий хоспис, и тут уже ничего не поделаешь — да, за какой-то дверью, правильно, любовь и страсть, и внезапные острые роды, и праздники, могучее залихватское застолье поет и пляшет, и люди смачно целуются, и выпивают рюмочку, и обнимаются, и бьют посуду, и клянутся, и божатся, и обижают друг друга, и просят друг у друга прощения, — все что угодно горит и тлеет за любую дверью, но за сотней скорбных дверей стоишь, Возлюбленный, Ты! Потому что Ты, Любимый, легкой стопою Своею бесстрашно, беспечально ступаешь вослед смерти человеческой; Ты Сам ее прошел, Ты хорошо, на вкус и на ощупь, на запах и на боль знаешь ее; и Ты молча, улыбаясь, встаешь возле изголовий умирающих Своих и в ногах их, чтобы поймать их последний вдох и утишить, погладить и успокоить их последнюю судорогу. Последний боли крик! Да, Ты слышишь его. Родные затыкают уши и мешками валяются на пол возле кровати: наша кровинка больше не может так мучиться, и мы больше не можем, мы все сойдем от ужаса с ума, помилуй всех нас, скорей возьми его к Себе, Упованный! Плохо молить о чужой смерти? О родной? Нечестиво, жестоко? За всякой такою дверью — уходят во тьму люди, поодиночке или вереницами, а война начнется — толпами во мрак пойдут, взводами и ротами; и Ты, Светлоликий, Ты лучшая сиделка у них в хосписе их: лучший доктор, с дарами в руках, да что угодно держи, хоть хлеб и колбасу, хоть скальпель и марлю, хоть сеledку в промасленной бумаге, а вместо вина можешь водки паленой зеленую бутылку под мышкой весело нести, а вместо креста, чтобы к чужим губам поднести, возьми и живые пальцы над лицом его дерзко скрести: возьми с собою кудрявого, тощего и смуглого ангела в подмогу, он подержит, подаст уходящему последнее причастие Твое, из кружки последней, к чужим устам, ледяную, пьяную воду Твою.

Твой последний Завет, Единственный, каждый умирающий кровью своею — пишет! Корявые те письма не всякий живой хочет читать. Зачем нам всем помышлять о страдании, когда наслаждение ждет? Рядом! За углом! Пить и есть, обниматься-любить, бродить по широкому миру, как по площади широкой! На своем языке кричать



и шептать, на чужом — да это ж все равно! Лишь бы — рот живой! И зубы живые в улыбке! И глаза живые блестят! И не дай Бог нам, каждому, умереть в муках! Но ведь никто не знает часа своего, и никто не знает также Богом сужденной, последней и страшной муки своей!

Мир, о Всепрощающий, догадаться можно было давно, одна огромная больница, где больные только притворяются здоровыми, чтобы не остаться здесь навек, чтобы живо разрежали, ловко зашили, и быстро выписали, и кричали вслед: никогда больше сюда не попадайся!.. живи, только живи!.. а все равно все сюда возвращаются, и мир, Боже Ты мой, ведь это один гигантский хоспис, где живые люди только и делают, что умирают, но в смерти обнимает их Твоя невидимая, неслышимая любовь, над ней же смеются и глумятся, ее же топчут, язык ей кажут, издеваются над ней почем зря и вновь и вновь бичуют ее, полосуют — ремнями, прутьями, плетями, а она все равно есть, она — неубиваема, ничем-никем не истребима, и над их изголовьем, над потными, в слезах и крови, последними простынями их сплетает руки любящих их.

Перед концом многие испуганно, торопливо крестят некрещеных, даже если не веруют в Тебя и отрицают Тебя, все равно, ради спокойствия души своей, желая соблести обычай предков, так Ты, Неизреченный, прошу Тебя, обратись в приглашенного на дом священника: ну что Тебе, Вездесущему, стоит прийти сегодня в нищий закут, в эту забытую камору, где на кровати лежит, стонет и мечется человек? И Тебя нынче позвали сюда; и стоишь Ты, седой бедный батюшка с белой жиденькой бородачкой, и смотришься в старого доктора, как в старое зеркало, так вы смертельно похожи: и бородки, козлино дрожащие, и чуть навывкате подслеповатые глаза, и плывущие руки, у одного привыкли крестить и мазать елеем, у другого — резать и зашивать, под резкие военные команды: иглу! зажим! кетгут! — и Тебя просят: хоть и есть крестик на груди у больного, а Ты сейчас отважься, плюнь на все прошлое, помоги, окрести! Пусть второй раз, а какая разница! Святое — не повредит! Заново валий! Вперед и с песней! Есть ли у Тебя купель? Если нет, я с кухни кастрюлю принесу!

Старый медный таз для варки варенья!

...черные восточные кошки ходили кругами: они танцевали.

А девочка, коричневая, худенькая, смуглая, пустынная, бродячая, шепчет невнятно и печально: а свечи будете зажигать? а вином — из ложечки золотой — угощать? Почему, Бог, Ты умер, и Тебе за это — все поклоняются? Нет, не все! Не все!

И старик батюшка смущается, низко опускает седую кудлатую голову, молчит.

Молчишь Ты, Солнце! Иногда приходится и Тебе помолчать. И молчание Твое — золото Твое.

И все равно крестишь Ты любовью Своею и прощением Своим людей Своих; и пусть иной народ, не верящий в Тебя, опять, скаля веселые зубы, в голос, нагло смеется над Тобой, Ты-то знаешь: все, все, и кто смеется и кто плачет, все окажутся под конец жизни своей в хосписе Твоем.

Дом, живой хоспис, стоял в ночи, насквозь просвеченный людской любовью, а Матвей не на мертвого сына смотрел: он смотрел на маленькую нищенку, как она поедала ей протянутую еду. Съела. Облизала ладонь свою, как зверек. Встала с пола. Раскинула руки. Затанцевала. Закружилась на одной ножке. Мелькали в воздухе одежды. Резко остановилась. Мертво и недвижно, не шелохнувшись, застыла. Вместо девочки посреди гостиной стояла наряженная елка. Горела и переливалась всеми шарами, свечками, бусами, шишками и орехами. На верхушке елки пылала красная звезда. Матвей зажмурился. Так, слепой, медленно, на ощупь, подошел к постели.

К сыну.

— Сынок, вставай... Сегодня праздник... Елка... Новый год...

Мальчик сладко спит. Он сейчас встанет. Мать приготовила на кухне новогодний сладкий пирог, брусничный, как сынок любит, он же так мечтал о пироге с брусникой; напекла румяных смешных беляшей, уже в салатницах дремлют карнавальный пестрый оливье и строгая, от свеклы лиловая, как монахиня в рясе, селедка под шубой, а в белой царской миске стынет чудесный холодец. И в розетке рядом — снеговая горка хрена. И — вот икра, дорого куплена на рынке, у астраханских бойких теток с калмыцким разрезом глаз, тайно, из-под полы, черная, смоляная, зернистая, целая трехлитровая банка, царское богатство, ну, такой знаменитый на весь город врач, как Матвей Филиппыч, может позволить себе к праздничному столу такую роскошь.

За спиной Матвея, внутри медленно шевелящейся тьмы, стояла, тихо мерцающая, всплывающая, как тонкими руками, пучками яркого цветного света, праздничная елка, прекраснее не было на свете.

...елка, целый мир, нарядный, темный, грязный, колкий, остро, больно, ярко, ясно, драгоценный свет, зелено-синяя колючая земля, крутится, солью плачет, кровью горит, ветки и штыки топырит, а Марк собою ее, душистую, смоляную, кровавую, огненную, обкрутил, обмотал живым серпантинном, телом своим закрывал, стеклянные моря ее переплывал, мишуру ее, голодая, глодал, лился по ней вдоль и поперек серебряным, золотым дождем. Всю ее обхватил. Облапил. За одно это, что мир еловый, мрачный он собою, дерзким, обнял, дерзко полюбил и присвоил, в торбу сердца весело засунул, ему все грехи простятся. Кем? Да им. Им самим. Матвеем, как тебя по отчеству, доктор? Эй, Матвей, а тебя Матвей зовут? Может, иначе?

...отец тормошил сына за плечо.

Кровавая простыня комом легла под твердую кеглю детского колена.

— Ну же, ну! Марк! Засоня! Хватит спать! Пора вставать!

Он знал, где на стене висит отрывной календарь.

Протянул слепую дрожащую руку, скрюченными сухими пальцами нашел старый желтый листок, оторвал.

Смял в кулаке.

Он своровал время. Все-таки своровал.

Ему удалось.

---

---

## Евгений КАМИНСКИЙ

\* \* \*

Прочти меня, прочти.  
Всю Русь пройдешь почти,  
а слов таких не сыщешь —  
сугубых, духом нищих...  
В ходу ведь хохмачи  
да графоманов тыщи.

Не жуй калач, прочти.  
Важнее, чем харчи,  
гранитной глыбы крепче —  
простые части речи,  
сведенные в печи  
печали человеческой.

Прочти меня, прочти:  
открой и бормочи...  
Что кажется такого?!  
А падают оковы,  
и гнется свет свечи,  
как конская подкова.

Прочти меня, прочти,  
а нет — приди в ночи,  
вина купив вначале...  
И вот он я — в печали,  
без шелка и парчи,  
лишь крылья за плечами.

\* \* \*

Зима как предчувствие смерти,  
как участь — очнуться в аду...  
когда, отлученный от тверди,  
ты вновь сам с собой не в ладу

---

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор десяти книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», «Дети Ра», «День и ночь», «Плавучий мост», «Зинзивер» и других, в альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-Петербурге.

в постылой темнице до лета...  
Хоть щеки до крови сотри,  
но богооставленность — это  
когда лютый холод внутри.

Зиме только это и надо.  
Она лишь на то и годна:  
как немцу в котле Сталинграда,  
дать чашу страданья до дна

испить тебе, коему нега —  
есть альфа с омегой, дотла  
спалив в тебе опухоль эго,  
чтоб больше давить не могла

на душу притихшую в клетке,  
как будто снимает с души  
гордыни посмертные слепки...  
И все ж умирать не спеши,

в бутылки пока не допито,  
в контору пока не сданы  
разгула рога, и копыта,  
и тесные страсти штаны,

пока еще пышет утроба,  
а ты, что тут лгать, не готов  
ни Лазарем штатным — из гроба,  
ни даже каликой — в Ростов...

\* \* \*

Ну что изменилось  
со временем тут?!  
Попавших в немилость,  
как прежде, грызут,

и тех, что *посмели* —  
всем миром едят,  
как некогда ели  
пасхальных ягнят.

У всех тут, похоже,  
дурное нутро:  
и я, и прохожий,  
спешащий к метро, —

сорви с нас личину  
приличий — и мы  
вдруг явим причину  
и смут, и войны,

жестокую правду,  
священную ложь...  
О сложном — не надо,  
пустое — не трожь.

Похоже, мы просто —  
тупи и твердей! —  
от веста до оста  
играем людей,

обычные звери,  
что тут до поры  
за словом о вере  
хранят топоры...

\* \* \*

В те годы мог ты, трезв и молод,  
всех подлецов — в бараний рог,  
а вот тебя — ни серп, ни молот,  
ни двадцать пятый съезд не мог.

Не по зубам ты был добычей,  
когда в тебя то Маркс, как зверь,  
то Ленин, Марксом в харю тыча,  
вцеплялись, помнится теперь.

Ты был тогда — хоть стой, хоть падай,  
но от зари и до зари —  
к всеобщей гадости преградой,  
прекрасной, что ни говори...

И что куда с тех пор девалось?!  
Ну ладно я, но уж и ты,  
с утра на грудь принявши малость,  
хватает воздух пустоты...

Ну ладно, мне неинтересно.  
Но ведь и ты проснулся лишь —  
и в бездну падаешь отвесно,  
и насмерть больше не стоишь.

Да, оказалось: мир не стоит  
ни брани той, ни светлых грез.  
Куда ни глянешь — все пустое,  
и ничего уже всерьез.

Теперь ни бунтов уж, ни мнений,  
в которых твердой буквой «ять»  
ты мог явить свой грозный гений  
и здесь хоть что-то поменять.

Все, все осталось в *том* недавнем.  
И значит, в *этом*, без конца  
тебе осталось — в воду камнем  
под дикий хохот подлеца.

\* \* \*

Бредил строкой,  
прячась за шкафом,  
тихий такой,  
часто под кайфом

блоковских строк,  
странных немного:  
вроде и Блок,  
а сколько Бога!

Или же тех,  
у Пастернака,  
где даже грех —  
свет среди мрака...

Слезы утри:  
больше не нужен  
крик изнутри  
тем, кто — снаружи.

И заруби:  
больше не важен  
тот, что в груди,  
орган для граждан.

Скуп, как монгол,  
с чуткостью зверя,  
лишь за глагол  
стой тут, не веря

и не боясь,  
что будет дальше:  
дальше лишь — грязь  
и море фальши.

Выжечь спеши  
всю до рассвета  
нежность души —  
важно лишь это.

Чтоб, когда в дверь,  
обликом светел,  
взять тебя — зверь,  
ты — уже пепел.

\* \* \*

Я жил как пленник потребленья —  
не жил, а множил ин на янь,  
от Лао-цзы ждал просветленья...  
И жизнь была такая дрянь!

Зато уж в сварщиках, термистах —  
в тех, на которых аккурат  
звенит негромкое монисто  
почетных знаков и наград,

я видел жизнь.  
В них было этак  
ее на триста лет вперед!  
В них ярость первых пятилеток,  
казалось, все еще живет.

И сам Господь — шептались даже —  
меж ними, в саже, начеку:  
то копировщику подскажет,  
то намекнет крановщику...

Да, шел я в цех в смятенье неком,  
но верил: знают слесаря,  
как снова стать мне человеком,  
пока еще встает заря.

Я б не поверил и Платону,  
но — им?! Я помню, как сквозь звон  
они кричали мне, планктону:  
«Будь ты в натуре хоть Платон,

но только там, где труд острожный,  
и можно суть вещей понять  
и сделать то, что невозможно —  
вочеловечиться опять!»

Я брал кувалду и зубило:  
«Вот так и в люди выйду, глядь?»  
И бил, чтоб только не убила  
меня привычка потреблять.

И было так душе отраднo,  
что с ин вдруг складывался янь:  
*трудись, забыв себя, и ладно,*  
*чело сомненьем не румянь...*

И в Лао-цзы уже уныло  
свет не искал я до зари...  
ведь столько керосина было  
во мне, что прямо хоть гори!



## РАССКАЗЫ

### ПОХОРОНИЛИ, КАК ШЕВАРДНАДЗЕ

— Пеняйте на себя, — бросила собравшимся Татьяна и с силой хлопнула дверь «газели». От резкого хлопка фраза эхом разлетелась во все стороны. Деревенские зеваки, скопившиеся в переулке — отъезд соседей — это чрезвычайное событие, — и наблюдавшие, как грузили в машину нехитрый скарб, вопросительно переглянулись. Тогда ответ Татьяны никто из односельчан не прокомментировал. Не комментируют и сейчас. Мерзопакостная история произошла с Наумовыми в деревне.

Саня в семье Наумовых появился по неопытности, Ваня — по необходимости, но оба, как положено, по большой любви. Их родителей свела в семью учеба в колледже. Татьяна поступила учиться на киповца, чтобы работать потом в белом халатике на сложном производстве. Серега записался в электромонтажники только потому, что в этой группе были свободные места. Таня и Серега приглянулись друг другу, начали встречаться. По городским устоям «встречаться» означает «переспать», что ребята и сделали, теперь они были городскими. Серега основательно подготовился к серьезному, когда в первый раз, мероприятию: просмотрел ролики, расспросил невзначай парней, сходил в аптеку. Он отлично справился с поставленной задачей.

Со временем в нехитрое дело затянуло обоих. Вместе с дипломами парочка получила на руки справку о беременности Татьяны и повестку из военкомата для Сереги. Справка о беременности и повестка из военкомата помогли им зарегистрироваться в загсе вне очереди, так что девушка, выросшая в деревне, а в деревнях все еще считается бесчестьем вынашивать ребенка вне брака, избежала стыда перед медиками, подругами и односельчанами. Татьяна с гордостью выпячивала растущий живот, а обручальное кольцо носила постоянно. Новость о беременности подруги Серега сразу сообщил родителям, хотя очень переживал, что те будут против скоропалительного брака. Родители, вникнув в ситуацию, пошли навстречу, совместили свадьбу и проводы сына на срочную службу. Экономии существенно.

Свадьбу отгуляли шумно, как в сказке, три дня и три ночи. Первый день в доме невесты, второй день в доме жениха, третьи сутки тоже в доме жениха после возвращения толпы провожающих из призывного пункта. Серега отправился служить Родине, Татьяна осталась жить у свекрови. Живот, то есть ребенок, рос не по дням, а по часам. В положенный срок ребенок не без труда выкарабкался на белый свет из пуза мамки. Саньку обрадовались, как-никак, первый сын и первый внук. Обрадовались, но расходы тратили на него мизерные: малыша не кормили, только мамку; бумажные памперсы не покупали, нашлись натуральные льняные простыни советской эпохи, отбеленные десятилетиями стирок. Погремушек надарили соседи.

---

Феруза Борисовна Ибраева родилась и жила в Узбекистане, преподавала в университете. В 2012 переехала в Республику Башкортостан, на этническую родину. Повесть «В городе, где нет тараканов» опубликована в журнале «Бельские просторы» (2016, № 10—11). Живет в городе Стерлитамак.

В хлопотах о мальчугане год прошел быстро. Вернулся из армии раздавшийся в плечах Серега. Кормить мать с ребенком — одно дело; делить кров и содержать вторую семью из трех душ — совершенно другое. Через три месяца совместной жизни отец Сергея на повышенных тонах предложил сыну самостоятельно тянуть лямку взрослой жизни. Отец прекрасно понимал, что в родной деревне практически не сыскать работы, что ему придется перебираться в город. В деревне, откуда родом Сергей Наумов, жители пахали или на двух местных фермеров, или в собственных подворьях, других вакансий не предвиделось. Серега, Татьяна и Санек уехали в город жить самостоятельно.

В городе Сергей по большому благу оформил регистрацию, устроился вроде как по специальности — чинить лифты. Зарплаты в восемь тысяч хватало ровно на оплату жилья. Сергей приноровился было ездить после смены ввинчивать розетки и вешать люстры, однако честная шашка длилась недолго. Однажды позвонили, заинтересованно спросили: «89278654439 — твой номер?» Мужчина обрадовался, думая, что намечается заказ, поспешил дакнуть. Но с того конца трубки последовало грозное предупреждение: «Будешь отбирать заказы, поймаем, руки обломаем!» Наумов не стал рисковать, перестал ездить по вызовам. Татьяна мужа в этом поддержала, так как испугалась больше него.

Вскоре Саню повезли обратно в деревню к родителям Сергея, чтобы и Татьяна вышла на работу. В садик годовалого малыша сдать было нереально.

Татьяне повезло больше, она нашла работу мечты. Молодая женщина в белом халатике стояла десять часов кряду перед огромным чаном с кипящим маслом, жарила пончики. В обеих руках по шумовке, она крутила ими бесконечные восьмерки, вылавливая время от времени терракотовые пончики.

Как только Татьяна устроилась на работу, семья позабыла о праздниках. Накануне праздников пекари трудятся круглосуточно, за дополнительный выход в ночь хозяин пекарни платит тройной тариф. Они ни один праздник не отмечали, как большинство горожан, бездельничая в местах массовых гуляний или на аукционных распродажах. В свободные от работы дни молодые родители с набитыми магазинными угощениями сумками ездили навестить сына. Возвращались от родителей с не менее туго набитыми баулами с даровым картофаном, капусткой, птицей и с ноющей тоской по сыну.

Прожив в городе несколько месяцев, Татьяна и Серега отказались от отдельной однушки, арендовали комнату в общежитии, метраж почти тот же, а по деньгам наполовину дешевле, ванну приноровились компенсировать еженедельной баней в деревне, все равно сил после смены нежиться в ванной по будням не было. Сил не хватало и на близость, разве что в отчем доме после бани, плотного ужина и твердой подсознательной уверенности, что завтра не надо вскакивать в шесть утра, наспех завтракать, брать штурмом маршрутку. В городе по вечерам оставалось лишь уставиться в телевизор и, глядя на чужие страсти и красивую жизнь, хоронить собственные надежды на достойную в материальном измерении жизнь поглубже, в беспросветную мглу.

Выход из плена съемного жилья подсказала Лина, она работала вместе с Татьяной в пекарне. Лина пересказывала каждому встречному-поперечному фабулу личного успеха: ушла от первого мужа с маленькой дочкой, своего жилья не имела, снимала комнату, сошлась с неженатым парнем, забеременела, родила от него сына, получила материнский капитал, маткапиталом оплатила первоначальный взнос за квартиру. Со скандалами, но, слава богу, живет с отцом детей и исправно платит ипотеку.

Маткапитал! Татьяна и Сергей не догадывались, что решение жилищной проблемы в этих двух заветных словах, которые слились в одно понятие. Спасибо, Путин, благодаря маткапиталу и дети рождаются, и квартиры строятся.

Making a baby могут только американцы. В России детей зачинают. Зачать второго ребенка у Наумовых не получалось. Подросткий Саня сыпал соль на рану, приставал к родителям, родите да родите сестренку, — так его поджучивали дед с бабкой. Татьяна отнекивалась, пока нельзя, тогда утят или цыплят, просил мальчуган, я за ними ухаживать буду. Малыш рос деревенским пареньком, любил возиться с живностью у деда в деревне, куда его отправляли на целое лето.

Татьяна упорно и дорого лечилась, Серега упорно и часто по ночам старался сделать ребенка. Наконец наступила долгожданная беременность, и в положенный срок вместо сестренки родился здоровый Ваня. Саня был разочарован.

— Вы сказали, что я буду с ним играть. — Саня не ожидал, что дети рождаются маленькими и беспомощными. — Как? Он совсем не умеет играть. Он лежит и какает. Лучше б девочку родили!

— Девочки, думаешь, не какают? — Сергей и Татьяна считали, что правильно готовили старшего сына к появлению братика или сестренки, но к проявлению ревности сами оказались не готовы.

— Девочки только писают, — нашелся Саня.

Однако Саня быстро свыкся, что у него появился братик вместо сестренки. Он научился забавлять братика, когда родители были слишком заняты, и вскоре забыл, что заказывал сестренку. Тем временем после многомесячных мытарств Татьяна добилась разрешения пустить материнский капитал на улучшение жилищных условий семьи. Сергей не возражал, когда Татьяна категорично заявила, что будет искать жилье не в городе, а на селе. Друзей они новых не нажили, развлекаться не умели, точнее, денег на походы в кафе, ночные клубы или в кинотеатры у них не хватало. Жизнь среди бетона и пластика осточертела обоим Наумовым до тошноты, тянуло к натуральной еде и к зеленым пейзажам за окном.

Серега и Татьяна озадачили знакомых насчет выставленных на продажу домов, скупали подряд газеты, где печатались соответствующие объявления, часами сидели на Авито в поисках подходящего варианта. Таким образом наткнулись на фото прочного деревянного домика, аккуратно обшитого вагонкой и выкрашенного в приятный глазу зеленый цвет. А какая приятная для глаз цена красовалась под фотографией?! Как раз в пору для подаренного государством маткапитала.

Наумовы созвонились с продавцом, съездили в деревню, окончательно влюбились в домик, в заросшее немятой зеленой травой просторное подворье. Их не смутило, что домик в деревне, которая спряталась в ложине в сорока километрах от райцентра, что в деревне знают, но не говорят по-русски, нет работы для Сергея и детсада для Сани. Им бросились в глаза крепкие дома, некоторые из красного и белого кирпича, серьезные машины во дворах, тарелки на крышах, в конце недели — они ездили на разведку в эту деревню в воскресенье — в каждом доме гости. Им понравилось, что в деревне задержались навсегда несколько семей некоренных жителей, приблудивших туда из ближайшего города и из далекой Средней Азии.

Наумовы торопились — зря торопились на зиму глядя — переехать в собственный дом, заехали в незнакомую деревню в октябре. Сосед справа, Карим-обзы, их связывал общий забор, первым постучался в ворота Наумовых. Татьяна настороженно пропустила деда в дом. Ут курши<sup>1</sup> — ближайший сосед, к которому в старину бегали за лучиной, если в доме гас огонь — поставил банку золотистого меда и пачку печенья на стол. Женщина засуетилась, поставила кипятиться чайник, стала спешно накрывать на стол. Карим-обзы соизволил попить чаю, «не для корма, для форма», как он объяснил. Сосед безо всяких формальностей приступил к расспросам:

<sup>1</sup> Огненный сосед (*мат.*).

— То ли мари, то ли два?<sup>2</sup> Моржа? — напрямую спросил дед, почтенный возраст позволял не церемониться.

— Чуваши мы, — краснея, ответил Сергей.

— Тоже наши, невестка моя чувашка, по-нашему разговаривает лучше сына. Плохо, ругаю сына, язык надо знать.

Татьяне показалось, старик намекает, не сыну, а им, Наумовым, надо знать язык. Язык не дышло, куда повернешь, туда и вышло, они научатся, не проблема, заверила она молча себя.

Настоящей проблемой стало молоко. Женщина наивно полагала, что в деревнях свежего молока завались. Как бы не так! Свежее молоко — хлопотное удовольствие! Содержать корову — занятие не для пенсионеров, проще запастись в продтоварах молоком в пакетиках, оно не портится удивительно долго, или приручить городских гостей привозить молоко с собой. Татьяна наутро собралась было в местную лавку за молоком, заглядывает во двор Хороша Миниса — живет в деревне еще Курчак<sup>3</sup> Миниса — и угощает Наумовых полторажкой молока. На семь дворов в Верхнем переулке одна Хороша Миниса держала корову. Добрая женщина банку-другую заносила соседским стариками «просто так»; бесплатно занесла и новым соседям. Татьяна напоила соседку чаем, договорилась, что будет у нее покупать литр молока каждый день за двадцать рублей, — пустяк по меркам города, нормально по ценам села. Парное молоко хоть и в дефиците у Хороша Миниса, она согласилась его продавать Наумовым ради малышей. Детей в Верхнем переулке, кроме больного внука одинокой Будачихи, не было. Дочь Будачихи спланировала матери неизвестно от кого в городе рожденного годовалого сына. Мальчику исполнилось уже десять лет, и он не любил молоко.

Наумовы стали жить-поживать в незнакомой деревне. Законопатили оконные рамы, привезли из города бездомную кошку, устроили курятник для пяти несушек в амбаре. Активничала в основном Татьяна. Сергей исполнял ее распоряжения: то розетку закрепит, то форсунки газплиты у соседей прочистит. Они в благодарность картофана и морковки отсыплют. Лишь семья самодостаточных куркулей слева от дома Наумовых не контактировала с ними, они ни с кем в деревне не контактировали. Наумовым хватало общения со Бабаем, как называл Карима-обзы Саня, и с Хороша Миниса.

Зачастившие нудные дожди не портили настроение молодых переселенцев, ибо газ, вода в избе, печка исправна, сквозняков нет, дрова для бани они закупили. Татьяна совсем укрепилась во мнении, что все правильно сделала, после разговора с Геннадием. Она познакомилась с этим переселенцем из города в магазине. Женщины толкнули в бок Таню: «Русский, хороший человек, поговори, подскажет, если что».

Геннадий с Татьяной вдвоем вышли из магазина. Бабы вслед Геннадию прокричали: «То ли руска борасы, матур була боласы»<sup>4</sup>. Моложавый Гена импонировал деревенским женщинам. Неизменно спокойный, неизменно вежливый, он щедро затоваривался в магазине. Он не пил и даже не курил, умело хозяйничал по дому, позволяя жене часто болеть, большинство деревенских баб может болеть лишь эпизодически.

Для местных не было секретом, почему этот мужик оказался в их деревне. Уважаемый всеми — мужиками и бабами — Геннадий перебрался в деревню из города четыре года назад. Работал в тундре, хорошо зарабатывал, пить не научился, детей не нажил. Вернулся с женой на ее малую родину, купил большую квартиру. Осталось реализовать давнишнее желание жены — растить детей. Супруги, принарядившись, пошли в детдом выбирать сына или дочь.

<sup>2</sup> Поговорка: то ли *марийцы*, то ли *мордвины*.

<sup>3</sup> Куколка (*mat.*).

<sup>4</sup> Частушка на татарском языке: «То ли за русского пойти, красивыми будут детки».

Детдомовские дети удивили мужчину. В легенды, что папы-спецназовцы героически погибли, а мам сбил насмерть пьяный водитель, современные воспитанники детдомов абсолютно не верили. У многих свежа память, как жили с родителями-алкашами. Папа — вон, указывали воспитанники на висевший на стене портрет президента страны. Детдом содержит государство, государство ассоциируется с кем? С президентом. Дети удивили супругов еще больше, когда выяснилось, что мало кто из подростков хочет в новую семью. В семье надо слушаться, то есть подчиняться, не то лишат карманных денег, посуду мыть, в школе хорошо учиться. В детдоме можно учиться, как заблагорассудится, посуда всегда чистая, даже чай сразу сладким подается, звезды шоу-бизнеса местного и федерального масштаба заезжают, концерты бесплатные устраивают.

Жена убедила Геннадия, что мальчишки — потенциальное хулиганье, поэтому они удочерили девочку. Они остановились взглядом на смысленых, почти черных глазках-буравчиках Дарины, наивно надеясь, что та вырастет примерной дочерью. Воспитатели детдома выбор одобрили, характеризуя ее как умную и добрую девочку. Приемные родители заранее любили Дарину, без промедления оформили документы, привели домой. Они безмерно холили и лелеяли дочь, благо доходы позволяли.

В ответ на безмерную любовь выросшая дочь показала добровольным родителям, где раки зимуют. Она прогуливала школу, устраивала оргии в квартире, открыто пила и курила. Дарина мстила за то, что приемные родители, в сущности чужие ей люди, оказались правильными и нежадными; Гена вообще идеал, ни в чем не упрекает и ни в чем не отказывает, а родные — пьянь, дрянь, нищета. Родные люди должны быть добрыми и понятливыми, чужие — наоборот. В ее случае чужие люди попались ей добрые и умные, а родные оказались недалекими и эгоистичными. В подобных перевертышах виноваты терпеливые крокодилы Гены, пришла к выводу Дарина, они нарушают привычную картину бытия.

Неизвестно, сколько еще продлилось бы противостояние родителей и дочери, если бы Дарина, едва окончив школу, не стала жаловаться: «В животе червяк завелся, щечочет, гадина, спать не дает». Родители начали дочь по врачам водить, анализы сдавать, на глисты проверять, пока УЗИ не показало, что «червяку» три месяца. Дарина принесла в подоле дочку, через полтора года сынишку и тем не менее продолжала тусить, спихнув детей на родителей.

От постоянного бодуна в квартире заболела жена Геннадия, капризничали внуки. Не выдержав совместной жизни с дочкой, мужчина сдался. Он продал свой большой японский внедорожник, купил на вырученные деньги дом в деревне, бытовую технику последнего поколения и убежал туда с внуками, на радость непутевой дочери. Периодически он отвозил деньги дочери в город, чтобы у нее было на что жить, она нигде не работала.

— Не жалею, что перебрался сюда, честно. Правда, риелторы обманули, сказали, деревня наполовину русская. Начали жить, узнали, всего три семьи русских, еще несколько смешанных семей, но разницы никто не делает. Привык, здесь спокойно, ко мне хорошо относятся. Что мне с деревенскими делить?

— На что живете? — Вопрос был более чем актуальный для безработных Наумовых.

— На пенсию, я рано вышел на пенсию, у меня северный коэффициент, на жизнь хватает. Скотину не держим, жена болеет. Весной цыплят для внучат завел, целое лето с ними провозились, семьдесят процентов выросли. — Мужчина сообразил, что волнуется женщину, успокоил: — Ничего, и вы приноровитесь. Скотину заведете, сено здесь богатое собирают. Мясо у соседей покупаем, вкуснотище, дочке в город отвозим, в городе такое не купишь. Кстати, за сколько купили избу?

— Просили четыреста тридцать тысяч, двадцать тысяч уступили.

— Обманули. Риелторы выкупают здешние пустые дома максимум за двести тысяч, перепродают вдвое дороже. Покупают, у кого крайние обстоятельства. Но дома здесь неплохие; газ, водопровод проведен, автобус до города три раза ходит.

Но Татьяна не слышала, что рассказал Геннадий, она вся взбеленилась от злости:

— С..., риелторша, обманула. — Татьяна выдала вполголоса пару матерных фраз.

— Не стоит нервничать, — успокоил ее Гена. — Забудь. Поверь, потеря денег — не самая важная потеря. Говорю же, они всех переселенцев обманывают. Забудь.

Забудь? Забыть — значит простить. Простить? Таких мемов в голове молодой женщины сроду не водилось. Осознав, что ее объегорили, Татьяна три дня рвала и метала. Влетало всем: мужу брань, детям шлепки, кошке пинки. Обязательно разбогатеет, разбогатеет назло риелтору, подругам и родне, — затаив эту мысль в сердце, не в голове, Татьяна утихомирилась, — дом у нее есть, благосостояние наживет.

В обычных житейских хлопотах прошла осень, наступила зима. Двор Наумовых полого шел под откос, в низине тек широкий ручей, через него переброшен крепкий мост, за мостом двор шел вверх, там разбиты огород и сад. С первым снегом Наумовы обнаружили приятный сюрприз в виде собственного аттракциона. Заледенелый спуск к ручью во дворе — готовая горка, с которой Саня лихо скатывался на простенькой лежанке. Саню загоняли домой лишь угрозами лишить любимых пряников. Пару раз мальчонка въезжал в ручеек, и его, мокрого и хныкающего, отогревали чаем с вареньем и медом. Татьяна всячески противилась дворовому слалому, прятала лежанки, не выпускала Саню из теплой избы. Однако когда она отлучалась по делам, сын наспех одевался и с позволения отца скатывался к ручью на попе. Скорость не та, но радости — больше.

Закончилась детская забава предсказуемо: простудой. Татьяна лечила Саню сухим теплом, укутывая сына в поношенную мягкую пуховую шаль, Хороша Миниса дала, поила специальным молоком по рецепту Будачихи: кипятится молоко с душицей, добавляется мед, сливочное масло, оба по чайной ложке, горячее молоко дается простывшему, как только он захочет пить. Народное снадобье помогло, отошли мокроты, мальчонка перестал кашлять.

То ли Татьяна переключилась с младшего на старшего сына и упустила момент, когда просквозило младшего, то ли от одного вирусы перебрались на второго, но вслед за Саней заболел Ваня. Ребенок горел от жара, задыхаясь, надрывался в плаче, не ел, не спал. Ваня тяжело мучился. Недолго думая — ах, зря, что недолго, — Татьяна напоила эффективным лечебным напитком по рецепту Будачихи и младшего сына. Попив горячего молока, малыш засопел, затих, вроде как заснул, а его мать ушла со спокойной совестью на кухню, она затеяла пирог с капустой испечь по случаю выздоровления старшего сына. Однако тесто не заладилось, подозрительно быстро затих малыш. Женщина оторвалась от готовки, пошла проведать сына. За каких-то двадцать минут Ваня отек настолько, что глазки полностью накрылись веками, губки по-африкански вздулись, лысая головка покрылась капельками пота, щечки стянул пунцовый глянec. Татьяна спустила ползунки, пиписька увеличилась в разы, малыш не дышал, хрипел. Она мгновенно укутала сына потеплей, сама влезла в дубленку и в валенки и бегом к местной фельдшернице на другой конец деревни. Медичка расспросила молодую мамашу, предположила у малыша аллергию на мед или душицу, сделала укол хлористого кальция — максимум, что было в ее распоряжении, — велела срочно, своим ходом, везти ребенка в райцентр, не дожидаясь кареты «скорой помощи» оттуда.

До райцентра сорок километров; времена крещенских морозов, дороги не чищены, народ догуливает новогодние длинные каникулы. Муж Хороша Миниса повез Татья-

ну с Ваней в районную больницу в «ладе-Самаре» на предельно доступной скорости — в условиях уральской зимы выходило медленно. В приемном покое районной больницы малыша без проволочек отправили в реанимацию, Татьяну приютили в комнате медсестер.

Сергей с Саней остались в деревне, сторожили стационарный телефон у Карим-обзы, в непогоду мобильная связь барахлит, считали местные. Серега ушел ночевать к себе глубокой ночью, так и не дождавшись звонка от Татьяны. Татьяна позвонила рано утром, было еще темно, трубку взял дед. Женщина сухо сообщила, что сын умер, пусть муж придет, заберет их. Положив трубку, дед оделся, пошел к Сергею с печальной вестью. Мужчина растерялся, не знал, что делать. Карим-обзы велел одеться как следует в мороз, одеть старшего сына и оставить его на попечение Будачихи, самому дожидаться его возле ворот наготове, он же пойдет договариваться с Кора-юрак<sup>5</sup> Асхатом, который водил более мощный, чем «лада-Самара», «УАЗ-патриот». Старик сунул Асхату пятьсот рублей на бензин, жена Асхата протянула термос с чаем, заправленным вареньем из черной смородины. С благословением Карим-обзы мужчины тронулись в путь.

Татьяна подписала нужные бумаги без проволочек, врачи пошли навстречу, на вскрытии не настаивали. Она, даже не всплакнув, укутала ребенка в одеяльце, собрала свои волосы в тугий пучок, повязала голову темным платком — санитарка подарила — и закаменела в одной позе на стуле в коридоре, еле заметно укачивая свой объемный кокон в руках. Она не реагировала на снующих туда-сюда медсестер, возле нее никто не останавливался, не трогал, не разговаривал. Жизнь в больнице ранним утром привычно кипела, открылся сезон ОРЗ и обморожений.

Буран тем временем разыгрался не на шутку. Сергей выходил из машины, рассчитал снежный занос, толкал в одиночку машину вперед. Местами злой ветер выдувал снежное покрытие дороги до стеклянного гололеда. Постепенно колючий буран смягчился и разродился мокрым снегопадом. Месиво снежных хлопьев с глухим звуком стучалось в лобовое стекло, дворники едва успевали слизывать их вниз. Из-за густого снегопада ни зги не было видно. Часть пути Серега прошел пешком, маяча перед водителем, чтоб тот не съехал в кювет.

Сергей с Асхатом благополучно доехали до больницы. Увидев жену, она не плакала, что было дурным предзнаменованием, Сергей не проронил ни слова. Он усадил жену с завернутым в одеяло ребенком на руках на заднее сиденье, сам занял место штурмана. На сына Сергей не взглянул.

Машина со скорбным грузом добралась до деревни к двенадцати дня. Наумовы положили Саню в неотапливаемой — летней — пристройке к избе. Сами согрелись горячим чаем, решили идти — зачем вдвоем-то? — на кладбище. Утопая по колена в глубоких снежных заносах, опечаленные родители, не проронив ни слова меж собой, побрели к погосту. Деревенское кладбище обнесено хлипким плетеньем, который сейчас был полностью скрыт высокими сугробами. Кованые ворота и зимой и летом выполняют чисто символическую функцию. При желании пройти внутрь могильника — раз плюнуть, только что там воровать? Супруги потрогали замок на воротах, повернули к магазину, то есть к народу. В магазине Наумовы, никак не предваряя вопрос, с порога спросили, у кого хранятся ключи от ворот кладбища. Народ, две бабы и продавщица, переглянулись, но быстро ответили, что у сторожа.

Наумовы, опять же вдвоем, пошли к кладбищенскому сторожу домой. Сторож-волонтер сказал, что даст ключи, если мулла разрешит. Наумовы дошли до муллы. Муллы дома не оказалось, он уехал в город лечиться. Жена муллы отправила Наумовых к его помощнику, к Абрашид-обзы, деревенские звали этого дядьку за глаза Зав-

<sup>5</sup> «Черное сердце», скупой человек.

помом — заведующий, ставший помощником, он заведовал детским садом до его закрытия. Какой-никакой, все же администратор в прошлом, поэтому деревенские поручили ему ассистировать мулле.

— Сын умер. — Татьяна начала без приветствия. — Дайте ключ, откроем ворота, похороним.

— Нельзя. Вы не в мечеть, в церковь ходите.

— Ну и что? Где прикажете хоронить? — Не стесняясь, перешла на крик женщина.

— Не знаю. Нельзя мальчика хоронить на мусульманском кладбище, — резкий тон визитерши не понравился Завпому. Просящий так не разговаривает.

— Мы с краю положим, креста не будет, только щиток с именем прибуью. — Сергей полез спасать ситуацию. Тщетно.

— Нельзя. Мусульман тоже среди крящин не разрешают хоронить.

— Что прикажете делать, в город вести? Знаете, какой сегодня буран? — Татьяна поднялась со стула, пошла в атаку в полный рост.

— Знаю, — наконец-то Абдурашид-обзы что-то знал наверняка. — Нельзя. Надо в Спасское отнести. У вас же на третий день хоронят, время есть, покамест дорогу почистят.

Спасское — православный погост в семи километрах, специально организованный для подобных случаев для жителей близлежащих деревень.

— Какое Спасское? Дороги нет, — описал ситуацию муж. Но ему не дала закончить жена:

— Вы хороните в тот же день, нам нельзя? С мертвым в доме предлагаете жить три дня? — Татьяну словно оглушили. Исчерпав ресурсы адекватности, женщина нашла в себе толику сил наказать оппонента. — Дай бог вам хоронить своего сына. Меня вспомните тогда, поймете.

С этими словами на устах женщина вышла вон. Следом вышел Сергей. Непогода будто испугалась гнева разъяренной фурии, угомонилась. Воздух застыл, тишина разлилась на много верст вокруг. Тишину нарушал только хруст снега под ногами. Супруги не слышали, как вдогонку Завпом посылал свое возмущение: «Хотели мазар сыну устроить? Нельзя, сказано, нельзя! Не кричи, правильно отказал. Проклятия наслали на мою голову, безбожники. За что? Пусть проклятие к ним самим вернется».

До Наумовых эти слова не долетели, но они долетели до муллы, когда он вернулся из города. Абдурашид-обзы детально пересказал, что произошло. Вместо одобрения за бдительность Завпом получил строгое порицание:

— Икенче<sup>6</sup> чуваш. Она — женщина, у нее кора кайгы<sup>7</sup> свалилось. Не дай бог никому пережить родных детей. Они — молодые, не знали, что делать. «Она кричала» — не причина, женщины кричат в такой момент, на то они и женщины. Надо было с мужем вопросы решать, мужчина — хозяин усопшего. Почему мужу спокойно не объяснил, что надо делать, что надо в Спасское отнести мальчика?

— Она в приказном тоне со мной разговаривала, муж молчал как пень. Я, что, виноват? Как бы они добрались до Спасского? Кто могилу бы рыл? Сильный буран был, народ праздники гулял. — Обычно Абдурашид-обзы не признает свою неправоту, в экстремальной ситуации — тем более.

— Надо было в район звонить, технику бы прислали, раз такое дело. Мужиков с техникой попросил бы помочь, никто б не отказался. Они — молодые, жизни не видели. Подсказать надо было без ругани. Они еще не хоронили родных, опыта нет, не знают, как это делать.

— Упрямая она. Хотела, чтоб по-еешнему было.

<sup>6</sup> Второй чувашин, иначе — упрямый человек.

<sup>7</sup> «Черное» горе — так называют смерть детей.



— Как и ты. Сколько раз я тебя учил: шариатга хэм шартларга кора<sup>8</sup>. Шариат не приказ, только правило. Почему с Геной посоветоваться не послал?

— Она быстро ушла, проклятиями сыпала. Ратор на мою голову!

— Не ратор-оратор, слабая женщина, ребенка потеряла. Сколько можно повторять: семейные дела решай с мужьями.

— Сама виновата, медом поила. У ребенка аллергия на мед высыпала.

— Не говори так! От такого никто не застрахован. Не дай бог! Не дразни судьбу, у тебя внуки.

— Сам учишь, надо следовать правилам, а сам...

— Это же был ре-бе-нок! Понимаешь, несчастный ре-бе-нок! Дурья твоя башка.

— Ты бы позволил хоронить на нашем кладбище?

— Если со Спасским никак не вышло бы, — закрыл дискуссию мулла, пошел к Геннадию за подробностями.

Однако его все еще не было в деревне, он увез внуков погостить к родной матери в город, заодно сходить с ними на новогодние представления. Супруга сообщила, что к ним домой на днях приходил Сергей Наумов, но он ничего не сказал про похороны. Мулла побрел в Верхний переулок, постучался к Наумовым. Вышел Сергей, мулле в дом не пригласил войти. Мужчины говорили на крыльце. Наумов подтвердил, да, сын умер, да, похоронили, да, не на деревенском кладбище, где конкретно, ему не скажет.

В тот день, кстати, воскресный, от Завпома Татьяна пошла домой, а Сергея послала за Геннадием. Увы, Гены дома не оказалось, с кем-либо другим чета Наумовых не захотела советоваться. Карим-обзы торчал в их доме, бубнил про Спасское. Слова старика не лезли в голову разъяренной женщины, то громко обвинявшей мужа, то чертыхавшейся по поводу здешних порядков. Молодая женщина явно демонстрировала мужчинам, мужу и соседу, ей не до советов черствых посторонних. Татьяна мазохистски упивалась свалившимся на нее горем. Возникшее препятствие с похоронами сыграло на руку, оно превратило ее из мученицы в великомученицу, оно возвышало и утешало. Раздосадованный непониманием старик ушел, не попрощавшись.

Небо опять наливалось свинцом, надвигался буран. Татьяна закатила истерику:

— Я не могу быть в доме, зная, что Ваня там лежит. Похороните ты его, в конце концов, — заорала Таня осиплым голосом на мужа. — Что ты за мужик, не можешь родного сына похоронить?! Я должна это делать? Я родила, растила. Сделай ты что-нибудь для собственного сына!

— Где похоронить? — Сергей лишь раз прервал ее причитания.

— Где хочешь. Не показывай мне его. Он — не мой Ваня, — Татьяна забрала Саню и ушла вместе с ним в дальнюю комнату спать.

Сергей вышел из избы в два часа, зашел обратно в начале шестого. Почернел лицом, странно, но не продрог, хотя мороз зашкаливал в районе тридцати градусов. Собрал на стол, выставил водку, одолженную у Хороша Миниса, сел поминать Ваню. Таня присоединилась. Не чокаясь, молодые родители выпили. Сергей налег на еду.

— Понял, почему люди придумали гробы, памятники, кладбище за околицей. Поминалки для чего.

— Понял — держи при себе. «Они» меня как мать не поняли. Я обиделась, не прощу их никогда, — грубо прервала мужа Татьяна. — У меня сын умер, а «они» не дают его похоронить, «им» места жалко.

Супруги замолчали. Молчали три дня, разговаривая по необходимости только с Санией. Татьяна спросила мужа, где и как он похоронил сына, лишь на третий день.

Первоначально Сергей хотел похоронить сына на опушке, за их огородом начиналась ровная опушка, за опушкой красивая роща. Потом передумал, зверье могло рас-

<sup>8</sup> Смотри и на шариат, и на обстоятельства.

копать могилу. Он встал в центре двора, оценивая пространство по единственному критерию: чтобы тупая скотина не ходила по сыну и случайные люди ненароком не затоптали могилу. Этому критерию отвечал только палисадник между избой и забором из профнастила, палисадник отделен от хозяйственной части двора штaketником. Весной они засеют палисадник цветами. У его сына будет могила — как у всех — вся в цветах.

Между фасадом избы и забором земля промерзла до состояния бетона. Мужчина рыл могилу, бензопилой распиливая почву. Приготовив яму в свой рост, вызвал старшего сына из теплой избы, они вместе прошли в холодную пристройку. Отец развернул одеяльце, в котором лежал Ваня, сказал Сане: смотри, запомни, это твой брат. Мальчишка, потупив взгляд, исполнил просьбу отца, посмотрел исподлобья на оконеченшего братика. Наумов отпустил старшего сына в дом, принес теплой воды в тазике, разорвал новое полотенце, раздел и протер маленькое тельце влажным полотенцем. Снял с ребенка памперсы, совершенно сухие. Одел в зеленый мягкий костюмчик с пингвинами. В нем Ваня сам напоминал потешного пингвина, когда вразвалочку пробовал ходить по комнате самостоятельно.

Сергей вынес и опустил завернутого в одеяльце сына в могилу, забросал землей вперемешку со снегом, которую крошил голый рукой, не чувствуя холода. Хотел было кинуть в могилу какую-нибудь игрушку, передумал, получится как-то по-цыгански. Наполнив могилу землей, положил валун в изголовье, который приволок в одиночку с речушки за околицей, килограмм двенадцать будет. Разровнял залежи снега в палисаднике, чтобы не было видно разрытой земли.

Весть, что приезжие Наумовы, вероятнее всего, погребли умершего мальчика у себя во дворе, вмиг разлетелась по деревне. Как только Гена вернулся в деревню, он помчался к Наумовым. Он начал беседу издали, рассказав историю друга, который развелся с женой после семнадцати лет брака, чтоб не лежать с ней на разных кладбищах, они были разного вероисповедания: муж — православный, жена — мусульманка. Татьяну пример не пронял. Геннадий философствовал, дескать, при похоронах и поминках традиции соблюдаются крепче, чем при помолвке или имьянаречении. Тоже не проняло женщину. Гость деликатно намекал Наумовым, что Татьяна и помощник муллы погорячились, стоило подождать перемены погоды или возвращения старшего муллы, мол, можно было немного погодить, на холоде тело пролежало б спокойно пару дней, назавтра распогодилось ведь. Горе кровоточит, а ей предлагают его растянуть, злая Татьяна отвечала односельчанину лишь гримасой, полной презрения. Он при знакомстве еще ей не понравился, смирился с обстоятельствами и ей предлагал простить мошенницу-риелтора.

Ему бы уйти, но Геннадий проповедовал дальше: «Ребята, в чужой монастырь со своим уставом нельзя». — «Что? Меня в моем доме учить вздумал? Девку свою приبلудную жизни учи. Вон из моего дома!» — Татьяна встала из-за стола, указала на дверь. Жест неожиданно отнял много сил, женщина обмякла, опустилась на стул, заревела. Впервые. Она истошно кричала, материлась, выла сиплым голосом, сыпала упреки и проклятия.

Геннадий поспешил ретироваться, Серега вышел визитера проводить до ворот. Когда мужчины остались наедине, без Татьяны и Сани, Гена спросил напрямую, куда они девали тело младшего сына. Серега признался, что похоронили Ваню во дворе, и тут же ушел в избу. Позже Гена сельчанам каждый раз подтверждал, что малыша действительно похоронили во дворе, «как Шеварднадзе», где конкретно, он не знает, Наумовы не сказали, это бесполезно выпытывать, никто же не будет проводить эксгумацию и заново хоронить. Сельчане удивлялись, почему такой важный и умный человек, министр иностранных дел, велел похоронить себя во дворе. Во дворе своего

поместья, неизменно уточнял Геннадий, самый политически осведомленный житель деревни. Не война, не зима, зачем во дворе? — недоумевали деревенские старики. Геннадий не мог дать ответ за Шеварднадзе, поэтому просто разводил руками. Как не мог объяснить поступок Наумовых, тоже пожимал плечами.

Потеряв Ваню, Наумовы прожили затворниками в деревне до весны. Весной им повезло, они продали дом городскому бездетному холостяку, у которого банк отсудил квартиру за долги по кредиту. За что купили, за то отдали, остались не внакладе. Об отъезде Наумовых первым узнал ближайший сосед, Карим-обзы, когда Сергей занес бензопилу, поблагодарил старика. Дед пропустил благодарность мимо ушей, сурово спросил соседа:

- Где Ваню похоронил?
- Во дворе, — не таясь, признался Сергей.
- Человек — не собака, хоронить его где попало. Обидел сына.
- Вам-то какая разница?
- Большая разница. Тебе понравится лежать под забором?
- Не ваш же сын, мой. — Правда резанула по ушам, почти догадался ушлый дед. Сергей «включил» доверительные интонации. — Где смогли, там уложили. Так судьба распорядилась.
- Не судьба, ты распорядился. С вашего двора ручей течет в другие дворы. Нехорошо, талые воды попадут в ручей. Харам, нехорошо будет.
- Мой сын не сможет вам навредить, он маленький, я его глубоко положил.
- Нельзя пачкать воду, поэтому спрашиваю. Нехорошо поступил с нами.
- А вы с нами? Хорошо поступили?
- И мы нехорошо. Из-за одного человека всю деревню наказываете.
- А-ха, всей деревней одного человека не могли уговорить. Пеняйте на себя! — Легендарная фраза впервые прозвучала из уст Сергея.

Первые дворы, которые омывают воды родника, положившего начало деревне сто двадцать лет назад, это подворья Наумовых и Карим-обзы, далее ручеек огибают огороды всей деревни и вливается в Бозсу. Народ родниковой водой наполняет бочки в банях, поит скотину, поливает огороды в засуху, но больше ценит за великое удовольствие, которое ручей дает для души. Ни за какие деньги не купишь возможность в летний зной умыться прозрачной водицей, посидеть немного на валуне, слушая тихое, умиротворяющее журчание воды, усталость как рукой снимает, а житейские неурядицы уменьшаются в размерах.

Ручеек жалко. Но более всего сердце старика болело от кощунства по отношению к мальчугану. Он успел искренне привязаться к Сергею и Татьяне, к Сане и Ване; родные внуки далеко, жену недавно он схоронил, а тут на утешение появились по соседству два подвижных мальчика. Младший спокойно шел к нему на руки, а старший всегда занимал место рядом с ним за столом, знал, что дед дотянется до дальних угощений и обязательно что-нибудь протянет ему. Нередко Карима-обзы Наумовы просили приглядеть за детьми. Дед заранее покупал печенье и имунеле в деревенской лавке, чтобы заходить к Наумовым не с пустыми руками. Поводы заглянуть к соседям выискивались сами. На Новый год старик пришел к Наумовым с увесистым мешком подарков, как настоящий Дед Мороз. Малыши визжали от радости и носились по избе как угорелые. Такое не забывается.

Дед горевал неподдельно и злился на молодых родителей, что не уберегли малыша. Наумовых не жалел, пусть убираются из деревни, жалел, что детей не станет в переулке.

На следующий день после разговора Сергея и Ут Курши подъехала грузовая «газель». Наумовы грузили имущество. Соседи осмелели:

- Скажите хоть, где, в низине или наверху, похоронили сына?
- Вам какая разница? — сквозь зубы выдавила Тanya.
- Большая разница, ручьем пользуемся.
- А нам без разницы, — огрызнулся Сергей.
- Так нельзя, нам жить здесь, — возмутились вполголоса зеваки, собравшиеся в Верхнем переулке. Открыто возмущаться деревенские не решились.
- Пеняйте на себя! — бросила собравшимся односельчанам Тanya и с силой захлопнула дверь «газели». Машина тронулась.

### **БРЕД СОБАЧИЙ, ИЛИ ГОНКА ЗА ПАСПОРТОМ**

Дул студенный ветер, Алабай понуро шлепал мимо остановки, задержался. На скамье сидела женщина, ласкала беленького котенка у себя на коленках. Кисы, юная и не очень, млели от процесса. Женщина что-то тихо шептала котенку, гладила, а податливый пушистый комочек послушно прогибался под ее ладонью. Женщина светила счастьем, котенок нежился в безопасности и сытости, — ничего необычного, хозяйка с любимицей общаются. Притормозил автобус, двери распахнулись, женщина резко встала, поспешила в автобус, киска ловко спрыгнула с колен на землю, рядом приземлился разорванный пакетик «Вискаса». Сценка заинтриговала Алабая: идиллия обернулась иллюзией, на остановке шло шоу под названием «Любовь на время». Далее на остановочную скамейку присела девушка с рюкзаком за спиной. Киска вскарабкалась по рюкзаку на плечо, оттуда, цепляясь за парку, спустилась благополучно на колени студентки, устроилась поудобнее. Сеанс взаимной ласки повторился. Вновь подъехал автобус, девушка вскочила и умчалась, кошечка осталась. Кошечка вымогала любовь и еду у прохожих морально приемлемым способом. Она жаждала человеческого участия и заслуженно имела его без унижающего достоинство жалобного мяуканья. В благодарность прохожим предоставлялась возможность, хотя бы на короткие, от силы — десять минут ощутить себя любящими и заботливыми существами.

Алабай никуда не спешил, парой фраз переброситься с юной кисой ничто не мешало. Они принялись, познакомилась. Выяснилось, киска бездомная. Симпатяшка, само очарование, и бомжиха? Вся беленькая, с рыжим клоком на умненькой головке, она представилась Алабаю как Рыжая. Рыжая — не колор, это характер и судьба. Рыжая пококетничала малость с Алабаем.

— Какой урод выбросил тебя, девчонку еще, на улицу?! Ладно, я, сильный и крепкий, боец за место под солнцем. Но ты?! — Очередное людское злодеяние взбесило Алабая. — Кто эти твари?

— Не кипятись, люди от собственных детенышей отказываются, в приют сдают, а ты о котятках за бортом нормальной жизни переживаешь. Знаешь, что мне студентка успела рассказать? Она реферат пишет про детдомовских детей и вычитала, что у восьмидесяти процентов сирот родители в детдомах росли, — важно сообщила Рыжая. — Не сироты они вовсе, родители есть, да непутевые. Не то что моя мама! Ее, беременную, отвезли далеко-далеко и выкинули из машины. Мы выросли на свежем воздухе, но не одичали, правила приличия соблюдаем, не навязываемся ни к кому. Студентка правильно копает, по себе сужу: мама домашней не была, и я — потомственная уличная мурка.

— Не говори так, — перебил Алабай. — Есть еще двадцать процентов.

— Десять погибают, десять в добрые руки попадают, — распределила судьбы Рыжая.

— Тебе обязательно повезет! Красивых подбирают, домой поведут.

— Дай бог! Хотя я сейчас тоже неплохо живу. Дарю прохожим нежность. Прохожим нравится показать любовь к братьям меньшим. В благодарность за мою нежность прохожие еду покупают, согревают, ласкают. Честно зарабатываю, не клянчу.

— Молодца! Милостыню не вымогаешь, как некоторые. Хорошее дело делаешь, редкий вид услуг, по-людски, без коварного обмана, общаешься с ними. Бывай! Идти надо, встретимся, мир тесен. Кстати, студентка не врет. Гамбургский друган рассказывал про закон Парето: все в мире распадается на восемьдесят и двадцать процентов.

Киска подозрительно взглянула на новоявленного приятеля.

— Не веришь, что я жил в Гамбурге? Сбежал оттуда, не захотел в боях без правил участвовать. Как-нибудь расскажу. Пока-пока, — попрощался Алабай.

Алабай собрался было уходить, его задержали резкая ругань и истеричный вопль. Под козырек остановки вошла женщина, она тащила за руку малыша трех-четырёх лет. «Урод, прекрати плакать! Скотина, не куплю я тебе машинку. И отец твой урод, алиментов не платит. Заткнешься или нет?» — истошно закричала женщина и изо всех сил тряхнула мальчика за плечи. Мальчуган захлебнулся воплем, мать шлепнула его по спине, он невольно задержал дыхание, заткнулся. Воцарилась зловещая тишина.

— Видишь? Люди к собакам лучше относятся, чем к родным детям. Собаку не просто отлупить, ребенка — запросто. Ладно, это их проблемы. До встречи, — пробормотал Алабай Рыженькой и двинулся в путь.

По дороге он возмущался про себя, что люди нарушают принятый ими же самими закон «мы в ответе за тех, кого приручаем». Знакомство с обаятельной особой перебило горечь от разочарования в людях и сократило размеры его личной неудачи. Утром в конторе всплыло новое препятствие, точнее, целых два, на пути к заветному документу: нет справки о прививках и неправильно написано имя. Инспектор грозно спросила, почему по одним бумагам он зарегистрирован как «Алибай», по другим как «Алабай»: «определитесь с именем, исправьте букву. Обновите справку о прививках, эта устарела. Сколько можно повторять: Королева отличается от королевы, как печенка от печи».

Формально инспектор совершенно права, что не мешает ей быть живодером. Всего одна буква! Нельзя быть настолько буквоедом, если вершишь судьбы. Вернуться за тридевять земель, где дали ему имя, невозможно, нет официального документа, с которым можно пересекать границу. Чтобы исправить документы, надо выехать за тридевять земель. Замкнутый круг, дурная бесконечность. Справку о прививках тоже нереально добыть, организация, которая прививала, как положено, с момента рождения и по мере роста, закрылась, документы в архив не сдала. Легче снова привиться, чем получить справку. Не жизнь, а малина! Так тебе и надо, пес бродячий, мигрант несчастный!

Размышления о рыжей киске отвлекли от пессимистических мыслей. Подходил к стройке Алабай уже не очень огорченным, как раз к обеденному перерыву. Дежурный кашевар помешивал густую похлебку, мясной аппетитный запах дразнил и предвещал пир. Хороший знак! Значит, хозяин выделил денег на продукты, расщедрился сверх обычной меры. Когда нет денег на настоящую еду — случается это нередко, — рабочие покупают ведерко майонеза и хлеб. Хлеб густо мажется майонезом, запивается крепким сладким чаем, — дешево и сытно, с голоду не помрешь. Его приходу рабочие обрадовались, дружелюбно потрепали по загривку, пожали лапу. Разложив в миски смахивающую на гуляш похлебку, мужики минут десять были заняты исключительно едой. Затем под чаек начиналось: «Отчитайся, что сегодня сказали». Он рассказал со всеми подробностями. Среди мужиков он разгружался от общения с чиновниками, порой получал дельные советы. Рабочие, кроме бригадира и снабженца, были мигрантами сейчас или в прошлом и искренне переживали за молодого кобеля. Одни

советами старались уберечь от тех граблей, на которые раньше наступили они. Другие наблюдали за перипетиями хождения по инстанциям из-за спортивного интереса: получит ли он паспорт, если получит, то за какой срок.

— Братан! Букву надо по-любому исправлять. Через суд — уйдет уйма времени, где-то полгода, — начал экс-учитель Борис. — У нотариуса выпиши доверенность на хлопотуна. Ты же не сможешь до кишлака родного добраться.

— Борис, ты не прав! Какой суд? Он не убивал, не воровал. Зачем в суд? Надо договориться с секретаршей, которая справки печатает, попросить вежливо, за шоколадку, напечатать нужную справку, — выдал рецепт Мага(мет). — Организуй справку из того кишлака, где родился, попроси знакомых.

— Как у тебя легко?! На справке печать должна быть, расшифровка подписи, номер, иначе халтура. Можно исправить букву прямо на документе, сверху написать «исправленному верить», расписаться. Мне на военном билете подполковник так сделал. Уточни у инспекториши, — нудел учитель.

— Тебе вместо «Борис» написали в паспорте «борись»? Борешься со мной, что не скажу. Спорь сколько угодно, но если он будет ждать суда, просрочит время, заставят заплатить штраф. Как он заплатит? На работу без документов не берут, воровать не умеет. Короче, находишь ходока, посылаешь ему денег, я научу, как дешевле будет, бесплатно никто не будет хлопотать, он через секретаршу состряпает бумаги, вышлет тебе. Слушай меня, все будет ОК, — гнул свою линию Мага.

— Чья бы корова мычала! Не тебе, азер, учить. Тоже мне, гуру выискался. Себе паспорт сделай, — Идейные противники Мага и Борис в спорах доходят до драки; до драки с кровью не доходило, строители разнимают дуэлянтов.

Рабочие живут здесь же на стройке, двадцать четыре часа в сутки находятся рядом, становятся чуть ли не родными братьями или заклятыми врагами. Если мигрант умудряется занять гражданство, исчезает со стройки навсегда. Столкнувшись с собратьями на улице, мир тесен — городок-то небольшой — одолевшие натурализацию предпочитают не узнавать соотечественников, изображая из себя местных граждан. С паспортом меняется отношение начальства, зарплата, вкус, походка, говор, манеры. Мигрантов легко вычислить: не так одеты, не так разговаривают, не так ведут себя. Главный признак мигранта в неуверенности приезжего эсэнговца. У некоторых неуверенность принимает форму хамского поведения. Быть «азиатом», «черным», «гастарбайтером», «понаехали всяким» не престижно. Мигрант пытается «раствориться» в новом окружении, но родимые пятна географического происхождения выдадут с головой. Мигранты конкурируют между собой, поэтому новоиспеченные граждане сильнее коренных жителей заинтересованы, чтоб их, мигрантов, становилось меньше. Говорят, соотечественники в далеких Европах и в еще дальних Америках объединяются в эмигрантские круги. В больших российских городах мигранты тоже кучкуются в легальные и полулегальные тусовки. В малых городах и в поселках приезжие выживают в одиночку, где мигрантская солидарность — чушь на постном масле.

Особенно недолюбливал мигрантов Мага. Накануне Курбан-байрам его с Дмитрием послали на рынок за сухофруктами. Они набрали кураги, поставили на весы, продавец назвал сумму. Маге показалось, продавец завысил цену. «Уважаемый! Сума другая, — старался быть вежливым Мага. — Перевесь». Электронные весы показали незначительно новые цифры. «Почему все время ошибаетесь в свою пользу, а?» — начал входить он в праведный гнев. Продавец громко оправдывался, что он округляет копеечные хвосты старухам, так что молодой мужик мог бы не скандалить из-за нескольких рублей. Мага оскорбился: «Слушай, почему вы не обходитесь без пусть маленького, но обмана? С моим дипломом „бери больше, кидай дальше“ я никого не обманываю». Понеслось! Крики, призывы к совести, активная жестикуляция руками,

оба выходцы с гор. Наконец прозвучала коронная фраза Маги: «Депорта захотел? Быстро организую».

«Депортация» — ненавистное слово в среде мигрантов; оно выводит из себя, как красная тряпка быка. Продавец моментально сник, побледнел, сумел в ответ едва слышно пробубнить: «Спасибо на добром слове». Миссию Мага выполнил: мигрант запуган. Мужики рассчитались и с гордо поднятыми головами покинули лавку, у хозяина которой реально нелады с документами, иначе бы не отреагировал на угрозу столь явно.

— У него никого в кишлаке нет, его маленьким вывезли, — пояснил «жинженер», как звал его Мага. У Дмитрия имелся диплом о высшем техническом образовании. Поначалу он мечтал найти работу по специальности. Диплом нострофицировать не удалось, у него тоже не было вида на жительство, и он очень быстро оказался на стройке, чему в глубине души был рад. Лопата и лом — мигрантский диплом: есть работа, крыша, еда и компания. Иногда выплачивают зарплату.

— Справку о прививках железно купить можно. Скажешь, нет? — не унимался Мага. — Я покупал, не пригодилась.

Мага не нашел надежный адрес прописаться. Прописка — главное препятствие паспортного марафона, остальные пункты в перечне документов — технические детали. Часть приезжих не выдерживают хождения по мукам, возвращаются к местам постоянной прописки. Стойкие — у кого проблемы с законом или с семьей — сжигают мосты бесповоротно, не помышляют о возвращении ни при каких обстоятельствах, если, конечно, не загремят под принудительную депортацию.

— Алибай, слушай сюда, как заработать деньги на документы. Требуются ловцы бродячих собак, зарплата пятнадцать тысяч, соцпакет, сам видел объявление. Устроишься ловить бродячих собак, все дела будут в ажуре. У тебя здорово получается ладить с собаками. Для себя берег объявление. Думаю, дай выручу. — Магу распирало от гордости, какой он добрый.

Мужики переглянулись, с интересом ожидая, что ответит парень. В самом деле, неплохой заработок. Парень встал, вышел вон. Во двор, к Алабаю. Алабай тоже из мигрантов, родился далеко от этих мест. Когда совхоз распался, главный хозяин предложил перебираться на исконную родину. Во всем виноват он и его рассказы про снежные зимы, охоту на волков, работу на свежем воздухе. Дети хозяина загорелись идеей ехать. Они не были коренными жителями тех мест, не владели языком, достойная работа доставалась им в последнюю очередь, несмотря на высокую квалификацию и трудолюбие. Опять хозяин виноват, сам был честнейшим трудягой и наследников к труду приручил капитально. Наследники решили рвануть в Европу. Благо прогремели теракты, в европейских посольствах были на редкость благосклонные к выходцам из их мест. Семья захватила с собой щенка, разительно похожего на алабая, рассчитывая дорого продать за границей, щенячий паспорт завели, хвост по традиции обрубили. В Германии подтвердить родословную щенка не смогли. Бумаги, бумаги! Содержать подростковую псину стало накладно. Изменилось отношение к нему и к старому хозяину, оба в тягость. У кобеля был шанс вырваться на свободу, у старика — нет. С благословения старика Алабай незаметно ушел из семьи.

Да и как доказать, что он истинный алабай? Их в Средней Азии, в этом древнем перекрестке дорог и народов, не осталось. Лишь предания о крепости, силе духа и красоте этих собак пересказывают в кишлаках. Как большинство людей и собак, Алабай — метис. В нем течет кровь сибирской лайки, добермана, восточноевропейской овчарки, московской сторожевой — нормальных служивых псов. «Женских» примесей от декоративных пекинесов и карликовых пуделей в нем нет. Эти не собаки, эти игрушки для забавы, их с рук не спускают, у них обязанностей никаких. Предки Алабая из

поколения в поколение верой и правдой служили людям и не дрались по пустякам. Он не был чистокровной азиатской овчаркой, хотя внешне очень напоминал: рациональное телосложение: мощный торс, крупная голова на коротковатой шее, крепкие ноги — качок, одним словом. За удивительную схожесть с алабаем строители прозвали собаку Алабаем.

Алибаем звали молодого сильного парня без правильных документов, который первым заметил пса, привел на стройку, где пес начал служить охранником и наравне с рабочими зарабатывал положенные ему ломоть хлеба и порцию похлебки. Пес и юноша, два одиноких молодых кобеля, почуввавших с первого взгляда родственную душу друг в друге, всюду ходили вместе. Сдержанные и воспитанные, не открывающие пасть по мелочам, физически выносливые, способные приспособиться к любым условиям и работодателям, теперь они были не одиноки. Они пересказывали друг другу дневные переживания, строили планы на будущее и, чего скрывать, играли, визжа от удовольствия. В незавершенном особняке отопление не было еще смонтировано, окна заклеены парниковой пленкой, дверные проемы занавешены тяжелыми одеялами, поэтому строители ночевали в бане, друзья предпочитали недостроенный дом, согревались, ложась рядом в пустынной комнате, зато никто не мешал храпом и полуночными разговорами.

Строили мигранты усадьбу. Вырыли отхожее место, затем поставили баню. Банный комплекс, не меньше, состоял из сауны, моечной, громадного холла, просторного дровяника. Хозяин планировал установить в холле бильярдный стол, пока вместо бильярдного стоял наспех сколоченный длинный стол, старый диван и телевизор. В дровяном складе рабочие устроили спальню. Но Алибай каждый вечер уходил в трехэтажный особняк думать думы. Дум о возвращении в кишлак он не допускал. Возвращение означало признание перед родственниками своей несостоятельности. Какой парень признается, что он лузер? Он исправит «а» на «и» в имени, «Алабая» на «Алибая», пропишется по надежному адресу и непременно выиграет гонку за паспортами для себя и для верного друга Алабая.

Дружба Алибая с Алабаем выдержала не одно серьезное испытание. Самым серьезным было то, что устроил бригадир. Он решил, что на стройке днем и ночью находятся люди, поэтому трудно проникнуть на стройку незамеченным и украсть стройматериалы, а толковый охранник нужен ему во дворе. Бригадир увез Алабая к себе, посадил на цепь. Пес устроил забастовку: опрокидывал миску, не притронувшись к еде, по ночам выл басом. На третий день взбунтовалась жена бригадира. Женщина не стала ждать мужа, чтобы он вернул бунтовщика на родину, повезла громадного пса на стройку, наняв такси. Выскочив из такси, Алабай вмиг запрыгнул Алибаю на плечи, повалил на лопатки, начал обниматься, целоваться, играть в шутку в вольную борьбу. Строители остановили работу, столпились во дворе, наблюдая, как не нарадуются встрече после долгой трехдневной разлуки друзья. Оба красавцы, настоящие атлеты, они послужат еще улучшению местного генофонда, людского и собачьего.

На следующий день бригадир вызвал Алибая:

— Я договорился о прописке. Не бесплатно, конечно, но не «резиновый» вариант. Деньги отдашь, когда сможешь. Плюс официально штраф за просрочку прописки заплатишь. — Бригадир сомневался, говорить или не говорить, решил: — Видеть не могу, как вы вдвоем дурачитесь. Как увижу, сразу вспоминаю, что я тоже еще не старый. А у меня дом, семья, стройка, висит вот где, — ударил себя по шее. — И пес твой тупой.

— Он не тупой. Алабай умный. — Пес выразил свое несогласие с первым и согласие со вторым утверждением звонким лаем.



— Нет, тупица. В наше время нельзя быть таким верным. Знаешь, какую я ему миску купил? Жена сколько просит, купи тефаль. Ей не купил, а псу самую дорогую миску выбрал, он мне голодовки устраивает. — Бригадир повернулся к кобелю, который подбежал к мужчинам, учуяв миролюбивый характер разговора, а так, на всякий случай, он старался не попадаться на глаза бригадиру. Пес пялился влюбленными зенками на мужчин попеременно. — Что, кобелина, радуешься? — Бригадир нагнулся к нему, растянул воинственно свисающие складки щек в улыбку. — Доволен, шантажист? Кланяться к людям ходил из-за вас. Ну, почему вы, зверь, преданные? — Потрепал счастливейшего Алабая по загривку, тот сильнее завилял задом. — А люди продаются за три копейки.

— Он не человек.

— Вот именно. Не продажный, потому что зверь. Гуляйте! Чтоб глаза мои вас не видели.

Алибай не верил ушам Законная прописка! Победа! Вслух, тихо, от сердца пошли слова благодарности:

— Спасибо, накоплю, оплачу ваши расходы. Не смогу, пусть Бог вам вернет, — нужные бабушкины присказки сами вспомнились. — Бабушка говорила, если не от меня, Бог вернет вам добро за ваше добро. Бабушка учила нас давать собакам хаир, как людям. Спасибо и от Алабая. — Парень понимал, не он, рядовой мигрант, верный пес заслужил неожиданную милостыню.

Бригадир-татарин без перевода прекрасно знал значение слова «хаир». Совпадение или нет, но вечером ему позвонил сокурсник из Питера, предложил создать и возглавить бригаду сварщиков. Питерцы брались реконструировать крупнейшее предприятие города, работы не на один год, сокурсник гарантировал стабильно крутую по местным меркам зарплату. С тех пор бригадир при случае подкармливает бродячих собак, он уверовал, что милостыня собаке зачитывается как милостыня человеку. Существует или нет небесная бухгалтерия — вопрос спорный, однако очевидный факт, что дела бригадира пошли в гору.

Законная прописка упрочила статус Алибая. Он приоделся, стильно постригся. Они с Алабаем безбоязненно фланировали по улицам в выходные дни. Как-то в парке увидели старую знакомую Алабая Рыжую. Она подросла, вернее, казалась длинной-предлинной, потому что, лежа на боку, вытягивалась во весь рост до последнего миллиметра, потом резко сжималась, соединяя все четыре лапы, округляя спинку, снова вытягивалась, снова сжималась, с каждым разом ускоряя темп. Алибай подошел ближе, кивком спросил, что с ней. Рыжая повернула голову в его сторону, несколько раз быстро-быстро вытянулась-сжалась, вытянулась в струнку и... замерла. Теперь Рыжая широко открывала пасть, чтобы мякнуть, но ни одного звука не выходило из предельно раскрытой пасти. Немой хоррор! Алибай взглянул ей в глаза, поразился доселе не виданным глазам: зрачок расширился почти до границы радужной оболочки, только если напрячься, можно было узреть тонюсенький ободок из хризопраза вокруг громадного черного зрачка. Рыжая, вытянув голову в сторону визитера с безмолвной благодарностью — они пришли сочувствовать ей, скрасить последние моменты, она умирает не в одиночку, — смотрела, не отрываясь, прямо в глаза Алабая. Друзья простояли до финала, когда кошечка дернулась легонько напоследок и замерла окончательно. Друзья вырыли под деревом яму, похоронили в ней Рыжую, воткнули в изголовье крупный бульжник.

Пошли дожди. «Рыжая мокнет под дождем, будет мерзнуть под снегом», — образ умирающей кошки не выходил из головы обоих. Кто довел до гибели юную кису? Кому перебежала дорогу? У кого поднялась рука избить ее? Однозначно: над ней измы-

вались люди, скорее всего, детеныши людей, дикари. Более некому. Не похоже, что Рыжая попала под машину, ран не было видно. Впрочем, водители в грош не ставят жизнь собак и кошек. И порой людей.

Рыжая нравилась Алабаю, она немного кокетничала с ним. Кокетство — естество настоящих кошечек. Он сам был не против пофлиртовать с нею, то есть понарошку догонять и громко лаять ей, взобравшейся на дерево. Если это не флирт, тогда почему, когда киса останавливается, пес синхронно прекращает бег, стартует киса, стартует пес. Разумеется, есть стервы, которые специально провоцируют кобелей, те преследуют их всерьез. В старости стервы становятся драными кошками. Люди неправильно думают, что кошка с собакой не выносят друг друга. Они прекрасно уживаются, например, в деревнях, где еды и воли завались. Правда, кошки и собаки по-разному оценивают семью, в которой им выпадает жить. Кошки мечтают: «Хорошо, если не будет маленьких детей! Меня будут любить, как малое дитя, на руках носить». Собаки, напротив, считают: «Хорошо, что в доме полно маленьких детей! У них всегда в руках вкусняшки, они их постоянно роняют, мы угощаемся, дети млеют от удовольствия». Разные существа кошки и псы, но не враги между собой. Их общий враг — человек.

После похорон Рыжей Алибай и Алабай заболели, у обоих начался жар, судороги, мучил кашель. Алибай пошел в поликлинику. Доктор послушал его хрипы, начал выписывать направление на госпитализацию. Бдительная медсестричка нагнулась к врачу, секретно шепнула: «Иностранец». Эскулап развел руками. Во врачебном кабинете возникла театральная пауза, которую прервал Алибай. Он развернулся и ушел из кабинета ни с чем. Облом! Лечения не будет. Он — никто, и имя у него натурально собачье!

Из-за неудачи с поликлиникой Алибай разболелся сильнее. Надо лечиться, большой работник на частной стройке долго не протянет, надо расстаться с неприкосновенным запасом. На шее Алабая, в густом подшерстке висела массивная золотая цепочка, почти цепь. Перед отъездом из Гамбурга ее нацепил тамошний друг Алабая, бродяга, с которым они коротали ночи возле ювелирного магазина янтарных украшений. Янтарный магазин весь светился ярким желтым светом, будто солнышко поселилось в нем. Солнечный магазинчик и бродяга со спальным мешком — самые приятные воспоминания Алабая из гамбургского периода его скитаний. Бродяга снял с шеи последнюю ниточку, связывавшую его с бывлым благополучием, надел на молодого кобеля: «Увидят золото, приютят. Ты служака, не бродяжничай больше. И не жалея меня, не лижи. Я не жалею, что бродяга, это мой выбор, а ты беги, раз нет в тебе породы и драться не любишь». Бродяга заплатил перегонщикам подержанных машин, чтоб собаку вывезли из Европы, вместо прощальных слов дал пендель псу под зад: «Пшел отсюда, вульфсон», что в вольном переводе с немецкого на русский звучит известно как — «с... сын». Цепь затерялась на шее Алабая в целостности и сохранности. Поди попробуй подойти к крупному реактивному кобелю, потеряй шею, если с головой не дружишь.

Алибай нащупал тайное сокровище, снял, отмочил в стиральном порошке, прошелся жесткой щеткой и заблестевшую цепь отнес в ломбард. На вырученные деньги Алибай купил лекарства, которые продиктовали коллеги-строители. После недолгих раздумий заключил, что лекарства для него подойдут и Алабаю. Врач однозначно тогда поставил диагноз: «Запущенный бронхит, редкий „собачий“ кашель». Вправду хриптели друзья одинаково глухо. Алибай самостоятельно делал уколы себе и псу, заворачивал таблетки в мясной фарш и совал в пасть Алабая, свои просто глотал.

Во время болезни Алибаю снился один и тот кошмар.словно три богатыря из васнецовской картины, три цветка на тонких прозрачных трубочках от медицинских капельниц неотвратимой поступью приближались к краю поляны, где стоят Алибай с Ала-

баем. Спinoй парень уперся в шлагбаум, по ту сторону которого выстроились пограничники. Они не пускают их через шлагбаум, рычат: «Паспорт, давай паспорт». Цветки растут в масштабе, превращаясь в свирепых громадин. Осталось чуть-чуть, цветы затопчут их, и если продолжат победоносный марш, сметут шлагбаум, затопчут и их, и пограничников насмерть. Спереди цветы-чудовища. Сзади, Алибай оборачивается назад, трое караульных волкодавов рвутся разорвать Алабая. Пограничники открыли огонь по ним, пули бьют в грудь, грудь болит, пули отскакивают от бронежилета, бронежилет спасает, но стескивает дыхание. От ужаса, что сейчас будет, он покрывается потом. «Что будет, то будет, — мысли лихорадочно проносятся в голове, — выхода нет, конец». Он приготовился погибать, он уже в могиле, пограничники взялись за лопаты, чтобы забросать его. В этот самый крайний миг кто-то коснулся его щеки. Алибай проснулся. Алабай лизал друга. Парень, как маленький ребенок, обрадовался спасению от беспощадных цветков. Звериное чутье подсказало псине, что пора прекратить расстрел парня. Постепенно жар ушел, реальная и бредовая опасности растаяли, кризис миновал. Алибай и Алабай выздоровели, стали жить дальше.

Пришла весна. Весной пришло письмо из миграционной службы, что Алибай удостоивается вида на жительство иностранного гражданина. Еще не гражданин, но уже как бы не иностранец. Он записался на курсы сварщиков, посоветовал бригадир, снял комнату, переехал туда жить с Алабаем. Парень не смог доказать породистость родословной друга, но нормальный собачий паспорт оформил. Днем Алибай учится на курсах, ночью с Алабаем охраняет склад ковров. И ни одна собака не может придраться к их документам.

---

---

## Андрей ГУЩИН

\* \* \*

Встрепенешься, словно птица —  
Не иначе злые дети, —  
И, нахохлившись, забиться  
Тщишься в темные заклеты.  
Бунтовщик владеет степью,  
Подбирается к посадку,  
Ушлому уж отребью  
Так и надо, так и надо!  
Поделом муке, и мука —  
Перемалывайся в пудру.  
Василиса пьет самбуку,  
Краснощека и премудра.

### ОДИССЕЙ

Гроза кует клинок булатный,  
Гремит перун, трясется хата.  
Герой отменно бородатый,  
Слегка поддатый.

Родные лары и пенаты  
В судьбе его не виноваты.  
Пустеют милые аллеи  
И пропилеи.

Темнеет. Поздно пить боржоми,  
Харе скитаться и пижонить.  
Пора контуженному мужу  
Сойти на сушу.

### ГУАБ

Сенкевич оказался прав —  
Среди песков течет Гуаб,  
Одна зловещая река.  
Ее вода на вкус жестка.

---

Андрей Гушин — поэт, главный редактор международного литературно-художественного альманаха «Новый Гильгамеш». Родился в Ялте. Живет в Киеве. Автор поэтических книг «Атлантические песни» («Траверса», М., 1999), «Солнечный остров Буян» («Водолей», М., 2012), «Сизиф на вершине» («Алетейя», СПб., 2018). Публиковался в журналах «Нева», «Крещатик».

Живот напалмом обожжет,  
Лишь только смочишь сохлый рот  
В пустыне мертвой у реки,  
Где удят кости рыбаки.

Слоны огромные, как дом.  
Туманы едкие, как дым,  
Моряк отчалить был не в силах —  
Остался вечно молодым.

\* \* \*

В стене откроется пролом,  
В него просунет рожу варвар,  
И запыляет сущий Тартар  
Константинопольским огнем.

В сердцах — смятение, испуг.  
Часы упадка и позора.  
По обе стороны Босфора  
Господствует башибузук.

### **МЕЖДУРЕЧЬЕ**

Так цвет утрачивает волос,  
А речь утрачивает голос,  
И прорва ширится над рожью.  
Как от укуса, пухнет рожа.

В давно покинутом заводе  
Девушка стонет, леший бродит.  
Поскрипывает половица,  
И ноет на грозу ключица.

Уткнусь в распаренную землю,  
Шумам и скрипам жадно внемля,  
Вдохну мазутный влажный смрад,  
Как Лев Толстой — иллюминат.

Положишь руку на плечо,  
Твое дыханье горячо.  
Забора ржавого по-над  
Инжир и дикий виноград.

### **КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ**

А на Кольской скважине — тишина.  
Дым похож на статую с бодуна.  
Из потемок слышится детский смех,  
Голосуйте правильно — против всех.

Гложет ширь небесная, глубина,  
Что в зрачках хоронится ведуна.  
Расскажи мне, дедушка, на духу  
Как живется-можетс наверху.

На жемчужных промыслах тушат свет,  
И поморской говори больше нет.  
Валуны белесые, край земли,  
Небеса как острые хрустали.

Время застряло, словно разбитый газик.  
Если тошнит — скорее несите тазик.  
Ставьте укол и ласковую подножку.  
Теплые встречи, проводы по одежке.

Пух тополиный, косная речь арыка.  
Груды девичьи, мартовская клубника.  
Хны арсенал велик, и щедра природа,  
Ни басмачей, ни чучел на огородах.

\* \* \*

Жил-поживал, сживал со свету  
Других. Читал «Роман-газету».  
Очнулся. Что за Кастанеда?  
Твое купе у туалета.  
Учись на собственном примере:  
Отмерен век, и пульс измерен.  
Злосчастный дух в убогом теле,  
Как раб последний на галере.  
А что в итоге? Ничего.  
Морока, каша, квипрокво.

\* \* \*

Я сделан из стекла — разбей меня на счастье.  
Я разлечусь на части, бозоны барахла.  
И будет гай шуметь, народ пойдет по водку  
Вихлястою походкой, грудь станет холодеть.

И ты поймешь тогда, что, потерявши, плакать  
Не стоит, поезда по рельсам будут звякать.  
«Иметь или не иметь» — Хемингуэй вам в помощь.  
Полетят с кленов медь — а ты почти что овощ.

\* \* \*

А зори здесь розовые,  
А зори тихие,  
Бюсты бронзовые,  
И взоры свих...

Пиррихии, арии,  
Блатные, парии,  
Худые парни  
Идут из армии.

Британцы глянцевого,  
Шмаль сигареты.  
До света танцы  
В придачу к этому.

Глаза раскосые  
В потеках лета  
На все вопросы  
Дают ответы.

\* \* \*

Не гай шумит, не зверь ревет —  
Люд на груди рубаху рвет.  
Ведом намерением благим,  
Он претя к берегам другим,

Где все ништяк и все путем  
И где старик — опять дите.  
Ни воздыхания, ни зла —  
Одна сыпучая зола.

\* \* \*

Греция. Море. Грация мира.  
Лоция в каплях курдючного жира.  
Додона, Эпир, кружевная Керкира.  
Полые ниши отживших кумиров.

Прошлого клочья, смуглые лица.  
Сплошь — червотчины и небылицы.  
Нужно бы срочно отсюда слиться.  
А можно остаться и снова родиться.

\* \* \*

И горе не беда, что пуще  
Гроза бушует, плющит кущи  
Под гуд невидимых трембит.  
Небесный пир гремит и вздорит,  
Стакан пустой по новой нолит,  
Звезда падучая искрит.

Колымит под сурдинку ветер —  
Уносит листья и столетья,  
И сполох жжет чертополох.  
Одесса вертится и пашет,  
Смеется невпазд и пляшет,  
Как выкрещенный скоморох.



## РАССКАЗЫ

### КРИТИЙ

Мы вечные странники мира идей,  
И кормчий у нас сам Платон.  
Живем мы в потоке таких скоростей,  
Что знаем, где Бога базон.  
Рожденье на Землю изгнало нас  
Топтать сей грешный ад.  
И смотрим мы в небо в полуночный час,  
Ища в нем идей звездопад.  
Мы верим, наступит такая пора,  
Придет цветущий наш май —  
И нас призовут снова туда —  
Мы снова увидим свой рай...

В последние дни фаргелиона первого года 108-й Олимпиады (май 347 года до н. э.) в садах старинного парка Академа, что в близ Афин, стояла угнетающая своей неопределенностью тишина. Слушатели Академии были на время распущены по домам, и в саду было слышно только пение птиц да журчание родника, бьющего из расщелины в скале. На всех возвышающихся в парке статуях были видны траурные повязки, свидетельствовавшие о переживаемом его обитателями трагическом моменте их жизни. Все указывало на то, что Академия понесла невосполнимую утрату: ушел из жизни ее основатель, и бессменный вождь, и наставник. Ушел неожиданно в возрасте восьмидесяти лет. Ушел весело, на свадебном пиру, в день своего собственного рождения.

*Наследник.* Трое близких учеников и друзей усопшего — Спевсипп Афинский, Ксенократ из Халкидона и Аристотель из Стагиры — сидели за их общим столом бесед и философских трапез в ожидании прибытия траурной урны с прахов их великого Учителя. Они находились в крытой галерее для застолий, где обычно проводили свои неспешные философские беседы. На столе перед ними лежали два свитка — завещание и последний труд мастера, на внешней стороне которого виднелось его название «Критий». Никто из собравшихся не смел к нему даже и прикоснуться. Свиток хранил еще тепло своего создателя и был оставлен им на том месте, где и лежал перед тем, как он отправился на этот злополучный свадебный пир, ставший для него последним в его долгой и яркой жизни. На соседнем столике стоял кувшин поминального вина, накрытый караваем свежего хлеба, и голодные осы вились вокруг него, пытаясь полакомиться им.

---

Павел Леонидович Вялков родился в 1966 году в Астрахани. Выпускник исторического факультета Астраханского государственного университета. Преподаватель, профессор, доктор философских наук. Живет в Астрахани.

Мрачные лица собравшихся были объединены не только общим горем, но и тяжелым похмельем после прошедшего накануне грандиозного свадебного застолья. У Спевсиппа голова вообще раскалывалась, а мозги в своих извилинах наступали мыслями друг на друга и болезненно вздрагивали всякий раз от любого резкого шороха. Ксенократ был по природе мрачен и нелюдим, а Аристотель, как сын медика, то и дело щупал у себя пульс и молча сокрушался о своем высоком артериальном давлении.

Друзья-единомышленники только что исполнили последнюю волю своего незабвенного наставника и объявили вторым сколархом (начальником школы) Академии его любимого племянника Спевсиппа, которому по завещанию переходило некоторое имущество дяди, а именно — сад Академии, со всеми находящимися здесь постройками. На этом их единомыслие и завершилось. Пришло время разногласий.

То были времена, когда Академия передавалась еще по наследству, а не по праву умного; когда академиком можно было стать, прочитав две умные книжки, а всемирно известным ученым — обронив всего лишь пару мудреных фраз. И наследник понимал, что он никак не может конкурировать умом ни с одним из учеников своего великого дяди. Но он вопреки всему был теперь ее законным главою и мог по своему разумению руководить ее деятельностью.

Получив наследство, племянник мог теперь позволить себе быть солидным и важным. Но в присутствии двух других любимых учеников все его потуги выглядели смехотворными. Следовательно, решил новый сколарх Академии, они должны покинуть стены этого славного учебного заведения. Племянник был уже в том зрелом возрасте, когда самому приходится принимать решения и управлять жизнью созданного его великим дядей учебного заведения.

— Не уйдут сами, отравлю... — решил наследник, уже приготовив в укромном местечке цикуту для своих закадычных друзей.

Те, словно предчувствуя подобную развязку, поспешили объявить, что на днях покидают гостеприимные Афины и вместе с двумя другими учениками Эрастом и Кориском уезжают в Ассос, прибрежный город Малой Азии, расположенный напротив острова Лесбоса. Новый сколарх не подал и вида, хотя мысленно выдохнул из себя все скопившееся в нем напряжение.

Воцарилась гнетущее молчание. Каждый в свою сторону и думал о своем. Все ожидали прихода младших учеников покойного, которые должны были принести траурную урну с его прахом. И когда они наконец показались в начале длинной кипарисовой аллеи Академии, Аристотель многозначительно кивнул в их сторону и небрежно буркнул:

— Вот и наши «шалавы» появились.

— Любимчики! — недовольно проворчал в его поддержку Спевсипп. — И чем только они взяли сердце старого Учителя (Академика)?

— Как чем? — отрешенно пожал плечами Ксенократ. — Своими прелестями...

*Когда правда колет глаза, уши отказываются слышать.* Любимцы старого сколарха медленно шли, держа в руках бронзовую погребальную урну с прахом своего Учителя и, не скрывая слез, нескромно шмыгали носами. Этими юными учениками были Мантинеец и Флиунтиец (прозвища им дали в Академии по месту их рождения).

— Да, мальчики смазливые... И что только Академик в них нашел? — продолжал вслух рассуждать Спевсипп, рассматривая их приближавшиеся фигуры. — Мозгов чуть больше, чем у куриц, а гонора столько, словно орлы!

— Не знаю, как ты, а они мне нравятся! И даже беременность идет им к лицу...

— Какая еще беременность? — чуть было не подскочил на месте Спевсипп. — Кто беременен? Он беременен?!

— Так это уже всем заметно...  
— Беременен! Вот чудеса! А разве такое возможно?  
— В стенах нашей Академии все возможно... — мрачновато усмехнулся Ксенократ.  
— Да ты приглядиись к ним повнимательнее... — попытался раскрыть ему глаза на очевидную истину Аристотель. — Смотри, какой у них девичий стан, изгиб бедер, бюст и длинные ноги... Разве такие формы у юношей в их нежном возрасте бывают?  
— Так что они не мальчики, они девочки...  
— Так мы тебе о чем толкуем?! Уже вся Академия об этом судачит, и только ты один пребываешь в святом неведении...  
— А я все удивлялся, чего это он (дядя) постоянно хихикает! — искренне удивился Спевсипп, внимательно приглядываясь к одной из девиц. — Вот старый пеня! Признаюсь, я раньше как-то за ним этих дамских «вещей» не замечал... А вы все знали и молчали... А дядя знал?

— Так он первым и решил не показывать вида... — загадочно улыбнулся Ксенократ. — Чудил старик над ними, хоть сатирический роман пиши...

Молодые ученики, вернее, ученицы поставили принесенную урну с прахом на стол между завещанием и «Критием» и скромно отошли в сторону. Обе были красивы и исполнены непринужденной грации. Обе искренно, не скрывая своих женских эмоций, оплакивали своего Учителя. И они в этом своем искреннем горе были более естественны, чем игравшие свои определенные роли мужчины, старавшиеся не показывать друг другу своих истинных чувств и переживаний.

Новый схолярх все никак не мог прийти в себя и оторвать взгляд от округлившегося животика одной из «студенточек».

— Точно, беременна... — растерянно пожимал он плечами. — А кто отец?  
— Ребенок — дитя Академии! — заметил Аристотель. — Какая тебе разница?  
— Родится девочка, назовем ее Идеей, родится мальчик — назовем его Эйдосом... — с невозмутимым спокойствием произнес Ксенократ.

— А в чем разница? — опять не понял его глубокомысленную ухмылку растерянный свалившейся на его больной мозг информацией Спевсипп.

В ответ тот сочувственно посмотрел на него, выказывая этим взглядом свое интеллектуальное превосходство и одновременно выражая ему свое сочувствие по поводу ограниченности его умственных способностей. Племяннику стало не по себе, и он смущенно отвел в сторону глаза.

Он окинул взглядом рощу Академии, и у него тоскливо защемило сердце. Известно, что Академия тогда представляла собой *gymnasion*, то есть место для упражнений, и располагалась в роще в шести стадиях к северо-западу от Афин, за воротами Эрия. Свое название она получила в честь героя Экадема, чья могила, увитая плющом и уже поросшая к тому времени мохом, возвышалась в глубине священной оливковой рощи. Обучение и большая часть философских дискуссий проходили в парке на свежем воздухе. С утра все шли в святилище Муз (*mouseion*), чтобы воздать дань богу просвещения Аполлону и его семи славным дочерям, а после расходились по занятиям, чьи расписания составлялись лично самим схолярхом.

Спевсипп наивно полагал, что все знает о своем великом дяде и все уголки его Академии ему знакомы до мельчайших подробностей. И вдруг выяснилось такое! Выяснилось, что он многого не знал. А точнее — был не в курсе самой интересной, самой напряженной и самой тайной части жизни Академии. Оказывается, что тут витали не только одни философские идеи, тут еще бурно кипели и плотские земные страсти.

*Конфуз.* Предательский удар в спину. Крушения иллюзии, что ты что-то в этом мире значишь. Племянник был растерян. Племянник был подавлен, оглушен и ошеломлен этим неожиданным открытием.

— Ну, дядя! Ну, кобель! — продолжал про себя возмущаться новый сколарх Академии. — А я, наивный, все никак понять не мог, чего это он в бане с этим сопляком парится! Думал, что ему мальчики нравятся, а он, оказывается, по девочкам специалистом был... А еще всем втулял свою платоническую любовь! Самец похотливый!

Преемник взглянул на соседа справа. Ксенократ из боспорского Халкидона слыл человеком весьма угрюмым и принципиальным. Все знали его честным человеком (которого нельзя было купить ни за какие деньги) и совершенно равнодушным ко всем земным удовольствиям и развлечениям. Он отличался мрачным нравом, и Учитель советовал ему для исцеления приносить жертвы харитам. Сосед слева был еще более опасным конкурентом. Аристотель ради истины готов был продать и друга, и отца, и даже самого великого правителя мира.

В одночасье мир для него перевернулся и стал совершенно другим. И друзья теперь уже были мыслями далеко от него, и младшие ученики были уже далеко не учениками, а ученицами. Все, во что он прежде свято верил, оказалось не тем, чем ему казалось. И он теперь не знал, радоваться ему этому или печалиться.

— Одно хорошо, — успел он правильно подумать между делом, — что избавился от иллюзий... Теперь точно вижу, — приглядевшись к животу одной из учениц, отметил он, — это точно девы, точнее, девки, точнее, бабы, или как их там еще называют...

Первую девушку, как выяснилось, звали Ластения (или Ластенейя) Мантинейская. Она была родом из древнего городе в Аркадии, в Пелопоннесе. Брюнетка со жгучими черными очами сразу же приглянулась племяннику, когда он впервые посмотрел на нее под новым углом зрения. Вторую, что была на сносях, звали Аксиотея Флиуская. Это была статная брюнетка со спартанской выправкой и с голубыми глазами. Как уже успел сообщить новому скохарху Ксенократ, девушка, начитавшись философских трудов Учителя, прониклась идеей совершенного государства и явилась в Академию, переодевшись мужчиной. Училась она успешно и постоянно получала похвалы от своего наставника.

— Все... — категорически решил Спевсипп. — С этого дня начинаю тотально проверять всех абитуриентов на принадлежность к мужскому полу... Мне в стенах родной Академии только одного родильного отделения еще не хватало...

— Друзья! — обратился тем временем ко всем собравшимся Аристотель. — Наш ареопаг должен решить еще один важный и неотложный вопрос: где захоронить прах нашего великого Учителя? Надлежит выбрать место для его вечного успокоения... Какие у кого будут на этот счет предложения?

Каждый высказал свое предложение, и ни одно не совпало. Как всегда, каждый о своем, и каждый остался при своем мнении.

— Мы все геометры, потому что вошли в храм Муз именуемый Академией, — попытался всех примирить Аристотель. — Нам ведомо высокое и чистое знания бытия. Знание делает нас избранными. Оно очищает нас от скверны несовершенного мира, который мы призваны усовершенствовать. Не будем мелочиться и опускаться до банальности. Предлагаю компромиссный вариант. Пусть каждый возьмет свою горсть пепла и сделает с нею то, что предложил. Мы должны доверять друг другу, потому что являемся хранителями великих Истин.

— Нет, — категорически заявил Спевсипп. — Я его ближайший родственник. Я и должен его похоронить, как сочту должным. Мы с ним царских кровей, поэтому не гоже нашим прахом разбрасываться где попало...

Собеседники не стали с ним спорить, но было очевидно, что каждый притаился в намерении осуществить свой собственный замысел. Желая отвлечь внимание от этого зашедшего в тупик вопроса, Аристотель вновь вернулся к теме выбора имени буду-

щего новорожденного «сына полка». Опять возникли самые разные варианты и даже весьма экзотические сочетания букв великого древнегреческого алфавита.

— Если будет мальчик, — решительно пресекла все разговоры об именах сама будущая мама Аксиотея, — назову его Платошкой, если девочка — Платонидой...

— Эх, платониада ты наша! — добродушно усмехнулся Аристотель.

— А у нас с Учителем были исключительно высокие платонические отношения... — призналась всем другая девушка. — У нас происходили только идейные соития...

— Вот с нее я и буду делать свою статую Грации... — решил Спевсипп, воодушевленный речами своей юной воспитанницы. — Как там тебя, Ластения или Ластенейя?! Раздевайся, будешь мне сейчас позировать...

Как выяснилось, истинным призванием Спевсиппа была на самом деле не философия, а скульптура. Но это выяснилось слишком поздно для того, чтобы ему стать профессиональным скульптором. Он неплохо лепил из глины различные фигурки и к тому времени уже созрел в своем мастерстве до крупных скульптурных форм.

— Может быть, вы этим займетесь чуть позже... — предложил ему Аристотель. — Эротика — вещь хорошая, но отвлекает философский ум на разные глупости...

— Да, у нас есть еще один вопрос, который мы не определили до конца. — Согласился с ним Ксенократ. — Мы должны составить официальную версию смерти нашего незабвенного Учителя, чтобы избежать в народе кривотолков.

— О каких кривотолках идет речь? — поинтересовался у него новый хозяин Академии.

— О том, что он умер на свадебном пиру при весьма странных обстоятельствах... Сам всем твердил «знай меру», а сам же эту меру якобы и нарушил...

*Последний пир.* Ученики великого мастера вдруг пришли к выводу, что они так и не выяснили, от чего умер их Учитель. Вроде бы внешне был здоров и бодр. А в последние полгода он вообще словно ожил и почувствовал вторую молодость. Был полон новых творческих планов. Только что завершил своего «Крития» и собирался писать его продолжение.

— Необходимо собрать все факты, проанализировать события и прийти к истине... — предложил Аристотель. — Применим на практике то, чему он нас сам учил...

— Был свадебный мир... — начал с ходу собирать факты Спевсипп. — А кто был женихом и невестой, я так и не понял... Кто вообще нас приглашал на эту пирушку?

Все с удивлением посмотрели на Спевсиппа.

— Что? — растерянно заморгал тот глазами. — Я чего-то опять не знаю? Ну, это уже слишком! Давайте колитесь, что на самом деле там было... Что я опять пропустил?

— Была свадьба, был юбилей, был пир... — выстроил вполне логическую цепочку Аристотель.

— Логично... — поддержал схолярх. — И что?

Аристотель задумчиво почесал себе бороду и озабоченно пробурчал себе под нос:

— Интересная мысль... Надо будет ее как-нибудь на досуге обдумать... Мыслим логично, а логики как таковой пока еще не существует...

— Не отвлекайся... — попытался вернуть его к теме их беседы новый схолярх. — Ты нам рассказывал о пире...

— Ну, так вот... — вернулся к прежней мысли будущий отец всемирной логики. — Был пир, на котором мы чествовали жениха с невестой, славили нашего юбиляра, а затем усмиряли вашу светлость, — он сурово и почему-то по-учительски посмотрел Спевсиппу прямо в глаза, — потому что кое-кто не умеет пить и держать себя в руках...

«Опять я виноват! — воскликнул про себя второй схолярх, стыдливо пряча от всех глаза. — Во всем виноват...»

— Свинья свиньей! — поднял к небесам глаза Аристотель. — Клянусь Зевсом, так руки и чешутся по розгам...

«Я его точно когда-нибудь травану! — выругался про себя Спевсипп, чувствуя, как слезы раскаяния начали наворачиваться у него на глазах. — Где моя склянка с цикутой?» — Он шмыгнул носом и вытер рукавом свое произвольное шмыганье.

— Короче, после твоего пьяного дебоша, явился незванным Диоген Киник и, как всегда, начал всем хамить... — продолжал свой рассказ Аристотель. — Мы его поколотили и выставили вон... Потом пили за здоровье жениха и невесты, затем за юбиляра и Академию... А после... — Он замялся и вновь зачесал свою бородавку.

Все тоже напрягли память и раскинули мыслями. Каждый припомнил свои фрагменты прошедшего вечера, и ситуация стала еще более непонятной и запутанной. Ученики понимали, что чем непонятнее и запутаннее, тем больше находится умников, стремящихся разгадать секрет этого гордиева узла. А узел и впрямь никак не хотел у них развязываться.

— Надо допросить жениха и невесту, — неожиданно предложил Спевсим, — вдруг они чего-нибудь вспомнят... Пошлите за ними, пусть их сюда приведут...

— А чего их приводить?! — пожал плечами Ксенократ. — Невеста здесь, да и жених тоже рядом...

Все перевели свои взгляды на стоящую с грузом беременности Аксиотею Флиусскую и сочувственно покачали головами.

— Это она?! — удивился Спевсипп. — Это мы вчера у нее были на свадьбе?

Все утвердительно закивали головами.

— А кто же жених? — все никак не унимался второй скорох, пытаясь примерить на себе прокурорскую тунику.

Все почему-то посмотрели ему в глаза и многозначительно вздохнули.

— Что? — понял и одновременно не понял их намек новый хозяин Академии. — Это на что вы тут все намекаете? — Аристотель трагически развел руками. — Не может быть! — упал духом несостоявшийся прокурор. — Ничего не помню...

— Меру надлежит знать... — мрачно пробурчал Ксенократ, намекая на стоящий в стороне кувшин поминального вина. — А ты вчера ради Учителя готов был выпить море вина и требовал, чтобы тебе его подали...

— Так, что же выходит — я муж этой дамы?! — Все еще не верил тот своим ушам и глазам.

— Нет... Ты только был женихом... А мужем стал другой... — еще больше запутал ситуацию Аристотель.

Спевсипп почувствовал, как у него начал медленно вскипать мозг. Казалось, что издевательства окружающих не будет никакого конца.

— И кто же этот счастливчик? — поинтересовался он у своих более информированных собеседников.

Те, не сговариваясь, кивнули в сторону траурной урны с прахом их Учителя. В Академии воцарилась гробовая тишина, словно она вся сама в одночасье превратилась в одну коллективную траурную урну.

— Я думал, что беременность одного из учеников — это самое удивительное, что я мог за сегодняшний день узнать... — только и мог выдавить из себя пораженный громом сенсации Спевсипп.

В это время и в самом деле послышались далекие раскаты грома, и небо заволочло с моря черными тучами. Начал накрапывать мелкий дождик.

— Чего еще я не знаю? — обратился чуть ли не с мольбой к своим собеседникам новый сколарх. — Можете меня не щадить. Добивайте...

— У меня от твоего дяди есть еще один ребенок, отрок Адимант, который сейчас живет с бабушкой в имении в Ифастиадах... — объявила ему еще одну новость Аксиотея, присаживаясь рядом с ним на соседний стул. — Так что поздравляю. У вас есть кузен...

— И когда он все успевал делать?! — пожал плечами тот. — В его-то возрасте и такая прыть!!! Хотя чему тут удивляться! У такого великого человека должен быть целый ворох не менее великих тайн... Надеюсь, он почил в бозе счастливым, с чувством выполненного долга...

— Он ушел в свой мир идей... — многозначительно произнес Аристотель. — Это не царство Аида, где обитают тени умерших. Мир идей — это живое пространство духа. Это, — он многозначительно постучал пальцем себе по виску, — то, что вечно будет с нами...

Спевсипп и сам раньше неоднократно слышал об этом мире Идей, но что это такое, он себе смутно представлял. Зато Аристотель утверждал, что их Учитель совершил великое географическое открытие — он открыл некий Мир Идей: колоссальный континент Мирового Разума, новую духовную реальность, тончайшую интеллектуальную материю, отвечающую за существование наших знаний: «Вот главный секрет Академии. Вот главная наша тайна, — повторял он в доверительных беседах с единомышленниками. — Главное в Идее — это ее смысл. Творец является в мир в образе человека и проявляет Себя в смысле царящих в нем идей, которыми человек руководствуется в своей жизни...»

Академия в их понимании как раз и была вратами в этот таинственный мир идей. И он теперь волей случая был назначен привратником этих самых врат, хранителем их ключей.

— А почему на этой свадьбе я был сначала женихом, а потом дядя стал мужем? — задал вполне резонный вопрос вконец раздавленный всеми обстоятельствами Спевсипп.

— Это скажи спасибо провокатору Диогену! — усмехнулся доселе невозмутимый к житейским страстям Ксенократ. — Это он тебя пьяного подзадорил и поймал на подростковое «слабо»: «Слабо, — говорит, — у дяди невесту на свадебном пиру отбить...» Ну, ты и завелся, сам полез в женихи...

— А что дядя?

— Посмеялся... — снисходительно улыбнулся Аристотель. — Ты полчаса побыл женихом, пока под стол окончательно без чувств не свалился... Вот тогда мы Диогена и помяли... А он нам в отместку начал распускать слухи, будто наш учитель умер от чрезмерного возлияния вина...

— Ну, надо же! — схватился опять за больную голову новый сколарх. — Ничегошеньки не помню...

— Да... Ты вчера, брат, был в ударе.... Ты даже пытался заменить на входе в Академию ее знаменитую надпись на какую-то свою...

— И что я предлагал там написать?

— Что-то вроде: «*Да не войдет в храм Бахуса девственная печень*»... — во второй раз улыбнулся Ксенократ.

— Нет, вчера это был явно не я... — попытался сам оправдаться в собственных глазах дебошир и баламут. — Я уважаю, конечно, бога вина и веселья Диониса, но никогда не пойду на предательство священных принципов бога просвещения и науки Аполлона...

— Как знать, как знать... — многозначительно посетовал по-старчески Ксенократ. — Не зарекайся... Время покажет...

— Ты лучше расскажи, чем это вы с Учителем занимались в течение последнего года? — поинтересовался у нового академического начальства Аристотель. — Теперь уже нет надобности молчать об этом. Что это за секреты у вас там были?

— Да никакого секрета мы из этого и не делали. — смущенно пожал плечами Спевсипп. — Просто никому об этом не говорили... Все дело в том, что год назад в подвале одного из родовых дворцов мы с ним обнаружили библиотеку нашего прадеда Солона. Многие старинные книги оказались в полной негодности из-за их ветхости и плесни. Нам пришлось их восстанавливать практически из праха... И кое-кому эта наша работа не понравилась... Кое-кто начал вставлять палки в колеса. Не буду называть их поименно. Вы их сами всех прекрасно знаете.

У всех в памяти всплыли слова незабвенного наставника, который всегда язвительно отзывался о своих родственниках, называя их «свинными аристократическими рылами».

*Теория заговора.* Известно, что те, кто пытаются скрыть информацию, уже участвуют в заговоре. И чаще всего организаторами подобных заговоров становятся закрытые элитарные сообщества. Те, кто прячут, всегда думают наперед о тех, кто это будет потом искать; те, кто ищут, пытаются думать так, как те, которые что-то от них спрятали. Как показывает история, человечество любит играть в прятки. Что-то прятать и что-то искать велит нам наш основной инстинкт — любопытство. В Академии, как мы знаем, искали спрятанные Логосом смыслы.

Спевсипп погрузился в свои воспоминания, и словно какая-то пробка заткнула ему уши, и он перестал слышать живой спор своих коллег. В его душе воцарилась полнейшая тишина, и память начала проводить активные реставрационные работы. И они вскоре принесли первые результаты. Известно, что мы сразу же включаем критическое мышление, когда наш разум подходит к границе понимания. Спевсипп знал, что Учитель любил пускать свой разум в свободное плавание по непознанным морям и океанам мира идей. Вот и в этот раз ему предстояло решить уравнение со множеством неизвестных.

На свадебном пиру перебивала половина Афин, а другая уже всю судачила, перемывая жениху бранные косточки. Вообще-то пир начинался как юбилейный, а затем как-то сам перерос в свадебный. Учитель решил совместить оба эти мероприятия, а затем к нему добавил еще и поминальное о себе самом застолье. Три в одном. Только он мог такое придумать.

Новый сколарх начал судорожно припоминать отдельные детали прошлого вечера, но всплывавшие в его памяти фрагменты никак не выстраивались в единую картину происшедшего. Припоминание было любимым тренингом академиков. На пиру Учитель много рассказывал о Критии, который приходился ему дядей. Именно он открыл ему семейные архивы их царского рода. Кодриды владели неким секретным знанием, передававшимся в их роду из поколения в поколение. Неделий ранее Академик завершил свой последний труд, который назвал в честь него — «Критием». В нем он поведал историю об Атлантиде. И это было последнее, что он сделал в этом мире.

Последней на пир заявила небольшая группа актеров в масках, которая принесла ему на подносе жареного лебедя. Кошунство! Лебедь — символ Аполлона, покровителя Академии, а тут такое... Да и на актеров эти гости были мало похожи. Самозванцы. Спевсипп узнал некоторых из них и под маской. Это были так называемые «хранители» — те, кто оберегал в их роду тайну Атлантиды.

Предупреждал его дядя: не доверяй родне! Мелкие и ничтожные личности, выродившиеся аристократические натуры, возомнившие себя вершителями судеб мира. Потомки афинских царей выродились в обычных лавочников с отупленным умом и распущенной нравственностью. Их погубят собственное чванство и глупость. Особенно их взбесило то, что Академик нашел их архив. Предупреждали, настаивали и даже



угрожали, чтобы они не ворошили прах прошлого. Но Академик был непреклонен. Он решил сделать все по-своему. Решил и сделал. Вдвоем они перебрали все эти ветхие книги. Информационный хаос был систематизирован и выстроен в логической последовательности. На их основе Академик написал новую книгу. Самим «хранителям» такого сделать было просто не дано. Ума бы просто не хватило.

Нет, они пришли на пир не просто так. Они пришли сюда уже с конкретной целью. И главной их целью был он — Учитель. Они шли убивать, о чем свидетельствовал принесенный ими жареный лебедь — намек на трагическое завершение земной жизни того, кто всю жизнь служил священным птицам Аполлона. И трагично, что в этот самый ответственный момент Учитель оказался один без поддержки своих верных друзей и учеников. Их всех умело на то время развели в разные стороны сообщники преступников.

Хмель постепенно выходил из него, и Спевсипп начинал все яснее и отчетливее припоминать детали, подсказывавшие ему ход вчерашних событий. Пока Ксенократ и Аристотель выгоняли с пира разбушевавшегося Диогена, родня в театральных масках обступила жениха и (о, ужас!) забросала его яйцами. Да не простыми, а вареными! Вот откуда на голове у Учителя взялась гематома. Да не куриными яйцами, а лебедиными! Изысканное в коварстве орудие преступления. И какое не слыханное для Академии кощунство!

— Убийцы! — вспомнил он поименно лица всех своих родственников, но уже без масок. — Ну, ничего! — Сжал губы новый сколарх. — Прилетит и им всем из Академии подарочек! Академики своих в беде не бросают! Академики врагов добивают! Кто не с нами, тот против нас... — сформулировал он впервые ставшую впоследствии крылатую формулу идейной борьбы за истину.

И тут вновь словно обухом ударило по голове, и он вспомнил, как один из убийц, угрожая ему самому своим кривым кинжалом, требовал выдать семейный архив Соллона, якобы похищенный Учителем у самих «хранителей».

— И что я сделал? — сам себе задал тяжелый вопрос Спевсипп, и тут же коварная память выдала ему следующую порцию откровений. — О, боги!!! Я его им отдал! Я предал Учителя! Я указал им то место, где хранился архив. Простой дубовый ларец в виде скамьи, на которой сидели новобрачные... О! Я — предатель! Я пропал! — В отчаянии схватился за большую голову сколарх. — Мне не пережить такого позора...

А что же Учитель? Академик снисходительно улыбнулся: «Не велика потеря! Могло бы быть и хуже...» — небрежно бросил он ему. После этого они его и забросали (растреляли) вареными яйцами. Ничтожества! Из целого залпа всего лишь одно яйцо попало Академику в его бесценную голову! Мазилы! Но и этого хватило для того, чтобы отправить старика со свадебного пира на тот свет.

— Как я могу обо всем этом рассказать своим друзьям по Академии! — пришел он к неутешительному выводу. — Позор! Я буду проклят! Теперь я вынужден все это вечно хранить в себе... К тому же эта история с Атлантидой... Дядя завещал мне хранить эту тайну, я не могу отступить ни на йоту от данного ему слова... Лучше солгать, чем предать. Лучше прикинуться наивным дурачком, чем получить предательский удар кинжала в спину... А они, эти знания, лежат себе преспокойно на столе в виде свитка книги «Критий», и никто на них не обращает никакого внимания...

Спевсипп вздрогнул, словно кто-то выбил пробку из его ушей. В него вновь стали проникать шумы и звуки внешнего мира. Его коллеги по Академии живо обсуждали события минувшего вечера, и каждый вновь настаивал на своем.

«Видимо, — подумалось ему, — так и должно быть... В многообразии наше спасение...»

За жаркой дискуссией собеседники и не заметили, как наступил вечер, а затем и ночь спустилась на Землю, как величественно вошла Луна и над их головами высыпали мириады звезд. Еще некоторое время они устало сидели за столом, придавленные общим горем, и в молчании смотрели на урну с прахом. Разошлись все уже далеко за полночь, утомленные от пережитого и отягощенные грузом новых открывшихся истин.

*Ночной страж.* Урна с прахом по-прежнему стояла между свитком завещания и «Критием», ожидая окончательного решения высокого синклита. Спевсипп решил провести ночь в бдении возле праха своего любимого дяди, дабы поутру торжественно захоронить его в глубине парка Академии в специально сооруженной гробнице. Ночь обещала быть темной и тихой. Но вот спокойствия в душе у наследника не было и в поmine. Новости минувшего дня вывели его из равновесия и душевного спокойствия.

Случайным соучастником этого его ночного бдения оказался прилетевший неизвестно откуда шальной соловей. Лесная птаха уселась на ветви соседнего оливкового дерева и затянула свои задушевные трели. Соловей надрывался, изо всех сил стараясь привлечь к себе внимание незамужних соловьев. Откуда он взялся и почему выбрал именно это место для своей любовной серенады, никто не знал. Он пел потому, что не петь не мог. Но для нового сколарха Академии его пение воспринималось как погребальная свирель Аида. И он уныло затянул мелодию народной песни: «Тут соловей весну провожает...»

На сердце лежал тяжелый камень неожиданной утраты, а вновь открывшиеся обстоятельства еще более усугубляли его горе. И никакие соловьиные пения не могли заполнить образовавшуюся в его душе пустоту. Пустоту одиночества, на которую давил вакуум отчаяния и полной профессиональной непригодности.

— Ты был мне как отец... — В какой-то момент прикрыв глаза, вступил он в беседу с прахом в урне. — Ты часто журил меня: «Ничего не бойся. Делай что должно, а ежели чего, я тебя и с того света достану...» Но последняя твоя шутка меня просто добила... Такого я от тебя откровенно не ожидал...

Неожиданно из-за ближайшей колонны показалась какая-то одинокая тень. Спевсипп от неожиданности даже вздрогнул. Неопознанный ночной объект бесшумно скользнул вдоль перил лестницы и приблизился к столу.

«Вот оно... Началось... — тревожно подумалось новому сколарху. — Это Аристотель... Только он так хрипит своими бронхами при напряженном дыхании...»

Ночному сторожу даже не потребовалось открывать глаза, чтобы идентифицировать этого злоумышленника. Он продолжал как ни в чем не бывало сидеть со скрещенными на груди руками, изображая глубокий и безмятежный сон.

Ночной вор протянул свои дрожащие от волнения руки к заветной урне. Спевсипп даже не шелохнулся. Похититель осторожно пересыпал часть драгоценного груза в какую-то принесенную им емкость и так же бесшумно растворился во мраке ночи.

— Ему бы только шпионом работать... Как кошка, в темноте крадется, ни один часовой его не заметит! — успел похвалить его Спевсипп.

Спустя час в лунном свете показались еще две робкие фигуры, которые сами пугались любого шороха и любой ночной тени. Они крадучись приблизились к заветному столу и тоже протянули свои трясущиеся ручонки к урне.

«Так... — подумал, чуть поддергивая веками, Спевсипп. — И эти туда же... У всех руки трясутся... Значит, честные люди — впервые воруют...»

Дрожа как осенний лист, барышни отсыпали в какую-то тряпицу часть праха любимого Учителя и поспешно ретировались, неловко спотыкаясь впотьмах о кусты и кочки парка.

«Ну, теперь, стало быть, настала очередь Ксенократа...» — Без капли сомнения решил дожидаться и его прихода сколарх. И не ошибся.

Последний злоумышленник появился уже под самое утро. Он появился с первыми петухами и тоже осторожно открыл крышку урны. Несколько секунд промедления — легкое замешательство. Спевсипп осторожно приоткрыл веко. Утренний вор искал, куда бы ему пересыпать часть праха, и, не найдя ничего лучшего, взял в руки свиток «Крития». Ловким движением он оторвал конец свитка и, смастерив из него что-то вроде пакетика, отсыпал и свою долю драгоценной реликвии, словно это были жареные семечки.

— Ну, все... — упал духом племянник. — Раздербанили старика! Пошел теперь гулять его прах по закоулкам истории... Прости, дядя! Не ведают, что творят...

Он сам не мог себе объяснить, почему он тогда позволил всем растащить останки их Учителя. Видимо, полагал, что каждый достоин хотя бы крупницы его памяти. Заглянув с первыми лучами рассвета в урну, он обнаружил там примерно четверть того праха, который был принесен младшими учениками с погребального кострища.

— Ну, хоть здесь все по справедливости у нас вышло... — положительно отозвался он о совести своих друзей. — Значит, можно с ними философствовать и дальше... — Но взглянув на неровные края свитка «Крития», он чуть не выругался. — Вот сволочь... Взял и испортил такую книгу... «И вот Зевс создал всех богов, — прочел он последнюю строчку, — и обратился к ним с такими словами...» Так..., конец варварски оборван... Интересно, а с какими это словами Зевса прах Учителя отбыл нынче утром из Афин?.. На самом интересном оборвал историю Атлантиды! Теперь уже и не вспомнишь, что рассказывал наш дед Критий об этом идеальном государстве... Выходило, что Атлантида погибла сегодня уже во второй раз...

Он призадумался. Так ли это на самом деле? Да вовсе нет. В его голове отпечаталась каждая строчка этой последней работы Учителя. Следовательно, пока он жив, это знание не утеряно. Он является его живым носителем. А чернила его памяти никогда не высохнут. Теперь он — бесценное сокровище. В нем живет и обитает сокровенное знание мира.

— Надо себя немного поберечь... — решил Спевсипп. — Я ведь теперь особо важная персона... — не без сарказма усмехнулся он.

На этом наша история подходит к своему завершению.

Говорят, что одна из любимых учениц Академика какое-то время жила с новым сколархом, но в конце концов, утомленная его глупостью, сбежала с солдатами Александра Македонского завоевывать новое политическое пространство для достойного места в истории эллинской культуры... В память о ней Спевсипп поставил в роще Академии статую Грации — точную копию той самой земной грации, с которой он так счастливо жил, хотя некоторые утверждают обратное, что это, дескать, статуя была на самом деле точной копией идеи грации... Но как там все было на самом деле, установить теперь уже не представляется возможным. Поэтому каждый волен трактовать эту историю по-своему, кому как нравится...

## КОРОНА БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Вот уже как четверть часа они, не отрывая глаз, в упор смотрели на пятнадцатикаратный брильянт и не могли поверить своим глазами. Караты были, а брильянта — нет:

— Неужели и этот фальшивый? — наконец с трудом выдавил из себя главный герольдмейстер двора Ее королевского величества королевы Великобритании.

— И к гадалке не ходи... — вынес свой безжалостный вердикт ювелир.

— Это катастрофа! Завтра коронация, а у нас тут такое...

Приглашенный для чистки и приведения в порядок королевских регалий ювелир одной из старейших лондонских фирм беспомощно развел руками и вытер выступившие на лбу крупные капли холодного нервического пота:

— Фальшивки... Половина брильянтов — простые стекляшки... И, судя по всему, они были заменены уже давно...

Предмет, который они столь долго и тщательно изучали, представлял собой венец с чередующимися четырьмя крестами и четырьмя геральдическими лилиями, выше которых от крестов шли четыре полудуги, венчающиеся шаром с крестом. Внутри этого предмета имелась бархатная шапка с горностаевой опушкой. Изделие именовалось «Короной Британской империи» и готовилось к самому главному событию в ее жизни — коронации. И вдруг открылось, что она не в рабочем состоянии. Ювелир был этим просто психически потрясен, физически разбит и морально раздавлен. Фиаско! Конфуз! Скандал! Позор! Катастрофа!

— Н...да... Ну, и дела... — только и мог вымолвить тоже потрясенный происшедшим открытием придворный. — Сказать кому, ведь не поверят, засмеют... Обвинят в кощунстве над святынями, а еще хуже клеймо «коммуниста» поставят... А с таким ярлыком у нас я только до первого газетного киоска смогу дойти...

Он панически начал перебирать в уме различные варианты своих дальнейших действий, и все время выходило, что он оказывался крайним. А быть стрелочником на этом празднике британской жизни ему вовсе не хотелось. А тут еще этот въедливый зараза ювелир, все сует и сует свой любопытный нос в тайные монаршие дела. Он ему сразу не понравился — уж больно честен и принципиален.

— Что же делать? Что же делать? — томился в мучительных раздумьях главный герольдмейстер Британской империи. — Свалить все на большевиков. Все равно никто Москве не поверит и даже проверять не станут...

— О! Я стал великим! — тем временем раскидывал мозгами ювелир, представляя себя купающимся в лучах нежданно-негаданно свалившейся славы. — Ведь только Архимеду и мне удалось доказать фальшивость короны своих правителей. Он спас от позора тирана Сиракуз Гиерона, а я спасу от позора британскую монархию... Спасу? Стоп... А что если сама британская монархия... — Потрясла его мозг последняя догадка, которая была им тут же решительно отринута вследствие ее полной абсурдности. — Нет, нет... Это невозможно! Этого не может быть, потому что этого не может быть... — Тут же нашел он для всего этого веские оправдания. — Что за странная причуда!

Сомнения вроде бы ушли, но скепсис почему-то остался.

— Итак, что мы имеем... — попытался начать хоть как-то трезво мыслить придворный чиновник, суммируя все «pro et contra» по имеющимся в его мозгу полочкам. — Мы имеем самое настоящее мошенничество в самой крупной форме... Факт очевидный и неприятный... Скандал обеспечен, если мы окажемся честными людьми... Но мы таковыми на это время можем с вами и не оказаться... Вы согласны со мной, коллега? — и, не дожидаясь его утвердительного и несколько заторможенного ответа, продолжал: — Никто не сомневается в вашей порядочности... Но... Это, батенька мой, политика, и политика весьма крупных масштабов... Вы читали Макиавелли? — Тот машинально кивнул головой. — Ну, так вот... Поступим так, как он там нам всем советует... Чуть-чуть отойдем от морали в сторонку и не будем кое-чего какое-то время замечать... Мы ведь все равно не можем ничего изменить... Коронация уже завтра... Пусть идет все, как шло, а там видно будет... — практически убедил своего собеседника главный герольдмейстер двора Ее королевского величества.

Раньше он думал, что может найти выход из любой черной дыры. Но где ему было взять столько брильянтов в столь кратчайший срок, он понятия не имел. У правды оказались слишком жесткие объятия. Она жгла душу и раздирала сознание. Она без-

жалостно душила и не давала дышать свободой. Собравшимся все больше становилось ясно, что в словосочетании «корона Британской империи» нет ни одного правдивого слова. Хотя Истина была где-то совсем рядом, ее никто не хотел видеть.

— Интересно... — промелькнула попутно в голове у ювелира шальная мысль. — А корона святого Эдуарда тоже фальшивка? Там почти два килограмма чистого золота и четыре сотни драгоценных камней... Не удивлюсь, если она давным-давно уже заложена в каком-нибудь банке Ротшильдов...

Любители теории заговора могут найти немало доводов, чтобы поверить в эту историю. Порой бывает, что то, что у всех не вызывает никаких сомнений, чаще всего само оказывается сомнительного происхождения. Герольдмейстер своевременно вспомнил слова покойного короля, невзначай брошенные им за несколько недель до его кончины: «Ну, что вы хотите?! Еще наша прабабка королева Виктория выковыривала из короны бриллианты, когда ей надо было срочно заплатить по долгам правящего семейства... То сынишка в карты проигрывает, то муженек в рулетку просвистит, то внучок на актрисах погорит...»

«Тогда никто об этом всерьез не задумывался, — с тяжелым сердцем подумал придворный. — Все верили, что будут вечно жить... А вышло так, что после них хоть всемирному потоку лейся, хоть траве не расти...»

— Как вы думаете, — обратился к нему ювелир, — стоит ли нам доложить об этом инциденте премьер-министру?

— Вы с ума сошли!!! — с ходу категорически отверг это предложение царедворец. — У этого жирного борова и без нас полно проблем... Надо будет, он сам узнает, но только не от нас... И не сегодня... Не забывай, что мы живем в эпоху охоты на ведьм... Один неверный шаг, и ты уже сам на помеле на шабаш ведьм летишь... А меня подобная перспектива мало привлекает.

— Похоже, что и главный бриллиант тоже умелая копия подлинника... — продолжал тем временем свои критические исследования ювелир, внимательно рассматривая через контактную часовую лупу синий сапфир святого Эдуарда. — Я слышал байку, будто бы еще наш король Георг проиграл его в карты русскому царю Николаю, когда тот гостил у него в Лондоне... Через то и революцию в России поддержал... И так был ему неприятен этот его русский кузен, что король даже и слышать о нем не мог...

— Я бы за это дело на него не только бы всех собак революции спустил, но еще и всех марсиан натравил... — внимательно разглядывая главный алмаз, сухо проговорил главный герольдмейстер. — От этих русских мы до сих пор икаем, как в страшном сне...

— Только нашествие марсиан и может спасти нас от неминуемого позора...

— Не будем омрачать нашу национальную историю своим прискорбным фактом...

— И как их только раньше не разоблачили?

— Да кто же их будет разоблачать?! Они же все джентльмены... Им же вообще все всегда привыкли верить на слово...

— По-хорошему все это дело следовало бы засекретить лет на сто пятьдесят, и чтобы оно вообще еще лет двести или триста на Божий свет не вылезало...

— Н... да... Мы уже столько всего на свете засекретили, что под грузом этих секретов Британские острова скоро пойдут ко дну... Любим мы секретничать, особенно когда рыльце в пушку... Весь мир уже над этим смеется... Если что засекретим, значит, виноваты... Я давно уже заметил, что если у нас что-нибудь начинают засекречивать, значит, где-то вылезли ослиные уши наших спецслужб...

— Н... да... Бедная империя... — тяжело вздохнул эксперт по бриллиантам.

— Мне порой чудится, — признался своему собеседнику придворный чиновник, — что Британская империя держалась исключительно только на тонкостях нашего изыс-

канного английского юмора. Но три года назад со смертью последнего великого юмориста Британии Бернарда Шоу умерла и сама Британская империя... Жить без юмора — значит скатываться в тупик глупости... Пошлость этих фальшивых камней.

— Мы, британцы, не знаем нашу историю, потому что нам за нее стыдно

— Это вы о сипаях или вообще... Я не удивлюсь, если выяснится, что сипаи сами себя расстреляли вследствие неосторожного обращения с оружием...

Из всех известных драгоценностей лишь рубин «Черный принц» не вызывал у ювелира никакого сомнения. Зато две другие всемирно известные драгоценности — алмаз «Куллинан-II» («Малая звезда Африки») и вставленный в тыловую часть обода короны сапфир Стюартов — вызывали неприятные профессиональные опасения. Не ровен час, и на них экспертизе пришлось бы поставить клеймо — «недостовверные королевские регалии».

Ювелир уже мысленно представил себе толпу журналистов и ту шумиху, которую поднимут мировые СМИ, узнав об этом деле. В истории и из-за меньшего конфуза случались мировые политические катаклизмы. А тут такое! От напряжения в его ушах зашумело давление, словно в них ожили футбольные трибуны. В висках настойчиво застучала мелкой дробью одна и та же противная до тошноты мысль: «Какой позор!» или просто «ПОЗОР!».

— Корона фальшивая, как и вся наша империя... — бесстрастно или, точнее сказать, с присущим ему британским холоднокровием, произнес придворный. — Вот что умели хорошо делать все Виндзоры, так это блефовать...

— Но кто и когда совершил эти подмены? — Все еще продолжал пребывать в своем наивном заблуждении приглашенный в аббатство специалист.

Придворный чиновник цинично усмехнулся.

— Вам не кажется, что вся эта история сюрреалистична? Она как-то унижительная для чести нашей великой державы, — продолжал стыдиться происшедшего ювелир. — Это только большевики могли выковыривать брильянты из короны своей империи, а тут получается, чем мы их лучше? Мы — британцы! Цвет и гордость прогрессивного человечества! Во всем передовая нация! Пример свободы и демократии... И тут такое... Я понимаю, когда шакалы выдают себя за волков. Но чтобы волки выдавали себя за шакалов — это уже перебор...

— Прекратить истерику! — Приводя в чувства, шлепнул его по щеке царедворец. — Возьмите себя в руки! Ведь вы же британец! «God save our gracious Queen (King)!» — патриотически затянул он гимн Британской империи.

— Я, конечно, патриот, но у меня в голове не укладывается, что это могли сделать сами британцы без чьей-либо посторонней помощи...

— Я уже и сам подумал грешным делом о коварной руке Москвы... — поделился с ним своими соображениями невозмутимый до цинизма придворный. — Знающие люди утверждают, что у нашего премьер-министра есть даже копия отпечатков пальцев самого Сталина, которые он получил еще на Тегеранской конференции. Говорят, что это уже помогло нам в нескольких секретных операциях «М16»... Сталин умер... Теперь на него можно всех собак и кошек вешать...

— Но тогда мы должны признать хотя бы для себя, что наши венценосцы банальные воришки... — практически шепотом, но все-таки осмелился заикнуться о какой-то видимости правды ювелир.

— Давайте не будем драматизировать события... Ведь тут самое главное — под каким углом посмотреть на всю эту историю. Пусть это будет не фальсификация, а реконструкция утраченных королевских регалий... — предложил свою формулу этого дела герольдмейстер. — Мы же не знаем, при каких конкретно обстоятельствах эти бриль-

янты покинули пределы нашей короны. Или что, другие монархии не имеют скелетов в шкафу своей истории? Имеют и еще какие-то скелеты! Наш скелет один из них, и всем будет лучше, если мы его не заметим...

— Очевидно, вы правы... — внял его доводам приглашенный ко двору специалист.

— Вы представляете, как себя будет чувствовать наша горячо любимая королева, если узнает о том, что корона на ее светлом челе является фальшивой?!

— Да, это очень тяжелая психологическая травма на всю ее последующую жизнь... — согласился с аргументами своего собеседника ювелир.

— Ее утонченная натура с этим может просто не справиться... — продолжал сгущать краски придворный проныра. — Мы должны проявить гуманизм и сберечь ее нервы. Это наш с вами прямой верноподданнический долг!

Все было логично и весьма убедительно. Но ювелир почему-то призадумался на минуту. Повешенные собаки и кошки не давали его совести спокойно уснуть в беспечном сне патриотической британской гордости. Тревожные воспоминания не на шутку смутили его душу. Он вдруг припомнил одну странную закономерность: все предшественники его на посту ювелирной фирмы — отец, дядя, дед и прадед — умирали при невыясненных обстоятельствах и при странных причинах именно в год коронации очередного английского монарха: 1902, 1911, 1936 и 1937... И именно после того, как приходили во дворец чистить эту самую корону! И вот теперь он. Открытие было столь неожиданным и столь неприятным, что он от этой неожиданности неприятно вздрогнул и побледнел:

«Неужели теперь и моя очередь настала? — невольно подумалось ему. — И зачем я только заметил, что брильянты в короне фальшивые... — уже раскаялся он в своем несвоевременном прозрении, чувствуя, как начинают произвольно дрожать у него поджилки. — Бежать! — вдруг торкнула его прямо в мозг спасительная идея. — Бежать хоть на край света, хоть к папуасам... Нет, к папуасам не получится... — Тут же критически покачал он головой, оценивая свои шансы выжить в диких местах их проживания. — А вот к Советам — да... „Железная занавесь“ — надежное средство от сквозняков западного лицемерия. Они меня уж точно этим волкам позорным не выдадут...»

Оба собеседника с грустью посмотрели на сверкающие фальшью «брильянты» короны Британской империи. Корона была, а вот империи в ней уже не было видно.

— Каковы мы, такова и корона... — упаднически обмолвился специалист по ювелирным изделиям.

— Действительно... В последнее время Британию стало плохо видно на карте мира. Без колоний ее практически нельзя узнать... — продолжал жаловаться королевский герольдмейстер. — Раньше мы могли кому угодно дать в рыло, а ныне сами свое рыло стыдливо прячем под заплаканную подушку... При таких темпах деградации мы вскоре дойдем и до мышей...

— Сделать такое, и в кусты! — Все никак не мог успокоиться и прийти в себя ювелир. — И главное, им вообще не бывает стыдно за содеянное... Я всегда думал, что раз мне стыдно, следовательно, я все еще человек... А эти тогда кто, раз потеряли или глубоко запрятали свой стыд?! Н... да... Ничто животное короне не чуждо...

Он взглянул на своего толстокожего собеседника. С того этика как с гуся вода.

— Гм... — нервно прокашлялся ювелир. — Скверная история...

— Сквернее и не придумаешь... — согласился тот с ним. — Мы привыкли действовать под прикрытием нашего британского тумана и наводить его даже в самый ясный день... Не будем осуждать наших политиков. Они такие, какие есть. Мы с вами прекрасно знаем, что грязной политической работой могут заниматься только истинные джентльмены... А на мнение мировой общественности нам плевать с вершины Биг-Бена... Британские корсары к нашему времени доистребили в нас все, что нам ос-

талось в наследство от Шекспира и Чосера... Зато Британия правит морями... Точнее, правила морями... — тут же сам себя поправил придворный. — Печально, но что делать: империи приходят и уходят, а Шекспир остается...

И без того туманная репутация Британии была окончательно и бесповоротно подорвана. Но царедворец не унывал, продолжая упорствовать и настаивать на своем:

— Чтобы там ни говорили наши злопыхатели, — категорически и безапелляционно заявил он, словно выступая в стенах английского парламента, — но английская королева — это вечно девственное совершенство!!! Тот, кто усомнится в этой аксиоме, — недочеловек. Таких дикарей следует, не задумываясь, уничтожать, чтобы они не испортили всех остальных...

Между собеседниками воцарилось неловкое и неопределенное молчание. Было очевидно, что они оба с трудом переживают свалившуюся на них истину и заметно нервничают и плохо скрывают свою растерянность. Привычные стереотипы поведения уже более не работали, а новые они еще не смогли выработать. Им было о чем вдвоем помолчать. И этим своим молчанием они поминали безвозвратно утраченное величие империи Туманного Альбиона. Если бы кто-нибудь со стороны посмотрел в этот момент на их постные лица, то мог вполне подумать — «святые»...

Символичность фальшивых брильянтов в короне Британской империи было под стать переживаемому ими времени: смена исторических эпох, когда золото становилось позолотой, а истина перерождалась в фанатичную убежденность своей исключительности, даже если ты по уши сидишь в компосте лжи и суеверий. Они оба с трудом проживали момент крушения некогда величественной Британской империи и смутно себе представляли, как будут жить без своих любимых колоний. На их глазах некогда грозный британский лев превращался в домашнего английского пуделя.

За окном часы Вестминстерского аббатства пробил полночь, возвещая первые мгновения нового дня — 2 июня 1953 года.

А на малиновой бархатной подушечке, таинственно сверкая всеми своими брильянтами — двумя тысячами восьмисот шестьюдесятью восьмью алмазами, двумястами семьюдесятью тремя жемчугами, семнадцатью сапфирами, одиннадцатью изумрудами и пятью рубинами — величественно и непреступно покоилась корона Британской империи...

То ли нравы изменились, то ли традиции испортились, а скорее всего, герольдмейстер двора не был посвящен в тонкости секретов Виндзорского семейства, но ювелиру удалось живым выйти на следующий день из аббатства и через сутки попросить политического убежища в Советском посольстве, наивно полагая, что из страны победившего коммунизма нет выдачи на дикий капиталистический Запад...

### «ПРОЩАЙ, ДИКТАТОР!»

Известный журналист одного весьма солидного западного информационного агентства, а также ведущий колумбит нескольких топовых политических журналов, получив конфиденциальную информацию о том, что в одной африканской стране назревает очередной государственный переворот, поспешно прибыл для интервьюирования к ее бессменному президенту, в прошлом успешному просвещенному диктатору. Это интервью было обещано ему еще год назад, но по разным причинам неоднократно переносилось. И вот наконец настал тот самый долгожданный момент истины, когда дальше эту резину тянуть было уже нельзя, и журналист что есть мочи примчался в президентский дворец, расположенный в пригороде столицы на высоком каменном утесе. Примчался, презрев все средства безопасности. Примчался, как ему тогда казалось, за сенсацией. Потому что совершенно был уверен в том, что наступил ключевой момент истории этого маленького, но очень знойного государства.



Президент тоже с нетерпением ждал его, питая в отношении репортера какие-то свои корыстные интересы. Использовать других людей себе во благо было главным жизненным принципом этого искушенного и прожженного политика. А политика выжгла в нем все до основания. И он не знал, осталась ли в нем вообще душа (или то, что называется «душой»), или это всего лишь некая рекламная акция.

Уже при первой встрече, обменявшись многозначительными взглядами, они все сразу же поняли друг о друге. Самое главное — они друг друга стоили: фамильярности журналисту было не занимать; хитрости и коварства президента не было нужды более желать. Они прекрасно знали все тонкости своих профессий и были в них не просто асами, а самыми настоящими гуру (живыми легендами, имевшими как толпы восторженных почитателей, так и злостных завистников).

Журналист был в самом расцвете своих творческих сил, и его уверенный внешний вид выражал успех и высокую профессиональную самооценку. Он на все смотрел свысока и потому, что был высокого роста, и потому, что привык во всем побеждать и быть первым. Типичный янки из Коннектикута при дворе короля Артура. А перед ним был высохший старичок, возраст которого уже не подлежал никакому хронологическому определению. Лысый череп, черные глаза и белые зубы выдавали в нем типичного представителя Черного континента. В общем — они были представителями двух совершенно разных миров. И встреча их сулила им если не открытый конфликт цивилизаций, то весьма сложный диалог различных культур.

Репортер застал президента в его закрытой оранжерее, одетого в национальный костюм — набедренная повязка из леопардовой шкуры. Лето. Африка. Жара. Тут вам не до смокингов и бабочек. Президент стоял босяком на утрамбованном земляном полу и заботливо поливал из лейки свои роскошные растения.

А в оранжерее и в самом деле царило настоящее буйство тропических растений. Со всех сторон на приезжего глядели авокадо, гуава, манго, папайя, рамбутан, ююба... Все кругом сочно зеленело и цвело всеми цветами радуги. В таком райском окружении было даже как-то неудобно думать о мрачных политических страницах этого государства. Перед репортером был не кровавый диктатор (садист и изувер, как его представляли все прогрессивные западные СМИ), а милый старичок садовод, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях своего красивого и миролюбивого ремесла.

«Надо ему поскорее задать вопросы, а то ненароком к концу интервью его может свергнуть его разгоряченный народ... — думал мимоходом журналист, вальяжно прохаживаясь в президентской оранжерее. — Так и озаглавлю свой материал: „Прощай, диктатор!“. Будет круто, если на моих глазах восставшие патриоты его еще и прикончат... Считаю, Пулитцеровская премия в кармане...»

Словно услышав ход его мысли, президент взял в руки секатор и предложил начать давно обещанное интервью.

— Сорок лет назад вы начали свое правление с проведением военной реформы... — задал свой первый вопрос журналист. — Подводя сегодня итог, что вы можете сказать на этот счет: удалось ли достичь желаемых успехов?

— Армия в нашем климате — самое незаменимое политическое средство от всякого рода нехороших эпидемий и невзгод... — неспешно отвечал президент. — Поэтому я всегда уделял особое внимание ее состоянию и развитию... В своей армии я давно отменил ношение всех знаков отличия, сделав форму свободной. Все знаки отличия стали носить на армейской обуви. Демократично. Сразу видно, что у нас армия не аристократов, а самая что ни на есть народная армия...

— А почему ваш сад назван «Вертепом Макиавелли»? — заметив огромный красочный баннер, спросил гость радушного хозяина тропического заповедника.

— Вообще-то, проектировщик допустил одну досадную ошибку... — немного сконфузился президент. — Его подвело его европейское классическое образование. Вообще-то, я хотел назвать этот сад «Вертепом Макака-велли», в честь нашего национального героя, моего, кстати, далекого легендарного предка... Но вышла путаница, и я решил: пусть будет так, как есть... Мой народ и так уже не помнит, кто такой Ма-ка-кавели, а уж тем более о каком-то там вашем Макиавелли и подавно не слыхивал...

Журналист высокомерно усмехнулся. Его классическое университетское образование подсказывало ему, что старичок просто тупит.

Познавательная во всех отношениях экскурсия постепенно продвигалась далее в глубь зарослей окультуренной природы. Проходя мимо растений, хозяин заботливо обрезал засохшие листья и колючки, подробно рассказывая о характере каждого своего ботанического питомца. Казалось, что он обладал бесконечными энциклопедическими ботаническими знаниями. И каждый новый куст, каждый экзотический цветок и лепесток таил в себе какие-то новые неожиданные сюрпризы, открывал для гостя свои тропические тайны (порой даже весьма неприятного характера).

Так продолжалось некоторое время, когда гость совершенно забыл о цели своего визита. Буйная в своей дикой красоте природа его настолько захватила и очаровала, что он сам чуть было не стал ботаником. Он и не подозревал о том, что вскоре ему суждено было прозреть и окунуться в черные тайны африканского двора своего гостеприимного хозяина.

В начале экскурсии взгляд журналиста скользил по верхушкам растений. Любуясь безумным многообразием местной флоры, он на какой-то миг утратил свою политическую бдительность, попав под очарование своего собеседника. Но стоило ему опустить свой взгляд и пройти им по основаниям, как он обнаружил одну непонятную странность этого райского парка: все растения почему-то были посажены и произрастали из старой обуви.

— Я коллекционирую обувь своих знакомых... — заметив его удивленный взгляд, пояснил политик. — И друзья, и враги все здесь обрели свое успокоение и единство... Я слишком стар, чтобы держать все имена в памяти, но каждый ботинок напоминает мне о днях минувшей молодости...

— Странное у вас хобби... — озабоченно покачал головой журналист.

— Ничего тут странного нет... — пожал плечами ему в ответ президент. — У каждого народа свои причуды с военными трофеями. Например, соседнее племя тумбаюмба своих побежденных врагов съедают непременно в сыром виде. Дикари! Варвары! Что с них взять?! И они еще обижаются, когда мы их каннибалами называем! — Рассказчик даже брызнул слюной от смеха. — Более цивилизованные народы отрезают поверженным противникам уши или, как американцы, снимают скальпы... Да, это более цивилизованные зверства... Но я не сторонник даже и этих культурных экскуций. Я однажды прочитал о том, что где-то на свете есть гуманизм, и решил следовать во всем этому примеру...

— Интересно, где это вы тут у себя в Африке могли такое прочитать? — не удержался и ехидно буркнул репортер.

— А когда еще учился в Университете Патриса Лумумбы! — улыбнулся ему в ответ президент. — Нас там учили дружбе народов и тому, что есть врага или друзей это нехорошо... До сих пор у меня вставная челюсть, после того, как мне студенты в общаге это объяснили... — Слово «общага» хозяин оранжереи произнес почему-то на чисто русском, чем в немалой степени вверх в изумление и ступор своего дорогого западного гостя. — Поэтому успокойтесь, — хитро подмигнул он ему, — вас лично я есть сегодня не буду... У меня и без вас холодильники забиты различными заморскими деликатесами... — Журналист вздрогнул и побледнел, а его собеседник опять

хитро улыбнулся и успокоил: — Шучу... Шучу... Вы продолжайте задавать мне свои вопросы... Продолжайте... До обеда еще время есть...

С трудом сглотнув застрявший в его горле ком, блогер глубоко вздохнул и решил поговорить о чем-то более приятном.

— Я видел там несколько женских туфелек... — напомнил он диктатору. — Что это?

— То обувка моих бывших жен... — не моргнув глазом, отвечал политик. — В них удивительным образом цветут орхидеи... При жизни все до одной были форменными фуриями, разве только на помеле на шабаш не летали! Но как после смерти все расцвели! Тут невольно призадуматься о превратности бытия, ведь и прекрасные бабочки в прошлом были отвратительными гусеницами...

Президент осторожно протянул к цветку указательный палец, и на их глазах от растения отделился какой-то «лепесток» и сел на край его корявого ногтя. «Лепестком» оказалась трепетная тропическая бабочка, которую президент протянул гостю.

— Возьми ее и ощути, как хрупок мир...

Журналист протянул навстречу подарку свой средний палец, и бабочка беззаботно пересела с одной руки на другую. Символичен сам этот жест был с точки зрения культурного постмодернизма и симптоматичен с точки зрения дикого колониализма.

«Сейчас повстанцы, наверное, уже штурмуют президентский дворец! — думал тем временем репортер, беззаботно разглядывая бабочку. — Должно быть, уже взяли и телеграф, и банки, и вокзалы... Хотя... откуда в этой стране банки и вокзалы! А если даже они у них здесь и есть, то стоит ли такую рухлядь вообще кому-то брать?! А этому дикарю присуще чувство прекрасного...» — оценил по достоинству красоту бабочки гость с самого крайнего Запада.

«Вот так всегда... — думал во время возникшей в их беседе паузы сам бывший диктатор, продолжая терпеливо выгуливать гостя в зеленых зарослях своей оранжереи. — Ты им протягиваешь руку дружбы, а они тебе в морду тычут своими передовыми цивилизационными технологиями и ценностями...»

— А чьи эти здесь торчат сандалии? — небрежно пнул ногой колумбит уже полуразложившуюся обувку от какой-то безымянной китайской мануфактуры.

— Эти сандалии оставил мне один лауреат Нобелевской премии мира... — ударился в пространные воспоминания политик. — Приехал как-то ко мне, чтобы поздравить меня с днем рождения, и говорит: «Позволь тебя отхепибездить!» Ну, отхепибездил... И говорит: «Надо, — говорит, — чтобы в вашей стране соблюдались права человека, а для этого надо отменить смертную казнь». Я ему в ответ: «Так я ее давно уже отменил... А то, что политики как мухи мрут, так это климат у нас такой нехороший... Эпидемий всяких плохих полным-полно... Без стойкого иммунитета у нас тут делать нечего... А у вас, кстати, как со здоровьем? — неожиданно поинтересовался вождь у гостя.

— Спасибо, не жалею. — Чуть было не поперхнулся воздухом западный корреспондент. — А что?

— А ничего. Этому лауреату наш климат совсем не подошел... Уж больно хлипким он на наш вирус оказался...

Неторопливая прогулка располагала к такой же неторопливой беседе. Но прежней вальяжности и спокойствия в душе журналиста уже не было. Вместо этого появилось совершенно новое ощущение — некий необъяснимый экзистенциальный тремор белого человека, оказавшегося перед мрачной бездной инородного континента.

«Боже! Куда же это я попал!? — мысленно взмолился журналист. — А эта „обезьяна“ уже начинает мне действовать на нервы...»

— Кто я такой? — задал в общем риторический вопрос президент и сам же не поленился на него ответить: — Я тот, кто лучше всех в этой стране может управлять ор-

ганизованным политическим хаосом. Мне все время везет, потому что я сам организовываю себе это везение. Но в отличие от карточных шулеров, я всегда играю чужими картами и стараюсь играть за всех одновременно... — Он как-то подозрительно взглянул на репортера, и у того по спине поползли мурашки жуткого сомнения относительно того, зачем он вообще сюда приехал. — Те, которые хотели меня свергнуть, сами желали быть диктаторами. Я сам этим недугом давно уже переболел и не желал, чтобы эта болезнь распространялась в моей стране. Я первым выдвинул лозунг «Долой диктатуру!».

— То есть вы хотите сказать, что вы демократ? — недоверчиво поинтересовался у него гость.

— Демократия в нашем государстве — это очень страдательный проект... — откровенно признался ему президент. — Я самый главный страдалец моей страны. Я каждый день часами прогуливаюсь по этим зеленым аллеям и поминаю всех, кто когда-то бросил вызов мне, кто боролся с моей диктатурой за свою диктатуру. И я понимаю, что я не самый худший диктатор. Таких, как я, еще надо поискать...

— Но все погибшие погибли за демократию и свободу! — попытался отстаивать свою позицию колумбит.

— Нет, эти погибли не за демократию и не свободу, а за новую диктатуру, ибо в нашей стране кого ни свергай, все равно то же самое после будет... — разочаровал приезжего своим откровением хозяин фазенды. — Не умеем мы новое создавать, зато умеем старое дурно копировать... Нет... Свобода и демократия здесь ни при чем... Погибших сгубили их собственная глупость и чрезмерные амбиции. Я их всех пережил потому, что знал истинную цену себе и им. И никогда я никого не переоценивал и не недооценивал... Вы не представляете себе, сколько кактусов взросло на несостоявшихся амбициях глупцов!

— Я вижу у вас тату... — решил перевести стрелки их беседы с кактусов на что-то более интимное журналист. — Расскажите мне о них...

— А... — небрежно махнул рукой бывший диктатор. — Шальная студенческая молодость: менты как-то дело шили... Я тебе откровенно признаюсь: у меня были хорошие учителя. Они в меня вложили одну прописную истину: *не верь, не бойся, не проси...* И ты знаешь — помогает... Я пережил многих потому, что никому не верил, ничего не боялся и ни у кого никогда ничего не просил...

«Придушить бы его сейчас собственными руками! — мелькнула в голове у блогера отчаянная мысль. — Да нет гарантии того, что эта образованная обезьяна не бросит мне в упрек: „И ты, Брут!“»

— В этой оранжерее, — продолжал тем временем свою экскурсию президент, — собрана практически вся элита нашего государства... Ведь у нас главный признак элиты — есть ли у тебя обувь, или ее у тебя нет... — Он критически посмотрел на свои босые ноги. — Я не в счет... Я вне этого правила... — Тут же отметил он, заметив на своих ногах любопытный взгляд репортера. — Я не элита. Я народный вождь... Лидер нации... Наша всеобщая любовь и надежда... Наша демократия требует, чтобы вышшие власти и народ были едины... Этот сад — живой учебник нашей политической истории. И я должен признать, что растения порой бывают лучше своих прототипов... Что такое человек? — философски вдруг спросил рассказчик и со знанием дела отвечал: — Гумно на свалке мировой истории...

Журналист нагнулся над очердным рядом ботинок.

— О! Да это же американские... — чуть было не воскликнул он, заметив на них знакомый с раннего детства лейбл: «Made in USA».

— Да... Это американский спецназ... — как-то обыденно-скудно подтвердил его догадку президент. — Морские котики... Я им говорил: «Ребята, это Африка! Куда вы лезете?! До моря далеко, до меня высоко». А они: «Нет, приехали свергать, значит,

готовься...» Вот и пошли все на компост... Удивительное дело... — с видом университетского профессора заговорил вождь с журналистом, по-отечески обхватывая его за плечо. — Что бы я ни высаживал в их ботинки, все равно вырастает анаша...

Из ботинок с пометкой «US» действительно торчали сочные кусты классической конопли. Журналист вдавил в плечи голову, и первый раз поискал глазами выход из этого зеленого лабиринта американских неприятностей.

— Сегодня мне должны подогнать новую партию освободившейся обуви... — доверительно признался ему президент. — Хочу спросить у тебя совета, что в них лучше всего посадить — плевелы или зерна? У вас есть какие-нибудь пожелания?

Пожеланий не было. Была досада на повстанческие патриотические силы, с треском провалившие ожидаемую им сенсацию. Президент продолжал пространно рассуждать о превратностях политического бытия, а у его гостя из головы не выходили ботинки с проросшей в них коноплей. С одной стороны, конопля вызывала приятные воспоминания о беззаботной студенческой жизни; с другой стороны, пустые ботинки его сограждан навевали тревожные раздумья о превратности армейской удачи.

«Вот дьявол!» — в сердцах продолжал сетовать журналист, имея в виду черную душу своего собеседника.

— Бог дал человеку мораль, дабы отделить его от животного и сделать из него человека... — невозмутимо продолжал диктатор сеять в его душе зерна сомнения. — Дьявол, желая погубить человека, стремится изъять у него этот дар... И он придумал, как это сделать. Для реализации этого своего коварного замысла он придумал политику...

Наконец они подошли к свободному пространству, где действительно стояли новыми стройными рядами пустые военные ботинки.

— Вот посмотрите... Это та самая свежая партия, о которой я только что вам говорил... Прибыла... — тяжело вздохнул бывший диктатор. — Это уже сто девятая попытка моего свержения... Кругом одни заговоры! Вы не представляете себе, какое это скучное дело — подавлять перевороты... Все грезят государственными переворотами, словно они панацея от наших социальных бед... Все никак упокоиться не могут... Вот эти генеральские ботинки еще сегодня утром принадлежали моему большому другу — начальнику генерального штаба, который сегодня утром вдруг ни с того ни с сего решил стать путчистом... Он очень любил фейхоа... Окажем ему последнюю почесть и посадим на его прахе это красивое растение... — Президент присел на корточки и стал горстями пересыпать в генеральский ботинок из траурной урны кремированные останки своего друга. — Помогите... — обратился он к журналисту: — Плесни сюда водички...

У блогера от всего этого закружилась голова и задрожали руки. Он с трудом оторвал от земли пластмассовую лейку и протянул ее заботливому садоводу.

— Вы не смущайтесь! — подбодрил его тот. — Мы с ним заранее договорились, что если он меня свергнет, то посадит на моем прахе баобаб, а если я его — то фейхоа... Мы с вами выполняем его последнюю волю. Дело житейское. Вспомните легенду о драконе: убивший чудовище рыцарь сам превращался в новое чудовище...

У репортера к горлу подступило тошнотворное отвращение от всего того, что он видел, слышал, ощущал и понимал.

«Где же выход из этих проклятых джунглей!? — продолжал искать глазами выход из оранжереи журналист, понимая, что этот хилый и тщедушный на вид старикашка по всем статьям обыграл его холодный и математически выверенный расчет. — Поскорее весь этот кошмар завершился бы!»

— Я своим оппозиционерам сколько раз говорил: «Ребята! Не умеете заниматься политикой — не быкуйте! — вдруг перешел президент на чистый русский язык. — Заткните свою балалайку и дышите в тряпочку... Порву всех, как Тузик грелку! Потопчу, как татарская конница топтала спартанскую гвардию...»

От услышанного мозги у журналиста окончательно коротнули и задымились:

«Боже мой! — воскликнул он в сердцах, устремляя свой взгляд к небесам. — Какой ужас!! Он еще к тому же и русофил!..»

— Ну что... дошла теперь и до тебя очередь... — Кивнул на лакированные штиблеты репортера, изрек диктатор. — Скидавай сапоги! — Журналист снова побледнел, и с него окончательно сошел последний остаток его respectable лоска. — Будем в них сою выращивать...

Почему сою? Почему не горох? Ответа не было. Просто захотелось ему вырастить у себя в оранжерее сою, и все тут. Без каких-либо глубокомысленных философских намеков и комментариев.

Репортер поспешно разулся, от страха теряясь в догадках. Он уже боялся того, что с ним может приключиться в следующую секунду. Но по всему было видно, что в его изначальные планы вкрались непредвиденные и непреодолимые обстоятельства. И самой главной из них была очевидность того, что намечавшийся в режиме реального времени государственный переворот с треском провалился.

«Вот она, их демократия! — успелось подумать ему. — Все за то, чтобы ходить босиком! Да здравствует власть босоногих!»

Босые ноги журналиста вступили на многострадальную землю африканской оранжереи, и он сразу же почувствовал резкую боль от впившихся в его изнеженные западным образом жизни ступни многочисленных колючек от опавших растений. Соприкосновение с объективной реальностью оказалось для него не очень приятным, я бы даже сказал, жестоким испытанием.

— Н... да... Голыми пятками ходить — это вам не виски пить! — многозначительно покачал головой диктатор, сам свободно разгуливая по своим грядкам босиком. — Изнеженность — главный недостаток бремени белого человека! Как только вы выходите за рамки своей цивилизации, сразу же становитесь похожи на наших обезьян... А что может быть нелепей белой обезьяны на новогодней елке?!

Журналист смущенно поморщился и впервые подумал о суициде: «Но только чтобы сразу и без мучений...»

— Идемте обедать, пока устрицы и шампанское еще не успели остыть... — неожиданно предложил гостю диктатор-садовод, закончив высаживать фейхоа. — Не люблю, когда меня люди ждут... А мой повар — человек пунктуальный. Пойдемте и выпьем за новую страницу в истории нашего государства, которая сегодня для нас всех благополучно открылась... Они думали, что я стар и меня можно так вот легко свергнуть... Наивные люди. — У журналиста от нервного тика задергалась щека — казалось, что президент его видит насквозь своим рентгеновским зрением. — Пока они не докажут мне, что они будут лучше, чем я, то не стоит даже и дергаться. — Щека у гостя замерла, словно в глубокой заморозке. — И донесите, пожалуйста, до своего западного читателя, — обратился совершенно по-дружески хозяин к гостю, — что в нашей стране давно уже нет никакой военной тирании. Мы давно уже живем при процветающей демократии и давно уже сказали своим правителям: «Прощай, диктатор!..»

### **ГРАФСКАЯ РАЗВАЛИНА, ИЛИ НОВАЯ ПИКОВАЯ ДАМА**

В тот день в особняке графини N., что на Рублевке, проходили траурные мероприятия по случаю ее безвременной кончины. По желанию ближайших родственников СМИ молчали, и даже самые пронырливые папарацци не знали о случившемся. Все было обставлено так, словно ничего не значило, тихо и по-семейному. Только узкий круг доверенных лиц. Только приглушенная органная музыка времен Баха

да чопорная аристократическая грусть по безвозвратно ушедшему блестящему веку русской олигархии времен ельцинской краснокирпичной готики.

Усопшая накануне хозяйка была дамой уже преклонных лет, но, несмотря на этот свой почтенный возраст, продолжала вести полноценную великосветскую и бурную личную жизнь. Она сделалась героиней светской хроники бульварных глянцевого журналов благодаря своим многочисленным замужествам и роковому вдовству. Желтая пресса утверждала, что она является Синей Бородой нашего времени, которая успела пережить дюжину законных мужей и два десятка ретивых любовников. Она жить не могла без каблуков. И когда она с них все-таки слетела, ее в них и положили в гроб. Правоохранительные органы старательно капали под нее, «шили» дела, но ничего криминального найти не могли. Веселая вдова по-прежнему продолжала куролесить с новыми молодыми мужьями и куражиться над здравым смыслом российского законодательства.

Хотя графиня была фальшивой (ее третий муж по случаю купил этот титул и так же случайно оставил его ей в наследство после своей внезапной кончины), она никогда не отказывалась от своего пышного титула и всегда козыряла «старинным» родовым гербом. Фальшивая по форме, она была настоящая по содержанию: ее миллионы были реальной денежной массой — наследство от первого мужа, который еще при прежней власти был крупнейшим банкиром позднего развитого социализма и ворочал триллионами советско-социалистической экономики.

Траурная мизансцена была выстроена в лучших традициях русского классического театра. Возле усыпанного цветами дорогого гроба стояло несколько зажженных пудовых свечей, а окна и зеркала в зале были задрапированы черной тканью. Верная ей при жизни сиделка (девица предбальзаковского возраста со следами интеллекта на челе) за глаза называла своего патрона «Пиковой Дамой». И старуха сполна оправдывала данное ей прозвище. Не было ни дня, чтобы графиня не скандалила и не попрекала ее куском хлеба. Графский титул настолько испортил некогда хорошенькую доярку из хутора Забегалова деревни Пыталово, что парижские собаки, когда она шла по Мон-мартру, испуганно поджав хвосты, разбежались в разные стороны, ища спасения в самых дальних подворотнях французской столицы.

В тот день возле ее гроба оказалось всего лишь двое плакальщиков, которые почтили своим присутствием бранные графские останки — уже упомянутая нами сиделка да последний муж, теперь ставший безутешным вдовцом и единственно законным наследником ее огромного состояния. Сиделка стояла вблизи покойной, то и дело вытирая платком несуществующие слезы. По ней было видно, что девица страдает неизлечимым тяжелым недугом русской интеллигенции — горя от ума. От ее напускной скорби веяло придворным лицемерием и казенщиной. По ее надуманному трауру было видно: человек на работе, не мешайте ему выполнять свой служебный долг.

Новоиспеченный вдовец растерянно стоял чуть в стороне не решаясь приблизиться к своей почившей супруге. Только месяц назад они поженились, только два месяца как познакомились. Их отношения нельзя было назвать бурным романом, скорее всего, они подходили под шальную случайность, роковую ошибку, нелепую шалость Фортуны и т. д. и т. п. Простой школьный учитель и подумать не мог, что его заметит и бурно возлюбит графиня, светская львица и сердцеедка, правда, уже весьма потрепанных пенсионных лет.

— Я вот одного только понять не могу: как вам удалось так быстро меня склонить на эту авантюру? — задавал себе один и тот же вопрос вдовец. — Слово кто-то разум затмил. Будто кто-то меня подменил. — И, обратившись к сиделке, спросил: — Я уже который буду по счету ее муженек? Пятый или шестой?

— Седьмой... — поправила его та, совершенно бесчувственно смотря на гроб.

- Ого! Семь мужей за три года! Да она у нас рекордсменка!
- Она искала своего принца на белом коне, и им должен был оказаться ее последний избранник...
- Я менее всего подходил для этой роли...
- Время покажет... — неопределенно покачала головой сиделка.
- А от чего умирали ее прежние мужья?
- От жадности...
- Расскажи подробности...
- Она их куртизанила тоже не более двух-трех месяцев, и у всех был один и тот же печальный финал: они не выдерживали ее бешеного темпа жизни. — Сиделка шумно высморкалась в платок. — Бабулька умела получать удовольствие от падкой на халявные деньги молодежи. Это их всех и губило...
- Н... да... Моя женка, оказывается, умела зажигать и приятно прожигать жизнь...
- У нее были на то веские причины.
- Выходит, она куртуазно куртизанила и меня!
- Не ты первый, но ты последний... Давай помянем усопшую... — предложила сиделка, подходя к столику, на котором стояли два хрустальных бокала и кувшин вина. — Она все-таки была хорошим человеком... Как женщина она жила только тогда, когда стояла на каблуках... Только, — налив вина в один из бокалов, она взяла паузу, — ответить мне на один вопрос... Как ты намерен поступить со мной?
- А что с тобой? — не понял ее вопроса вдовец.
- Я пять лет батрачила на эту старуху... Была фактически ее крепостной... Она обещалась со мной как со своей личной вещью... Унижала, оскорбляла... Грозилась даже арабам в гарем продать, и все такое... Взамен мне было обещано, что после ее смерти она обеспечит меня и даст полную свободу... Но по оставленному завещанию все достается тебе, а мне ничего... Ты обязан выполнить ее последнюю волю и позаботиться обо мне...
- Последнее, что во мне умрет, так это совесть...
- Это как нам вас следует понимать? — Все держала в своих руках предназначавшийся ему бокал бывшая сиделка.
- Чего ты хочешь?
- Я давно мечтаю о своей личной клинике... — призналась ему барышня. — Кое-что за эти годы мне удалось скопить, но это капля в море того, что мне нужно еще будет...
- Хотите лечить людей... Это похвально... И сколько вам для этого надо?
- Вот калькуляция всех моих расходов... — Она достала откуда-то давно приготовленный ею заветный листок бумаги. — Здесь все до последней копейки...
- Хорошо, как скажете... Я согласен...
- Тогда подписывайте, мне важно знать, что вы потом не передумаете и не обманете меня...
- Вдовец добровольно подписал, как выяснилось, многомиллионный контракт на строительство медицинского центра и передал документ сиделке:
- А денег-то хватит на то, чтобы это все построить? — поинтересовался он у нее. — А то я понятия не имею, сколько мне она оставила в наследство...
- Хватит, хватит! — поспешно пряча драгоценный документ, отвечала ему та. — Еще даже и на мороженое голодающей Африке останется...
- Тогда я рад, что мы с тобой затеяли такое благое дело...
- А совесть действительно умрет в тебе последней... — Озорно посмотрела на него сиделка и неожиданно поцеловала его прямо в губы.
- Это не обязательно было делать, — смутился он. — Я от чистого сердца...



— Люблю победителей... — и, повысив голос, на всю комнату сказала: — Я рада, что ты не жмот и не скупердяй... У графини есть правильный наследник... Она им будет довольна...

Вдовец вздрогнул, поскольку эти ее слова эхом отозвались в пустой зале. Ему показалось, что на самом деле они были адресованы не ему, а кому-то еще, кто тоже тогда находился с ними в той же комнате. И чутье его не обмануло. Чутье верно подсказало ему его судьбу.

— Ну что ж... Твоя взяла... — Услышал он за своей спиной голос своей почившей супруги.

Он обернулся и увидел ее — восставшую из гроба покойницу. Старуха поднялась, несколько секунд посидела в гробу, а затем весьма проворно полезла из него вон. И откуда только у покойницы взялось столько сил: «Какое-то голливудское мракобесие... — подумалось ему. — Нам только здесь теперь вампиров и зомби для полного отстоя не хватало...»

Все похолодело и онемело внутри несостоявшегося вдовца. А бывшая сиделка как ни в чем не бывало стояла и охраняла разлитое ею по бокалам вино.

— Ты победила... — призналась ей старуха, бесстрастно проходя мимо своего седьмого мужа. — Сегодня на твоей улице будет праздник... — Графиня подошла к ней и слегка приобняла. — Поздравляю... А ты приглядишься к нему... — Обернувшись, посмотрела она на своего благоверного. — Вроде бы неплохой мужик, не то что те прежние вурдалаки... Держись за него, может быть, у вас что-нибудь с ним и получится...

Вдовец продолжал растерянно моргать, не в силах проронить ни звука.

— Дай ему испить из своего бокала, — велела Пиковая Дама своей верной служанке, — а то он на радостях от того, что я ожила, умом сейчас тронется... Ишь как побледнел... Да и коленями трусит так, словно сейчас обоссется...

Сиделка протянула ему свой бокал с вином.

— Пей... Это тебя взбодрит...

Он машинально отхлебнул и чуть было не поперхнулся.

— И ты намерена сдержать свое слово? — в упор глядя ей в глаза, спросила сиделка графиню.

— Признаться честно, за три года эта игра мне изрядно уже прискучила... — взяв в руки первый бокал, поникшим голосом проговорила ожившая хозяйка дома. — Все надоело... Я устала... Пора с этим всем заканчивать... Все честь по чести... Сегодня ты выиграла, я — проиграла... — Она подняла бокал и посмотрела его на свет горячей свечи. — Как странно разглядывать это вино и знать, что в нем находится твоя смерть... Наш клуб самоубийц на этом завершает свою деятельность и закрывается... Конец комедии... Занавес...

— О чем это она? — терялся в своих догадках ее муженек.

— Не мешай... — отмахнулась от него сиделка. — Так она прощается с этим миром... Ты можешь сейчас видеть, как плачут богатые, расставаясь со своими земными богатствами... Но слезы их гроша ломаного не стоят... Они обесцениваются потому, что в них отражаются все причиненные ими беды. Но для них тяжелее этих слез нет ничего на свете.

— А мне кажется, все наоборот... Перед смертью у богатых должны быть самые тяжелые слезы, поскольку в них собираются все беды мира... Поэтому в скупой слезе богача видны все слезы обиженных ими людей... вот и получается, что слезы олигархов обесценивают пролитые по их вине слезы мира.

— Ой, только не заводи мне здесь заунывную шарманку Достоевщины! — раздраженно пресекла все эти их размышления о сущности бытия сама графиня. — Все на-

много проще: все мои богатства — результат умелого воровства моего первого муженька-барыги... Если бы он знал, для кого он все это ворует, то давно бы ушел каяться в монастырь...

Пиковая Дама торжественно поднесла к своим губам бокал с отравленным вином и театрально его осушила до дна.

— И здесь не может без своего аристократического пафоса обойтись... — недовольно буркнула себе под нос сиделка, с каждой минутой все больше обретавшая в себе уверенность и командное начало.

Проходя мимо нее, бывшая покойница равнодушно похлопала ее по щеке и направилась к месту своего вечного упокоения. Растерянный муж проводил ее недобрый взглядом и перекрестился. Черная графиня уселась обратно в свой гроб, свесив через его борт свои худые ноги. Ее мертвецки-бледное лицо особенно выделялось на общем мрачном фоне траурной залы графского дворца:

— Уговор дороже денег... — совершенно бесчувственно попрощалась со всеми старуха. — Будьте счастливы, деточки... Живите дружно и не поминайте меня, старую, лихом...

С последними словами она легла в гроб, скрестила на груди руки и закрыла глаза.

— Что она делает? — недоумевал муж.

— Она умирает... — холодно отвечала ему сиделка. — Выполняет свою часть условий нашего договора.

— Какого еще договора?

— В бокале был яд. В зависимости от твоего решения его должен был выпить или ты, или она... Ты принял свое правильное решение, она — свое... В итоге я получила свободу и состояние...

— А поподробней?!

— Докладываю подробней...

— Мы заключили с графиней пари... — Сохраняя спартанское спокойствие, она раскрыла ему некоторые подробности только что случившегося дела. — Мы искали самого порядочного из ее наследников, чтобы ему передать все старухины богатства, исчисляемое восемью нулями...

— Именно поэтому она так часто и выходила замуж?

— Да... И именно поэтому так часто становилась вдовой... «Черной вдовой»...

— Так я не понял, это вы такие проверки устраивали для каждого из ее покойных мужей? — начал что-то понимать уже во второй раз за один день ставший вдовцом богатый наследник. — Это вы их сами травили?

— У нас был уговор. Если так называемый «вдовец» выполняет мои условия и заботится о сироте казанской, то я побеждаю, обретаю свободу, а графиня сама накладывает на себя руки. Если они оказываются жадными жирными котами, то она вылезает из своего гроба и сама их отправляет вместо себя на тот свет... Так что этот бокал с ядом предназначался или для тебя, или для нее...

— Жестко...

— Жестоко... — поправила его бывшая сиделка. — Но такова жизнь...

— Это не жизнь, это — уголовное дело... — поправил ее бывший учитель.

— Наша графиня еще долго продержалась...

— И вы все это время занимались этой панихидой?

— Да, но теперь от нее одни лишь графские развалины остались...

— Суровая женщина... Такой в темном переулке лучше не попадаться...

— Да. Стальные нервы, железный характер, гранитное сердце... Она держалась так долго потому, что ей всегда почему-то попадались непорядочные мужья... У меня даже

сложилось впечатление, что это она специально подбирает себе подонков, чтобы меня подольше при себе удерживать. С тобой вот у нее вышел прокол... Нарвалась на первого порядочного...

Он представил себе картину смерти своего предшественника. Вдовец номер шесть радостно приплясывает возле гроба своей почившей графини, затем прогоняет с глаз долой надоедливую сиделку, потом поднимает поминальный бокал вина с ядом и замертво падает, сраженный сердечным приступом. Торжествующая графиня вылезает из своего гробика, и они обе выписывают неудачнику свидетельство о его несостоявшемся богатстве. Он так же представил и то, как обе злоумышленницы затаскивают его труп в гроб и отправляются в катафалке в крематорий.

— Проклятие! — Тряханула его смертельная дрожь. — На его месте мог бы быть и я... Ничего себе шуточки! Я прошелся по лезвию над самую пропасть...

— Правда круто? — словно прочитав на его лице все эти страхи, спросила сиделка. — Ты переживаешь сейчас такой впрыск адреналина, которого еще не доводилось испытывать!

— Я просто в шоке от всего услышанного... Как вы вообще на такое решились пойти?

— Жизнь заставила. Она все время была озабочена тем, что не знает, кому оставить свои богатства... Кощей Бессмертный в юбке...

— На мне ее поиски остановились...

— Ты думаешь, что вы случайно познакомились с этой лжеграфиней? — поделилась с ним своими сокровенными женскими секретами сиделка. — На твоём месте должен был быть другой, кого выбрала эта «веселая вдова»... Но я помешала ей и приложила все старания, чтобы выбор ее светлости пал именно на тебя... Мне надоело видеть, как она отправляет на тот свет несчастных глупцов. Я решила покончить с графиней, подсунув ей порядочного человека...

У порядочного человека от всего пережитого закружилась голова и почему-то резко захотелось спать. Он протяжно зевнул и всем телом обрушился на пол.

Когда он очнулся и открыл глаза от глубокого и затяжного сна, то оказалось, что он лежит в домашнем лазарете под капельницей, а возле него сидит все та же заботливая сиделка:

— Мне пришлось сказать всем, что вам стало плохо и вы были срочно госпитализированы... — поспешила успокоить его она. — Я, если вы помните, дипломированный врач... Мне поверили, потому что мне можно доверять...

— А где жена?

— Ее уже кремировали. Мы не стали дожидаться пока вы очнетесь...

— А что со мной на самом деле было?

— Ничего особенного. Я вам в бокал добавила немного снотворного, чтобы вы могли избежать неприятных минут прощания со старухой в крематории...

— Ой, как голова болит...

— Это вы ею ударились, когда отклофелинились...

— А зачем это я так наклофелинился?

— По предписанию вашего лечащего врача...

— Жестокие вы здесь у себя, однако, ведете игры...

— Я бы вам вообще посоветовала разрушить этот дворец как памятник ее помпезного земного тщеславия и на его руинах высадить какой-нибудь дикий экзотический сад...

Он на секунду прикрыл глаза и во всех красках представил себе дымящиеся графские развалины и блуждающий в том густом дыму мятежный дух новой Пиковой Дамы:

— Ты ее ненавидела?

— У меня было жгучие желание пойти и прибить ей на лоб игральную карту пиковой дамы... — чистосердечно призналась доведенная до полного отчаяния бывшая графская сиделка. — Все тираны мира всегда кончают таким смертным приговором.

— Вот гадина! — в сердцах воскликнула старая графиня, прослушивая их откровенную беседу по монитору в комнате охраны своего особняка. — Какую змеюку я пригрела у себя на груди... И этим злом она мне платит за мою доброту... Если бы я не заменила ее яд на простую глюкозу, то сейчас была бы полной душой! — с облегчением подумала она про себя. — Значит, так, мальчики... — обратилась она к своим телохранителям (громилам-гориллам, взятых ею из лихих девяностых). — Эту с... медицинскую в асфальт закатать, а этого праведника ко мне сюда для душевспасительной беседы доставить...

Громилы кинулись было исполнять ее приказ, но на входе в лазарет были повязаны успевшей подоспеть к месту нашей трагикомической истории полицией. В комнату, где сидела в ожидании развязки прожженная в коварстве графиня, торжественно вошел главный следователь местной прокуратуры и предъявил ей железобетонные обвинения. Дама Пик потеряла дар речи, ибо была на двести процентов уверена, что полностью контролирует ситуацию и что на этот раз ей вновь удастся сухой выйти из воды роковых приключений. Но воды этих самых роковых приключений на этот раз засосали ее черную душу в самый темный омут безнадёги. Она сама угодила в ею самой же расставленные сети.

«Проклятие...» — только и смогла подумать она, уводимая нарядом полиции в тюремную машину, которая была все-таки намного удобнее того катафалка, который был арендован ею в похоронной компании на тот самый мрачный день в ее жизни.

Появившиеся на ее запястьях стальные браслеты оказались для нее смертным приговором. Пиковая Дама поняла, что будущее ее ничем хорошим не светит. Полнейшая апатия сковала ее сердце, и она впервые захотела по-настоящему умереть, навсегда забыться и видеть сны...

Особенно близким Шекспир оказался в тот день и для ее бывшей сиделки. Когда эту дамочку повели под ее белые ручки, она поняла высокий трагедизм потаенных мотивов Отелло, так страстно желавшего придушить своего близкого человека. Только она все никак не могла решить, кого ей хочется придушить первым — старуху или ее мужа.

— Операция завершена! — Помогая освободиться от капельницы незадачливому мужу и несостоявшемуся вдовцу, изрек прокурорский работник. — Мошеницы разоблачены! Обоих твоих дамочек повязали. Обвинение предъявлено, дело можно считать раскрытым... Поздравляю...

— И тебе тоже не хворать... — поднимаясь с койки, приветствовал его потерпевший, все еще находясь в стрессовом состоянии. — А я уже думал, что все, хана, не успеете...

— Такой пир духа мы никак не могли пропустить! — торжествовал сыщик. — Я теперь этот день буду каждый год отмечать как дату возвращенной справедливости и торжества законного возмездия...

— И я тоже...

— Эти курицы наболтали на диктофон на два пожизненных срока! — радостно потирая руки, объявил следователь. — Теперь у нас есть все, чтобы засадить их в тюрьму... Два года я гонялся за этой ведьмой! Два года она водила нас всех за нос! Но теперь все! Конец черной графини! Теперь можешь, брат, спать спокойно, — по-братски обнял он дважды не состоявшегося в тот день вдовца, — эта вампириша к тебе больше на помеле не прилетит...

— Надеюсь, что так оно и будет... — перекрестился бывший учитель.

- На Бога надейся, а мне доверяй! — переделал на свой лад известную поговорку счастливый до ушей сыщик.
- Тут, оказывается, была самая настоящая детективная история...
- Дамочки решили поиграть в крутых парней...
- И надо признаться, им это вполне удалось сделать...
- Что будешь делать теперь со своими миллионами?
- У меня есть два обязательства... — отвечал новоиспеченный миллионер. — Построить клинику и разрушить этот дворец... Дал слово — держи...
- Ну-ну... Твоя денюга, тебе теперь и решать...
- Токсичные бабки особенно тошнотворно воняют.
- Знаю я тебя, альтруиста! Пойдем поскорее в кабак, пока ты не раздал всем нищим свои миллионы...
- Мне действительно сейчас не мешало бы чего-нибудь выпить покрепче... — попросил его об особой микстуре освобожденный из-под дамского ига мужчина.
- Если угощаешь (а ты мне все-таки кое-что должен!), то я согласен. — Дружественно похлопал его по плечу государев человек.
- Давай и в самом деле куда-нибудь пойдём, а то я не доверяю винному погребу этого графского замка, — предложил тот ему пройти в ближайший кабак. — Здесь яд может найтись за каждым углом... Пока ваши криминалисты будут все тут «разминировать», устроим импровизированный мальчишник... У нас есть с тобой серьезный повод на две-три ближайшие недели чопорно и вальяжно по-английски забухать...

---

---

Игорь КУБЕРСКИЙ

## БУДНИ ЛОКАСА

### Рассказы

Локас — это литературный герой, собирательный образ, которому я передуверяю разные занятные случаи из жизни. О его «приключениях» можно прочесть в моей книге «Игры с ветром». Но жизнь пополняется.

#### «ТЕМНАЯ НОЧЬ, ТОЛЬКО ПУЛИ СВИСТЯТ ПО СТЕПИ...»

Вчера, уже улегшись, приняв валерианки и боярышника и с полчаса послушно полежав, Локас понял, что все равно не уснет, как не засыпал уже месяц, — включил телевизор, канал «Культура» (а что еще там можно смотреть), и пошла передача — песни Великой Отечественной войны, кадры из кинохроники и фильмов тех лет. Глаза у Локаса тут же защипало, и полились слезы — молчаливые, беззвучные слезы, которые он даже не пытался остановить. У каждого есть его ахиллесова пята — уязвимая точка в душе, открытость чему-то, беззащитность перед чем-то, что сильнее нас. Да, это были военные песни и фильмы с теми давно умершими актерами, кумирами тех лет. Локас слушал и плакал, как в детстве. Он вспоминал отца и мать, прошедших через эту войну и устроивших после нее (пусть ненадолго) праздник жизни, за которым Локас наблюдал через дверную щель в гостиную, полную взрослой радости, вкусного дыма папирос, — кто-то пел, аккомпанируя себе на пианино, кто-то, проигравший в карты, лез под стол или кукарекал, заливиный женский смех... потом дверь открывалась, и мама, от которой нежно пахло духами, делала удивленное лицо — как, он еще не спит? — а после нее появлялся папа со стаканом в руке, на четверть полным каким-то напитком, и шепотом, с оглядкой, спрашивал: «Хочешь пива?»

А еще много чего вспоминал он, родившийся в мае сорок второго и переживший вместе со страной еще целых три года войны. Он осознал себя чуть ли не с шести месяцев, видно, еще в утробе раненный разговорами о войне, этим ежедневным пугающим левитановским «От Советского Информбюро» и не желавший появляться на свет, упершийся внутри так, что, по словам мамы, его пришлось вытаскивать силком. И еще он помнил вспышку ослепительного счастья, когда однажды, в конце августа сорок третьего после битвы на Курской дуге (это потом он узнал про битву), в Куйбышев, где они жили в эвакуации, приехал на несколько отпускных дней отец. Открывается наружная дверь, возглас матери и знакомый сипловатый смешок отца... Откуда знакомый? А вот оттуда... Знакомый и бесконечно родной.

---

Игорь Юрьевич Куберский — писатель, поэт, переводчик. Родился в 1942 году. Окончил филологический факультет ЛГУ в 1970 году. Член Союза писателей СССР с 1981 года. Ныне — член Союза писателей СПб. Автор 12 книг прозы и сборника стихотворений. Переводил Джона Донна, Томаса Хаксли, Уолта Уитмена, Генри Миллера, Роджера Желязны, Арчибальда Крона, Джона Ирвинга и других прозаиков и поэтов. Лауреат международной литературной премии им. Н. В. Гоголя (2017), премий журнала «Звезда» (1993, 2011, 2016). Номинант литературных премий «Русский Букер-1996» (лонг-лист), «Ясная Поляна-2012». Автор изданий для детей. Живет в Санкт-Петербурге.

Ах, какие это были песни — может быть, первый и последний раз в новейшей истории наш народ перестал тогда быть рабом. Развернулся во всю свою неумность, стал хозяином положения, поверил в себя, в свои силы и победил. Именно он — его простые люди, не военачальники, не генералиссимус, а он, народ. Каждый тогда стал свободным. Потому и песни такие.

А после войны все вернулось: тюрьмы, расстрелы, гнет, кампании насилия, одна безумней другой... И разоблачение культа Сталина мало что изменило.

Полвторого передача кончилась, слезы вылились, Локас повернулся на правый бок и впервые за месяц уснул.

Ему ничего не снилось.

### КЕПКА

Однажды, а точнее, за два года до развала СССР Локас сидел в старинном кафе Барселоны и наблюдал, как между столиками с посетителями ходит пожилая испанка и что-то им предлагает. Подошла она и к столику, где со своей испанской подругой сидел Локас. Оказалось, что женщина предлагала купить у нее старинный семейный альбом с фотографиями.

— Давай купим! — влюбленный во все испанское загорелся Локас.

— Что ты! — сказала ему по-английски его испанская подруга. — Альбом — это ее хлеб. Просто дай ей сто песет, если не жалко.

Локасу было не жалко.

Когда женщин отошла, испанская подруга объяснила недогадливому Локасу, что именно в такой завуалированной форме гордые испанцы просят милостыню.

О том случае Локас вспомнил буквально на днях, когда по причине снегопада решил добираться на службу не на своей старушке «хонде», а в метро. В метро он заодно и назначил встречу со своим знакомым, которому обещал вернуть небольшой долг. В должниках Локас ходить не любил.

Но сначала о кепке. Все мужики его поколения ходят в кепках одинакового фасона, с опускающимися на случай мороза и ветра ушами — разница только в отсутствии-наличии пуговицы сверху да в козырьке — бывают и кожаные... Некоторые мужики носят еще «жириновки» — они дороже и теплее, но из-за одного названия Локас никогда бы не стал надевать такое на голову. Правда, и кепка напрочь привязалась к одной известной персоне по имени Лужков, но «лужковкой» ее никто не называет — по крайней мере, Локас никогда такого не слышал. Помимо кепки, в руках у Локаса маленькая кожаная сумка с документами, типа барсетки, и перчатки. Но если сумку и перчатки Локас обычно контролирует, то кепку — нет. И если, скажем, в метро он встает со своего места и наступает на что-то мягкое, то в девяносто девяти случаях из ста — этот его собственный головной убор.

А тут как-то поставил Локас машину, заученным движением взяв с соседнего сиденья кепку и барсетку, дошел до парадной своего дома и приставил кодовый ключ к замку... Металлическая дверь открылась, но затем не захотела закрываться. «Опять бомжи сломали!» — с тоской и злостью подумал Локас, которому надоело по пути на свой этаж боком обходить на лестничной площадке известные лужи. Он попробовал надавить на механизм, затягивающий дверь, — ноль результата. Локас глянул вниз и увидел, что под дверь что-то подложено. Так бомжи и делают, чтобы она не закрывалась. Но это было не что-то — это была кепка Локаса, которой уже крепко досталось: была она перепачкана и помята...

А теперь эта последняя история. Спустился, значит, Локас в метро, доехал до остановки «Гостинный двор» и встал в условленном месте, где к нему должен был подойти

его приятель. Встал он, а по причине ночного недосыпа закемарил. Известно, что лошади прекрасно спят на ногах. Иногда и у Локаса получается. Отключишься на три минуты, и вроде как свежесть возвращается. И так, стоя вздремнул Локас, а когда открыл глаза, сразу почувствовал, что что-то не так. Барсетка в правой руке при нем, а кепка, которую он обычно придерживает указательным пальцем, исчезла. Глянул Локас под ноги — кепка его там лежит. А в кепке что-то. Поднял Локас кепку, а в ней деньги: две десятирублевых бумажки, монета того же номинала и еще три рубля. Криво усмехнулся Локас — видать, приняли его за попрошайку, — оглянулся, кому бы деньги отдать, да попрошаек, кроме него, в метро не оказалось. Делать нечего — положил Локас деньги в кошелек, и пока ждал он приятеля, мысли сами собой начали скакать в его голове, производя подсчеты. Тэкс... За три минуты тридцать три рубля. За час... умножаем на двадцать — шестьсот шестьдесят рублей. За два часа (больше не простоять) одна тысяча триста двадцать рублей. За месяц без малого сорок тыщ... Это ж надо ж! Столько он теперь получает на работе (раньше больше) плюс пенсия десять тысяч. Не жизнь, а малина!

А тут и приятель подошел.

Хотел Локас рассказать ему, что приключилось, да передумал... Вдруг и вправду пригодится.

### ОПЕРАЦИЯ «Ы»

Случилась эта история год назад, как раз под Рождество. А все из-за того, что у Локаса стали болеть глаза — даже не от ноутбука, а от телевизора. Просто болят, и все, а на компе далеко не все нужные телепрограммы можно отследить. Пошел он в поликлинику к врачу-офтальмологу — пожаловался на глаза: так, мол, и так, может-де, пора очки сменить или лекарство какое прокатать. Врач, измерив ему глазное давление, пообещала помочь, для чего назначила день и час следующего прихода.

Вот приходит к ней Локас в назначенное время, и врач смотрит на него уже как на своего закадычного пациента и даже вроде как подмигивает ему.

— Вы меня узнаете? — на всякий случай спрашивает Локас, не привыкший к фривольностям в отношениях врач — больной...

— А то! — как своему улыбается врач и подмигивает правым глазом на дверь в соседнюю комнату. — Давайте пройдемте туда — там нам будет удобнее...

Слегка озадаченный Локас следует за врачом-офтальмологом в соседнюю комнату, там врач усаживает его в специальное кресло и говорит, доверительно склонившись к его уху:

— Знаете что? В кассу вам платить не обязательно. Лучше заплатите мне лично половину, и все. Зачем вам лишние деньги тратить. Договорились?

— Договорились, — соглашается Локас, хотя он ничего не имел против того, чтобы заплатить и по-чесноку — в кассу. Но если женщина просит... Как в той песне в исполнении Нани Брегвадзе.

Вот сидит он в кресле, врач позвякивает за его спиной инструментами, и Локас прикидывает, что, наверное, зрение ему восстановят каким-то новым методом. Обычно на тебя надевают обруч с набором линз, и ты называешь буквы на противоположной стене... Короче, ему делают в лицо обезболивающий укол — сам по себе довольно болезненный — и просят закрыть глаза. Локас по-прежнему слегка недоумевает, но слушается — ведь продвинутая медицина знает свое дело. Видимо, так сегодня сбра-



сывают внутриглазное давление... И тут он чувствует с закрытыми глазами под своим левым нижним веком резь и запах жженой кожи. И следом — такую же резь под другим веком. Ничего, он потерпит.

— Вот и все! — слышит он над собой, — можете открыть глаза. С вас...

И далее озвучивается довольно приличная сумма. Но если эта половина той, которую Локас должен был бы заплатить в кассу, то тогда, конечно, игра стоит свеч. Хотя новые очки обошлись бы гораздо дешевле, а подбор в центрах оптики сегодня вообще предлагают бесплатно. Но, скорее всего, очки ему больше не понадобятся.

Расплатился Локас, поехал домой, показал жене свои надрезы, которые изрядно саднили. А она говорит: да это тебе просто мешки под глазами удалили. Блефаропластика называется. Я вот тоже собираюсь...

Выругался Локас, а на следующий день проснулся с огромными синяками под глазами, от чего пришлось ему надеть темные противосолнечные очки... Зрение, разумеется, не улучшилось, а мешки, которые ему ликвидировали, вернулись на место спустя некоторое время.

Поначалу Локас корил себя за дурость и медицинское невежество и даже стал почитать статьи на медицинские темы, а когда прочел, как одному пациенту не ту ногу отрезали, а другому здоровый зуб вырвали, а в теле третьего оставили после операции хирургические ножницы, то и успокоился. Ему, можно сказать, повезло. А повезло ли тому пациенту, за которого его по ошибке приняли, он не знает.

### **УНИЖЕНИЕ ВЫСОТОЙ, ИЛИ ПЯТЬ МИНУТ БЕЗ ПОЛИТИКИ**

Одна знакомая Локаса прислала ему под Новый год целую коллекцию фоток под заголовком «Crazy people do crazy things», а на фотках всякие сумасбродства тех, кому захотелось самоутвердиться перед высотой. Ну, типа, стойка на руках над бездной или даже застолье над ней же, где все, включая стол, подвешены на вбитых в скалу крюках... Нормальному человеку такое не под силу. Тут и вправду нужно быть crazy.

В присутствии высоты есть что-то унижительное и даже унижающее. Как, скажем, и в присутствии высокого начальства. Впрочем, перед высоким начальством обычно корректный и вежливый Локас слегка наглел. Он понимал, что это комплекс наоборот, то есть робость, вывернутая наизнанку. Но ничего не мог с собой поделать — наглел, и все тут, и даже мог грубо ответить. Конечно, не типа — «спасибо, Вова!», но где-то близко. Поэтому карьеры в свои лучшие годы Локас не сделал, а в те, что стали хуже, он уже ни от кого не зависел, кроме как от своего рыжего кота, требовавшего ласки и норовившего улечься на клавиатуру, когда Локас корпел над очередным переводом.

Первое свое унижение высотой Локас испытал, когда ему было четыре года. Дело было в Нахабино под Москвой, где его вернувшийся с войны отец командовал воинской частью. Там, помимо огороженной части, были еще какие-то пустые вышки, без часовых. Вышки как вышки — с лестницей и грибком будки наверху. Возле них окрестная детвора играла и развлекалась, в том числе маленький Локас. Самые ловкие и смелые карабкались по лестнице наверх и потом звали с вышки к себе. С земли они казались очень маленькими.

Локас сам не понимает, как это получилось, что он вдруг взял и полез. Он поднялся на несколько ступенек и глянул вниз. Внизу, далеко под ним, была зеленая трава, а на траве стояли дети, задрав вверх головы. Дети смотрели на него снизу, а другие дети смотрели на него сверху, и в этот момент Локаса охватил страх. Страх до оцепенения.

Руки и ноги свело судорогой — Локас не мог двинуться ни вверх, ни вниз. Наверное, он закричал от страха и заплакал, но этого Локас не помнит. Он только помнит, что спустя несколько мгновений рядом с ним на лестнице оказался взрослый мальчик и, сопя Локасу в ухо, помог спуститься. Локас до сих пор помнит это спасительное посапывание возле себя, а еще — свое унижение.

Этот урок, видимо, не прошел для Локаса даром, потому что в возрасте от семи до одиннадцати лет, когда он проводил лето в Майори под Ригой, где его родные снимали дачу, он бесстрашно облазил все деревья, что росли окрест. Помимо девчонок, там было пять соседских мальчишек, и он лазил по деревьям лучше всех. Он становился чуть ли не друидом — ничто в природе не было ему тогда ближе и роднее деревьев. Они были его друзьями, и, забравшись почти на самую верхушку очередного клена, Локас воображал, сидя среди шевелящихся листьев, что здесь его настоящий дом.

Помимо кленов, у него была своя любимая липа, среди ветвей которой легко укладывались поперечные дощечки, превращая это место в некий штаб, ну, как в ошеломительном кинофильме той поры под названием «Тимур и его команда»... Потом Локас вырос и перестал лазить по деревьям, а когда попытался, то не очень-то у него и получилось.

Во второй раз высота унизила Локаса, когда ему было уже за тридцать. Его как выпускника военной кафедры университета вместе с другими такими же чайниками-выпускниками отправили на военные сборы на Северный Кавказ и там, поскольку со знанием английского языка он считался офицером разведки, сбросили с самолета. На парашюте, разумеется. Так вот, пока он падал без парашюта, то еще раз испытал то самое знакомое по детству чувство страха и абсолютной беспомощности, словно из него вынули все внутренности. Один холод пустоты. А потом, когда его сильно трянуло и дернуло и он увидел над собой упругий купол парашюта, страх перешел в ощущение абсолютной эйфории. Вернулось и чувство юмора. Какие же из англоязычных народов Кавказа ждали его внизу? — подумал он тогда. Больше прыгать с парашютом ему не довелось.

И еще лишь однажды в его жизнь вмешалась высота. Дело было в Москве, где Локас встретил и полюбил одну прекрасную молодую женщину. Локас хотел жениться на ней, тем более что они уже жили какое-то время как муж и жена. Но потом эта женщина сказала ему «нет» — потому что к ней вернулся мужчина, которого она любила до Локаса и, видимо, продолжала любить. В тот вечер решающего объяснения Локас выпил больше положенного, и когда его проводили до двери и замок защелкнулся, он не смог этого вынести и принялся звонить. Но ему не открыли. Тогда он вылез в окно на лестничной площадке, чтобы оттуда перебраться к ней на балкон, хотя это было невозможно, поскольку балкон был выше на целый лестничный пролет и далеко от окна. Но Локас был сильно пьян и был уверен, что, сняв с кожаного пальто ремень и закинув конец на балкон, он зацепится за перила и сможет на этом ремне подтянуться...

И вот когда Локас почти целиком вылез из окна и распластался вдоль стены в направлении балкона, он ненароком глянул вниз с высоты шестого этажа сталинского дома и увидел далеко под собой лужу на асфальте в форме глаза, поскольку несколько осенних листьев образовали в этой луже подобие зрачка. И в этот же момент Локас услышал голос внутри себя, сказавший ему: еще одно движение, и ты погибнешь. И Локас, хоть и был пьян и на высоту ему было плевать, голосу этому поверил — не без усилия подтянулся обратно к окну и слез на лестничную площадку. В ту ночь он ушел, еще надеясь, что вернется, что его позовут. Но его не позвали.

И миг, когда ангел-хранитель предупредил его о смерти, Локас потом переживал еще много раз и каждый раз удивлялся тому, что остался жив и вот живет до сих пор.

То было, конечно, унижение, но не высотой. Но кто из нас хоть однажды не был в жизни унижен — хоть приказом начальства, хоть диким зверем, хоть стихией моря, хоть отечеством, хоть собственной глупостью, хоть той же любовью...

### ИРОНИЯ СУДЬБЫ

В кинотеатры Локас не ходит, а отечественному кино предпочитает импортное. Но тут показывали «Иронию судьбы, или с Легким паром», и вспомнилось Локасу, как он впервые смотрел этот фильм где-то в 1976 году, сидя перед телевизором рядом со своей законной супругой, в то время как сердце его разрывалось от боли, потому что он имел неосторожность полюбить другую женщину, молодую, умную, красивую, и когда та попросила его сделать выбор, он сделал выбор в пользу семьи, где у него, помимо жены, был уже шестилетний сынишка. И вот он сидел и смотрел фильм о внезапности любви, любви как удар, — о том, что любовь всегда права... Нравственный выбор в пользу своего семейного очага ничуть не умалил его терзаний, не облегчил его тяжкой ноши, о чем он никому не мог сказать...

Ту свою первую семью Локас все равно не удержал, не сохранил он и вторую свою семью, созданную под знаком любви. Все это вновь вспомнилось Локасу, когда в первый день 2013 года он смотрел тот самый старейший, но неустаревший фильм...

Потом Локас задумался, а не было ли в его жизни чего-нибудь эдакого, какой-нибудь новогодней нескладухи. И надо же — вспомнил! Было это давно, и как раз под Новый год, и как раз в той первой его семье, еще до фильма Рязанова, в году 75-м, когда сынишке было еще пять лет и Локас переодевался в Деда Мороза, с мешком подарков потихому выходил за дверь, потом звонил — жена с сыном ему открывали, и счастливый сынишка его не узнавал...

И вот в тот вечер накануне, еще до переодевания, Локас услышал, что в дверь квартиры кто-то скребется, вроде как пытается вставить ключ в замок. Локас открыл дверь и увидел довольно крупного мужчину в добротном заснеженном пальто и шапке — как раз была новогодняя метель. Мужчина был, что называется, вусмерть пьян, но все же в его глазах при виде Локаса прочлось удивление. Он попытался войти, но Локас, разумеется, его не пустил, вытолкнул за дверь и захлопнул ее. Однако в ответ тут же раздался звонок, а следом — ковыряние ключом в замке. Локас снова вышел и оттолкнул мужчину от двери. Мужчина был погабаритней его, но на ногах держался нетвердо.

— Послушай, вали отсюда, пока я тебя с лестницы не спустил! — сурово сказал Локас. Он еще раз для убедительности оттолкнул пришельца подальше и захлопнул за собой дверь.

Но ситуация повторилась.

— Если не уйдешь, я милицию вызову! — сказал Локас, встав в дверях, как скала.

Но на незваного гостя эти слова не произвели никакого впечатления — он ломился в квартиру, и на пьяном его лице читалось сознание собственной правоты. Тогда Локас, который в студенчестве занимался самбо и даже имел третий разряд, схватил его за грудки и сделал переднюю подсечку. Мужчина упал.

— Вали отсюда, пока жив! — рявкнул Локас, почувствовав, однако, легкий укол совести. Драться с пьяным...

Больше мужчина его не беспокоил, но когда спустя несколько минут Локас открыл дверь, дабы убедиться, что проблема миновала, оказалось, что мужчина и не думал никуда валить. Он сидел, прислонившись спиной к стене, и покачивал головой слева направо, словно обдумывая свое положение.

И тут Локаса осенило.

— Прости, друг, — сказал он, — ты, видно, ошибся парадной. Какой у тебя номер квартиры, помнишь?

Мужчина снизу смотрел на Локаса, силясь осознать сказанное, а затем, елозя ногами и опираясь рукой о стену, стал с трудом подниматься.

Локас решил, что предстоит еще один сеанс борьбы, но вместо этого услышал нетвердо произнесенное: «Семьдесят семь».

— Ну вот! — засмеялся Локас. — Так я и знал! Смотри! А здесь — сто тридцать один. Понял? Ты подъездом ошибся. Пойдем, я тебя провожу...

Так Локас и поступил.

Оказалось, такой же этаж, такая же, слева от лифта, квартира. Только подъезд другой.

Потом, спустя годы, когда Локас уже не жил в том доме, он стал думать, что тот визит чужака был первым звончком судьбы... Потому что потом в квартиру, где он бросил жену и сына, пришел другой человек. Пришел и остался. Как раз тогда, когда Локас решил вернуться.

Ирония судьбы...

## ШОПИНГ

Случилось так, что у Локаса вдруг оказались лишние десять штук рублей — лишние в том смысле, что можно было потратить их не на семью, а на себя. И он тут же решил купить себе плащ, тем более что старый износился. Наутро Локас помчался по магазинам одежды и был очень удивлен, что плащей нет. То есть были в начале сентября, да сплыли, и то немного, — объясняли ему продавщицы.

— Как так? — вопрошал Локас. — Осенний сезон только начался.

— Нет, — отвечали ему продавщицы, — теперь уже продают одежду на зимний сезон. А на осенний надо было покупать весной.

Странно, размышлял Локас, перебегая из магазина в магазин: есть спрос, а предложения нет. Как-то это не по-рыночному.

Ноги и слухи плюс метро донесли его до огромного торгового комплекса под названием «Галерея», что у питерского Московского вокзала, — Локас еще помнит огромный котлован на этом месте. Но и в «Галерее» ему было сказано, что с плащами туго — разве что можно попробовать поискать в трех бутиках, хотя их там сотни... Действительно — все есть, а мужских плащей нет. И тот же ответ: было, но немного.

Кончилось тем, что в бутике под вывеской «Colins» Локас нашел то, что можно было назвать плащом, и после примерок и поисков своего размера попросил отложить, решив позвать жену, чтобы она оценила его выбор. Затем он заглянул еще в один бутик под названием «Diplomat», и там ему наконец показали настоящие плащи, фирменные и классные, с одним только недостатком — совсем не по карману.

Тут Локас вдруг так вдохновился уже отобранным плащом (всего-то за четыре с половиной штуки), что немедленно вернулся в «Colins», заплатил и вышел довольный, с большим пакетом, в котором лежала его покупка.

Дома он надел то, что считал плащом, и показался в таком виде жене.

Жена молча посмотрела, потом сказала:

— Можно я ничего не буду говорить?

— Можно, — сказал Локас. — Завтра я это сдам обратно.

— Ты всегда так, — против обещания не говорить заговорила жена, — покупаешь, а потом сдаешь обратно.

— Я хотел тебя позвать, чтобы ты приехала — посмотрела, а потом пожалел.

— Спасибо, — сказал жена.

Наутро Локас отправился в «Colins», где ему после небольших формальностей дружелюбно вернули его деньги. Освобожденный Локас еще побегал по магазинам, но, так ничего и не найдя, остановился у уличного развала на Сенной, то есть у стола, на котором лежали кошельки. Кошелек у него старый и потрепанный, и Локас решил купить новый, помня, что на развале это, как минимум, на треть дешевле.

Выбирал он долго, хотя сразу ему приглянулся только один конкретный — черный, толстокожий, с магнитным замочком, жаль, без отделений для банковских карточек, которых у Локаса целых три.

Продавщица-таджичка предлагала ему разные кошельки, в том числе и с отделениями для карточек, но Локас как положил глаз на тот черный, так все время к нему возвращался. Он даже достал из своего старого кошелька банковскую карточку и засунул ее в прорезь, которую можно было считать отделением для таких карточек. Карточка отлично вошла.

Тут ему продавщица стала предлагать другие кошельки, подороже, но чем больше Локас возился с ними, тем меньше ему хотелось покупать, так что он решил, что пока обойдется и старым. С легкой душой, оттого что не потратил на себя ни копейки, Локас отправился домой.

Дома, уже переодевшись в домашнее плюс тапочки, он вдруг похолодел и с дурным предчувствием открыл свой кошелек — так и есть: банковской карточки, той самой, по которой он получает пенсию, не было.

Что сделалось с Локасом, нетрудно себе представить, тем более что когда он вернулся на Сенную, то не нашел ни кошельков, ни таджички.

Дома на все вопросы жены он отвечал, что просто заболела голова, ночь, разумеется, не спал, а утром помчался на Сенную. И чудо! Тот же развал, тот же столик под зонтом, та же таджичка, те же кошельки, и среди них — тот же черный, с магнитным замочком.

С замиранием сердца Локас взял его и заглянул в прорезь. Карточка — его любимая родная пенсионная банковская карточка — была на месте.

На радостях он тут же купил кошелек. В тот же день на тех же самых радостях он сделал подарок и жене — купил ей хрустальную люстру, о которой она мечтала последние двадцать лет.

И, главное, сам повесил и включил.

## У ПОПА БЫЛА СОБАКА

У попа была собака,  
Он ее любил.  
Она съела кусок мяса —  
Он ее убил.  
Вырыл яму, закопал,  
Крест поставил, написал:  
У попа была собака,  
Он ее любил.  
Она съела кусок мяса —  
Он ее убил.  
Вырыл яму, закопал,  
Крест поставил, написал:  
У попа была собака,  
и т. д. и т. п.

С детства Локас в очаровании от этих бессмертных стишков. И даже не потому, что вслед за Пушкиным и Львом Толстым не любит попов, считая эту братию не имеющей никакого отношения к вере и Богу, а потому, что безвестный сочинитель, а ведь он был! — создал некий словесный перпетуум-мобиле, где ни начала, ни конца, только вечная музыка...

А тут случилось, что его собственная собака украла со стола кусок мяса, который жена вынула из холодильника для разморозки и жаркого на обед. Причем нужно отметить, что нынче средств на жизнь у Локасов маловато, и кусок говядины появляется на кухне нечасто.

Когда Локас обнаружил пропажу, его собака уже приступила к кости...

Что делать?

Жена, как назло, ушла в магазин за гарниром для жаркого, так что сеанс воспитания домашнего зверя лег на плечи Локаса. Он поорал на пристыженную собаку и даже, чтобы быть правильно понятым, разок аккуратно шлепнул ее по ляжке.

Да, собака была в шоке от стыда, прижала уши и хвост и молча ходила от Локаса по комнатам и коридору, а он ходил за ней. Тут он, кстати, и вспомнил бессмертные стишки.

Вернувшись из магазина и узнав новость, жена повторила краткий курс воспитания собаки, а затем сказала:

«Ну вот она и показала нам, что она нормальная собака».

И это умозаключение заняло нужное место в шкале семейных ценностей.

Затем жена приготовила гарнир на обед, и за мыслями о своей любимой собаке они не заметили отсутствие жаркого на столе.

### ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Примерно в полдень раздался телефонный звонок, и мужской голос, назвав Локаса по имени и отчеству, осведомился, с Локасом ли он говорит.

Локас подтвердил, что да, с ним.

— Это вам звонят из криминальной полиции, — сказал голос.

— Господи, что еще? — сказал Локас, мгновенно перебрав в уме все свои провинности и не найдя за собой ни одной криминальной.

— Вы, пожалуйста, сядьте, — сказал голос, снова назвав Локаса по имени и отчеству.

— Что случилось? — сказал Локас, машинально опускаясь в свое рабочее кресло.

— Вы давно видели свою жену? — спросил голос.

— Утром, — сказал Локас. — В девять часов...

— Она ушла на работу? — спросил голос.

— Да, — сказал Локас.

— Так вот, — сказал голос, — с вашей женой случилось несчастье. Вы слушаете?

— Да, — сказал Локас, хотя все перед ним потемнело и он стал проваливаться куда-то.

— Ваша жена шла на работу и сделала замечание молодому человеку, который оскорбил пожилую супружескую пару. Она сделала замечание, и он ее ударил. Он разбил ей челюсть. Защищаясь, она оттолкнула его, и он упал...

— Это похоже на нее? — продолжал голос.

Она жива, возвращаясь из инобытия, понял Локас,

— Да, — сказал он, зная за своей женой тягу к порядку и справедливости.

— Ну так вот, — сказал голос, — молодой человек упал и ударился головой о поребрик. Он умер. Кровоизлияние в мозг. К сожалению, свидетелей этой трагедии нет. Нам не удалось найти пожилую пару. Мы верим вашей жене, что так оно и было. Сей-

час мы составляем акт о задержании и протокол произошедшего. Мы вынуждены до следствия и суда отправить ее в «Кресты», в камеру предварительного заключения. Она пока тут рядом, вы можете с ней поговорить, у вас только одна минута. Передаю трубку, — и голос назвал по имени и отчеству жену Локаса.

— Алло... — сказала жена.

— Что? Он умер? — спросил Локас.

— Да... — прошептала жена, и он так ярко представил себе ее состояние и всю ее, с разбитым лицом, потрясенную, когда уже нет слез.

— Держись, — сказал Локас, — все будет хорошо. Ты же не виновата... Все будет хорошо...

— Да, — прошептала жена.

— Алло, вы слушаете? — снова возник голос.

— Да, — сказал Локас.

— То, что нам за это время удалось выяснить, — сказал голос, — несколько меняет ситуацию. Оказалось, что молодой человек — круглый сирота. Он только недавно вышел из детского дома. Никого за ним нет. Так что есть возможность избежать уголовного преследования. Только нужно быстро действовать, пока не приехал следователь.

— Пожалуйста, помогите, — сказал Локас.

— Мы попробуем, только это будет стоить денег, — сказал голос. — Шестьдесят тысяч рублей на похороны и триста тысяч, чтобы не открывать дело. У вас есть эти деньги на счете?

— Нет, — сказал Локас, — но я попробую собрать...

И он попробовал представить, кто бы мог ему одолжить такую огромную сумму. А еще он подумал — вот она, коррупция в действии, хотя ничуть не удивился, слишком уж много было им читано-перечитано на эту тему, хотя бы в постах того же Навального, непримиримого борца-одиночки с режимом, который и Локасу, отнюдь не борцу и даже не оппозиционеру, был не совсем по нутру.

— Ну, если нет такой суммы, то сколько есть? — спросил голос.

— Нисколько, — сказал Локас, — я пенсионер.

— Ну хоть есть какие-то ценности в доме, золото? — спросил голос.

— Что-то, наверное, есть, — сказал Локас. — Спросите у жены.

— Вы муж и не знаете про драгоценности жены?

— Знаю, что есть, но не помню где и что... — сказал Локас. — Никогда не интересовался, где они лежат...

— Ну так сами спросите у жены, — сказал голос, — передаю трубку.

— Где у тебя золото? — спросил Локас, начиная чувствовать какую-то несообразность происходящего.

— В шкафу, — прошептала жена.

Наверное, она назвала шкафом секретер, подумал Локас, где действительно лежало немалое число всяких коробочек и того милого подарочного мусора, что накопился за два десятка вместе прожитых лет.

С трубкой в руке он попробовал поискать-пошарить по сусекам, все больше ощущая себя в каком-то другом измерении, в мире то ли Кафки, то ли Беккета, а голос полицейского все поторапливал его, грозя приездом следователя, после чего дело уже примет законный оборот.

— Я ничего не могу найти, — честно сказал Локас. — У нас ничего нет.

— Но хоть что-то есть? — сказал голос. — Что-то ценное?

— Есть ноутбук, — подумав, сказал Локас.

Голос недовольно хмыкнул.

— Послушайте, — сказал Локас, — зачем вам отправлять мою жену в камеру? Мы честные люди. Отпустите ее под подписку о невыезде, хоть под домашний арест. Мы

никуда не убежим, пусть будет следствие, суд... Мы явимся по первому требованию. Вам же ясно и так, что жена не виновата.

— Вы меня слушаете? — перебил его голос, снова добавив имя и отчество Локаса.

— Да, конечно, — сказал Локас.

— С вами говорит телефонный мошенник. С вашей женой все в порядке. Позвоните ей и убедитесь.

— Как? — сказал Локас, едва ли осознавая эти слова, как будто чтобы вынырнуть из таких глубин, требовалось подниматься потихоньку, удерживая в теле живую жизнь, и добавил вовсе жалкое: — А как же ее голос?

Ведь он совершенно ясно видел перед собой свою жену, слышал ее, подавленную трагедией.

— Это запросто, — сказал голос и изобразил шепот его жены.

— Ну, вы профи! — сказал Локас с восхищением. — Вы хоть понимаете, что чуть до инфаркта меня не довели?

Да, Локас изобразил восхищение. Иначе ему пришлось бы признать, что он полный, круглый и всестатейный лох.

Впрочем, поднимался он к поверхности, где воздух и солнце и можно дышать и жить еще какое-то время. Потому что телефон жены не отвечал: она забыла включить его с утра.

## ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ

Сегодня, когда Локас стоял в нижнем вестибюле метро у банкомата, чтобы снять последнюю до зарплаты заначку, возле него остановились два юных высоких и стройных курсантика в черных шинелях с шевронами Морского колледжа имени адмирала Макарова. Один из них, приценившись, подошел к Локасу и сказал:

— У вас не найдется двадцати рублей? Нам с другом очень пить хочется, прямо горло пересохло.

Держался он простежки, никаких там стеснений и комплексов, не то что Локас в юности, и, глядя на его чистое мальчишеское лицо, Локас не задумываясь полез в карман за кошельком и вынул оттуда две требуемые монеты.

— Отлично, спасибо! — кивнул курсантик и деловито повернулся к своему товарищу: — А теперь ты давай!

И тот пошел навстречу спускающимся с эскалатора.

Курсантик остался рядом с Локасом и пояснил:

— Пятьдесят рублей будет просить.

— Ну, пятьдесят — это многовато, — сказал Локас. — Могут не дать.

— Ему всегда дают. Он это умеет... — Курсантик сделал несчастное лицо, опустил плечи и проныл: — Пожалуйста, дайте нам... Ну пожалуйста...

Тут вернулся его товарищ с пятидесятирублевой бумажкой в руке и мотнул головой:

— Пошли!

— До свидания, — сказал Локасу курсантик.

— Пока, — кивнул Локас и, с умилением глядя в спину удаляющимся, подумал: «Будущее гражданского флота России в надежных руках».



---

---

Михаил ПЕРШИН

## ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА

### Рассказ

Герман Викторович Колымака никогда не говорил: «Россия — чемпион мира». Он предпочитал пользоваться формулой «обладатель кубка мира». И то же самое с Европой. Потому что, например, «„Спартак“ — чемпион» — это логично. А тут — что, вся страна играла, что ли?

Когда мы победили «на Европе», всеми овладело... Даже трудно сказать что. Главное — уже перед чемпионатом мы всё знали. Но в глубине души таился червячок: «Сколько раз бывало, что мы вот-вот, на пороге, и — мимо. Вдруг и на этот раз так же?» И когда наконец победили, все надежды, скопившиеся за десятилетия неудач или в лучшем случае полуудач, вылились в ощущение счастья и одновременно — чувства нереальности этого счастья. В душе Германа Викторовича, даром что он был профессионалом, творилось то же, что у самого рядового болельщика. Его молодые коллеги писали статьи, полные энтузиазма, и захлебывались восторгом в теле- и радиорепортажах, но он-то, старый волк спортивной журналистики, знал, что и они живут, как в счастливом сне, и все время опасаются, что наступит пробуждение.

Потом «на мире», было уже поспокойней, но все же... И вот мы — обладатели двух самых дорогих кубков! В стране царил настоящая эйфория, даже сводки уголовной и политической хроники показывали спад напряженности во всех областях жизни. А Германа Викторовича что-то томило. Может быть, возраст сказывался, когда уже ни потери так остро не воспринимаются, ни радости не вызывают такого восторга, как в юности? Но включая запись и в сотый раз наблюдая, как Скарятин обходит четверых и забивает решающий гол, он забывал обо всем. Потому что это было наслаждение чистым искусством и даже уже не играло роли, что в этот миг осуществилась давняя-давняя мечта миллионов его соотечественников (включая автора этих строк).

А потом экран гас, и он снова ощущал какое-то слабое, но неотвязное беспокойство.

Зазвонил телефон.

— Гера, тебя! — крикнула Надежда Федоровна, и Герман Викторович взял трубку.

— Герман Викторович?

— Да, слушаю вас.

— Меня зовут Антон Тармаков. Я хотел бы...

— Простите, а как по отчеству?

— Антон Семенович, извините. Я хотел бы поговорить с вами.

— Я вас слушаю.

— Нет, в смысле, не по телефону. Это такой... Ну в общем, разговор...

Что-то в этом вилянии раздражало, но человек был очень вежлив, и, не найдя повода отказать, Герман Викторович ответил, ругая себя за слабохарактерность:

---

Михаил Першин родился в 1955 году в Баку, там же окончил университет. Прозаик и драматург. Публиковался в журналах «Юность», «Огонек», «Урал» и др.

— Ну пожалуйста. Мы могли бы встретиться.  
 — Встретиться — в смысле?.. Извините, это надо дома. Вопрос очень такой, знаете...  
 Не хочу навязываться, я считал бы за честь, если бы вы могли подъехать...  
 Еще и «за честь»! Что-то тут не так. Подозрительно.  
 — А о чем разговор-то? Может, все-таки по телефону?  
 — О чем... — таинственный Тармаков понизил голос и прошептал в трубку: —  
 О Скарятине.  
 — О Дмитрие Скарятине?  
 — Да-да!  
 Герман Викторович тяжело вздохнул.  
 — Ну что ж. Я, разумеется, никуда не поеду. А вы подходите.  
 Тармаков спросил когда. Герман Викторович сказал, что по-стариковски всегда свободен, и продиктовал адрес. Договорились на семь вечера этого же дня.

Гость был пунктуален. Он оказался лет на десять моложе хозяина, тоже, в общем, не мальчик. Надежда Федоровна предложила пройти в гостиную, но Герман Викторович сразу повел его в кабинет.

После нескольких незначащих фраз Антон Семенович достал планшет и включил заранее подготовленное видео одного из лучших скарятинских «моментов» — кусочек из полуфинала последнего чемпионата, когда мы *сделали* Аргентину.

— Вы ничего не заметили? — спросил он, остановив запись в тот момент, когда мяч влетел в сетку.

— Ну... как не заметил? Блестящий момент, я его часто пересматриваю. Вы что имеете в виду? Может быть, когда Вильядо идет из-за его спины...

— Да-да, точно!

— Потрясающий эпизод! Но он уже тысячи раз обсужден в прессе и специалистами. Не стоило из-за этого...

— Извините, Герман Викторович. Я вот о чем: вы не заметили, как Скарятин посмотрел на Вильядо?

— Посмотрел?! В том-то и дело, что он не смотрел! Это как раз все и обсуждали и до сих пор обсуждают — его потрясающую интуицию. Ну как он понял, что тот приближается?

— Вот! — радостно воскликнул Антон Семенович. — А вы говорите, зачем я пришел! Смотрите...

Он снова запустил ролик и, нажав «Стоп» за мгновение до того, как Скарятин ушел от Вильядо, стал прокручивать даже не замедленно, а — по кадрам. На одном из них изумленный Герман Викторович увидел Скарятину, слегка повернувшего голову и скопившего взгляд направо. Но уже на следующем он снова смотрел прямо.

Потом они повторили этот момент просто замедленно, но даже так этот микроскопический поворот не был замечен.

— Теперь понятно, почему никто этого не увидел даже в медленном режиме? — спросил Антон Семенович.

— Простите, — недоверчиво взглянул на него Герман Викторович. — Один кадр — это... Я, конечно, ничего не хочу сказать...

— Да-да, — засмеялся гость. — Я понимаю. Фотошоп, все такое. Вставить один кадр ничего не стоит. Я сам компьютерщик. Давайте какой-нибудь другой эпизод посмотрим.

Он потянулся к планшету, но осторожный хозяин его остановил:

— Давайте на моем.

— Конечно, конечно. Только надо найти именно такие удивительные моменты, где он проявляет, как все говорят, «нечеловеческую интуицию».

Когда через несколько минут Надежда Федоровна вошла в кабинет, неся поднос с чаем, оба сидели, уткнувшись в экран монитора, и хозяин восклицал: «Не может быть!» и «Потрясающе!», а гость: «Что я вам говорил!» и «Это еще не всё!»

Много лет назад Герман Викторович Колымака был одним из тех, кому доверяли комментировать *почти важнейшие* матчи. То есть репортажи о международных полу- и просто финалах вели еще более избранные люди, но уже к четвертьфиналам и даже финалам союзного уровня его допускали. Ясно было, что через несколько лет и он войдет в число избранных.

Сломалась карьера Колымаки во время четвертьфинального матча по хоккею, когда наша команда была не в лучшей форме, а финны — в прекрасной, о чем комментатор и не преминул сообщить зрителям. Он без обиняков обсуждал ошибки наших спортсменов и восхищался удачными маневрами их соперников. Во время перерыва в комментаторскую позвонили и, предупредив, что матч смотрит лично товарищ Б., не посоветовали, а попросту приказали изменить тон и делать упор на некомпетентном судействе. Однако то ли излишне честный, то ли недостаточно умный комментатор и во втором периоде остался верен себе. В результате третий комментировал его коллега С., более чуткий к веяниям времени, а Колымаку отстранили от эфира вовсе.

Кстати, хрупкая нервная система товарища Б. не пострадала: в середине второго периода у него вдруг отключился телевизор, как оказалось, по причине поломки антенны, и ему пришлось дослушать репортаж по радио. Немалую роль в этом сыграл эстрадный пародист П., срочно вызванный в Кремль и голосом Колымаки поведавший престарелому генсеку о том, как наша ледовая дружина смогла сконцентрироваться и закатить в ворота противника аж семь безответных шайб, не только сравнив счет, но и разгромив финнов. «Консультанты» яростно шипели в ухо увлечемому П., что это перебор, что достаточно и четырех голов, но высокопоставленный слушатель остался очень доволен, и они же его потом очень хвалили. Некоторые проблемы возникли с тем, что после такой оглушительной победы советским героям конька и клюшки предстояло играть в полуфинале, а затем и в финале, а антенна не может быть неисправной так долго. Но тут выручило мастерство сотрудников Останкинского телецентра, с такой точностью скроивших из старых фрагментов два репортажа, что глаз опытного болельщика ничего не заметил. Кстати, реальные телерепортажи об обоих этих матчах, прошедших, увы, без нашего участия, вел чуткий С., перешедший за один вечер в высшую комментаторскую лигу, а пародист П. получил звание заслуженного артиста и карт-бланш на псевдосоциальные каламбурчики, в результате чего его перестали называть пародистом, возведя в ранг сатирика. Что касается сотрудников телецентра, то они ничего не получили, кроме отгула за сверхурочную работу.

Вскоре престарелый генсек скончался, пребывая в уверенности, что мы были чемпионами по хоккею на один раз больше, чем на самом деле, а еще через несколько лет началась перестройка. Герман Викторович вернулся из опалы в ореоле героя, невольника чести и мученика, который за ним сохраняется и по нынешний день. Равно как, кстати, и сатирик П. считается одним из тех, кто отважно боролся с застоем на подмостках эстрады.

Эту-то историю и напомнил Антон Семенович в ответ на вопрос Германа Викторовича, почему именно сюда он явился демонстрировать удивительные способности Скарятин. Однако его объяснение еще больше запутало дело:

— Все же я не понимаю, что тут такого, что требовало бы... — Скромный хозяин дома замылся: — Ну этой, как вы говорите... честности. Я так понимаю, что вы мне

предлагаете это опубликовать? Но это ведь не допинг, не использование каких-то недопустимых технических средств. Ну да, он обладает фантастическими способностями. Скажем так — умением быстро реагировать. Это еще понятней, чем какая-то мифическая интуиция. И что? Радоваться надо! Конечно, беспокоит, что у нас только один такой гений. Что будет, когда он уйдет с поля? Но до этого еще далеко. Да и речь сейчас о другом. Что тут такого секретного? Просто замечательная игра природы, божий дар. Вот если бы... Я не знаю, если бы у него какая-нибудь видеокамера была...

Мысль о скрытой камере развеселила самого Германа Викторовича. Но Антон Семенович оставался серьезным:

— Я сейчас вам всё объясню. Извините, если получится слишком длинно. Но тут каждая деталь важна. Я с самого детства отличался какой-то медлительностью. Сейчас это называют *тормоз*. Тогда такого слова не было (ну, в смысле, когда не про автомобиль речь шла), но я все время слышал: «заторможенный, заторможенный». Так я и привык. Ничего, как-то выучился. Я, к примеру, задачи решал не хуже отличников, но получал четверки за контрольные, потому что просто не укладывался до звонка. Ну, не мог играть в шахматы или другие игры на время. Так мало ли других игр на свете? А лет пять назад у меня начались сильные головные боли. Я к тому времени прилично зарабатывал и мог себе позволить любое лечение. Короче, у меня нашли небольшую опухоль и прооперировали в Бурденко. Сам профессор Пихоров, завкафедрой! Вы, может, не знаете, но у кого мозговые проблемы, тем это имя очень хорошо известно. И вот тут-то началось самое интересное! Прихожу я в себя после наркоза и чувствую какой-то дурман. Все говорят еле-еле, движутся медленно-медленно, как будто плывут. И не только люди, предметы тоже. Вот, к примеру, что было прямо на второй день после операции. Подошла ко мне сестра температуру мерить. Начала градусник сбивать, да как-то так неловко, что выпустила его. Я вижу: градусник, как в замедленной съемке, выплывает из ее пальцев и тихо так движется. Я не торопясь протягиваю руку и даже не хватаю, а просто беру его. А сестра мне — я уже начал привыкать, что все так протяжно говорят: «Выу заучзум...» Короче, спрашивает: «Вы зачем это у меня градусник из руки вырвали?» Понимаете? Она даже не поняла, что сама его выпустила, а видит: вот он был у нее в руке, а вот он уже у меня. Ну ладно, отнесли это за счет того, что у меня еще мозги после общего наркоза не пришли в порядок. Да я и сам поверил, что мне привиделось, как градусник летит, а на самом деле я его ни с того ни с сего цапнул. Но день за днем дурман не проходит, всё вокруг в замедленном темпе так и движется. Я тогда Пихорову пожаловался. В общем, чтоб долго вам голову не морочить, он разобрался-разбирался и разобрался наконец. Есть, оказывается, у нас в мозгу узелок Зиденхофера. И этот самый узелок... Я вам по-нашему, по-компьютерному, объясню. У каждого компа — своя тактовая частота. Знаете, что это такое? Два процессора возьмите, с одинаковой памятью, все в них одинаковое. То есть этот делает такую-то цепочку операций, и второй — так же. Только если у них тактовая частота разная, то один эти операции делает так—так—так—так, а второй — та-ак—та-ак—та-ак—та-ак. Понятно? То есть не то чтобы первый мог решать другие задачи, чем второй, но он их быстрее решает. Вот у нас этот самый Зиденхофер как бы такую частоту и задает. У меня, видать, с рождения или опухоль уже была, которая потом разрослась, или просто прижимало его что-то — мало ли в черепе неровностей! — и я был тормозом, то есть не глупее других, но медлительней. А во время операции узелок, видать, задели, и, наоборот, тактовая частота стала гораздо выше, чем у обычных людей. Ведь я этот поворот головы Скарятин не выискивал специально: я его просто заметил, еще когда матч смотрел. Я-то думал, он всем виден. А потом слышу: «Необъяснимо! Нечеловеческая интуиция!» Ну и понял, что у него, у Скарятин, в смысле, тоже без Зиденхофера не обошлось.

— А что, раньше про этот узелок не знали? — спросил Герман Викторович.

— Понимаете, в чем тут штука. Конечно, есть и всегда были люди с повышенной тактовой частотой (я уж буду ее и дальше так называть): летчики какие-нибудь, жонглеры... Кстати, и жулики-карманники особо талантливые. Но они с рождения всё видят таким вот образом, и им это кажется естественным. К примеру, как если дальтонику не показать: это один цвет, а это другой, — он и не будет знать, что в чем-то — не такой, как все. А со мной-то что вышло? Я прежде всё в одном темпе видел, а после — в другом. Вот и заметил. А Пихоров уже с научной точки объяснил.

Антон Семенович откинулся на спинку кресла и отхлебнул остывшего чая. Герман Викторович с некоторым удивлением посмотрел на него и, помолчав, спросил:

— И что дальше? Я все же не понимаю, что тут такого секретного. Ну обладает человек особыми способностями. Ну мы поняли, что это имеет под собой, так сказать, физические причины, и никакой мистики тут нет. Очень интересно. Но что с того? Это ведь не допинг, не что-то запрещенное.

— А вы не замечали, что он матч никогда до конца не доигрывает?

Действительно, в каждой игре Скарятин играл обычно один тайм, редко-редко минут десять второго захватывал, забивал за это время три или четыре мяча, и его заменяли. Но это ни у кого не вызывало удивления, все понимали: человек сделал свое дело, и его надо поберечь, тем более что лишнее время на поле чревато еще и травмой.

— Он просто *не может выдержать* все полчаса! — объяснил Антон Семенович. — По себе знаю. После того, как со мной произошло... ну, это — я стал спать по двенадцать часов. А то и больше. Знаете, почему?

Герман Викторович покачал головой.

— Потому что для меня теперь время растянулось! Двенадцать часов, что я не сплю, — это как для вас больше суток подряд на ногах. Понимаете? Я — как человек, который три смены подряд отработает, а потом сутки отсыпается. И так день за днем. Ничего, я уже привык к этому режиму. Хорошо, у меня работа такая, что можно дома всё делать и результат отсылать. Я за какие-нибудь четыре часа успеваю больше, чем прежде за полный рабочий день. А тогда я, бывало, часов по десять из-за компьютера не вставал. А у Скарятин тактовая частота — куда мне! Ему один тайм — как для нормального футболиста пара матчей, а то и все три! Представляете нагрузку? Для него это каждый раз марафон — причем не просто пробежать, а отыграть на полную катушку. Вот вы дайте марафонскому бегуну мяч, и пусть он по дороге голы забивает — надолго его хватит? Дима просто физически не может больше выдержать. То есть — ясно, да? — тренерам отлично известно, что с ним такое, и его удаляют с поля.

— Не знаю, не знаю. По-моему, тут все равно нет никакого секрета, тем более никакого криминала. Просто игра случая.

— А вы любопытства ради поглядите в Интернете про узелок Зиденхофера.

Они присели к компьютеру, но сколько ни искали и в Яндексe, и в Гугле, и на «узелок Зиденхофера», и на «Siedenhofer's junction», не нашли ничего кроме того, что это участок мозга, функции которого *дольше не исследованы*.

— А? — торжествующе подытожил Антон Семенович. — Не исследованы! А вы говорите: нет секрета.

— И что вы мне предлагаете? — спросил растерянно Герман Викторович.

Антон Семенович замялся:

— Честно говоря, я думаю, это все же надо как-то обнародовать. Как? Не знаю. Я думал, у вас есть связи в мире спорта, журналисты, там. А вы как считаете?

— А что тут обнародовать? То, что Скарятин не такой, как все, — это и без нас известно. Объявить, что он болен... Если, конечно, это можно болезнью назвать... Неэтич-

но! И какой результат будет? Его отстранят? За что? А если вдруг признают, что он не может играть наравне с обычными людьми — это страшно подумать, что тогда! Вы представляете, что с вами... с нами сделают миллионы наших сограждан?

— Вот поэтому я к вам и обратился.

— Нет, — покачал головой Колымака. — Это вам не генсека огорчить. Это... народ!.. Спасибо за доверие, конечно. Но тут ничего сделать невозможно. И вам советую никому об этом не говорить.

На том они и расстались.

И все же после этого визита жизнь Германа Викторовича Колымаки изменилась. Чем бы он ни был занят, о чем бы ни думал, вдруг совершенно внезапно перед его внутренним взором мелькал один из кадров, так хорошо изученных им за последние пять лет, — с тех пор, как на спортивном небосклоне взошла звезда Дмитрия Скарятин. Он кидался к экрану, запускал этот фрагмент и видел его совсем другими глазами.

Вот Скарятин бьет пенальти. Раньше этот эпизод вызывал восторг тем, как футболист не то *угадал*, куда прыгнет вратарь, не то *обманул* его, заставив метнуться в сторону от мяча. Но при покадровом воспроизведении стало видно: он заносит ногу и замирает на мгновение... Вратарь делает микроскопический наклон в том направлении, куда действительно должен полететь мяч при таком замахе. Он угадал, вот в чем штука! Но в следующую микросекунду, когда вратарю с нормальным узелком Зиденхофера уже невозможно изменить направление движения, Скарятин чуть изворачивается и бьет в противоположный угол.

Вот Русский Суперсоник — сверхзвуковой, как его называют во всем мире, — направляется к воротам противника. До них еще достаточно далеко, да и движется он не слишком быстро, и противники уверенно бросаются к левой кромке поля, вдоль которой он ведет мяч. И даже не все: кто-то остается в центре, а кто-то даже, зная, с кем имеет дело, бежит направо. Правда, там, справа, второй наш нападающий, но он пока не представляет опасности, хотя бы потому, что владеющий мячом Скарятин *не может его видеть*. Да нет, еще как может! Просто никому, кроме Германа Викторовича, не удалось разглядеть молниеносный поворот головы, за которым и последовал пас, обошедший впоследствии все экраны мира.

И таких моментов — сотни! То, что прежде казалось чудом, нашло вполне материалистическое объяснение. Игра Скарятин и других футболистов напоминает забавы кошки с уже немного придушенной мышью. Его движения — быстрые и четкие, их — кажутся заторможенными. И ему не составляет труда пройти между их пол-лунному плывущими фигурами, словно лыжнику между шестами слаломной трассы. Да и голы он забивает мимо фактически неподвижного вратаря.

Что это? Дар спортивных богов, снизошедших к многолетним мольбам русских болельщиков? Случайная игра природы, которая могла забросить этого гения на любой континент и в любую страну, а забросила к нам? Или...

Это «или», посеянное в сознании Германа Викторовича Антоном Семеновичем, не давало ему покоя. Он внимательнейшим образом изучил биографию Дмитрия Скарятин, попытался расписать ее по годам и месяцам. Но, конечно, оставались пробелы, и какие! Где он был, что делал вот в этом году между январем и апрелем? А в этом — между октябрём и Новым годом? А здесь вот указано: «Сборы». Где были эти сборы? В составе какой команды? С каким тренером? Разумеется, все это не вызывало недоумения, пока речь шла о начинающем спортсмене, не интересовавшем на том этапе широкую общественность. Но со временем она, эта общественность, стала вни-

мательно наблюдать за ним, и тогда уже можно было составить дневник его жизни с точностью до дней, ну уж недель наверняка. Но это произошло уже *после* того, как он продемонстрировал свои сверхъестественные таланты. А что было *до* того? В любви из пробелов, включая неидентифицируемые сборы, он мог оказаться на операционном столе.

В ходе своих исследований Герман Викторович убедился, что и сам Скарятин не поможет в его поисках. Казалось бы, что проще — договориться с одним из своих старых товарищей, редакторов спортивных изданий: мол, решил тряхнуть стариной и взять интервью у великого футболиста? Это бы никого не удивило. К тому же интервью подчеркнуло бы преемственность поколений, которая так тешит сердца спортсменов и болельщиков. Однако ни в сети, ни в бумажных изданиях не нашлось ни одного интервью человека, выведшего нашу страну на вершину футбольного олимпа. Оказалось, что запрет *общаться с прессой, за исключением официальных пресс-конференций*, прописан в одном из пунктов его контракта с футбольным клубом «Северная широта», в играх которого он, кстати, практически не участвовал.

Прежде все это тоже не вызывало удивления: представлялось само собой разумевшимся, что несравненный игрок формально числится во второстепенном клубе и защищает только честь всей страны на самых ответственных состязаниях. И даже то, что величайшие игроки прошлого принимали участие в клубных играх, не было ему примером, потому что всем ясно, что любому из них далеко до Русского Суперсоника. Запрет же давать интервью был тем более понятен, что немногочисленные фразы, произнесенные Скарятиным на пресс-конференциях, избежать которых было невозможно, свидетельствовали о таком косноязычии, что уж лучше поддерживать образ таинственного молчаливого гения. Однако в свете возникших сомнений эти же факты выглядели совершенно иначе, включая проблемы с речью, которые могли возникнуть из-за хирургического вмешательства в работу мозга. А могли быть и естественным следствием врожденных изменений...

Недели через две после встречи, с которой начался наш рассказ, Герман Викторович набрал номер Антона Семеновича:

— Простите, пожалуйста. Не подскажете, когда вам делали ту операцию? Вы говорили «пять лет». А точнее?

Удивленный звонком и обрадованный тем, что у славного журналиста не увял интерес к его сообщению, тот назвал дату. Это было почти шесть лет назад.

Первый матч, в котором молодой Скарятин проявил не просто прекрасные спортивные качества, отличавшие его еще в детских играх (сохранились отзывы и о них, хотя и достаточно лаконичные), но уже продемонстрировал то, что можно было назвать чудом, состоялся четыре с половиной года назад. Но это опять же ничего не объясняло: полтора года могли быть и случайной разницей во времени, и достаточным сроком, чтобы от неожиданного *эффекта*, проявившегося у никому не известного Тармакова, выходящий ученый-нейрохирург дошел до целенаправленного *результата*, достигнутого у подающего надежды футболиста.

Ничего не оставалось, как договориться о встрече с профессором Пихоровым.

Услышав, что с ним хочет встретиться Герман Колымака, профессор, принадлежавший к поколению, для которого это имя было весьма значимым, радостно воскликнул: «Ну конечно!» — но сразу сообразил, что, скорее всего, причина этой встречи — пошатнувшееся здоровье знаменитого журналиста. Поэтому он изменил тон и спросил, профессионально имитируя озабоченность:

— А в чем дело? Вас что-то тревожит?

Герман Викторович потом ругал себя за то, что не соврал, сказав, что, мол, да, хочет *показаться*. В конце концов, хотя он и не ощущал никаких проблем с головой, но на восьмом десятке что-нибудь да найдется, и можно было спокойно договариваться о приеме и уж там, по ходу разговора, спросить про Скарятину. Однако в тот момент он этого не сообразил и ответил, простодушно гордясь своим здоровьем:

— Да нет, со мной все в порядке. Я хотел поговорить... как бы проконсультироваться... на спортивную тему.

— Со мной? Я, увы, к спорту отношения не имею.

— Ну это... Как бы сказать, не чисто спорт, а спортивно-медицинский вопрос.

— А какой, если не секрет?

— Не секрет, конечно, но по телефону я бы не хотел... Так когда можно к вам заглянуть?

Профессор пошуршал бумагами и уже без всякого энтузиазма назначил встречу на пятницу.

Но когда в пятницу сгорающий от нетерпения Герман Викторович вошел в Центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, на входе его встретил ассистент профессора и сообщил, что тому потребовалось срочно уехать в командировку, но что на все вопросы может ответить его заместитель Т., тоже профессор.

— Да нет... Мы же с ним договаривались. Как странно.

— Он вам звонил, — поспешил добавить ассистент. — Но не дозвонился. Проходите, профессор Т. ждет вас.

Герман Викторович спросил:

— А... надолго он уехал?

Ассистент замаялся, что было тоже довольно странно — не знать, надолго ли отбыл шеф. Но все же сказал, что недели на две. И Герман Викторович решил, что две недели ничего не меняют.

Конечно, можно было и у профессора Т. спросить, лечился ли у них Дмитрий Скарятин и когда. В конце концов, пять лет — не тот срок, чтобы могли исчезнуть записи. Но сам неожиданный отъезд Пихорова, да и то, как изменился его тон, едва он услышал, что речь идет о *спортивно-медицинском* вопросе, не внушали надежды на легкое получение нужной информации. На основании своего долгого жизненного опыта Герман Викторович знал, что любую проблему надо решать на самом высоком уровне, и предпочел дожидаться заведующего кафедрой, а не встречаться второпях с его заместителем.

Однако ответ на свой незаданный вопрос, пусть и в косвенной форме, он получил гораздо раньше, а именно в тот же вечер. Позвонил знакомый редактор большого спортивного журнала и в ходе приятной, почти светской беседы (Как дела? Как здоровье? А у тебя? А твое? И т. д.) мимоходом, но с явным нажимом посоветовал не увлекаться странными вопросами. А когда Герман Викторович попросил его уточнить, засмеялся и ответил:

— Да нет, это я так. Знаешь, на старости лет вдруг стукнет: «А не заняться ли журналистским расследованием?» Жанр такой модный, слышал небось? Но это уже не для нас. Пусть молодые балуются. Я, конечно, ни на что не намекаю, просто есть вопросы, куда лучше не лезть.

И по тому, что Герман Викторович не стал допытываться, на что именно *не намекает* заботливый советчик, стало ясно, что он прекрасно понял, о чем идет речь.

Собственно говоря, больше выяснять ничего не требовалось. Вопрос — что делать дальше?

В чем не ошибся Антон Семенович, так это в том, что Герман Колымака не будет праздновать труса, столкнувшись с риском даже для жизни. Но разве тут дело в страхе?



Во-первых, в Центр Бурденко соваться не имело смысла: уж если профессор не опубликовал своего открытия (а иначе оно как-нибудь да просочилось бы в сеть), то ясно, что от него ничего не добиться.

Но главное — ужасала одна только возможность не то чтобы даже лишить миллионы своих соотечественников долгожданного счастья, но хотя бы это счастье омрачить. Герман Викторович смотрел вокруг и видел изменившуюся страну. На его веку было много перемен, и политических, и других. Он прекрасно помнил всеобщий восторг и радость единения после полета Гагарина. День Победы он не помнил, но по рассказам старших представлял, что тогда творилось в стране. Похороны Сталина в его детской памяти отложились озаренные, правда, печальным, но все-таки тоже каким-то объединяющим всех чувством. Много было... Но все как-то быстро улетучивалось. За Победой пришло осознание потерь, половина их класса не имела отцов, да что там полкласса: с войны не вернулся и Виктор Колымака. Со Сталиным вообще все распалось почти сразу, задолго до официальных разоблачений, как только стали возвращаться первые освободившиеся. Конечно, полет Гагарина остался непреходящей радостью. А потом, кстати, так же людей объединило прощание с ним. Но все же это было где-то далеко, на то и космос. А футбольное чемпионство, да еще двойное, как воцарилось в каждой душе, так его свет со временем даже ярче разгорался. Наши военные и космические победы возникли на фоне всеобщей уверенности в том, что мы всех всегда побеждаем и что наша наука — самая передовая в мире. Поэтому *та* радость — радость еще одного подтверждения, уже известного, — быстро растворилась в привычном ощущении и без того существовавшего величия. И пусть оно существовало подчас только в нашем сознании, но ведь мы же о сознании и говорим. А футбол — совершенно другое дело! Триумфы пришли тогда, когда все уже отчаялись их ждать, когда уверились, что так все всегда и будет: всплеск робких надежд и их крушение каждые два года. И вдруг — появился он, спаситель нашей спортивной чести — Дима Скарятин! Он стал для каждого братом, сыном. Да что там! — гораздо больше: братьев и сыновей может быть сколько угодно, а Дима — единственный! И то, что он в той же мере, как тебе, принадлежит еще несметному количеству людей, не отдаляет его, а спланивает нас всех в одну семью. Нет, разорвать это единство — хуже физической смерти, страшнее, чем схватить нож и пойти резать всех направо и налево...

Хотя нет. Не это главное! В тысячу раз ужасней было другое.

Герман Колымака всю жизнь исповедовал принцип, что нет большего преступления, чем скрывать правду, что на лжи ничего не построишь. И даже не на прямой лжи, а на экивоках и недоговорках, вводящих в заблуждение. Если бы на одной чаше весов лежало спортивное счастье миллионов, а на другой — Правда, он, не задумываясь, выбрал бы Правду. Но самая неожиданная и удручающая *правда* открылась, когда, со всей откровенностью заглянув в собственную душу, он понял, что сам — один из этих миллионов, готовых на всё, лишь бы видеть чемпионский кубок в руках своих соотечественников. Не ради них, а *для самого себя* Герман Викторович Колымака не мог, не имел сил поведать миру о том, что открылось ему.

Сто раз на дню он твердил себе: «Как я был счастлив, когда ничего не знал! Принес же черт этого гада Тармакова!» Однако, как ни крути, время назад отмотать нельзя, и вот теперь он *знает* — и что?

Герман Викторович изменился. Время от времени он задавал Надежде Федоровне странные вопросы, вроде: «А вот если бы я вдруг оказался предателем Родины, ты бы от меня отвернулась?» Она сперва отшучивалась, потом стала отвечать: «Не говори глупостей!» И наконец огрызнулась: «Да я еще раньше отвернусь: больно мне надо

такое слушать!» Вопросы прекратились, но легче от этого не стало: она видела, что они никуда не исчезли, а просто муж замкнулся. Он даже перестал делиться с ней всякими забавными или курьезными фактами, вычитанными в Интернете. Ей только была невдомек причина этого — то, что, садясь за компьютер, он больше не шарил по разным интересным страницам, а либо пересматривал в стотысячный раз видео со Скарятиним, либо искал в сети крохи информации о нем, в надежде узнать, что гениальность спортсмена имела-таки природное происхождение и проявилась еще на ранних стадиях его карьеры, а желание скрыть физическую причину этой гениальности происходило от нашего традиционного стремления засекретить все что можно.

Тем временем шли отборочные игры следующего чемпионата Европы. По регламенту Россия, хотя и была действующим чемпионом, должна была пройти и этот этап. Что, кстати, оказалось сюрпризом для большинства болельщиков. Поначалу они это восприняли как враждебные происки, но потом оказалось, что так было и раньше, просто тогда вопрос участия или неучастия *действующего* чемпиона был для нас неактуальным и этот пункт правил никого не волновал. Впрочем, в победе никто не сомневался: ну хотят — поиграем, нам не жалко.

Играли с Италией. В первом тайме Скарятин провел три гола. Оно бы ничего, но итальянцы сумели пробиться через нашу оборону и отквитать один мяч. При счете три—один тренер не решился увести с поля форварда. Комментатор со смехом вспоминал те ушедшие в прошлое времена, когда вести с итальянцами в счете, да еще с разницей в два мяча, было почти недостижимой мечтой, — а вот теперь нам это кажется недостаточно надежным разрывом, и мы уверены, что в первые же минуты второго тайма его увеличим!

В перерыве тренер заменил второго нападающего на еще одного защитника, поставив практически несокрушимую стенку перед нашими воротами, в полной уверенности, что Скарятин и в одиночку справится с четвертым мячом, а потом... ну, что потом, уже не очень важно. Да, по правде сказать, и совсем неважно: деморализованные итальянцы, казалось, были довольны уже тем, что проиграют не всухую. Деморализация выразилась в грубой игре. К счастью, нашего фаворита защищали умение видеть вокруг на триста шестьдесят градусов и нечеловеческая реакция — качества, казавшиеся чудом для всех болельщиков, кроме Германа Викторовича и Антона Семеновича. Однако способность уходить от опасности уводила Скарятину и от центра игровых событий. Время шло, а мяч всё не залетал в ворота противника. К тому же реакция реакцией, а защищать нашего форварда тоже надо, поэтому неподалеку, сменяясь время от времени, дежурил кто-то из его товарищей, и это, конечно, тоже ослабляло команду.

Напряжение дошло до того, что один из итальянцев, почти не скрывая своих намерений, бросился в сторону Скарятину. Тот легко ушел от нападения, но его добровольный охранник все же преградил путь агрессору. Столкновение — и обоих игроков унесло с поля. У итальянцев это была первая замена, у нас — вторая. «Сейчас мы заменим сразу двух игроков: Диме тоже надо отдохнуть», — предсказал комментатор. Однако ошибся: тренер все еще не решался увести Скарятину.

Пошла шестьдесят восьмая минута. Собственно говоря, итог игры был и так ясен. Ну не будет четвертого гола, ну даже сумеют итальянцы забить еще один. Да даже и два: мы отвыкли от ничьих, но на худой конец ничья в этом матче нас тоже устраивала. Пора, пора было Скарятину покинуть поле. У кромки уже разминался его товарищ, а тренер направился к судье, чтобы сообщить о замене, и в этот момент... наш вратарь... Это просто глупость какая-то! Если бы можно было отнести это на счет грубой игры противника! Но нет, сам по себе, никто его не толкал, и даже момент был не особо опасный. Прыгнул вбок и со всего маху ударился запястьем о штангу.

Игра остановилась. Прибежали медики. Казалось, еще немного — и все пойдет своим чередом. Но медицина оказалась бессильна: голкипер владел только одной рукой. Стадион замер: кого будут менять? Тренер подозвал Скарятину, они о чем-то поговорили, и на поле вышел вратарь: как ни крути, а разрыв в два очка с итальянцами — не та ситуация, когда можно рисковать воротами.

Матч продолжался. Операторы по привычке то и дело направляли свои камеры на Скарятину. Но что это? Гениальный спортсмен уже почти не двигался. Еще немного — и он сел на траву. Потом прилег, опираясь на локоть и так наблюдая за игрой. А итальянцы оживились. Запасной вратарь в наших воротах — полюбому не сильнее основного. Да и форвард команды фактически выпал из игры. Появилась надежда! Надежда победить непобедимую Россию! О-го-го!

И тогда Дмитрий Скарятин собрал все свои силы, поднялся, побежал... пошел шагом... пошатнулся... отступился... и рухнул!

По стадиону пронесся многотысячный вздох! Волнение, крики: споткнулся, ушибся... Никогда такого не было — нечеловеческая реакция, и вот на тебе!

Пока еще все удивлялись... А попробовали бы они сами провести на поле часов пять подряд, а то и больше — в пересчете на наше обычное время! И не просто провести, а с полной игровой нагрузкой! Да еще когда голова... Ну вы понимаете. Впрочем, об этом никто не догадывался.

С итальянских трибун понеслись насмешливые выкрики и свист: вот, мол, ваш хваленый гений; побегал несколько лишних минут и уже на ногах не держится; сверхзвуковой слабак и тому подобное. Кто-то вскочил и заплясал, размахивая руками. Весело замелькали опущенные было флаги с тремя вертикальными полосками.

Но вскоре танцоры опустились на свои места, и флаги поникли. Гогот затих. Вообще все смолкло.

Стадион замер. Да что там стадион! Весь мир затаив дыхание следил за происходящим на экране и слушал бессмысленное бормотание комментаторов на десятках языков. Комментаторы так же ничего не понимали, как и все остальные, но по долгу службы не могли молчать и бестолково разъясняли то, что было понятно и без них: что количество медиков все умножалось, что на смену простым врачам, дежурящим на матче, пришли реаниматологи, что подвезли какой-то прибор... Судя по тому, что Скарятину не унесли с того места, где он упал, его нельзя было перемещать. Нет, конечно, какого-то другого игрока все равно бы убрали с поля, пусть со всей осторожностью, но убрали бы. Игра может задержаться на несколько минут, но она не может прекратиться. Однако здесь речь шла о человеке, на которого никакие правила не распространялись.

Время шло, комментаторы в который раз повторяли одно и то же, потому что ничего нового не происходило. И вдруг всё стало ясно. Распрямились спины тех, кто все это время стоял, согнувшись над нашим Димой, или ползал вокруг его тела на коленях, и все поняли: надежды больше нет. И хотя в этом объявлении уже не было необходимости, оно все же прогремело над стадионом и, размноженное сотнями миллионов динамиков, в сотнях миллионов квартир: «Игрок сборной России Дмитрий Скарятин скончался!»

Оставшиеся до конца матча двадцать минут — двадцать! не две, не пять, а почти полтайма! — игроки обеих сборных стояли на поле неподвижно, как в почетном карауле. И на трибунах тоже не осталось ни одного сидящего. Что творилось у них в головах? Оплакивали они того, кто, подобно спортивному ангелу, слетел на Землю, озарил мир своим светом и унесся, оставив нам на память несколько десятков чудес, запечатлен-

ных видеокамерами, или, благопристойно сохраняя скорбный вид, подсчитывали шансы своей команды на дальнейший успех в изменившихся условиях — нам не дано узнать. Точнее сказать, были и такие, и такие. Камеры скользили по трибунам, показывая лица, на которых струйки слез исказили нанесенные перед матчами полосы национальных флагов. Даже комментаторы опустили микрофоны.

Через двадцать минут судья поднял руку с часами, поднес к губам свисток и коротко дунул в него, объявляя человечеству: всё кончено. В протяжном свисте не было необходимости: уже двадцать минут назад все знали, что матч закончится со счетом три—один. Хотя, собственно, *всё кончено* относилось не к этому результату...

Закончен и наш рассказ. Что касается его героя, то он больше не задает нелепых вопросов, снова интересуется разными любопытными фактами и делится ими с окружающими. И только время от времени его охватывает какая-то тоска. Да и кого из нас она не охватывает после того, как... Эх, да что уж тут говорить!..

Елена КРАСНУХИНА

## НАЦИОНАЛИЗМ НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

«Существование нации — это повседневный плебисцит» — гласит известный афоризм Эрнеста Ренана. В российском массовом и научном сознании не доминирует европейское представление о нации как о непрерывном плебисците или референдуме. Отечественная мысль чаще оперирует этнографическим, историческим, политическим, экономическим, географическим, культурологическим, лингвистическим определением нации, но не гражданско-правовым.

Национализм как теоретический принцип, социальная позиция и умонастроение имеет и положительный, и отрицательный оттенок смысла. Национализм в отрицательном смысле — это притязания одного этноса на доминирование над другими. К настоящему времени возросло и закрепились именно отрицательное значение национализма, ибо национализм был дискредитирован и обесчещен нацизмом, превратившим его в бранное слово. Даже беды и заблуждения современной политики европейского мультикультурализма могут рассматриваться как отдаленное эхо или отголосок зла немецкого нацизма. Борьба с идеологией и практикой фашизма повлекла за собой наложение своеобразного табу на защиту ценности национального самоопределения, поэтому в современном западном мире политике мультикультурализма нет легитимной альтернативы. Девальвация национальной идеи происходит несмотря на то, что и в XX, и в XXI веках национализм играл значительную роль: антиколониальная борьба и распад колониальных империй шли под знаком национально-освободительных целей и ценностей, война с гитлеровской Германией и немецким оккупационным фашизмом велась многими европейскими странами как национально-освободительная, движение антиглобалистов также проникнуто духом национальной суверенности. И все-таки история национализма — это история обретения им статуса маргинальности, в то время как в новоевропейском мировоззрении национализм был одной из ведущих тем и идей, причем имел безусловно позитивное ценностное содержание.

Национализм может быть дифференцирован как гражданский, этнический и официальный. Этнический и официальный национализмы доминировали в российской истории. Проявлением последнего была идеология православия, самодержавия и народности, заменяющая французский принцип «Свобода. Равенство. Братство» на триаду графа Уварова «Православие. Самодержавие. Народность». Однако и сама официальная теория народности имела не только самобытно российские корни, но и корни во франкоязычной культуре мышления. Во французских оригиналах текстов С. С. Уварова понятие «народность» передавалось как *nationalité*. Ему вторит в одном из своих

---

Елена Константиновна Краснухина — философ, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Автор книги «Субъект желания» и 160 статей на философские и общественно-политические темы.

писем П. А. Вяземский: «Употребляю понятие „народность“ как перевод *nationalité*, потому что чего же все время писать *nationalité*». Впрочем, французская идея нации оказалась в России замещенной понятием народа и принципом народности. Если самодержавие и православие были сметены Октябрем 1917 года, хотя последнее со временем стало опять заявлять свои права на бытие национальной духовной скрепой, то риторика народности оказалась константной и непрерывной, она пронизывала в том числе и десятилетия советского периода российской истории. Это проявлялось и в декларировании возникновения нового исторического типа общности людей — советского народа, и в именовании собственности общенародной, а не общенациональной (несмотря на ее национализацию, а не обнародование), собственности, квалифицируемой ныне как юридическая форма, лишенная экономического содержания, и в учреждении звания «народный артист», а не «национальный артист», двусмысленно указывающее то ли на простонародное происхождение артиста, то ли на национально-этнический характер его творчества, то ли на постулирование принадлежности искусства народу или, как сказали бы мы теперь, к массовой культуре и феномену популярности.

Терминологическая сложность усиливается тем, что понятие «народ», так же как и понятие «нация», имеет не только культурно-этнический, но и гражданско-политический смысл, если речь идет о правящем народном суверенитете. Народ и в русском, и во французском языках является понятием многозначным. По сравнению с гражданским понятием нации (мы отвлекаемся сейчас от прямого исходного значения нации как указывающего на общность рождения или происхождения и применяемого к группам землячества) понятие «народ» обозначает нечто исторически более раннее. Это историческая общность людей, население страны, пребывающее под одними законами, это количественное указание на множество, большинство, массу людей, это труженики, это простолюдины, плебс, чернь, противопоставляемая аристократии, элите, патрициям. Если народ изначально угнетен, что ставит исторический вопрос о его освобождении, то нация во французском революционном смысле рождается свободной, она есть результат и субъект борьбы за права и свободу. В российской лексиконе аналогично распространена идиома «простой народ», дополненная контрверзой «великий народ». Первое выражение обусловлено политико-экономическим отождествлением народа с социальными низами, второе рождено народнической идеологией народопоклонства и продолжено политической демагогией служения интересам народа в советско-коммунистическое время. Обращаясь к народничеству с критикой, Николай Бердяев писал: «Ваш народ не есть нация. К народу применяете вы категорию количества и категорию социально-классовую. Ваш народ есть лишь масса простонародья, крестьян и рабочих, лишь физически трудящиеся классы. Слишком многие исключены из вашего народа, и интеллигенция, и дворянство, и бюрократия, и купечество, и промышленники». Согласно Бердяеву, истинно понятый народ, взятый как нация, есть нечто характеризующееся через свой национальный дух. Нация в противоположность простонародью есть понятие универсальное, на взгляд Бердяева, она представляет собой «великое органическое целое, объемлющее все классы и все поколения», «мистический организм», в который «входят не только человеческие поколения, но также камни церквей, дворцов и усадеб, могильные плиты, старые рукописи и книги». Дух, конечно, дышит, где хочет, не только в людях, но и в камнях и в книгах, в любых творениях национальной культуры. Однако в русской философии Серебряного века мы с очевидностью обнаруживаем не гражданско-политическое, а духовно-этнически-культурное определение нации. Если национальность не интерпретируется на французский манер как свободная гражданственность, то нация может состоять и из камней, а не только людей. Мысль Бердяева о том, что «нация есть дух, Божий замысел, который эмпирический народ может осуществить или загубить», не может дать операционального

понятия нации современной российской национальной политике и лечь в основу формирования гражданского общества. Это обстоятельство реанимирует традиционный для России диалог славянофилов и западников, проблематизируя источник — отечественный или европейский — ценностных ориентаций политических стратегий. Определение нации как состоящей в том числе и из камней вполне правомерно, но оно уместно в контексте культурологическом. В современной политической философии речь идет не о культурной нации, а о нации как суверенном и солидарном согражданстве.

Российский официальный национализм традиционно имел характер этнического национализма. СССР был таким государством, в котором главными субъектами политики и права выступали не отдельные граждане, а социалистические нации. Подмена индивидуальных прав коллективными свидетельствует о совместимости такого национализма с демократическим принципом власти большинства, но не с либеральной идеей индивидуальной свободы.

Использование понятия народ как будто позволяет избежать крайностей этнонационализма. Преамбула Конституции РФ начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле». И хотя далее утверждаются принципы прав и свобод человека, равноправия и самоопределения народов, общность россиян трактуется преимущественно на основе единства исторической судьбы и территориально-государственной целостности. При всем этническом плюрализме его составляющих это единство единообразия, а не консенсус разнородного. Что может быть равным и единым у всех россиян? Безусловно, не этническая или национальная культура. Многоконфессиональность населения России не позволяет также религии стать основанием общности российского народа, хотя известны попытки определять русскую национальность не по крови и происхождению, а по идеологическому принципу вероисповедания, то есть мыслить русскость как православность, а также попытки подменить в наши дни идеологическую общность на основе политической коммунистической идеи идеологической же общностью на основе духовности религиозно-церковной, то есть советский народ народом православным. В основе единства многонационального народа не лежит его языковая общность. С одной стороны, мы имеем исторические примеры отчасти добровольной, но отчасти принудительной языковой русификации народов союзных республик и стран восточноевропейского социалистического лагеря, но, с другой стороны, мы имеем примеры в лице Канады или Швейцарии, имеющих несколько официальных государственных языков в качестве интеграции их населения. Даже общность истории не является однозначным поводом консолидации для нескольких этносов или национальностей, ибо история — это процесс многосторонний, и то, что является для одних сообществ победой, для других оказывается поражением, что, конечно, затрудняет их дальнейшее сосуществование в рамках единого государственного целого. В качестве базиса общенародности мы имеем в конечном счете общность территории, экономической жизни, государства и идеологии. Последнее обстоятельство может играть ведущую роль, как это и было в случае с советским народом как новой исторической общностью людей, образованной по принципу единственности принимаемой идеологии.

Если в философии Бердяева народ понимался вслед за народниками как часть нации, лишенная в лице социальных низов ее элитарной части не только в смысле элиты экономической и политической, но и аристократии духа, *par excellence* выражающей дух нации, то общественная мысль советского периода перевернула это соотношение в концепте «многонационального народа Российской Федерации», интерпретируя нации как составные части общенародного единства. В настоящий момент преамбула Конституции РФ не предусматривает четкого различия нации в этническом смысле и нации в ее политическом значении, не оперируя концептом гражданской нации.

Этими обстоятельствами и было вызвано поддержанное президентом на совещании с Советом по межнациональным отношениям в октябре 2016 года предложение о разработке и принятии нового закона о российской нации, в основу которого должен лечь принцип «россияне — это многоэтнический народ, но единая нация», закона, нацеленного в конечном счете на добавление новых формулировок в текст Конституции. В выдвигаемой новой позиции, состоящей в том, что граждане РФ не многонациональны, а однонациональны, заключается преодоление доктрины национал-большевизма и сталинизма. Понятие российской гражданской нации, поставленной на место бывшего советского народа в качестве наднационального (в этническом значении национальности) образования, подразумевает уже не политико-идеологическое единство, а сообщество равных и полноправных граждан. По-новому сформулированная идея российского гражданства заключается в том, что мы мыслим себя не как многонациональный единый народ, а как многоэтническую единую нацию.

Этнический национализм соотносим с национальным сообществом, основанным на единстве языка, антропологического типа, обычаев, традиций, общности культуры, истории, связи с территорией и ассоциации с государством. Он не исключает сословность характеризуемого им сообщества, может являться национально-освободительным умонастроением и народа, и аристократии. Гражданский национализм относится к нации как сообществу равных и свободных людей, обладающих правами и обязанностями, проживающими в одном государстве. Такая нация — продукт буржуазного общества, она в идеале основана на горизонтальных отношениях и является продуктом крушения сословной иерархии общества, распада прежних связей и отношений, сообществ и форм солидарности.

Этническое и гражданское понимание национального исходит из опорного различия двух смыслов термина «народ», то есть различия понятий «этноса» и «демоса». Понятие этноса принадлежит этнографии, а термин демос относится к словарю науки политической. Нация-этнос определяет национальность как нечто генетическое, биосоциальное, а нация-демос, неразрывно связанная с правовым порядком демократического правового государства, понимает национальность как свободное гражданство. Так национальное мыслится как почва и кровь, культура и дух в одном варианте и как права и свободы, суверенитет и демократия в другой версии.

Различие между нацией и национальностью, фиксируемое понятиями гражданской и этнической нации, само имеет национальное различие. Первое из этих понятий именуют *французским*, восходящим к идеологии Великой французской революции. Оно кладет в основу нации свободный политический выбор сообщества, «ежедневный плебисцит». Вторая идея нации порождена *немецкой* мыслью Гердера и романтиков XIX века. Она трактует нацию как общность происхождения, культуры, языка, как выражение духа нации, как предмет невыбора. Различие французской и немецкой идеи нации является продуктом истории Франции как административной монархии с ее тенденцией централизации и культурной ассимиляции и истории Германии как наднациональной империи суверенных и полусуверенных политических единиц княжеств и королевств. Эти два отличных друг от друга понимания нации — буржуазное и полуфеодалное — соперничали в военно-политических спорах о государственной принадлежности территорий Эльзаса и Лотарингии, неоднократно переходивших в результате франко-прусской и двух мировых войн то к Германии, то к Франции. Аргументами в этих теоретических баталиях были и указания на связь населения этих территорий с немецкой историей и культурой, и утверждения, что принадлежность к этнокультурным сообществам не предопределяет политический выбор государственности.

Этнический и гражданский национализм имеют территориальный ракурс. Этнические различия советских граждан были закреплены на территориальной основе. Эт-



нический национализм тяготеет к территориальной привязке и автономии. С одной стороны, это создает предпосылки сепаратистских движений за государственное самоопределение, отделение, децентрацию, с другой, привязывая нацию-этнос к определенному месту, не форсирует процессы миграций.

Иная политика по национальному вопросу проводилась в постреволюционной республиканской Франции, не желавшей иметь наряду с сообществом граждан какие-либо этнические общины, противоречащие сути гражданского сообщества, тем более обладающие территориальной автономией. В 1791 году, когда в Национальной Ассамблее Франции обсуждался вопрос об эмансипации евреев, депутат Клермон-Тоннер выразил общее мнение в следующих словах: «Евреям как нации следует отказать во всем, евреев же как индивидов следует во всем удовлетворить». Смысл этой формулы заключается в том, что в гражданской нации не должна иметь место дискриминация по этническому принципу, но одновременно и в том, что статус гражданина у члена гражданского общества должен превалировать над этнической принадлежностью, самосознание свободного человека и правосубъекта — над самосознанием этническим. Сложившееся в борьбе со старым режимом французское национальное самосознание было политическим. Идея нации сформировалась в нем не в религиозно-этническом или культурно-историческом плане. Согласно новому пониманию, французом становился каждый, кто вставал на позиции республиканства.

Если национальное интерпретируется как коллективная идентичность, то это порождает сепаратистские настроения, нацеленные на отделение, выход *вовне* из существующих государственных образований. Эти тенденции проявляются и на постсоветском пространстве, и в ряде восточноевропейских стран после распада социалистического лагеря. В Западной Европе национальный сепаратизм дополняется иным трендом. Если национальное интерпретируется как индивидуальное гражданство, то возникает обратная тенденция иммигрантского проникновения *извне внутрь* уже сложившихся национальных государств с целью натурализации.

Связь этнического и гражданского национализма с государственным и территориальным принципом неоднозначна. Этническая нация, с одной стороны, нацелена на самоосуществление в формах суверенного государства или территориальной автономии в пределах государства многонационального. С другой стороны, именно этническая нация как субъект национальной культуры существует в качестве диаспоры, рассредоточенной по всему современному миру, не имея жесткой привязки к определенной территории или государству. Утверждение, что наиболее значительные произведения русской литературы большей части XX века создавались (или публиковались) в эмиграции, что русская национальная литература в XX веке — это литература зарубежья, творившаяся вне официального государства и вопреки его культурной политике, имеет под собой серьезные основания.

Гражданская нация выстраивается на гражданстве как политико-юридическом отношении человека с государством, а государство зиждется на территории его юрисдикции. Таким образом, гражданская нация, с одной стороны, обретает и территориально-государственный смысл. С другой стороны, права гражданина теоретически ассоциированы с правами человека, а гражданин национального государства в современном глобальном мире склонен идентифицировать себя с гражданином мира. Космополитический ход универсализации ценностей подразумевает отрыв гражданского национализма от территориальной и государственной конкретности.

Понимание нации как гражданства, а не этнической принадлежности требует различения не только этнического и культурного смыслов национального, но и указания на несовпадение политического и гражданского значения нации. Первое из этих различий связано с тем, что чисто этническая интерпретация национальности чревата на-

цизмом и расизмом, ибо основана на идее нации как общности антропологического типа людей, общности, имеющей глубокие исторические корни и не совпадающей с современным пониманием нации как продукта буржуазных революций. Добавление к антропологическому типу таких признаков нации, как территория, традиции и загадочный национальный дух, не меняют существа дела. Узость и догматизм нацизма не разделял даже основоположник итальянского и европейского фашизма Бенито Муссолини, утверждавший, что «нация не есть раса или определенная местность, но находящаяся в истории группа». Его теория корпоративного государства зиждилась на мечте возродить былые величие, мощь и славу Римской империи, а империи, как известно, всегда полиэтничны. Быть римлянином — это не чисто этническое определение, так же как быть американцем в наши дни не означает иметь какой-то определенный цвет кожи, этническую принадлежность, единую с другими американцами религию, культурную традицию или кухню. Принципиальное различие между расистским нацизмом Гитлера и этатистским фашизмом Муссолини заключалось в том, что нацизм выдвигал идею чистоты нации, а фашизм защищал идею единства нации, политического, идеологического, тоталитарного, но единства.

Понятие нации как культурного явления, как сообщества, объединенного одним языком и общей культурой, являющегося перманентным носителем и творцом этой культуры, имеет целью преодоление этноцентризма. Национальность определяется в данном случае не по процентам унаследованной от родителей крови, а по принадлежности человека к той или иной национальной культуре и языку. В наш век относительно свободного выбора страны проживания, билингвизма, активных миграций, постмодернистского игрового отношения к историческому плюрализму культурного наследия атрибуция принадлежности к культурной нации чрезвычайно осложняется.

Политическая нация есть определение нации через ее национальное государство. Она есть продукт административной монархии, политического и языкового объединения людей в рамках одного государства, например, результат превращения бретонцев, нормандцев, гасконцев, бургундцев и других во французов. В Германии этот процесс государственно-политической консолидации происходил позднее и медленнее, считается, что в плане национальной идентификации житель современной Баварии прежде всего считает себя баварцем, а уж потом, во-вторых, немцем. Превращение в политическую нацию, наличие собственного государства, выход из состава имперских или крупных государственных образований есть мечта этнонационализма. Мечта эта, как и всякая мечта, является несбыточной, среди современных государств практически нет мононациональных. Да и идея национального суверенитета как независимости, свободы и самовластия может быть направлена не на обладание своим собственным, скажем, каталонским государством, а на обладание властью в своем государстве, пусть и исторически сложившемся как полиэтничное.

Руссоистская трактовка национального суверенитета как народного суверенитета приводит нас к четвертому пониманию нации как гражданской. Такая нация представляет собой сообщество свободных людей, обладающих правами, граждан, а не подданных государства. В последнем и заключается ее важное отличие от политической нации. Именно такое республиканское понимание французской нации являлось мотивом и результатом буржуазной (иначе гражданской) Великой французской революции. Как гражданская нация французы определились исторически позже, чем как политическая нация.

В нашем обществе мы как будто ясно различаем значения «быть русским», то есть принадлежать к этнической и культурной нации, и «быть россиянином», то есть быть в числе граждан государства Российская Федерация, среди которых есть представители разных этносов и национальностей: и татары, и евреи, и буряты, и эвенки, и многие-

многие другие. Однако факт объединения людей в одном государстве еще не определяет их автоматически как нацию гражданскую, а не исключительно политическую. В недавнем отечественном прошлом декларировалось возникновение новой исторической общности людей — советского народа. Это была претензия на метаэтнический вид солидарности, однако существенно отличный от способа бытия французской или американской гражданской нацией. Ибо объединяющим и роднящим советских людей был факт условно поголовного принятия одной государственной идеологии, а не наличие у каждого из них индивидуальных прав человека и гражданина. Таким образом, общность государства обеспечивает только единение людей в политическую, но не обязательно гражданскую нацию. Таковой были немцы в Третьем рейхе или итальянцы в Италии времен фашистского режима Муссолини. Гражданская нация совместима только с правовым государством, наличием в нем гражданского общества, режимом либеральной демократии. Она невозможна при абсолютной монархии, диктатуре, авторитаризме или тоталитаризме. Современное российское общество находится в состоянии, переходном от политической нации к нации гражданской. Путь этот будет небыстрым и нелегким.

Александр МЕЛИХОВ

## ПОЙМАЛИ ПТИЧКУ ГОЛОСИСТУ...

«Зависть» Юрия Олеши совершенно случайно попала мне в руки, страшно сказать, полвека назад. «Три толстяка» помнились как что-то довольно забавное, но ужасно советское: богатые — злобные и жирные, бедные — трогательные, добро, то бишь революция, в итоге побеждает... Уж очень «как положено». Но «Зависть» оказалась настолько восхитительна, что невозможно было сосредоточиться на том, «про что» она. «Анну Каренину», «Преступление и наказание» можно пересказать другими словами, и сохранится довольно многое, но от «Зависти» не осталось бы ничего ровно, разве что убогая карикатура. До этого я ничего подобного не читал. Походило на то, как если бы я, уже опытный болельщик в тяжелой атлетике, попал на чемпионат по фигурному катанию: половинный от чемпионского вес я и сам мог бы поднять, но любые мои попытки хоть как-то изобразить прыжок фигуриста могли быть только смехотворными.

«Ни дня без строчки» я разыскивал уже вполне сознательно, и после этого Олеша окончательно убедил меня, что все-таки она возможна — форма, прекрасная при любом содержании: о чем бы этот виртуоз ни написал, на что бы ни откликнулся, от любого фрагмента начинала исходить эманация изящества (его собственное выражение). С тех пор Олеша на многие годы сделался для меня пробным камнем понимания литературы как искусства слова: тот, кто не восхищается Олешей, не знает, что такое истинное стилистическое мастерство.

И когда мне в руки попала перепечатка очень задиристой статьи Аркадия Белинкова, называвшаяся, если не путаю, «Поэт и толстяк» и каким-то чудом вроде бы опубликованная в первых номерах «Байкала» за 1968 год (подтвердить это невозможно, поскольку прочитанной мною распечатки я, разумеется, дословно не помню), мне, конечно, понравилось, что «колбасник» Андрей Бабичев обозван «сановником» и «четвертым толстяком»: Плеве когда-то назвал интеллигенцией тот общественный слой,

---

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенега.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017).

который с радостью подхватывает любую новость или даже слух, клонящийся к дискредитации правительства, а я в ту пору, по крайней мере по этому параметру, еще был интеллигентом. Но в упреки по адресу самого Олеси я и вслушаться не пожелал. Да, конечно, поэт Кавалерова он наградил целой тучей унижительных черточек, начиная с толстого носа и брюшка, а в сановнике его единственная слабость — самоабвенный восторг по поводу дешевой высококачественной колбасы — не только забавна, но и трогательна: не для себя же, в конце концов, он старается, у него и так все есть. Да, это верно, но как можно требовать политических агиток, пусть и анитправительственных, от подобного маэстро — так у него выпелось! «Но в „Трех толстяках“ уложился же он в формат агитки!» — «Так это сказка, в сказках и должен бедняк торжествовать над богачом, слабый над сильным». — «А почему тогда в „Зависти“ слабый Кавалеров не восторжествовал над сильным Бабичевым?»

В принципе это можно было обсуждать, но образ Олеси в ту пору пребывал для меня на такой высоте, что туда не долетали земные стрелы. «Поэт всегда прав», как однажды царственно припечатала Ахматова. А легенда объясняла многолетнее молчание Олеси то необыкновенной требовательностью к себе (Олеша и Бабель ни за что на свете не могли написать: «Его глаза с лукавым добрым прищуром», — писал Юрий Трифонов), то беспечностью певца, рассыпавшего перлы своего остроумия в ресторане «Националь». «Швейцар, подайте такси!» — «Я не швейцар, я адмирал». — «Тогда катер!»

Кажется, в журнале «Юность» мне попала зарисовка Нагибина: Олеша спешит на банкет, где его ждут «золотые столбы коньяка». Я этот образ несколько месяцев вспоминал с изумлением — так мимоходом уподобить жидкость столбу, да еще золотому! Правильно сам Олеша определил свой дар: делать красивое еще более красивым, — куда же нам, сиволапым, соваться в судьи носителю этого редчайшего дара, судить «свыше сапога»!

Но «Книга прощания», вышедшая уже в девяностые, открыла, что в реальности все было неизмеримо более жестоко и далеко не так красиво. Впрочем, об этой замечательной книге прекрасно написала ее составительница Виолетта Гудкова, добавить мне практически нечего. Однако в 2017 году к приближающемуся столетия Юрия Олеси петербургское издательство «Вита Нова» выпустило еще одну отличную книгу «Зависть. Заговор чувств. Строгий юноша» (подготовка текстов А. В. Кокорина, коммент., статья Н. А. Гуськова и А. В. Кокорина, ил. и статьи М. С. Карасика).

Издание, по обыкновению, роскошное, иллюстрации заслуживают отдельного разговора, тексты тщательно выверены, но самым интересным лично для меня оказалась сопроводительная статья и комментарии: даже известные материалы Гуськов и Кокорин скомпоновали так умно и убедительно, что они читаются как новые.

Приведу хотя бы часть того, что меня наиболее сильно зацепило.

Переехав из Харькова в Москву, Олеша даже не сообщил родителям свой адрес, так что они были вынуждены распространить среди знакомых ложное известие о смерти матери, чтобы оно по какой-то цепочке дошло до сына, — и он действительно через три года им все-таки ответил.

Он терзался тем, что так и не установил мраморную доску на могиле сестры, умершей от тифа, которым она заразилась от него же. «Главное, никто не просил, я сам напорился и до сих пор не сделал».

«В любви Олеше долгое время не везло, причем навряд ли это было связано с тем, что родители считали его „обреченно-некрасивым“. Волею судьбы на жизненном пути молодому поэту, а затем и начинающему писателю постоянно встречались девушки или даже девочки, которые покидали его, отдавая предпочтение другим».

В статье вообще много фактов, не вписывающихся в образ красивой беспечности — взять хотя бы одни только сцены выпрашивания или вытребования денег на пьянку...

Письмо жене после смерти Эдуарда Багрицкого: «Вот ты, например, пишешь: плакали об Эде. Я не хочу ни о ком плакать!»

В личных записках он вспоминал об этом еще более беспощадно.

«В годы зрелости мы разошлись, — и когда он смертельно заболел, я не придавал этому значения, и вышло так, что я, начинавший вместе с Багрицким литературный путь, стоял возле его гроба уже как чужой и любопытствующий человек <...> Мне, в общем, было все равно, что умер Багрицкий. Меня развлекала суэта похорон и смена караулов, а также немаловажным был для меня вопрос, будут ли снимать меня для кино, когда я стану в караул. Меня снимали, и было очень трудно стоять, чувствуя себя под взглядами публики и видя перед собой до дурноты желтое лицо покойника в узком пространстве между бортами гроба. От света юпитеров в глазах плыли огромные разноцветные круги, и я с трудом достоял до смены».

Из письма Виктора Шкловского жене Олеси Густавовне Суок: «Вылечить (очевидно, он имеет в виду водку) этого человека могла бы только удача и разрыв эгоистического кольца, в которое он печально и высокомерно себя замкнул» (1959 год; Олеша умер в мае 1960-го — «могила исправила»).

«В 1936 г., после появления в „Правде“ редакционной статьи „Сумбур вместо музыки“, направленной против Д. Д. Шостаковича, Олеша выступил на собрании московских литераторов с речью, резко осуждая высокоценимого им композитора за формализм». Среди прочего он припел и стремившегося к опрощению Толстого: Лев Николаевич тоже-де, скорее всего, подписался бы под этой статьей.

«В том же году он напечатал в мхатовской газете «Горьковец» отрицательную рецензию на постановку „Кабалы святош“ М. А. Булгакова, своего близкого приятеля».

Но это все, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. А вот когда требует...

Олеша уже в 1930 году, на гребне славы признавался в своем «беллетристическом бесилии» — он «остался поэтом в литературном существе: то есть лириком — обработателем и высказывателем самого себя. Фабула о чужих мне не дается».

Это теплее — насчет причины его затянувшегося молчания.

«Уже современники подмечали, что автор „Зависти“ мог писать только о себе, был замкнут в пределах собственной психологии и не готов переключиться на чужую точку зрения. Это делало писателя неповторимым и изначально обрекало его литературную карьеру на недолговечность: сколь бы ни была богата личность художника, неисчерпаемость ее — только миф. Когда в начале 1930-х гг. официальная идеология требовала от литераторов переключаться от тематики личной к общественной, Олеша не смог выполнить социальный заказ не столько потому, что был принципиально против, не хотел писать на чуждые ему темы, а сколько потому, что посторонняя жизнь мало его волновала, при этом набор внутренних эмоций и рассуждений с беспощадной быстротой иссякал, не пополняясь извне. Писатель все чаще повторялся, сам страшился нарастающей в нем пустоты, но не мог ничем ее заполнить. Конечно, раздражали и новые вкусы, и навязываемый материал, как видно из дневниковых жалоб: „Черт возьми, как трудно создать сейчас среду, в которой разворачивалось бы действие романа! На футболе? В университете? // Боже мой, так и там ведь крестьяне! // То, что на обложке «Огонька», — то курносое, в лентах, с баяном и с теленком — ведь оно же и всюду!“»

Это отчуждение отнюдь не политического характера, что бы об этом ни думали Белингов и его единомышленники. Вспоминаются скорее размышления Олеси о том, что еще в одесском детстве его манили заморские страны, а Россия представляла мрач-

ной и скучной, как проводники поездов, приходивших оттуда — из страны гимназических программ и принудительного патриотизма.

Романтизация реальности вместо ухода в экзотику и фантастику, где в те же годы обрел себя Александр Грин, — с этой задачей в какой-то мере справился, мне кажется, только Паустовский. А Олеша в конфликте «старого и нового» даже в своем шедевре — в «Зависти» — если «старое» изобразил хотя и эксцентрично, но сравнительно достоверно, то из реального «нового» в роман попали исключительно абстрактные размышления о природе социализма. Когда-то великий немецкий поэт опасался, что при социализме в стихи будут заворачивать селедку, но ему не приходило в голову, что при социализме и селедка может сделаться дефицитом. Воображение великого русского писателя тревожил оглушительный для поэзии и культуры скрип телег, на которых социализм повезет продовольствие для голодающего человечества, — и ему не приходило в голову, что через шестьдесят лет после победы реальному социализму придется разрабатывать так и не выполненную продовольственную программу. А к концу двадцатых важнейшей задачей выживания социалистического государства сделалась ориентированная на военное производство индустриализация, а вовсе не высококачественная телячья колбаса, чего не мог не понимать любой партийный функционер даже не столь высокого уровня, как Андрей Бабичев (колбасу до последних лет СССР развозили из столиц на электричках).

Иными словами, «Зависть» такая же сказка, как «Три толстяка», только значительно лучше загримированная под реалистическое произведение. Но в него попали из конфликтов реальности практически одни лишь ее декларации.

Пьеса «Список благодетелей» 1930 года тоже построена на декларациях, причем временами весьма смелых: «Современные пьесы схематичны, лживы, лишены фантазии, прямолинейны. Играть в них — значит терять квалификацию». Так говорит советская актриса Леля Гончарова, собирающаяся в Париж познакомиться с современной европейской культурой, посмотреть знаменитые кинофильмы, которые «мы, к сожалению, никогда не увидим здесь»...

И вот как пьесу оценил в том самом Париже Владислав Ходасевич в статье 1937 года (о «Зависти» Ходасевич отзывался очень высоко), — я бы попросил прощения за столь длинную цитату, если бы она не была так интересна.

«Парижская жизнь Олешей изображается, видимо, со слов советских путешественников. Известно, что эти путешественники свободнее себя чувствуют в Берлине, чем в Париже, и больше времени там проводят. Берлин более им знаком. Надо полагать, что именно по этой причине героиня Олеси, приехав в Париж, поселяется в пансионе, а не в отеле. Пансион содержится некоей госпожой Македон — такая фамилия по-французски филологически невозможна. Пансион настолько великолепен, что в нем имеются даже витрины с образцами платьев, изготавливаемых модными домами, — деталь, явно забежавшая в пансион из больших отелей.

Некая Трегубова, русская, уже *двадцать* лет содержащая модный дом в Париже и торгующая многотысячными платьями, сама развозит свои изделия по пансионам и предлагает их незнакомым покупательницам. Платья же возит она в одной из тех фанерных коробок, которых так много в России и которых мы никогда не видим в Париже. Служащие парижского полпредства собираются в кафе на „улице Лантерн“ — недалеко от полпредства. В разные времена в Париже было две рю де ла Лантерн: одна, на Сите, была упразднена в 1834 году; другая, в районе Бастилии, перестала существовать еще раньше — в середине пятнадцатого столетия. В кафе полпредские служащие заказывают чай, а когда к ним присоединяется дама, они угощают ее из той же порции. Все мы знаем, что скорее погаснет солнце, нежели хоть один гарсон допустит нечто подобное.

Список подобных несообразностей можно бы весьма увеличить, но это заняло бы много места. Довольно и этих — они достаточно свидетельствуют об осведомленности автора в том, что касается парижского быта. Разумеется, бытовые несообразности сами по себе не решают вопроса о художественном качестве литературного произведения. Общеизвестно, что промахи этого рода встречаются у самых замечательных писателей и даже в тех случаях, когда они изображают быт, хорошо им известный. Однако же в данном случае, когда речь идет о „Списке благодетелей“, с такими промахами не только приходится считаться, но их наличие даже становится одним из решающих обстоятельств в оценке пьесы. Дело в том, что она вся построена не на чем ином, как на противопоставлении мира пролетарского — миру капиталистическому, советской России — Западной Европе, Москвы — Парижу. Олеша, таким образом, сопоставляет два мира, два образа, два цикла явлений, об одном из которых имеет он представление самое фантастическое и вздорное. Незнание бытового уклада парижской жизни неразрывно переплетается у него с таким же незнанием обстоятельств порядка социального и политического. По несуществующим улицам расхаживают у него ажаны в черных пелеринах. Лишь только в частной квартире появляется советская гражданка — ажаны уже за дверью, что символизирует гнусную слежку капиталистического мира за советскими гражданами. Лишь только русский эмигрант (конечно, дегенерат и нравственный урод) производит случайный выстрел — ажаны уже появляются в комнате. Арестовывая стрелявшего, они тут же учиняют ему допрос и, грозя побоями и гильотиной, завербовывают его в провокаторы (на что он, конечно же, соглашается). Провокатор же нужен для того, чтобы расправиться с коммунистическим вождем Сантилланом, ведущим на Париж толпу безработных.

Меж тем как на город надвигается эта страшная лавина, весь Париж только и занят, что предстоящим „международным балом артистов“. В свою очередь, этот бал символизирует не только слепоту, легкомыслие и глупость капитализма, но и нечто худшее. Бал организуется здешней «ложей артистов» — «а кто дергает за веревочку?» За веревочку дергает банкир Лепельтье. „Его задавил кризис, он закрывает фабрики, но при скверной игре нужно делать хорошую мину, и вот он затеял бал. Понимаете? Это демонстрация мнимого благополучия. Там всякая сволочь будет, эмигрантские знаменитости, фашисты“. Зовут же этого Лепельтье не как-нибудь, а Валтасар, и, следовательно, им затеваемый пир будет пир валтасаров:

А деспот пирует в роскошном дворце,  
Тревогу вином заливая,  
Но странные буквы давно на стене  
Чертит уж рука огневая...

Очевидно, банкир до такой степени разорился, что может позволить себе только самую дешевую аллегорю!

Вот в этот-то несуществующий Париж и приводит свою героиню Олеша — и ставляет ее пережить длинный ряд приключений, в которых она познает всю мерзость и все гниение Запада. Но в том-то и беда, что в настоящем Париже (и нигде в настоящей Европе) с бедной Лелей Гончаровой не могло бы произойти ничего того, что с ней происходит в пьесе Олеша. Автор волнуется и негодует, а читателю приходится только пожимать плечами да улыбаться его незнанию. Героиня кончает героической смертью на баррикаде — но читатель знает твердо, что нет и не было ни этого города, ни этого бытового уклада, ни этого бала, ни всех этих людей, которые окружают Лелю, ни безработных, доведенных до последнего отчаяния, ни баррикад, — словом, ничего, чем мотивирована ее смерть и происходящий в ней душевный процесс. Остается только



неправдоподобная выдумка, политграмма в лицах, да еще — несурзная пьеса, в которой нельзя верить ни одному слову, ни одному жесту действующих лиц, в которой все сплошь притянута за волосы, все неубедительно, ни психологически, ни художественно. Тяжбу между Москвой и Парижем Олеша решает в пользу Москвы, но, если бы он, с его запасом сведений, решил ее в пользу Парижа — его суд был бы точно так же произволен и ни на чем не основан, ибо, прежде всего, ему неизвестны обстоятельства дела».

«Поставив себе целью оправдание советской власти, он мог только выдумать Лелю и выдумать всю ее историю, исказив правду о Леле, как исказил и выдумал все, что касается Парижа. Потому-то и пьеса его вышла ходульна, надумана и никому не нужна. Если есть в ней какая-нибудь подлинная драма, то это лишь драма самого автора. Видимо, в собственной душе силится он задавить, заглушить растущий в ней список преступлений советской власти. И, конечно, самый тяжелый, самый невыносимый пункт этого списка — та ложь, то постоянное насилие над собой, над своим искусством, над правдой этого искусства, над своей человеческой и художественной совестью, — которое принужден учинять писатель, отчасти за страх, отчасти за совесть ищущий оправдания этой власти. Олеша оплевал прекрасный город, которого он не видел, оплевал эмиграцию, которой не знает и которую знать не смеет, убил свою героиню ради спасения какого-то французского Сантиллана, хотя она ненавидит и своих собственных, русских, — и все это только для того, чтобы написать тенденциозную пьесу, в тенденцию которой он первый не верит, но изо всех сил старается убедить себя, будто верит. Без этой веры ему жить в Москве невтерпеж — а где взять эту веру? Вот в чем собственная его драма».

Но в «Списке благодетелей» все-таки есть и какая-то острота, и даже утонченность, а фильмы, поставленные по сценариям Олеша в тридцатые годы — «Ошибка инженера Кочина», «Болотные солдаты», — за пределами плоски и даже нелепы, особенно «Болотные солдаты», действие которых происходит в нацистской Германии, о которой Олеша тоже не имел ни малейшего представления. Тем более о нацистском концлагере.

Впрочем, о работе авиаконструкторов, окруженных иностранными шпионами, он знал немногим больше.

Вернее, о работе конструкторов он не знал всего лишь ничего, а вот о немецких концлагерях — меньше, чем ничего. По крайней мере, он изобразил не просто то, чего нет, но то, чего еще и не может быть, — чтобы перечислить все банальности и несурзости, пришлось бы пересказать оба фильма целиком.

Так что же, все-таки прав был Аркадий Белинков в своей изболочительной книге «Сдача и гибель советского интеллигента» (Мадрид, 1976; сокр. изд. — М.: 1997)?

«Он был слабым, жалким, талантливым человеком, и он ничего не открыл, чего не открыла бы история литературы, чего не открыли бы за него. Он не возражал времени и его искусству. Он всегда был согласен. Он ничего не нашел, ни на чем не настоял, ни в чем не переубедил никого. У него не было своего определенного и независимого взгляда на жизнь и не было равных отношений с миром. Он не спорил со Вселенной. Он лишь старался попасть в хороший полк».

«Юрий Олеша никогда не писал лучше и никогда не писал хуже, чем позволяли обстоятельства. Лучшие и худшие вещи Олеша совпадают с лучшими и худшими годами нашей жизни, с более темными и менее темными полосами нашей судьбы, с более трагическими и менее трагическими страницами нашей истории литературы».

«Юрий Олеша ехал в той же литературе и в том же направлении, в котором ехала вся отечественная словесность 30—50-х годов. Разница была лишь в том, что он не сидел в этом трамвае, держа на коленях толстый портфель, как это делали его потолстевшие коллеги, а висел на подножке, развеваясь, как флаг русского свободомыслия,

и изредка выкрикивал, что у него нет билета, что он едет в грядущее зайцем и что вообще он весь совершенно загаженный своей интеллигентностью».

«Юрий Олеша не был социальным пророком.

И потому что он не был социальным пророком, он и не стал великим писателем.

Великий писатель и есть социальный пророк, хотя он может вовсе не подозревать за собой такого и не видеть в этом своего назначения, и писать совсем не об исторических, а о геологических катастрофах».

«Человек, испугавшийся сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэтом и становится таким же ничтожным сыном мира, как и все другие ничтожные сыновья».

Что ж, быть может, отчасти и так. Но что делать поэту, который не говорит обществу правду не потому, что боится, а потому, что общество ему *неинтересно?*

Кроме разве что тех поэтических сторон, которые поэту в нем удастся разглядеть или выдумать. Или воспользоваться чужими выдумками.

Потому что поэту-сказочнику претит низкая, жестокая реальность, которая есть почти неизменное попрание мечты грубой силой. Не из этого ли отвращения к безжалостной земной вульгарности и проистекает то, что более «земным» людям представляется его эгоцентризм и беспринципность? Он публиковался во враждующих печатных органах, отдавал свои пьесы в соперничающие театры — не потому ли, что их расхождения представлялись ему одинаково скучными и антипоэтичными?

Ведь и в «Зависть» ничто скучное, ординарное не попало. Перечитаем хотя бы те самые «Избранные сочинения» 1956 года, вернувшие Олешу читателю после двадцатилетнего перерыва. В предисловии ветерана советского литературоведения В. Перцова, прошедшего и через РАПП, и через ЛЕФ и впоследствии получившего Госпремию за биографический трехтомник Маяковского, приводятся слова Константина Симонова, не только крупного поэта и прозаика, но и крупного литературного функционера: «Не „Зависть“ даровитого Олеси и не другие вещи этого же литературного ряда определили пути советской прозы и составили ее славу, а „Чапаев“ и „Разгром“, „Тихий Дон“ и „Необыкновенное лето“, „Цемент“ и „Белеет парус одинокий“».

После кратковременного взлета славы и всеобщей любви заблуждение функционеров продлилось недолго. Уже в Малой советской энциклопедии 1938 года об Олеше написано, что его ««новые» люди несут на себе печать сугубого делячества и ни в какой мере не являются положительными образами нашей действительности», а в Малой энциклопедии 1959 года Олеси и вовсе нет. И это примерно в то самое время, когда в оппозиционных кругах вызревали обвинения Олеси в политическом приспособленчестве...

Поймали птичку голосистую и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят: пой, птичка, пой!..

С правого фланга требуют воспевать, с левого — изобличать, а что делать птичке, чья душа устремлена не налево и не направо, а напрямик в небеса, кого волнует и воодушевляет только красота? Правильно я когда-то написал в «Романе с простатитом», что у искусства два врага: первый — ложь, второй — правда. В «Зависть» никакая правда, не преображенная творческой фантазией, просто не попадает. Когда Кавалерова не пропускают на аэродром к Бабичеву и он кричит обидчику: «Колбасник! Колбасник! Колбасник!», Бабичев реагирует отнюдь не обыденным образом: «Голова Бабичева повернулась ко мне на неподвижном туловище, на собственной оси, как на винте. Спина его оставалась неповернутой». А вот какой ему видится обыденная гигиеническая процедура: «Комната где-то, когда-то будет ярко освещена солнцем, будет синий таз стоять у окна, в тазу будет плясать окно, и Валя будет мыться над тазом, сверкая, как сазан, плескаться, перебирать клавиатуру воды...» Колокола у него воспевают какого-то Тома Вирлири. И «новый человек» Володя мечтает не просто служить индустри-

ализации, но прямо-таки самому сделаться машиной: «Зависть взяла к машине — вот оно что! Чем я хуже ее? Мы же ее выдумали, создали, а она оказалась куда свирепее нас. Дашь ей ход — пошла! Проработает так, что ни цифирки лишней. Хочу и я быть таким».

И любовь у этого спортсмена такая же четкая и вписанная в рабочие планы: «Что Валька! Конечно, поженимся! Через четыре года. Ты смеешься, говоришь — не выдержим. А я вот заявляю тебе: через четыре года. Да. Я буду Эдисоном нового века. Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой „Четвертак“. Да. Ты не веришь? У нас с ней союз. Ты ничего не знаешь. В день открытия „Четвертака“ мы на трибуне под музыку поцелуемся».

В «Заговор чувств», хотя бы во сне, вполне может попасть фантазия о фабрике-спальне, ибо в этой грезе есть свое величие: «Забудь слово „любовь“. Все кончено. Чего ты бесишься? Строится дом-гигант, громадный дом, фабрика-спальня. Две тысячи половых актов в день (фраза, вычеркнутая цензорами Главреперткома. — А. М.). А тебе что нужно? Восьмушки? Поцелуйчики? Поглаживания? Вздохи? К чертовой матери! Это кустарничество! Я трахну по поцелуйчикам. Вон! Я построю фабрику-спальню». Но невозможно представить, чтобы Олеша мог изобразить ту грязь и скуку в послереволюционных отношениях полов, какие мы находим у современных ему бытописателей, например, в недавней антологии «Маруся отравилась: секс и смерть в 1920-е» (составление, предисловие и комментарии Дмитрия Быкова; М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019).

Пантелеймон Романов, знаменитый рассказ «Без черемухи», из жизни *студентов*.

«У нас принято относиться с каким-то молодецким пренебрежением ко всему красивому, ко всякой опрятности и аккуратности как в одежде, так и в помещении, в котором живешь.

В общежитии у нас везде грязь, сор, беспорядок, смятые постели. На подоконниках — окурки, перегородки из фанеры, на которой мотаются изодранные плакаты, объявления о собраниях. И никто из нас не пытается украсить наше жилище. А так как есть слух, что вас переведут отсюда в другое место, то это еще более вызывает небрежное отношение и даже часто умышленно порчу всего.

Вообще же нам точно перед кем-то стыдно заниматься такими пустяками, как чистое красивое жилище, свежий, здоровый воздух в нем. Не потому, чтобы у нас было серьезное дело, не оставляющее нам, ни минуты свободного времени, а потому, что все связанное с заботой о красоте мы обязаны презирать. Не знаю, почему обязаны».

«Все девушки и наши товарищи-мужчины держат себя так, как будто боятся, чтобы их не заподозрили в изысканности и благородстве манер. Говорят нарочно развязным, грубым тоном, с хлопаньем руками по спине. И слова выбирают наиболее грубые, используя для этого весь уличный жаргон, вроде гнусного словечка „даешь“.

Самые скверные ругательства у нас имеют все права гражданства. И когда наши девушки — не все, а некоторые, — возмущаются, то еще хуже, — потому что тогда нарочно их начинают „приучать к родному языку“.

Заслуживает похвалы только тон грубости, циничной развязности с попранием всяких сдерживающих правил. Может быть, это потому, что мы все — нищая братия, и нам не на что красиво одеться, поэтому мы, делаем вид, что нам и плевать на все это. А потом, может быть, и потому, что нам, солдатам революции, не до нежностей и сантиментов. Но опять-таки, если мы солдаты революции, то как-никак прежде всего мы должны были бы брать пример с нашей власти, которая стремится к красоте жизни не ради только самой красоты, а ради здоровья и чистоты. И потому этот преувеличенно приподнятый, казарменно-молодецкий тон пора бы бросить.

Но ты знаешь, большинству нравится этот тон. Не говоря уже о наших мужчинах, он нравится и девушкам, так как дает больше свободы и не требует никакой работы над собой.

И вот это пренебрежение ко всему красивому, чистому и здоровому приводит к тому, что в наших интимных отношениях такое же молодечество, грубость, бесцеремонность, боязнь проявления всякой человеческой нежности, чуткости и бережного отношения к своей подруге — женщине или девушке.

И все это из-за боязни выйти из тона неписаной морали нашей среды».

«Любви у нас нет, у нас есть только половые отношения, потому что любовь презрительно относится у нас к области „психологии“, а право на существование у нас имеет только одна физиология.

Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно — на одну ночь. И на всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов».

Финал известен: как ни старается героиня хоть как-то опозитизировать первую встречу наедине с нравящимся ей молодым человеком, дело кончается практически изнасилованием.

«— Что в самом деле, какого черта антимонию разводите!..

И я почувствовала, что он быстро схватил меня на руки и положил на крайнюю, растрепанную постель. Мне показалось, что он мог бы положить меня и не на свою постель, а на ту, которая подвернется. Я забилась, стала отрывать его руки, порываться встать, но было уже поздно».

Какую красоту в этом мог бы высмотреть не только Олеша, но даже сам Шекспир? Николай Никандров, «Рынок любви».

«Бухгалтер одного из отделений Центросоюза Шурыгин, маленького роста, плотный, хорошо упитанный мужчина с очень идущей к нему большой прямоугольной бородой, делающей его лицо красивым, уже в третий раз безрезультатно обходил кольцо московских бульваров: Пречистенский, Никитский, Тверской...»

А ищет он сексуальную партнершу, которая когда нужна, появлялась бы, а когда не нужна, исчезала, обходилась недорого, ничем, упаси Бог, не заразила, а приевшись, исчезла бы без сцен и претензий. И вот бородатый толстячок находит даму из бывших, покинутую мужем с маленькими дочками и распродавшую все, кроме любви.

Они долго торгуются, она перечисляет свои расходы.

«— Хлеб... Дрова... Прачка... За электричество... За воду...

Она диктовала цифры в рублях, а бухгалтер четко повторял за ней и мысленно клал на счета, как в конторе, как в Центросоюзе».

И далее все так же детально прописано вплоть до расставания, когда бухгалтеру пригрезилось, что он способен прикупить партнершу помоложе, а эту сплавить коллеге (дело кончается полным конфузом).

И что здесь делать мастеру превращений красивого в еще более красивое?

Сергей Малашкин, «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь». К молодой женщине, еще недавно комсомолке-энтузиастке, приходит давно влюбленный в нее идейный друг, а она всячески демонстрирует ему свою прожженность: «Теперь все комсомолки курят, плюются через колено не хуже мужчин, обрезают волосы, ругаются и даже, чтобы не отстать от мужчин, стараются ходить... и тоже по-мужски». Друг старается не верить, что она такая и в самом деле, а она громко хохочет: «Не надо, другие поверят». А про себя дивится: «Неужели я его люблю? Неужели я еще могу любить после такого количества мужчин, которые разлили по моему существу отвратную оскомину, что я потеряла всякий вкус к красоте, к молодости, потеряла запах к цветам,

к весне?» — может быть, здесь это так и нужно для внутренней речи: потеряла запах, а не потеряла обоняние.

Далее картины разжиревших мелкокалиберных сановничков, перед которыми лебезят обыватели, уродец Исайка Чужачок, проповедующий, что «любовь до гроба» — отрывка собственнической культуры, а «новая любовь — это свободная связь на основе экономической независимости и органического влечения индивидуумов противоположного пола».

Женственность, еще не убитая в душе героини анашой и афинскими ночами, тянется к любящему привлекательному мужчине, и это в познавательном отношении любопытно, — но, Боже мой, какая скука! Не для меня или любого другого нормального читателя, нам это интересно, но для поэта, для сказочника!

Сергей Семенов, «Наталья Тарпова» (пьеса). Диалог коммуниста Рябьева с коммунистом Тарповой.

Рябьев. У меня к тебе „два слова“.

(Тарпова рисует пальцем.)

Рябьев. Я уж несколько дней все хочу...

Тарпова. Можешь не трудиться. Я уже знаю твои «два слова».

Рябьев (радостно хватая Тарпову за руку). Ногайло все-таки передала вчера?!

Тарпова (вырывая руку). Ровно ничего. Я знаю... без того. (С горькой иронией.) Я привыкла. „Товарищ Тарпова, ты мне нравишься, как женщина... давай жить вместе“. (Гневно.) Эти „два слова“ хотел сказать мне? Да? Отвечай!

Рябьев (растерянно). Но я...

Тарпова (передразнивая, с горечью). Но я... Но я... Ну, что я? (Впадая в иступление.) Ты — тоже, как все. Знаком две недели — и уже подходишь с „двумя словами“. А знаешь, сколько раз мне уже приходилось выслушивать вот эти самые „два слова“. Знаешь?

Рябьев (растерянно). Товарищ Тарпова...

Тарпова (в иступлении). Во-семь р-раз... Восемь раз ко мне подходили всякие «товарищи» с этими самыми двумя словами, с той поры как я сама стала то-ва-ри-щем Та-р-по-вой, членом партии, секретарем фабкома. Приходило тебе когда-нибудь в голову подумать об этом?

Рябьев. Товарищ Тарпова, я вовсе...

Тарпова (в иступлении). Тебе не приходило. Тебе не могло притти. Ну, а знаешь ли, как я могла, как я должна была отвечать этим восьми... Я каждый раз уступала им... Да, да! Я восемь раз уступила с того дня, как стала „товарищем Тарповой“. (С горькой иронией.) И как же могла я не уступить... Да ты мешанка, товарищ Тарпова! Да ты отстала, товарищ Тарпова! Да ты с буржуазными предрассудками!.. (С отчаянием.) И я думала, до сих пор думала, что те восемь — правы, а я в самом деле мешанка. (С неожиданной угрозой.) А вот девятый не хочу. Слышишь! Не хо-чу...

Рябьев (робко). Я тебя не принуждаю... В чем... дело?

Тарпова (умоляюще протягивая руку). Володя, милый! Все восемь говорили, что не принуждают. Но тут есть какое-то принуждение. Есть, Володя! (В порыве отчаяния.) Ну, как можно, встретив женщину два-три раза, тотчас подойти к ней и, опираясь на какое-то партийное право, сказать ей: ты мне нравишься, давай жить вместе?.. Как можно, Володя? (Со слезами.) От тебя, именно от тебя, я не ждала этого. Именно ты должен быть каким-то другим, непохожим на всех. За эти две недели, что ты у нас, я так поверила в тебя. Мне казалось, что наконец-то я встретила образец, которому можно подражать во всем: в работе, в жизни... Я тебе, Володя, завидовала и вместе с тем подражала. Когда ты выступаешь на наших собраниях, мне хочется отказаться от своего права мыслить самостоятельно, хочется соглашаться с твоими словами, не проверяя их,

следовать тебе во всем со страстью, без оглядки, не задумываясь, не рассуждая... А ты... Ты тоже... как все... как все... (Склоняется головой на перила площадки и плачет.)»

Это сквозная тема антологии — столкновение «пролетарского и мещанского», под маской которых на этот раз предстал извечный конфликт животного и человеческого. Ибо самое человеческое в человеке — его стремление ощутить себя чем-то большим, чем его тело. Этим стремлением порождаются религии, этим же стремлением порождается и любовь, которая отнюдь не дитя полового влечения, но сестра веры.

Столкновение животного и человеческого постоянно встречается в произведениях настолько маловысокохудожественных, у авторов столь слабо наделенных творческой фантазией, что трудно не поверить в правдивость их изображений, пусть и доведенных до мелодраматических финалов. В «Собачьем переулке» Льва Гумилевского студент и комсомолец Хорохорин, когда ему отказывает приглянувшаяся ему Вера, для восстановления душевного равновесия просит оказать ему в соседней операционной простейшую сексуальную услугу некрасивую однокурсницу Бобкову.

«Девушка вздрогнула, покраснела и уперлась в его лицо круглыми, удивленными и немножко перепуганными глазами.

— Хорохорин, ты с ума сошел? Ты о чем говоришь?

Он досадливо встряхнулся:

— Кажется, естественно, что я, нуждаясь в женщине, просто, прямо и честно по-товарищески обращаюсь к тебе! Анны нет. Что же, ты не можешь оказать мне эту услугу?!

Тон его голоса свидетельствовал о полной его правоте. Девушка растерялась от легкой обиды, звучавшей в его словах. Она отодвинулась.

— Фу, какая гадость! Ты за кого меня принимаешь, Хорохорин?

— Считал и считаю тебя хорошим товарищем! Ведь если бы я подошел к тебе и сказал, что я голоден, а мне нужно работать, разве бы ты не поделилась со мной по-товарищески куском хлеба?

Убийственная простота его логики поразила ее. Она съежилась, но затем возразила быстро, давая себе время подыскать и другие, более сильные возражения:

— Хорохорин, разве это одно и то же?

— Совершенно одно и то же. Такой же естественный, такой же сильный инстинкт, требующий удовлетворения.

— Послушай, — резко ответила она, — но ведь от голода люди умирают, болеют, а от неудовлетворения таких, как у тебя, скотских потребностей еще никто не умирал и никто не болел!

Он немного смутился, но тут же с не меньшей резкостью и силой оборвал ее:

— Физически — да, но душевное равновесие может быть потеряно. Это необходимо!

— Как водка привычному пьянице!

— Алкоголь не потребность...

— Потом он становится тоже потребностью, как и табак, и морфий, и кокаин. У меня вот нет этой потребности идти с тобой в операционную...

— Ты женщина. У женщин это не так важно...

— А ты мужчина, и если бы ты не распустил себя так, у тебя тоже не было бы такой потребности! Уберись от меня к черту, Хорохорин. Я с тобой не желаю говорить на эту тему.

Вооружившись такими доводами, она почувствовала свое превосходство и встала. Уходя, она добавила тихо:

— Не думаю я, что по-товарищески с твоей стороны подходить ко мне с такими разговорами. Это — безобразие!

Хорохорин посмотрел на нее с презрением. Все это цельное, как ему казалось, стройное, уравновешенное, материалистическое мирозерцание возмутилось в нем. Ме-

дичка показалась ему жалкой, трусливой, по-обывательски глупой. Он решительно дернулся с места, сжал кулаки, словно готовясь к реальной борьбе с каким-то врагом, и пошел прочь из буфета».

В конце концов его человеческая любовь к Вере, уже до омерзения нахлебавшейся свободной любви (поспешный аборт, искромсанные ручки-ножки нерожденного младенца...), доводит Хорохорина до смертоубийства, но это уже не так интересно. Интереснее то, что и здесь то и дело естественнейшие чувства культурного человека кто-то объявляет мещанскими. В «Содружестве» Ильи Рудина тоже находится умник, разъясняющий целомудренной девушке, что стыд всего лишь условный рефлекс и ей, чтобы не привлекать внимания парней, надо, наоборот, почаще появляться раздетой, в «прозодежде» Евы.

В принципе борьба высокого и низкого «на любовном фронте» могла бы заинтересовать Юрия Олешу, если бы она происходила не между столь вульгарными персонажами и не в столь вульгарных декорациях: советская действительность не пробуждала в нем отрадного мечтанья не оттого, что она была слишком деспотична, а оттого, что она была слишком некрасива.

Вот в «Строгом юноше» Олеша не побрезговал продемонстрировать чисто советскую победу в любви чистого скромного юноши над самовлюбленной знаменитостью. Но в каких декорациях это начинается!

«Сад.

Веранда.

Четыре прибора.

Нарядная сервировка.

Жаркий день. Движение листвы и теней.

Стрекозиная тень стекол на стенах.

Садом окружен дом.

Он представляет собой небольшое здание, построенное в современном стиле, легкое, белое, с обилием стекол».

Это вам не общага с несвежими постелями...

И фильм своей просветленной изысканностью оказался настолько контрастен реальности, что был так молниеносно запрещен, как будто власть увидела в нем упрек себе. Хотя Олеша пребывал в конфликте вовсе не с деспотизмом власти, а с антиэстетизмом едва ли не всего социального мироздания, и в «Строгом юноше» совершенно нет эротики — только свет и чистота.

Но если поэт отвергает реальность, то в этом приговор не столько поэту, сколько реальности.

Когда я показал эту статью другому мастеру поэтического гротеска Валерию Попову, он ответил мне так: «Я думаю, что если уж мотылек окунулся в говно, то так ему надо, для его таинственной химии, и две гениальных книги, в начале и в конце, достаточны, чтобы не судить Олешу и уж не жалеть. Нам бы так ошибаться! Сколько безупречных писателей пылятся в кладовках, вместе с их ушедшей правдой и даже актуальностью, а неправильный и грешный Олеша, цветок в навозе, на нашей полке всегда. Был ли у него правильный путь — не восхвалять Советы? Сколько уж было правильных, ругавших — и где они? Не в этом дело. Мотылек всегда правильно летит, хоть нам порой непонятно. Нам остается лишь любоваться и восхищаться».

Пожалуй, это самое правильное. Я бы добавил только еще два слова: и грустить.

Грустить о том, что мир, как выразился Зощенко, устроен не для интеллигентных людей.

---

---

Галина ЗАЙНУЛЛИНА

# ПРОГРАММИРУЮЩАЯ МОЩЬ КАЗАНСКОГО ТЕКСТА

(Символические реалии Казани  
в прозе В. Попова, А. Сахибзадинова,  
А. Хаирова, Д. Осокина и Р. Беккина)

## 1

«Казань — пересыхающая лужица / Куда-то навсегда отхлынувшей Азии...» [Беляев 1991: 14]. В чем уникальность этого города, ныне третьей столицы России, а в прошлом поселения Волжской Булгарии, затем центра Казанского ханства и губернского города Российской империи, наконец, столицы советской ТАССР? Не просто в билингвальности и бикультурности (этим в нашей многонациональной стране может похвастаться не один город). Пресловутая «би-особенность» имеет здесь свою специфику: события 1552 года оказали значительное влияние на казанскую ментальность, законсервировали Казань как зону вечного фронта — место встречи Востока и Запада, территорию, где через скрипучее сопряжение вырабатываются как диалог культур, так и культура диалога.

Статус Казани как структурно-семантического образования в русской цивилизации сопоставим со статусом Москвы и Петербурга; город изначально был объектом интенсивной культурной рефлексии, становился темой выдающихся произведений литературы, живописи, историософских размышлений. Следы казанского текста в русской культуре отчетливы: это обретение чудотворной Казанской иконы Божьей Матери; «изюмные времена» казанского периода жизни Льва Толстого; крылатая строка «Как время катится в Казани золотое» державинской «Арфы»; полевые изыскания истории пугачевского бунта Александра Пушкина; духовное рождение Максима Горького; «прекрасное видение столицы Красной Татарии» Владимира Маяковского; неевклидова геометрия Николая Лобачевского, сделавшая Казань локусом, где «пересекаются параллельные».

---

Галина Инисовна Зайнуллина родилась в 1956 году в Казани. Окончила Новосибирский государственный педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы в средней общеобразовательной школе, редактором отдела прозы журнала «Идель» ОАО «Татмедиа». Кандидат искусствоведения (РАТИ-ГИТИС), автор диссертации «Элементы соц-арта и пост-соц-арта в татарском драматическом театре на рубеже XX—XXI вв.». Член Союза театральных деятелей РФ. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Юность», «Идель». Живет и работает в Казани.



Само название города — «Казань» — существует как элемент общекультурной топики. Оно произошло от татарского «казан», «котел». Согласно одной из легенд, это был казан, без огня закипевший на месте основания города; согласно другой — шестипудовый котел, в качестве символа богатства и изобилия закопанный старухой Туйбикой в облюбованном для поселения месте. Таким образом, топоним «Казань» существует как свернутый в точку имени образ котла, готовый развернуться в идею парадоксально искривленного пространства, в котором существуют особая, не совпадающая с историческим потоком, темпоральность и возможность пересечения несоединимого — Запада и Востока. «Казань — котел.../ В огромной сей посудине / Все варится — и деготь и шербет» [35], — подтверждает поэт.

К тому же историческое ядро Казани как раз имеет вид котловины: в центральной части возвышенности находится длинная и глубокая впадина, вытянутая с юга на север, отделяющая кремлевский бугор от Старого Городища. За пределами ядра ландшафт исторической части имеет другую особенность: гряда казанских холмов изрезана оврагами, ежегодно изменявшими направление от весеннего таяния снегов и дождевых потоков. Потому в Писцовой книге Казани 1556 года некоторые улицы так и именовались: «на горе», «под горой», «за оврагом», «на вымле», «на щели», «над боераком» и т. п. [Худяков 1990: 253–254].

Казалось бы, низкий левый берег Волги не самое выигрышное местоположение для стольного града, тем не менее импритинговое воздействие казанского ландшафта на аборигенов велико. Ведь семиосфера локального текста абсорбирует не только события местной истории и архитектурную среду, но и характерные формы природного ландшафта — любая их частность потенциально может войти в парадигматику текста. Река, холм, овраг, лес — все это не только природные формы. Равным образом они существуют для нас как символические формы культуры, действующие формы нашего воображения и восприятия: любая возвышенность существует для нас в природной данности и одновременно является «осевым», «полярным» символом [Генон 1997: 352], а овраг — «олицетворением враждебной силы» или «обиталищем жизни и смерти» [Суханова].

Не случайно именно в Казани явилась миру неевклидова геометрия Н. Лобачевского, потому что, отмечается в повести «Дорога на Астапово», «Казань — хитрый город. География его непряма, и недаром его прославил знаменитый ректор казанского университета» [Березин 2010: 39]. Сказался «ландшафтный детерменизм», по мнению автора, и в выборе жизненного пути Л. Толстым: «На его пути вырос один из самых странных городов империи — не холодный чертеж Петербурга, не мягкая, как грудь кормилицы, мать городов русских, не баранки-кольца и самоварные храмы Москвы. Именно Казань формировала и формовала Толстого зычными криками Востока» [40]. Что касается студента В. Ульянова, то здешний рельеф настолько задурил ему голову, что его вышибли из университета через три месяца после поступления: «И после этого он нигде уже не учился. Даже он оказался слишком нормальным для этого города. Казань перекрутила его, и он пошел по жизни ушибленными пересекающимися параллельными, исключенными точками. Вынула Казань из Володи пятый постулат <...> и настали потом всем квинта и эссенция и полный перпендикуляр» [40].

## 2

Так что, как ни крути, а без понятия «школа местного колорита» [Рогонова] каши в «котле» не сварить. Потому определимся в понятиях и под литературой казанского колорита будем понимать художественные произведения, созданные авторами, для которых репрезентация своеобразия Казани играет решающую роль; ее признаки свя-

заны с сознательным обращением к самоценным описаниям природы, быта, обычаев территории, а также к истории края, воспринимаемой в сентиментальном ключе и в виде регионального мифа. Такого рода тексты, как правило, создают те, кто родился в Казани, причем в исторической части города, и с малых лет впитал неповторимый состав ее почвы, воды, воздуха и визуальной среды.

Что интересно, писатели XIX века страдали «ландшафтной глухотой» в отношении Казани. В рассказах Горького и его повести «Мои университеты» описываются пустыри и грязь; внимание сосредотачивается на подвальных пространствах: кабаках, ночлежках, пекарнях. Это объясняется тем, что с 1880-х годов в восприятии и репрезентации Казани стали проявляться черты обобщенного провинциального города, сложившегося в многочисленных версиях критического реализма. Его характеризуют «засасывающая вязкость жизни», чувство обреченности, которое пронизывает существование людей, господство рутинного над творческим [Абашеев]. Таким образом, в произведениях Горького Казань предстает лишь как один из вариантов города N, выстроенного по умозрительному шаблону.

Казанская специфика в полной мере сдетонировала в литературе лишь к концу XX века. Иначе, нежели у Горького, выглядит район улиц Ульяновых — Волкова — Калинина (Первая, Вторая и Третья Гора) в прозе Санкт-петербургского писателя Валерия Попова. Первые шесть лет жизни он провел на улице Айвазовского, в прошлом Поперечно-Горской, — пересекающей все три Горы. Складки и впадины, изрезавшие плато «трехгорья», сделали здешнее пространство многомерным, вмещающим много значимых исторических событий и славных имен: В. Хлебникова, А. Пушкина, М. Горького, Е. Пугачева. В романе «Горящий рукав» В. Попов пишет: «Но сразу же, как кот, я научился находить теплые местечки, где почему-то хорошо. Еще Казань с ее таинственными оврагами, где жили татары в низких хижинах, намагнитила меня» [Попов 2006: 34].

В неоконченном автобиографическом романе «Ленд-лизовские. Lend-leasing» В. Аксенов ностальгирует по лесопарку «с оврагами, тайнами и авантюрами», который находился рядом с ЦПКИО им. Горького: «Весной, в половодье, на дне оврагов разыгрывались сцены по мотивам джек-лондоновского романа „Мятеж на Эльсиноре“. Плавали на плотках из оторванных в Подлужной калитках. Летом там происходили битвы между мушкетерами короля и гвардейцами кардинала на шпагах, но с участием только что построенных катапульта» [Аксенов 2010: 11].

### 3

Значительно обогатить парадигмальный словарь казанского текста, конечно же, способен тот писатель, что прожил в Казани большую часть своей жизни.

Таков Айдар Сахибзадинов. В его рассказах и повестях произошло двоение Казани, попытка начать город в новом месте: антихолм, антитеза Кремлевскому холму, выскочил Аметьевской горой. Первоначально здесь располагалась деревня Аметьево. Татарин по фамилии Ахмет (Амет) стал жить на Аметьевской горе. С течением времени это место стало заселяться мусульманами, от чего и произошло название Амет-тавы — Аметьево [Бикбулатов 2004].

После завоевания Казани Грозным сюда пришли русские. Поселок расширился, и дома начали строить под горой, там, где топь, болото. Русские в старину такие места называли «калуга». Постепенно название этих мест перешло на гору, которая стала называться Калугиной. Как всякая казанская возвышенность, она была испещрена сетью оврагов. В 1960-е, годы строительного бума, город обошел новостройками Калу-

гину гору. Поэтому поселок Калуга, имеющий «физиономию обычного захоlustья», оказался деревней в центре города.

Так в прозе Сахибзадинова на противостояние Кремлевского и Калугина холмов наложился универсальный характер противопоставленности города деревне и широкий спектр связанных с этой базовой оппозицией характерологических черт города: механистичность жизненного уклада, искажение нравственных основ существования, лихорадочный темп жизни, одиночество в многолюдии и т. п. [Абашеев]. В поселке, на макушке города — благодать слободского уклада, а ниже, «в мире инопланетян, — низкой холод и смог с припадочным светом реклам».

Калугина гора высится над старым городом, «как спина кита», а Сахибзадинов на своей «макушке» чувствует себя жрецом и делает Калугу центром мироздания. «Да, именно здесь была ось земли: здесь, за кустом смородины, вставало вселенское солнце и садилось именно здесь, за твоей яблоней» [Сахибзадинов 2006: 104]. Находясь в своей усадьбе, писатель испытывает чувство полноты бытия: «Ты блаженствовал, как римский император, что ушел от бранных государственных дел в деревню выращивать капусту, — и представлял, как в тогах, словно банщики в простынях, плачут за калиткой и зовут тебя к трону сенаторы...» [104]. В рассказе «Вот милый с горочки спустился» Калуга в лице повествователя бросает вызов самому семиотически напряженному участку казанского пространства — Кремлевскому холму: «...низкая крыша твоей избы, если смерить по-плотнички пальцем, на два ногтя выше церкви Богоявления и по третий ярус башни Сююмбике. Ты горд этим. И, проходя мимо чужого сарая, непременно врежешь по дощатой стене пяткой, чтобы там, внутри, громынула висячая ванна...» [101].

События казанской старины Сахибзадинов предсказуемо выводит на калуженскую орбиту. В посещении Пушкиным Казани акцентирует отъезд поэта из города утром 8 сентября 1833 года: «Сам выезд Пушкина из Казани пролег в верховьях Калуги, у истоков оврагов близ Арского поля, через деревню Аметьево. Историческая пыль аметьевской дороги... Той осенью она была грязью. Поскрипывая, местили ее колеса пушкинской брички. Где-то здесь вольнолюбивый бард обронил надушенную записку от местной поэтессы Фукс, зная, что в эти края никогда не вернется...» [36].

Размышляя в рассказах над влиянием ландшафта на калужан, писатель выделяет их отличительную черту — в разговоре многие из них глядят поверх головы собеседника. Это «надовражный» или «верхотурный» синдром: «Эдаким взглядом обладает тот хозяин, у кого подворье выходит задами в овраг. И, прохаживаясь в своих владениях, хозяин этот всегда поглядывает выше изгороди, в заовражье. Такая у него потребность. Как у моряка — взгляд за борт, в море. Забьет мужик гвоздь — и глянет, прищемит палец — и глянет. На верхушки берез, на облачко. И отсюда в разговоре он как будто невнимателен, смотрит выше, и порой кажется, что на голове у тебя что-то лежит или даже сидит» [34]. В одиночестве же взгляд калужанина задумчив и долог: «Долог, как синяя даль над оврагами, над станционной рощицей. Эта визуальная перспектива после городской суеты, выхлопов, давки для него — как отдушина. И он наслаждается жизнью — шурит глаза...» [34].

Детерминированность персонажей прозы Сахибзадинова особенностями рельефа местности отмечала и критик М. Аввакумова; по ее словам, нешуточные страсти в произведениях писателя бушуют, «как на какой-либо фантастической планете, в казанских оврагах и заовражьях» [Аввакумова 2001].

Как видим, в прозе Сахибзадинова единицы «казанского словаря»: «Кремлевский холм» — «Калуга», «статусная возвышенность» — «маргинальная низина» (исторически в верхней части города селилось дворянство, в нижней — рабочий люд) — сущест-

вуют не изолированно друг от друга, а взаимодействуют, образуя антиномичные и синонимичные пары, подвижные комбинации, своего рода квазиповествования.

В рассказе «Неевклидова геометрия памяти» [2009: 68–74] им актуализирована одна из самых частотных единиц «казанского словаря» — «неевклидова геометрия». В нем Сахибзадинов для осмысления закономерностей человеческой судьбы привлекает постулаты теории Лобачевского. Рассказ можно сравнить с множеством линейных историй, конгруэнтных, незамкнутых, «вогнутых в сторону параллельности пучка». Вообще, композиция произведений, написанных в последние годы, все реже моделирует протяженность событий во времени и пространстве; с целью концентрационного выражения человеческих судеб прозаик, ведомый изощренной писательской памятью, использует прием рядоположенности разных временных пластов.

#### 4

В пешей доступности (в направлении центра) от писательской Атлантиды Сахибзадинова расположен «дикий остров» другого замечательного писателя — Аделя Хаирова. Речь о Суконной слободе. В начале XIX века в символическом поле Казани она становится синонимом дна жизни и соперничает в репрезентации города с антонимичной ей — на противоположном берегу озера Кабан — благопристойной Старо-Татарской слободой. Именно трущобы Суконки научили стойкости, жесткости и великодушию великого певца Федора Шаляпина, чему свидетельством его признание после скандала в Парижской опере: «Плакали, обнимались, наконец пошли все вместе ужинать и предали сей печальный инцидент забвению, как это всегда бывает в Суконной слободе. Суконку мы всюду возим с собой!» [Хаиров 2007: 61].

С этим когда-то неблагополучным районом Казани связаны детские годы Хаирова, а воспоминания о них вложены в уста Крадуба — нарратора повести «Суконкин сын»: «Суконка вся как-то сползла с горы, — улицы здесь так и назывались — 1-я гора, 2-я, 3-я. Но моя улица под самой горой именовалась — Тихомирнова. Когда местная шпана затевала драку, то обычно говорили: „Тихо-мирно разберемся!“» [49].

В царские времена тут стоял Горлов кабак, прозванный так оттого, что «народ здесь любил драть горло разными похабными песнями»: «Именно сюда заживал Пушкин с гусиным пером за ухом и походной чернильницей-непроливашкой, чтоб записать рассказы старожилы о Пугачеве...» [49]. Легендарного кабака будущий писатель, разумеется, не застал, зато приохотил своего alter ego к прогулкам около кинотеатра «Победа», построенного на его месте с псевдоисторическими портиками и гипсовой лирой на крыше.

Но более всего мальчика манил к себе Шамовский овраг: «На его склонах американские клены разрослись так, что образовывали, как в тропиках, одну сплошную разветвленную крону, не хватало только диких обезьян. Зато крыс здесь обитали целые полчища. Летом 1970 года воры загрызли местного вора Лябика, который выиграл в карты бешеные деньги и посреди ночи решил срезать путь по дну оврага...» [49]. Другой легендарный вор, по кличке Эфиоп, любил там читать книжки, сидя на удобной, как кресло-колесо, кленовой ветви; если книжка была интересная, не спускался до самого заката, если скучная — делал самолетики из страниц и перед запуском подпалывал зажигалкой.

Надо сказать, воровская элита «дикого острова» времен социализма в чем-то облагородила криминальные нравы прежних насельников — рабочих Суконной мануфактуры, основанной в 1714 году. По утрам воры употребляли исключительно боржом, а когда солнце переваливало за полдень, на столе под сенью старого клена появлялись «темно-зеленые кегли дешевого яблочного вина». Языки у мужчин развязывались,

и можно было услышать много интересного: «Емелька-то прятался после того, как сделал ноги из казанского острога, во-она в той яме на первой горе, куда Васька на прошлой неделе ..бнулся, когда мы его за бутылкой посылали». — «Да не Васька, а Мансурыч!» — «Мансурыч тоже успел... А когда через годик Пугачев пришел Казань брать, то полез он во-она оттуда... Вишь? Вон, тропка по дну оврага бежит, там где еще раньше армянское кладбище было...» — «Да не армянское, а немецкое!» — «А хотя бы и еврейское» [49].

Спустя десятилетия Хаиров стал свидетелем конца Суконной слободы. С горечью повествует он, как пригнали технику, развели большие костры: «Бревна, как косточки, жалобно трещали, легко рассыпаясь, сверху летели песок и стекла. Крепкие молодые с оскалом работяги штурмом брали дом за домом, с недовольством обходя лишь маленький краснокирпичный домик, некогда светящийся аквариумами, с умоляющей надписью „Здесь еще живут!“» [61].

Тем не менее, несмотря на реновацию в связи с празднованием 1000-летия Казани, Суконка на заветной карте города по-прежнему существует, правда, радикально преобразованной: по улице Тихомирнова протянута автомобильная трасса, вдоль нее стоят элитные высотки; от уничтожения спасен единственный деревянный дом — архиепископа Иоасафа Удалова: разобран по бревнам и перенесен; над зданием бывшего кинотеатра «Победа», ныне тюза имени Кариева, по-прежнему плывет среди облаков гипсовая лира; рядом воздвигнут помпезный Театр кукол «Экият», похожий на торт. Шамовский овраг наполовину засыпан, по нему пущена двухполосная автомобильная дорога. Склоны облагорожены дерном и декоративным кустарником, горят фонари. На их гривке стало заметнее здание Шамовской больницы из красного кирпича — дар городу в 1913 году купца 1-й гильдии Якова Шамова. Ныне она продана малазийской компании «Aliran Adaman» и превращается в пятизвездочный «Kazan Palace».

Деисторизация казанского пространства — свершившийся факт, и для прозаика Хаирова это несомненное зло: «Казань старательно замазывает свое природное своеобразие, свою изюминку, как родинку на лице, толстым слоем пудры» [64]. Даже облака теперь проплывают над ней, как ему видится, надменно — не касаясь города, «отторгнутого Востоком». Поэтому темой его следующих произведений — поэм в прозе «Завязь» и «Казань—Курочки» — становится энтропийная убыль архитектурного наследия на примере двух старинных особняков — дворянского и купеческого.

Но есть и иное отношение к обновлению городской среды. Уроженец Ташкента писатель Евгений Абдуллаев считает: «Музеефикация истории города, его архитектуры разжижает кровь, мешает снять в музейном предбаннике войлочные тапочки и насладиться плодами внеисторического времени <...> лучшая литература возникает на руинах» [Зайнуллина 2007: 44].

## 5

В пользу последнего мнения говорит творчество представителя молодой плеяды прозаиков Казани — Дениса Осокина. Он родился в поселке Брикетном, «вдавленном в болота», школьные годы провел в безликом спальном районе Квартала, построенном на месте осушенных камышовых зарослей и озер. Именно созерцание красот правобережья Казанки сделало из Осокина рефлектирующего наблюдателя, который чувствует символику казанского пространства как в границах исторического ядра, так и далеко за его пределами.

В тексте «Город К. Почтамтская улица. Кислицыну Валентину» писатель отчетливо ощущает контраст Университетского и Кремлевского холмов, его чреватость нарративным напряжением: комплекс зданий Казанского университета как символ Разума

и Прогресса соперничает здесь с кремлевской доминантой, падающей башней Сююмбике и минаретами мечети Кул-Шариф. Контрастное соположение двух архитектурных ансамблей на прямой улице Кремлевской (в прошлом Воскресенская, Ленина, для автора — окказионально Почтамтская) является фразой казанского текста.

Писатель прочитывает ее как «мистический гребень города»: «В этом месте на Почтамтской улице из города К. выходит живой нерв и привязывается к хребту существования. Очевидно, такое место имеется в каждом городе — и его стоит искать. В этом месте возможно очень многое. Если уничтожить всю Казань, но оставить маленький квадрат этого места — то город не уйдет из небесных каталогов» [Осокин 2007: 16–17].

Таким образом, писатель осмысляет Кремлевскую не как градостроительное воплощение истории и предназначения Казани быть перекрестком цивилизаций Запада и Востока. Доминантой ее он делает «нерв» Главпочтамта, расположенный посередине, то есть радикально деидеологизирует оппозицию, по сути снимает, а горизонталь «Запад — Восток» заменяет на вертикаль «проявленное — потустороннее».

Основное внимание в этом тексте Осокин уделяет районам, которые до него не поэтизировались. В его Заветной карте упоминаются Зилантов холм — второй нерв Казани; улица Гагарина — площадка для гадания о любви; другая улица Гагарина в селе Борисоглебское на Сухой реке — резерв первой, для самых заветных вопросов, связанных со здоровьем и смертью; Птичий рынок на улице Белинского в Соцгороде, чей директор — воскресенье, «которое многие потеряли еще в детстве». В Парке Урицкого (он же Парк моторостроителей), согласно Осокину, следует прогуливаться по трубе, идущей от ТЭЦ, как по высокой набережной, — здесь можно услышать море. В поисках самого веселого казанского дома лучше отправиться на Лынокомбинат: в нем полно чердачников, застенников, подлестничных — это множество мертвых, сохранивших веселость, а комендант там — детский писатель 1920-х годов Абдулла Алиш. Необходимо соблюдать осторожность на улице Сакко и Ванцетти, бывшей Поперечно-Мокрой: она самая печальная в городе, а ее дом № 3 — «общезитие городских фигур, разочарованных и неистребимо скорбных».

Наиболее духоподъемными писатель считает северные городские окраины — «труднопроходимый лабиринт городских тайн». Отправиться туда на трамвае № 10 от Каравеево до Жилплощадки все равно что нестись кромкой Ледовитого океана: «Эти края — альтернативный центр города, неизвестный северный эквивалент всем известной старой Казани. Пространство, прошиваемое десяткой, — несжатое поле художественных открытий» [17–23].

## 6

Как видим, историческая жизнь места (локуса) сопровождается «непрерывным процессом символизации», результаты которой закрепляются в топонимике, фольклоре, исторических повествованиях, наконец, в художественной литературе [Абашеев]. Таким образом формируется локальный текст культуры — вместилище эмблем и символов, — который с точки зрения семиотики можно рассматривать как особый вид текста, определяющий наше видение места, отношение к нему; в нем многое — от легенд о возникновении Казани до инсталляций современных художников. Много, но не все. Локальный текст отнюдь не всеобъемлющий тезаурус местной культуры.

Тайна семиозиса велика есть. Например, в процессе внутреннего расщепления теории Лобачевского — на собственно научную суть и ее означающую поверхность — граница между территориями геометрии и семиотики прошла по поверхности неевклидовой геометрии, укоренившись в общественном сознании фразой о пересекающихся параллельных. Хотя Лобачевский при исключении пятого постулата Евклида основывался

на иной аксиоме: «На плоскости через точку вне данной прямой проходит более одной прямой, не пересекающей данную» [Лаптев 1976: 77]. Математик доказывал, что «параллельные прямые в направлении параллельности неограниченно сближаются <...> В направлении противоположном это расстояние неограниченно возрастает» [80]. (Напомним, ученый разработал свою воображаемую геометрию в пространстве с постоянной отрицательной кривизной, что отсылает нас к образу котла и топониму «Казань».)

Тем не менее фраза о пересекающихся параллельных в качестве означающего начала свое собственное движение в культурном поле. В казанской поэзии она используется как метафора личности Казани, непредсказуемых свойств его пространства: «Город студентов, / Знающих, / Что параллельные — сходятся» [Беляев 2009]. Похоже, как всякое коллективное бессознательное, казанское сродни условной домохозяйке в требовании удобоваримой упрощенности и структурирует значащие элементы по своей синтагматической логике.

Потому закономерен вопрос: что из художественных открытий Сахибзадинова, Хаирова и Осокина приживется в стабильной сетке семантических констант, станет доминирующими категориями описания Казани и начнет программировать этот процесс в качестве матрицы новых репрезентаций?

## 7

Интересно проверить программирующую мощь казанского текста на примере литературного творчества Рената Беккина, коренного ленинградца, для которого Казань никогда не была духовной Меккой и столицей всех татар. В возрасте 30 лет, уже будучи известным востоковедом, доктором экономических наук, он в 2010 году приехал в Казанский федеральный университет для организации первой в новейшей истории России кафедры исламоведения в светском вузе. «Все вокруг казалось мне необычным, — говорит Беккин о своих первых впечатлениях от столицы Татарстана, — это другой мир. Раньше, кроме как в Москве и Петербурге, я подолгу нигде не жил».

К тому времени Беккин уже являлся главным редактором литературно-философского журнала «Четки», организатором премии «Исламский прорыв» и написал детективный роман «Ислам от монаха Багиры», где в популярной форме изложил некоторые положения ислама и мусульманского права, ставя во главу угла просветительскую задачу. Ну а общей целью всех этих начинаний было заявить о таком течении в российской словесности, как мусульманская художественная литература.

В статье «„Исламский прорыв“: мусульманская литература в поисках идеологии» Р. Беккин отнес к таковой те произведения, где за тематическую основу берутся злободневные для ислама и мусульман проблемы. В манифесте оговаривалось: «Мусульманская литература — в полном смысле качественные поэмы, стихи, романы, повести, рассказы и др., а не однобокие нравоучительные притчи с идеальным положительным героем и “смазанными” отрицательными персонажами...»

Неудивительно, что идеолог нового течения поначалу не воспринимал Казань как культурно-природное пространство с особой био- и семиосферой: ему были не важны отношения природы и культуры — их оппозиция или же, напротив, гармоничное сочетание. Герои повести «Аскар и его брат» [Беккин 2013] существуют в стерильной, лишенной метеосоособностей и казанских символических реалий среде. Причиной тому, скорее всего, неосознанное желание автора скомпановать с Казанью экзистенциологему «обретение мусульманской веры», ведь в повести рассказывает историю о том, как два брата Аскар и Данис пришли к исламу — каждый своим путем: первый традиционным, а второй радикальным, что привело к трагическому исходу обоих.

Однако символические ресурсы Казани не могли не включиться в процесс самоидентификации Рената Беккина как диаспорного татарина. Поэтому осознанное отношение к месту, где под его руководством происходило становление российского исламоведения, стало актуальной задачей писателя, и эта актуальность не исчезла даже после 2015 года, когда казанский период его жизни закончился.

Так что же из «некоего синтетического сверхтекста», по Топорову, спровоцировало трансляцию региональных клише в казанском цикле прозы ленинградца? В первую очередь свернутый в точку имени образ котла. Чему подтверждением название его детской повести — «Приключения мальчика Степки в городе Котлове». О каком Котлове речь, становится понятно с первых страниц по доминанте казанского силуэта — башне из темно-красного кирпича, похожей «на перевернутый кверху ногами вафельный рожок от мороженого» [Беккин 2018: 117].

Овладевает Беккиным и идея мистического парадоксального пространства, в котором существует особая, не совпадающая с историческим потоком темпоральность. В полной мере она развернулась в краеведческом фэнтези «В поисках Баумана». Здесь расследуется таинственное исчезновение 2,4-метрового памятника большевику, в честь которого названа главная пешеходная улица Казани; в конце 1930-х годов он был установлен на Кооперативной площади (сейчас Тукая), но простоял в центре недолго. Из-за активного транспортного движения его вместе со сквером в 1937 году перенесли на Арское Поле, к старому зданию ветинститута. Там бетонный памятник находился до 1998 года, пока не подвергся нападению незадачливых охотников за цветметом, которые снесли скульптуру голову.

По информации некоего Блонда, который выдает себя за потомка незаконнорожденного сына Баумана, акт вандализма могли совершить местные ваххабиты: «Они же считают, что изображения людей — мерзопакостное дело, грех» [Беккин 2013а: 121]. Выплескиваясь за рамки жанрового определения «казанская быль», Беккин доводит мистификацию до предела: якобы революционер перед смертью прошептал что-то типа «Ля ляхи илля ляя» — то есть принял ислам. Более того, оставил после себя тайную книгу, в которой рассматривал социалистическую революцию как промежуточный этап на пути к революции исламской.

Гротескностью фантастического допущения автор дает понять, что мотивирован вовсе не делом исламского призыва в литературу, главное для него в этой «быличке» — передать ощущение миражной природы Казани. Квинтэссенцией ее является улица Петербургская, которая вопреки законам логики является продолжением Баумана, — подарок Санкт-Петербурга к 1000-летию Казани. Она вызывает отторжение нарратора: «Бог весть из чего слепленные здания-уроды», «шутовские мостики», «ротонда — глупейшая пародия на Казанский собор, как если бы тот вдруг провалился по самый купол под землю вместе с колоннами и Кутузовым и Барклаем-де-Толли в придачу». Воспоминания об усадебно-особняковом прошлом улицы, носившей до 2004 года название Свердлова, для рассказчика реальнее шутовских декораций: «Пушки, которые никогда не стреляли даже по воробьям, и якоря, которые никогда не знали вкуса ледяной морской воды. Назвать все это уголком Петербурга в Казани может только тот, кто совсем не любит ни Казани, ни Петербурга...»

Так же реально по сей день неизменное присутствие на площади Тукая бетонного Баумана со знаменем наперевес. В финале рассказа деятель РСДРП из тайного становится явным на погибель искателю разгадки его тайны. Художественная правда в жуткой развязке есть, потому что исчезнувший Бауман «выстрелил» на площади в 1985 году другим «каменным гостем» — величественным изваянием революционера Мулланура Вахитова (в народе «Нео» из-за развевающегося длиннополого плаща).



Тут самое время уточнить, что казанский текст существует в двух, причем лишь частично совпадающих вариантах, — русском и татарском, которые входят в метатексты русской и тюркской культур. Соответственно, и сама Казань до 1917 года имела две выраженные части городской застройки: русскую — аристократическую и купеческую — в верхней части Казани и татарскую — в Закабанье, за протокой Булак, — где с XVI века жили лояльные иноверцы. Здесь сформировался уникальный ансамбль татарской архитектуры, ныне стараниями реставраторов превратившийся в историко-культурный заповедник «Старо-Татарская слобода».

В свете этого понятно, почему Беккин при построении хронотопа не ищет вдохновения в высокой горной части Казани — там семиотическое пространство православно-мифа (пусть без сакрализации ландшафта в словосочетании «казанское семихолмие», аналогичного римскому, константинопольскому и московскому). Налицо писательская интенция подвергнуть инверсии устойчивую антонимичную пару казанского словаря, сделав низину статусной, а возвышенность маргинальной.

Сам Беккин поселился в 2010 году в Приволжском районе. Героев своих повестей и рассказов тоже прописал в низовой Казани и разыграл там значимые события их жизни. Так, рассказчик «В поисках Баумана» квартирует около завода «Нэфис Косметикс», производящего бытовую химию, на правом берегу озера Нижний Кабан. Зуфар абый — чудаковатый преподаватель арабо-мусульманской философии (и герой одноименной повести) — живет в типовой девятиэтажке на улице Эсперанто. Судьбоносная встреча автора с очаровательной африканкой Хавой в повести «Хава-ля» случается в Старо-Татарской слободе на улице «с мягким названием Сафьян» [Беккин 2014: 6]. Наконец, сквозной персонаж «Казанских историй» Женя в рассказе «Слабый иман» получает представление о должном сватовстве из книги, приобретенной им в мусульманской книжной лавке на улице Парижской Коммуны; в «Укусе джинна», понукаемый необъяснимой агрессией бродячей собаки, он в течение дня вынужденно читает Коран в окрестностях Ботанической.

На «Казанских историях» следует остановиться особо как на самом удачном, на наш взгляд, цикле рассказов Беккина. Он хорошо проработал в цикле этих рассказов одну из составляющих казанского текста, образующегося в условиях двуязычия, а именно эндемики — «слова, характерные для данной местности, отдельного этноса <...> не имеющие широкого хождения» [Шафаринская 2010: 140]. Для казанской русской речи характерно обильное употребление тюркизмов, татарских словечек, — посему их наличие в литературе казанского колорита не может маркироваться как ориентальный экзотизм. Беккин понимает это ограничение и поэтому именно в использовании эндемической лексики проявляет уверенную мастеровитость.

Вот, к примеру, Асия («Аскар и его брат») в волнении перескакивает с русского на мишарский татарский в разговоре с мужем Мансуром: «Конечно, неплохо, с девками блян гулял, развлечения анда направо-налево, а монда в хорошую семью попал... Освоился. Ряхат» [Беккин 2013: 11]. А вот Женя из «Казанских историй» обсуждает с женой Нурисей возможность появления в доме второй жены: «Жаным, тут... нейсе... дело такое... одна девушка предложила мне... как бы... жениться на ней. Ради Аллаха». — «Что-о-о?!» — «Но она собирается принять ислам и ...» — «Что-о-о?!» — «Ислам». — «Пусть принимает!» — «Но она хочет сделать это после того, как выйдет замуж». — «Бетеч! Почему же не до?» — «Говорит, у нее иман слабый». — «Что у нее слабое? Дай мне ее номер. Будут тут всякие сучкалар тебе лапшу на уши вешать. Я ей растолкую все на счет имана» [Беккин 2016: 140].

Текст «Казанских историй» снабжен ссылками и примечаниями к татарским эндемикам, где автор с удовольствием дает пояснения к каждому из них, в частности, выражению «подлинная усал» в отношении Жениной супруги: «Усал — прилагательное,

не имеющее точного перевода на русский язык, но одинаково хорошо понимаемое всеми жителями Казани. Служит для обозначения татарских женщин. Иногда ошибочно переводится как „злой (злая)“. Обладательница определения „усал“ обладает непростым властным характером» [Беккин 2016: 140].

Конечно, у читателей, живущих за пределами Татарстана, неизбежно возникнет вопрос, на который они не найдут ответа в комментариях: почему молодой мужчина с русским именем является истовым мусульманином и имеет жену Нурисю? Но пуститься в «объяснялово» по этому поводу: мол, парень из смешанной семьи, тут это обычное дело, — значит губить текст, Беккин, освоившийся в Казани, хочет подать особый русско-татарский человеческий состав этого города как не подлежащую обсуждению данность. Потому мусульманские клише благопожелания и соболезнования: «Аллага шекер», «урыны джанната булсын», «ва алейкум ас-салам», «рамазан мубарак!», «альхамдулиля», — которые он влагает в уста Жени, звучат органично, без назидательного пафоса и ущерба для жизнелюбивой атмосферы историй.

Симптоматично, что в последней своей повести о Казани-Котлове (с которой начался разговор о литературном творчестве Беккина) писатель наконец допускает своего персонажа, маленького героя Степку, в верхнюю часть Казани — на улицу Волкова, Вторую гору.

## 8

В данной статье мы не ставили задачей выявление всех элементов казанского текста, составивших его словарь (парадигматический уровень). Ограничившись описанием нескольких значимых элементов на примере творчества наиболее значимых местных прозаиков, попытались выявить его программирующий потенциал в художественном освоении Казани Р. Беккиным, порождение новых работающих смыслов. Как видим, казанский текст — живая и действенная инстанция, организующая не только отношения человека и среды его обитания, но и преобразовывающая ментальность, эмоциональную сферу, творческие стратегии. Стоит лишь осознанно отнестись к месту собственной жизни, как непременно возникнет стремление искать «формулы Казани» и размышлять о «казанской идее».

Это плодотворно в нынешней ситуации не только по причине краха символических структур советского геопространства, а уже главным образом из-за изменившегося отношения локального сообщества к месту своей жизни: все чаще молодежь заявляет о своей потребности уехать из родного города и искать лучшей доли за рубежом. Усиление «казанской матрицы» в этой ситуации, ее намагниченность литературными шедеврами может стать одним из факторов сдерживания печальной тенденции.

## Литература

1. Абашеев В. В. Символы и мифы Перми. К изучению семиотических аспектов территориальной идентичности // [http://prometa.ru/projects/ecognito/1/copy\\_of\\_2](http://prometa.ru/projects/ecognito/1/copy_of_2)
2. Аввакумова М. Н. Это страшное слово — любовь // Литературная Россия. — 2001. — № 14.
3. Аксенов В. П. Lend-leasing. Дети ленд-лиза // Октябрь. — 2010. — № 9. — С. 4–102.
4. Беккин Р. И. Аскар и его брат // Нева. — 2013. — № 1. — С. 9–35.
5. Беккин Р. И. В поисках Баумана // Нева. — 2013. — № 8. — С. 113–123.
6. Беккин Р. И. Казанские истории // Нева. — 2016. — № 8. — С. 131–148.

7. Беккин Р. И. Приключения мальчика Степки в городе Котлове // Нева. — 2018. — № 12.
8. Беккин Р. И. Хава-ля: (Путешествие в Сомалиленд): повесть. — М.: МГИМО-Университет, 2014. — 160 с.
9. Беляев Н. Н. Воз воспоминаний стихи разных лет. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1991. — 80 с.
10. Беляев Н. Н. Казанская тетрадь // <http://newlit.ru/~belyaev/4032.html#n0>
11. Березин В. С. Дорога в Астапово // Новый мир. — 2010. — № 11. — С. 36–45.
12. Бикбулатов Р. И эрудиты ошибаются // Казанские истории. — 2004. — 28 июня.
13. Генон Р. Символы священной науки. — М.: Беловодье, 1997. — 494 с.
14. Зайнуллина Г. И. Выше лучших помыслов горожан он парит... // Идель. — 2007. — № 4. — С. 37-38.
15. Зайнуллина Г. И. Молодые голоса СНГ // Идель. — 2007. — № 12. — С. 42–46.
16. Лаптев Б. Л. Н. И. Лобачевский и его геометрия: Пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 1976. — 112 с.
17. Осокин Д. С. Казань. Город К. Почтамтская улица. Кислицыну Валентину // Идель. — 2007. — № 12. — С.16-23.
18. Попов В. Г. Горящий рукав // Звезда. — 2006. — № 5. — С. 5–57.
19. Рогонова Е. Н. Поэзия дальнего запада второй половины XIX века и проблема регионализма в литературе США. <http://www.dissercat.com/content/poeziya-dalnego-zapada-vtoroi-poloviny-xix-veka-i-problema-regionalizma-v-literature-ssha>
20. Сахибзадинов А. Ф. Октябрьские груши. — Казань: Татарское кн. изд-во, 2006. — 239 с.
21. Сахибзадинов А. Ф. Неевклидова геометрия памяти // Казань. — 2009. — № 2. — С. 68–74.
22. Суханова И. А. Лейтмотив оврага в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» энциклопедия статей // <http://www.majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/lit/so/31906916.html?page=2>
23. Хаиров А. Р. Суконкин сын // Казанский альманах. — 2007. — № 3 — С. 38–108.
24. Худяков М. Очерки по история казанского ханства. — Казань: Фонд ТЯК, 1990. — 310 с.
25. Шафаринская Э. Ф. Ташкентский текст в русской культуре. — М.: Арт Хаус медиа, 2010. — 304 с.

АНТОН РАТНИКОВ

## С ЛЮБИМЫМИ ДРАМАТУРГАМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

В начале февраля в Петербурге (тут нельзя сказать отгремел — это не по-володински, нужно подобрать какой-то другой глагол) прошелстел очередной Володинский фестиваль.

Так получается, что Володин любим многими поколениями не только ленинградцев и петербуржцев, но и вообще россиян. Фактически классик. Только вот классик едва ли известный за рубежом. Не зря организаторы фестиваля говорили о том, что на других языках Володина ставят редко — не понимают. О чем это? Для кого?

Зато мы понимаем. И эту тоску в глазах Ильина, и мечущегося Митю, и бегущего в неизвестность Бузыкина. Может, и ставят в других странах его редко, потому что Володин, как по большому счету и Пушкин, — это «явление для внутреннего пользования»?

Популярность Володина не тускнеет с годами, но и нельзя сказать, что акции его растут. Скорее, это хорошо известная константа. Некий ординар, на который могут равняться молодые драматурги. Достаточно по-володински сработано или нужно еще оволодинить этот текст?

Есть даже мнение, что «Осенний марафон» — пример идеального во всех отношениях кино. Это вроде и массовая комедия, и при этом — высокое искусство. Как такого добиться? Рецепт наши современные кинематографисты ищут. Но до сих пор не нашли.

### ПОСЛЕДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ?

Самое удивительное, что при всех этих вистах и при всем понимании — насколько крупная фигура была перед нами, фестиваль, по словам его руководителей, в этом году собирался тяжело. Денег, как всегда, не хватало. Субсидии от правительства города вроде как обещаны, но придут только летом, поэтому приходится все делать в долг. Так бывало и раньше, но теперь организаторы, по словам, например, Марины Дмитриевской, просто устали от непосильной ноши, какую им приходится нести. И в своих предфестивальных интервью они, не собираясь сглаживать углы, говорили о том, что вполне возможно — этот фестиваль последний.

«„Пять вечеров“, по-моему, — единственный в России фестиваль, который 15 лет существует без определенного базового бюджета, без единой штатной единицы и без

---

Антон Александрович Ратников родился в 1984 году в Ленинграде. В 2014 году окончил Высшую школу режиссеров и сценаристов. Входил в шорт-лист Волошинского конкурса, лонг-лист премий «Дебют», «Русский Гулливер». Публиковался в альманахе «Взмах», журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Аврора», «Кольцо А». Лауреат премии журнала «Нева» за 2014 год. Участник XIV Форума молодых писателей России, стран СНГ, зарубежья. Член Союза журналистов Санкт-Петербурга.

собственного помещения. Пятнадцать фестивалей сделать из воздуха, „на коленке“ — это очень большие усилия. Караул устал», — говорила Дмитревская в колонке «Петербургского дневника».

Ну последний или не последний — это еще бабушка надвое сказала. Может быть, это такой ловкий ход — мы-то не знаем. Однако к своей важной вехе фестиваль пошел в хорошей форме, играя мускулами. Караул, может быть, и устал, но дело свое сделал, как всегда, мастерски.

Достаточно взглянуть на афишу.

В этом году фестиваль — если смотреть на его программу со стороны — вовсе не выглядел как «последний», «завершающий» или еще какой-то там.

За пять дней (точнее — вечеров) горожане могли увидеть 10 спектаклей, 11 кинопоказов, 3 лекции и еще несколько читок пьес начинающих авторов — это тоже важная часть Володинского фестиваля.

### МОРЕ. СОСНЫ. ЛЮБИМЫЕ

Открылся он, пожалуй, необычно — спектаклем «Ганди молчал по субботам». Эта пьеса Анастасии Букреевой рассказывает о наших днях и о добром пареньке, который привел домой малопонятную и даже загадочную бездомную женщину. Видимо, появление спектакля в программе вполне можно было объяснить каким-то особым мироощущением, похожим на мироощущение Володина.

Московский областной театр кукол привез спектакль «Мойры Петроградского района». Учтывая, что сам Володин долгие годы жил на Петроградке, и по сей день многие знавшие драматурга люди с замиранием сердца ходят по Каменноостровскому проспекту, ожидая, что из-за угла неожиданно выглянет Володин, спектакль пришелся к месту. Во всех смыслах.

«Две стрелы. Детектив каменного века», кажется, выбивается не только из стройной фестивальной линии, но и из самого творчества Володина. Детектив! Да еще и каменного века! В 1989 году эту пьесу экранизировала Алла Сурикова. Фильм не стал классикой, но у спектакля вполне возможна иная судьба.

Третий вечер был посвящен «Фабричным», 307-я студия подала его в характерном володинском ключе, и «Шпаликову» Ельцин-центра. На последний спектакль достать билет было проблематично. Потому что Шпаликов. И потому что Ельцин-центр. Пьесе о непростой жизни талантливого драматурга в советской России написал не Володин, а Ринат Ташимов. Но, глядя на спектакль, можно запутаться. Да и Шпаликов как будто говорит со сцены володинским голосом. Сам Володин когда-то ярко высказался о своем друге: «Как зависит дар художника от того, на какой максимум счастья он способен! У Шпаликова этот максимум счастья был высок. Соответственно, так же глубока и пропасть возможного отчаяния».

На четвертый вечер «Море. Сосны» Михаила Угарова идеально легли в канву фестиваля. Там тоже про середину 60-х. «Слезы капали» многие знают по фильму Данелии, но режиссер Роман Габриа рискнул изменить концовку. В кино, как мы помним, был хеппи-энд. В современной трактовке, решил молодой режиссер, заплакать герой не может. Поэтому концовка получилась грустной.

На сцене «Театра на Васильевском» показали и актуальную «Иранскую конференцию» Ивана Вырыпаева, правда, превращенную здесь в моноспектакль. Вырыпаев на Володина если чем и похож, то только первой буквой «В» в фамилии. Но в сознании современного российского интеллигента занимает примерно то же место, что в сознании советского занимал Володин.

«С любимыми не расставайтесь» латвийского театра «Йорик» оставил приятное послевкусие. Нельзя сказать, что это прямо какой-то новый поворот истории или неожиданный ракурс. Мужчина любит жену, но подозревает ее в измене, они расходятся... Такое могло случиться и в Италии, и в Непале. Но у латышей зато нашлось место заигрыванию с залом, романтическим песням под гитару и пианино. И даже почти настоящему трамваю, который парил над сценой.

Закрылся же фестиваль показом под названием «Оттепель» — тут, конечно, лучшего названия придумать было, пожалуй, невозможно. Правда, это был не совсем спектакль, а скорее — музыкальное действо по популярным песням 1960-х годов.

Зал долго аплодировал и требовал исполнение на бис.

### **ПРОПИТАЛИСЬ ВОЛОДИНСКИМ ДУХОМ**

Кроме внутреннего наполнения, блистало и наполнение внешнее. В Театре на Литейном, где расположилась основная площадка, все было пропитано, как принято говорить, «володинским духом». В фойе установили вполне себе советский буфет. Продащицы привычно хамили. Сок стоил 40 копеек, водку наливали в граненые стаканы. «Какое чудо!» — говорили довольные зрители.

Володинский фестиваль дотянул до юбилея. Володинского. И почти своего. «Пять вечеров» проводят уже 15 лет. Фестиваль за эти годы менялся. Но в центре действия всегда оставалась трогательная фигура Володина. Он и сейчас смотрел на гостей со всех плакатов в фойе театра и как будто обезоруживал всех своей мягкой интеллигентной улыбкой.

О личности Володина написано уже столько, что добавить какие-то слова сложно. Все будет казаться нелепицей, вчерашними новостями, дубляжом.

Но все же попробуем.

Кто-то из великих сказал: для володинских героев понятие о чести было ежедневным.

Как и для него самого.

Человек, который обновил советскую сцену в поздние 50-е и в каком-то смысле стал предвестником зарождающейся «оттепели», он позже оказался под ударами тех, кто обвинял его в несоответствии стандартам соцреализма. Он этим стандартам и правда не соответствовал.

Он был великим драматургом, но был вынужден в какой-то момент уйти в кино. Почему в кино? Это была большая индустрия, и казалось, что она сможет его защитить от ударов судьбы, от нападков начальства. Так и вышло. Кино защищало, давало возможность работать. Осиротел ли театр без Володина? А Володин без театра? Зато сколько приобрело кино!

Он ушел от нас в 2001 году, когда закончилось и советское, и постсоветское, а начиналось что-то новое. Как будто подвел черту под целой эпохой.

Без него Петроградка будто осиротела. Холодный ветер гонял полиэтиленовые пакеты по улицам. Должно было пройти еще сколько-то лет, чтобы созрела какая-то новая поросль. Появились значимые драматурги. Свято место ведь не бывает пусто. По крайней мере, продолжительное время.

### **БУЗЫКИНЫ ВСЁ БЕГУТ**

Изменилось ли как-то восприятие Володина? Устарел ли он?

Пожалуй, нет.

Даже более того — обрел новую силу.

Об этом говорят многие. Вот, например, худрук Театра на Литейном Сергей Морозов: «За эти годы фигура Володина, его творчество стали весомее. Потому что на отдалении видится, насколько глубокая и точная координата задана в его творчестве».

«За годы фестиваля Володина стали ставить все больше и больше. Это не только наша заслуга, это его заслуга. Потому что та ирония, та жалость к человеку, понимание человеческого несчастья — это редкий химический состав в нашей жизни. Поэтому мы Володина и сохраняем», — говорит Марина Дмитриевская, художественный руководитель театрального фестиваля «Пять вечеров» им. Александра Володина.

Размышления Володина, который писал о проблемах «маленьких людей советской страны», вдруг начинают пронзительно звучать на театральных сценах и в наши дни. Взять пьесу «С любимыми не расставайтесь», которую в Театре на Литейном показывал латышский театр. При том, что никто не переносил действие в современную эпоху, все выглядит так, будто это история о каких-нибудь хипстерах с улицы Рубинштейна. Молодая семья, живет вполне себе отдельно, без родителей. Жена остается переночевать у модного фотографа — вполне реалистичный ход. Муж теряет к ней доверие и «в связи с утратой доверия» подает на развод. Они разъезжаются, он встречается с кем-то еще, а потом понимает, что, в общем-то, другие ему не особенно и нужны. И даже антураж остается примерно такой же, ну если только отбросить авоську, с которой прогуливался главный герой. Да и значку в книгах сейчас уже никто не оставляет.

То же самое можно сказать и о других историях Володина. Та же «Горестная жизнь плута», трансформировавшаяся в процессе работы в «Осенний марафон», смотрится ультрасовременно. Мосты все так же разводят. Датские профессора приезжают. Бузыкины куда-то бегут, бегут. Разве только вытрезвители отменили, но, ходят слухи, хотят вернуть.

Такое стопроцентное попадание автора, конечно, неспроста. Тексты Володина пришиты к времени невидимыми нитями. Пьесы и сценарии — они ведь о человеческих отношениях. Все эти любовные треугольники, ромбы и параллелепипеды были всегда и будут более-менее всегда.

Что же касается фестиваля, то, несмотря на минорное настроение его организаторов, хочется верить, что он все же останется на орбите петербургской культурной жизни. Потому что если его не будет, то пустоту нам трудно заполнить. Как до сих пор люди, знающие Володина, ощущают ту пустоту, которая вскрылась рядом с ними тогда, когда стало понятно, что его больше нет. Надежда на продолжение фестиваля есть. Кажется, что, как и любовные треугольники, он тоже будет всегда.

---

---

Вера ХАРЧЕНКО

## НА ПОДСТУПАХ К ТЕАТРУ, ИЛИ ИНСТИНКТ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

Вы любите переодеваться? Нет-нет, не в домашнюю одежду после работы и не в выходную форму, тем более в парадную, а переодеваться гротескно, эффектно, меняя свой образ, даже ломая его? И когда это было, в детстве? О да, сейчас много чего есть, но вот чего нет, так это карнавалов, таких, чтобы шествовало по улицам множество людей, и все были одеты в разные костюмы, и всем было весело, как это бывает в некоторых государствах, в той же Бразилии. Мне все время кажется, что здесь мы существенно отстаем от других стран. «Наряд меняет нрав мой» — слова из драмы Шекспира. Немного побыть другим человеком, почувствовать себя актрисой, великой актрисой?

Зримый праздник наряда на сцене хорошо понимала Матильда Кшесинская. В ответ на упреки, что балерина играет даже нищенку Пахиту в ожерелье из крупного жемчуга и бриллиантовых серьгах, Матильда Феликсовна объясняла это тем, что публика пришла посмотреть на танец ведущей балерины, а вовсе не на нищие лохмотья (В. Вульф).

Оказывается, переодеваясь, можно жить еще интереснее, чем ты живешь. Начать играть. Столько интересных преданий об одежде хранят семейные родословные. Вот одно из них:

Еще в нашей семье сохранилось предание, что прапрабабушка до самой смерти была большой модницей и у нее была такая огромная шляпа, что дворнику приходилось открывать ворота, чтобы она вошла во двор, потому что поля головного убора были шире калитки... (В. С. Чаплыгин, 2004).

Сможем ли мы своим собственным примером особой одежды восхитить окружающих? *Какой ты нарядный, а мог оборванцем скитаться. / Ты сердцу приходишься братом, а зренью — наградой* (Б. Ахмадулина). Как хорошо сказано: стать наградой тому, кто на тебя взглянул!

---

Вера Константиновна Харченко родилась в Калинин (Тверь), окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного национального исследовательского университета. Автор более 600 научных работ и пяти поэтических сборников. За двухтомный «Словарь богатств русского языка» в 2004 году удостоена медали ВВЦ (ВДНХ). Живет в Белгороде.



А наша речь? Жизнь порой заставляет нас быть актерами и актрисами. Я знаю женщину-инженера, которая свою любовь к внучке выражала, перевоплощаясь в родное существо.

[Маше меньше месяца:] «Ой, мамочки мои! Я плачу! Ребятушки мои! Машаня вас зовет, а они читают, читают...» Ой, пойдем у мамы ам-ам просить!.. «Да, лежу тут бедный, никому не нужный! Носки мокрые! Вот полежите в мокрых носках!» Сейчас мы маме позвоним: «Мама, ам-ам! Понравилось в магазине гулять!» (10.10.12). [Внучке 10 месяцев] Что такое? У Машаника ничего нет! А мы еще шутим: «Машук на свои денежки квартиру купила». Одеваюсь скромно. У вас тут два ноутбука, а у меня скромная маечка и квартирка! <...> [Быстро уснула на руках] Это я так устал! Намотался за день! (11.07.2013).

Эти записи — капля в море того, что было пропущено, того, что мы не зафиксировали. Каковы причины частотных перевоплощений? На наш вопрос, откуда возникло это искусство перевоплощения в любимого младенца, женщина-инженер рассказала, как часто говорила за годовалого Колю по просьбе семилетней дочки. «Аля говорила: „Когда ты за него говоришь, я его люблю!“» (05.05.2013). В лингвистике это называется речевой маской, маской, то есть это тоже театр! Вот женщина пеняет сыну-школьнику:

[От покраски ограды на могиле в Волчанске остался растворитель в бутылке, и таможенники заинтересовались им.] Колька говорит: надо было выкинуть! Я говорю: «Ты, кормилец, так не говори!» (24.08.2012).

Всего одно слово «кормилец», а ситуация экономии заиграла всеми красками! Я с интересом следила и за другими людьми. Кое-кто изображает неграмотного крестьянина, другой — школьника, третий — капризную девицу. Ролей много!

[Монолог мужчины, г. Славянск. в поезде:] Я вот ворую-продаю! Купи «Вишни в шоколаде»! Я тринадцать лет ворую-продаю! Давай деньги, я пойду! Ворую для них, стараюсь! Я честным трудом ворую-продаю! (05.12.2004). [Хозяин дома 57 л. приглашает домочадцев и гостью к столу:] Занимайте места согласно купленным билетам! (14.12.2014).

Элемент театральности, даруемый другим людям, привносит в обычную речь свободное цитирование отрывков из художественной литературы.

Помню, аспирантка, учитель-словесник из Читы даже по совсем незначительному поводу свое удивление не раз выражала словами городничего из рассказа Чехова: «Сними-ка, брат Елдырин, с меня шинель! Что-то жарко стало!» А вот как среагировала профессор-методист, когда студенты начали наконец-то сдавать свои отработки: «Зашевелились гитлеровцы вдруг!» «На первом ряду еще слушают, а вот сзади Вася пел, Борис молчал, Николай ногой качал» — это тоже из преподавательских воспоминаний о лекциях на спортфаке.

Ладно, особая одежда, особые речевые обороты — это все на любителя, не самый заметный вариант театрального перевоплощения, но есть и более серьезный, более масштабный проект, начинающийся в глубинах веков. Не этому ли посвящено признание Александра Мелихова?

Бабушка Феня немедленно вступилась: «В ей хороший нос!» — «Так это же ваше выражение!» — «Ну?...» Не придавать значения собственным словам представ-

лялось мне верхом безнравственности, мне казалось, нравственность — это просто любовь к истине. Только сейчас я начал понимать, что мораль противоположна истине: истина должна изгонять противоречия, а мораль, наоборот, вбирать их как можно больше в своем стремлении защитить всех и каждого. Поэтому добрый человек не может быть последовательным, а последовательный — добрым. Я выбрал последовательность (Новый мир, 2001, № 9. С. 22). «Ослепла от горя». Ее неизменно отпаивают водой и выводят под руки — я каждый раз заново дивлюсь, сколько же театральности в простом человеке. Лишь теперь я понял, что театральное воображение — это и есть первобытная стихия человека, которую цивилизованность вовсе не развивает, а только гасит (Там же. С. 23).

«Я иногда спрашиваю себя, почему театр не только приковал к себе мое внимание, но заполнил целиком все мое существо? Объяснение этому простое. Действительность, меня окружавшая, заключала в себе очень мало положительного. В реальности моей жизни я видел грубые поступки, слышал грубые слова. ...Глубоко в моей душе что-то необъяснимое говорило мне, что та жизнь, которую я вижу кругом, чего-то лишена. Мое первое посещение театра ударило по всему моему существу именно потому, что очевидным образом подтвердило мое смутное предчувствие, что жизнь может быть иною — более прекрасной, более благородной». Это уже слова Федора Шаляпина из книги «Маска и душа». Заменяем в них «грубость» на «обыденность» и согласимся с автором.

Книга, которая в свое время стойко держала позицию бестселлера, называется «Игры, в которые играют люди». Вспоминается детство. Те, кто посерьезнее, девочки, хотели стать врачами-учителями, но абсолютное большинство их мечтало о карьере артистки. И вот она — взрослость, зрелость. Вам предложили новую должность. Прекрасно! Вы врач (или учитель). Но это значит, что вы должны играть (именно играть!) свою новую роль, и если вы плохо играете — значит, вы и живете вполне, работаете слабее своих возможностей.

У Эпиктета читаем: «Подумай о том, что ты являешься актером в драме и должен играть роль, будь она велика или мала. Если ему угодно, чтобы ты играл роль нищего, постарайся и эту роль сыграть как следует, то же относится к любой другой роли — калеки, государя или обыкновенного гражданина. Твое дело — хорошо исполнить возложенную на тебя роль». Дело вовсе не в том, чтобы навсегда смириться с одной ролью, а в том, чтобы, пока ты эту роль играешь, делать все как можно лучше, «продолжать накапливать в жизни добро» на том месте, куда тебя поставила судьба (Наука и жизнь, 2006, № 6. С. 79).

И это жизнь! Вы играете, а эффект вот он, перед глазами, эффект сейчас, в сиюминутной жизни. Так что мы ходим в театр еще и как в школу.

Наш дом тоже своего рода театр, только не всегда и не всем заметный. Сиюминутное, повседневное, обыденное (продукты закончились, в школу вызывают, мужа что-то долго нет) в нем налицо. А важное, великое скрыто.

Все великое мы видим очищенным от быта, и только величайшее из чудес, восхождение человека предстает перед нами одной лишь закулисной своей стороной. Семья противоположна театру: в театре быт за кулисами, а на сцене высокий дух; в семье на сцене — быт, а за кулисами домашних явлений дух. И человек растет не в тех дрязгах и раздражениях, что на виду и на слуху, а в чем-то невидимом и как бы не существующем для многих из нас — в духовной жизни, в духовной атмосфере, в развитии своего духа, под влиянием духа народа и семьи (С. Л. Соловейчик. Педагогика для всех).

В театре ситуация обратная: там на первом плане великое, трепетное, то, что заставляет стучать сердце. Почему нам бесконечно дороги те самые вечера, когда мы выразительно читали со сцены (обычно это были стихи!) и, читая, превращались мысленно в своих героев. Понимание театра через слово оборачивалось пониманием себя в новой, взрослой роли. «Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете» Н. С. Тихонова... «Но — очень уж темпераментно написано! Завораживает...» А «Вересковый мед» — баллада в переводе С. Я. Маршака звучит еще сильнее оригинального текста. Немного жаль, что это искусство выразительного чтения сейчас не в чести. Впрочем, при поступлении в театральные вузы все еще требуется прочитать басню, стихотворение, прозаический фрагмент. «Человек живет словами, и надо знать, в какие минуты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова» (Н. С. Лесков). Знакомые слова? Мне — нет, почему я и выписала это выражение. Театр заставляет нас вслушиваться в слово, в то самое, которое часто бывает закрытым от нас.

Сцена, моменты театральной жизни (именно моменты, мы говорим не об артистах даже!) чрезвычайно важны. Вот что пишет об этом Геннадий Хазанов:

Прежде всего, **благодаря театральной сцене** я стал изживать страхи! Это мощнейший для меня фактор — освобождение. Вообще изживать страхи — это мощнейшее... Мне совершенно все равно, сколько будут улыбаться (Радио России, январь 2019).

Театральный режиссер Владимир Владимирович Мирзоев (в 1989 году уехал в Канаду, в 1993 году вернулся в Россию, отец троих детей, лауреат премии Фонда И. Смоктуновского) вспоминал: «У нас же воображение богатое, как тайга. Поэтому, кстати, и театр в России так интересен всем — от мала до велика. (Не только в смысле возраста, но и в смысле статуса.) Потому что в театре спрессованы все тексты, все фактуры, все времена» (Книжное обозрение, 17 апр. 2000 г. С. 5). «То есть драматург обязан быть на уровне современного театрального языка. А язык театра очень сложен. Это, по сути, поэзия, причем поэзия, которая разворачивается сразу в нескольких плоскостях. Выбирая текст, я должен учитывать и тех, кто ничего не понимает, и тех, кто понимает кое-что, и тех, кому надо дать чрезвычайно рафинированную пищу. И это все моя публика, они все приходят на мой спектакль и сидят плечом к плечу» (Там же). «В Шекспировском театре стояли плебеи, сидела аристократия, то есть аудитория в себя включала все слои общества. Следовательно, Шекспир, когда писал пьесу, неизбежно чередовал высокую поэзию с низкой прозой. Диапазон в его пьесах — от рафинированной философии и психологии до грубых балаганных шуток» (Там же).

Так что театр — это не просто слово. Это подпитка наших усилий стать выше самих себя, это наша пассионарность. Приведем еще одну цитату о театре.

Самое эфемерное из всех искусств — театр. В архивах остаются режиссерские экспликации, декорации и костюмы, мемуары и фотографии, а толку-то? Волшебство театрального зрелища исчезает в тот момент, когда завершена жест и отзвучал голос на сцене. Театральное время всегда — время гибели спектакля: он гибнет с самого первого момента, он движется к концу неотвратимо. А ведь спектакль на спектакль не приходится; актер не машина, сегодня получилось, через два дня может не получиться (В. Калмыкова. Среди книг // Иностранная литература, 2014, № 2. С. 270).

Правильное замечание, верно промысленное, но только не для нас, зрителей. Да, билеты дороги, нет времени свободного, а то время есть, но нет сил, чтобы пойти.

И все-таки нам нужен театр. «Без театра нельзя», — говорит один из чеховских героев (Новый мир, 2002, № 1). Билеты дороги, времени по-прежнему свободного нет, но тем не менее театр не исчезает, не уходит на второй план. Театр — та же музыка, отзвучала, и все? Да нет, ведь память наша стала чуть-чуть богаче, и в трудную минуту не театр ли приходит на помощь: какая-то сценка из спектакля, какой-то герой? Попробуем собрать высказывания в пользу театра, руководствуясь идеей, что 2019 год объявлен Годом театра. Каждое из этих разговорных реплик открывает нечто особенное в театральном действии.

[Разговор доцентов 53 и 59 лет:] Как на меня вызвериваются эти бабушки церковные! — Они же **верят театрально!** (06.09.2012). [Доцент 59 л. о преподавании русского языка в школе Узбекистана:] В начальных классах **русский язык — это театр!** Там и песни, и пляски, все должно быть! Приходишь — измочаленный! Новый же человек, на тебя грузят все! (07.10.2012). [Доцент 55 л. о поездке дочери на стажировку в Англию:] Она пять постановок посмотрела за неделю. Там Музыкальный театр в районе Трафальгарской площади. Там театры и гнездятся! Говорит: **если такие постановки есть, то конца света не будет!** (21.12.2012). [Ответственный за балльно-рейтинговую систему о своем опыте:] Знаете, я всегда говорю: **«Как в театре! Не наиграешь — не сыграешь!»** Мне сначала было боязно, и я завысил оценки за все остальное (кроме тестов). А они решили все хорошо... и я на следующий год не завышал! (18.12.2013). [Профессор:] Вы заметили на конференции **некоторую театральность** в жестах французов? Но это... Это как латини! Мы танцуем их танцы — получается пошло, а они — прелестная пластика. Подражать невозможно! У них все располагает к отдыху. Дома мебель мягкая... Движения — это ж второй язык! Женщина должна так двигаться, как бы говоря: возьми меня! Но при этом ничего вульгарного! (12.05.2014). **Переводчик** — это же театраловед! Это артист, который должен... Лев Толстой в дневнике спросил: О! Столько людей! Зачем такой муравейник? А затем, что мы все одно! (А. Битов, Радио России, 12.12.2018).

Любопытно: здесь высвечивается и избыток искусственности в том или ином действии, и откровенная, открытая, «искусственная» правда. Почему сейчас стали так распространяться уличные театры.

[Северодвинск, соискательница докторской, 44 г.:] У нас в Архангельске знаковое есть: **Фестиваль уличных театров!** Я по всем подвальчикам хожу! Летом. Из многих-многих стран приезжают шикарные команды и что-то вытворяют на улицах, на ходулях. Но это тоже, когда белые ночи. Июнь... (27.09.2013).

Какой бы аспект нашей жизни мы ни взяли, везде просматривается театральная составляющая. Но как бы мы ни опирались на нее, сам театр, колдовство театрального действия и сейчас остается влекущей мечтой, заставляющей в один прекрасный день, отодвинув в сторону все дела, вдруг предложить своим близким: «А не сходить ли нам в театр?»



---

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

---

Сергей КИБАЛЬНИК

## ШКОЛА ДОСТОЕВСКОГО

Сейчас все пишут. Кто не пишет, тот учится писать.  
Кого резко не хватает, так это читателей.

В особенности среди пишущих.

Нет, если серьезно, то начитанных на самом деле тоже достаточно. И курсов литературного мастерства хватает.

А вот писателей мало. В особенности таких, чтобы с большой буквы. И чтобы был пророк не только в своем отечестве.

Про механизмы писательского рынка — что у нас, что за рубежом — слышали. В курсе.

Однако были же у нас «три мушкетера»: Достоевский, Толстой, Чехов.

Да еще, по меньшей мере, два Д'Артаньяна: Гоголь и Тургенев (Пушкин, увы, не переводим — как и всякий настоящий поэт).

И их читал и до сих пор читает весь мир.

Понятно, что Интернета тогда не было. А сильная Россия и распространившийся на значительную часть земного шара русский язык были.

Но только ли в этом дело?

---

Сергей Акимович Кибальник родился в 1957 году в Волгограде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). После окончания и по сей день работает в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук. Член Международного общества Ф. М. Достоевского. Автор восьми книг по истории русской литературы, в частности «Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе» (2011), «Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского» (2013), «Чехов и русская классика: проблемы интертекста» (2015) — а также двух литературно-художественных книг: «Поверх Фрикантрии, или Анджело и Изабела. Мужской роман-травелог» (2008), «МВитьки. Стихи и „прозы“, соображенные ночью на двоих и на троих on- и off-line» (2017, в соавторстве с Виктором Мальцевым). Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Волга», «Литература». Живет в Санкт-Петербурге.

А не в том ли еще, не в последнюю очередь, что они создали особую литературу? Не как развлечение или поучение. Как жизнепостижение и душеврачевание!

Литературу, которая, стало быть, нужна и интересна каждому. Независимо от того, где и когда он или она живет.

Литературу, в которой слово не расходится с делом. Тексты — с судьбой. Произведения — с жизнью.

В которой за каждое свое слово люди заплатили собственной кровью.

Это особый, целительный, ранозаживляющий напиток.

Можно сказать, эликсир жизни, не напившись которого человек ощущает себя как будто бы брошенным в какую-то безлюдную, бесконечную и безводную пустыню, выбраться из которой ему самому, без посторонней помощи, оказывается непросто. Почти невозможно.

Недавно вместе с литературным критиком *Сергеем Орбием* мы составили анкету «Достоевский как личное дело каждого» и попросили ответить на нее некоторых современных русских писателей.

Всего в опросе приняли участие двенадцать писателей. Полностью заполненные ими анкеты будут опубликованы в журнале «Знамя». Приведу здесь некоторые ответы только на один вопрос:

*Представим, что Достоевский открыл школу литературного мастерства. Чему у него стоило бы поучиться будущим прозаикам?*

*Евгений Водолазкин (Санкт-Петербург):* Учиться стоило бы пророческому взгляду на мир<sup>1</sup>, но это не может быть предметом учебы.

*Михаил Кураев (Санкт-Петербург):* Не отважусь составить для Достоевского, буде откроет он школу «литературного мастерства», учебный план. Все классики, как мне кажется, учат жаждущего писать *быть свободным*.

*Александр Снегирев (Москва):* Учиться у Доста (так! — С. К.) надо тому, как *открыть искусство в грязи*. Он не работал с монументальными сюжетами, его персонажи будничны и жалки, его темы не возвышенны, скорее даже низменны, однако в этом он является образцом подлинного художника, который зачерпывает мусор из-под ног, колдует над ним и, бах, шедевр.

*Сергей Носов (Санкт-Петербург):* Не уверен, что у Достоевского нужно учиться конкретным техническим приемам, но на примере его сочинений начинающему автору можно яснее прочувствовать *саму природу литературного творчества*.

Итак, пророческий взгляд на мир, искусство быть свободным, творение «из такого сора», сама природа литературного творчества. То есть примерно то, о чем и шла речь выше. Особый тип литературы.

Или литература как нечто особое. Как жизнепостижение, душеврачевание и человековедение.

Как однажды выразился Гайтó Газданов, литература «в русском значении этого слова».

Может, стоит попробовать? Пусть не печатают в крупных издательствах и не дают литературных премий (ведь для традиционных институтов бытования литературы подобное творчество отнюдь не сразу может оказаться удобоваримо). Зато литература вернет себе свою прежнюю роль и вновь станет опытным жизневедом, умным собеседником и со-бытийником.

<sup>1</sup> Здесь и далее курсив мой — С. К.

А впрочем, что же это я? Не мешает ведь и нынешним литературоведам быть — хотя бы иногда — справедливыми к современным русским писателям.

Уже давно ведь и пробуют, иногда получают литературные премии, звучат во весь голос, и с большой буквы, а то и не только в наших палестинах...

И, даст Бог, это только начало...

Писатель и литературовед *Андрей Степанов (Санкт-Петербург)*, отвечая на наш вопрос, сказал еще одну любопытную вещь:

Достоевский не смог бы вести школу литературного мастерства. Если вы заглянете в те тома полного собрания сочинений, где воспроизводятся его черновые рукописи, то убедитесь, что *у него все рождалось спонтанно, путем озарений — а этому научить нельзя.*

Соглашусь, но и немного возражу. Еще вчера Достоевский не смог бы вести школу литературного мастерства. А сегодня уже может.

Загляните не в собрание его сочинений, а в собрание его дневников и записных книжек. Благо при поддержке Российского научного фонда оно теперь — по крайней мере, частично (пока только по материалам Российского государственного архива литературы и искусства, а это тринадцать рабочих тетрадей) — существует. И доступно зарегистрированным пользователям. Причем как в рукописных оригиналах, так и в текстовых расшифровках: <http://dostoevsky-archive.ru>

Собраний сочинений, кстати сказать, даже академических, существует теперь уже два: еще с 2013 года рачением Пушкинского Дома выходит новое, в 35 томах. Правда, до публикации рабочих тетрадей в нем дело пока не дошло. Так что их можно смотреть только по первому.

Так вот, если будете смотреть их по первому академическому собранию сочинений, в котором материалы рабочих тетрадей и записных книжек Достоевского приведены фрагментарно, а иногда и беспорядочно, то вам и в самом деле покажется, что у него все рождалось спонтанно.

А если будете смотреть сами рукописи — а они впервые воспроизведены на портале по принципу единого документа, — то увидите, как писатель постоянно бьется над тем, чтобы подчинить спонтанный процесс литературного творения большим задачам миропостижения и человековедения.

Приведу в связи с этим еще один немаловажный ответ на вопрос нашей анкеты:

*Наталья Гранцева (Санкт-Петербург):* Достоевский в XXI веке начинал бы каждый урок в своей школе литературного мастерства цитатой из Х.-Л. Борхеса: *увлечение изысками стиля свидетельствует о капитуляции перед смыслом текста.*

Впрочем, без посторонней помощи вы в рукописях разберете немного. Однако без таковой не останетесь. Ведь они воспроизведены в рамках нашего проекта вместе с расшифровками, подготовленными лучшими специалистами по творчеству Достоевского. Причем выполнены они как в прижизненной, так и в современной орфографии и пунктуации.

А если возникнут вопросы, то пишите. На портале предусмотрена функция обратной связи.

Школа Достоевского (не путать со ШКИД! — С. К.) теперь существует. И отвечает на вопросы.

Наталья ГВЕЛЕСИАНИ

## ПРИЧИНА ПОРАЖЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В СССР НАЗВАНА М. ГОРЬКИМ

Главная причина поражения социализма в СССР давно названа М. Горьким — ее глашатаем и ее же критиком, автором «Песни о Буревестнике».

Все, о чем ярко и точно писал А. М. Горький в 1918 году в своих «Несовременных мыслях», сбылось.

Сбылось то, что, если следовать учению К. Маркса, а не Ленина (которого Горький называет не коммунистом, а анархо-синдикалистом), в такой отсталой стране, как Россия, в начале XX века еще не созрели условия для социалистической революции. А следовательно, и построить так называемый «социализм» можно было только на костях людей, а потом устроить «железный занавес», поместив народ во внушенную искусственную реальность, где люди, не поддающиеся гипнозу властей или даже просто имевшие задатки самостоятельного мышления (последние, видимо, просто по причине страха властей перед их потенциальным прозрением), попадали в ГУЛАГ.

Причем все это произошло по причине привычки народа, а также его вождей — к многовековому рабству. Как пишет Горький: «Живя среди отравлявших душу безобразий старого режима, среди анархии, рожденной им, видя, как безграничны пределы власти авантюристов, которые правили нами, мы — естественно и неизбежно — заразились всеми пагубными свойствами, всеми навыками и приемами людей, презиравших нас, издевавшихся над нами».

Тем самым подлинная революция, подлинный социализм, базирующиеся на единстве материальных и духовных преобразований, несущие освобождение от мертвящего груза всего ветхого, державшегося на эксплуатации человека человеком с помощью насилия, были только дискредитированы. А страна после несвоевременного рывка вперед, оплаченного колоссальными жертвами, отброшена назад. Хотя и немало преуспела в рамках искусственно созданной реальности.

---

Наталья Александровна Гвелесиани родилась в 1967 году. Окончила филологический факультет ТГУ им. И. Джавахишвили. Пишет прозу и эссеистику. Лауреат литературной премии им. Марка Алданова (за повесть «Уходящие тихо» — Новый журнал, 2007, № 247). Публиковалась также в журналах «Нева» (роман «Мой маленький Советский Союз» — в сокращении, отрывок романа «Сказка о Радуге» под названием «Сказка о Гайдаре»), «Футурум АРТ», «Новая реальность». Автор книг «Путь неприкаянной души (О Марине Цветаевой и не только)» (Ставрополь: Ставролит, 2013), «Выход Алисы из Зазеркалья» (серия «Психология») (М.: Велигор, 2015). «Мой маленький Советский Союз» — полная авторская версия (М.: Рипол-Классик, 2016). Живет в Тбилиси (Грузия).



Наш социализм был не настоящим.

Но это и обнадеживает.

Значит, настоящий — еще впереди.

Когда-нибудь в мировом масштабе до него созреют условия.

И это возможно лишь при революции в области духа.

Причем такую будущую революцию должна, по Горькому, возглавить передовая интеллигенция. То есть тот класс, который на протяжении веков боролся за освобождение человека от всего низменного в первую очередь в области духа, а не только материи.

Также для такой революции необходима религия — новая религия. Причем образом лидера такой религии Горький считал Иисуса Христа как носителя качеств Прометея. (Не проговаривая этого прямо, а как бы переадресовав данный вывод читателю.) Человек должен родиться заново и родить нового Бога. Который, по-видимому, и есть воскресший внутри Христос. (Об этом у Горького есть статья «Разрушение личности» и повесть «Исповедь».)

М. Горький — из сборника «Несовременные мысли» (1918 г.):

В современных условиях русской жизни нет места для социальной революции, ибо нельзя же, по щучьему веленью, сделать социалистами 85% крестьянского населения страны, среди которого несколько десятков миллионов инородцев-кочевников. От этого безумнейшего опыта прежде всего пострадает рабочий класс, ибо он — передовой отряд революции, и он первый будет истреблен в гражданской войне. А если будет разбит и уничтожен рабочий класс, значит, будут уничтожены лучшие силы и надежды страны. Вот, я и говорю, обращаясь к рабочим, сознающим свою культурную роль в стране: политически грамотный пролетарий должен вдумчиво проверить свое отношение к правительству народных комиссаров, должен очень осторожно огнестись к их социальному творчеству. Мое же мнение таково: народные комиссары разрушают и губят рабочий класс России, они страшно и нелепо осложняют рабочее движение; направляя его за пределы разума, они создают неотразимо тяжкие условия для всей будущей работы пролетариата и для всего прогресса страны. Мне безразлично, как меня назовут за это мое мнение о «правительстве» экспериментаторов и фантазеров, но судьбы рабочего класса и России — не безразличны для меня. И пока я могу, я буду твердить русскому пролетариату:

— Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек!

.....

Истинная суть и смысл культуры — в органическом отвращении ко всему, что грязно, подло, лживо, грубо, что унижает человека и заставляет его страдать. Нужно научиться ненавидеть страдание, только тогда мы уничтожим его. Нужно научиться хоть немножко любить человека, такого, каков он есть, и нужно страстно любить человека, каким он будет. Сейчас человек измотался, замучился, на тысячу кусков разрывается сердце его от тоски, злости, разочарований, отчаяния; замучился человек и сам себе жалок, неприятен, противен. Некоторые, скрывая свою боль из ложного стыда, все еще форсят, орут, скандалят, притворяясь сильными людьми, но они глубоко несчастны, смертельно устали. Что же излечит нас, что воскресит наши силы, что может изнутри обновить нас? Только вера в самих себя и ничто иное. Нам необходимо кое-что вспомнить, мы слишком много забыли в драке за власть и кусок хлеба. Надо вспомнить, что социализм — научная истина, что нас к нему ведет вся история развития человечества, что он является совершенно естественной стадией политико-экономической эволюции человеческого общества, надо быть уверенными в его осуществлении, уверенность успокоит нас. Рабочий не должен забывать идеалистическое начало социализма, — он только тогда уверенно почувствует себя и апостолом новой истины, и мощным бойцом за торжество ее, когда вспомнит, что со-

циализм необходим и спасителен не для одних трудящихся, но что он освобождает все классы, все человечество из ржавых цепей старой, больной, изолгавшейся, самое себя отрицающей культуры. Цензовые классы не принимают социализма, не чувствуют в нем свободы, красоты, не представляют себе, как высоко он может поднять личность и ее творчество. А многие рабочие понимают это? Для большинства их социализм — только экономическое учение, построенное на эгоизме рабочего класса, так же как другие общественные учения строятся на эгоизме собственников.

В борьбе за классовое не следует отмечать общечеловеческое стремление к лучшему. Истинное чувствование культуры, истинное понимание ее возможно только при органическом отращивании ко всему жестокому, грубому, подлому как в себе самом, так и вне себя. Вы пробуете воспитать в себе это отращивание?

И да, да, и еще раз тысячу раз да! Как прав был Горький, когда-то написавший:

Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую.

По Горькому, убийство подлинного революционера-идеалиста мнимыми революционерами — это огромное преступление перед той же Революцией, которая должна быть с большой буквы.

Об этом писатель написал предельно убедительно:

На днях какие-то окаянные мудрецы осудили семнадцатилетнего юношу на семнадцать лет общественных работ за то, что этот юноша откровенно и честно заявил: «Я не признаю Советской власти!» Не говоря о том, что людей, которые не признают авторитета власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов и что всех этих людей невозможно истребить, я нахожу полезным напомнить строгим, но не умным судьям о том, откуда явился этот честный юноша, столь нелепо — сурово осужденный ими. Этот юноша — плоть от плоти тех прямодушных и бесстрашных людей, которые на протяжении десятилетий, живя в атмосфере полицейского надзора, шпионства и предательства, неустанно разрушали свинцовую тюрьму монархии, внося, с опасностью для свободы и жизни своей, в темные массы рабочих и крестьян идеи свободы, права, социализма. Этот юноша — духовный потомок людей, которые, будучи схвачены врагами и изнывая в тюрьмах, отказывались на допросах разговаривать с жандармами из презрения к победившему врагу. Этот юноша воспитан высоким примером тех лучших русских людей, которые сотнями и тысячами погибали в ссылке, в тюрьмах, в каторге и на костях которых мы ныне собираемся строить новую Россию. Это — романтик, идеалист, которому органически противна «реальная политика» насилия и обмана, политика фанатиков догмы, окруженных — по их же сознанию — жуликами и шарлатанами. Чтобы воспитать мужественного и честного юношу в подлых условиях русской жизни, требовались огромная затрата духовных сил, почти целый век напряженной работы. И вот теперь те люди, ради свободы которых совершалась эта работа, не понимая, что честный враг лучше подлого друга, осудили мужественного юношу за то, что он, — как это и следует, — не может и не хочет признавать власть, попирающую свободу.

Позже эмигрировавший в Италию Горький все-таки вернулся в СССР. И активно включиться в строительство молодой страны на культурном фронте.

В литературе, посвященной этому периоду жизни А. М. Горького, можно прочитать, что Сталину удалось поместить Горького в иллюзорную действительность, иллюзорность, которой тот, возможно, не осознал до конца жизни. Это действительность, полная нешуточных успехов в самых разных областях, умиляла писателя-гуманиста до слез. Поэтому он пересмотрел свои несвоевременные мысли.

Но логичней предположить, что обладавший недюжинным критическим умом Горький все осознал, но все равно вернулся в СССР, как Штирлиц в тыл врага. Чтобы бороться с псевдореволюционерами культурными методами.

А основа его методов была одна — призыв к человеку стать Человеком с большой буквы. Ведь в стране к тому времени народилось немало людей с новым сознанием, свято верящих не только в вождей, но и в коммунистические идеалы. Их деяния действительно вызывали у Горького неподдельный восторг.

Большевики старательно взращивали эти молодые умы, выковывали их сильные характеры для поддержания собственной власти.

Однако, не осознавая того, власти взращивали тех, кто шел против логики двойной морали. То есть своих потенциальных критиков и могильщиков. (Впрочем, недремлющее око НКВД было всегда начеку.)

Тех, кто, осознав наличие двойных стандартов, всю их мерзость и пагубность, смог бы проанализировать ошибки отцов и... продолжить (начать?) строительство социализма с новой, чистой страницы. Как это отчасти и произошло в дальнейшем во время хрущевской «оттепели».

Думается, что Горький делал ставку именно на такой разворот будущего.

Но увы, то, что могло бы сбыться, не сбылось. Не было доведено до победного конца, до действительного торжества действительного социалистического гуманизма.

И не сбылось во многом в силу привычки нашего народа создавать себе кумиров и отдавать им безраздельную власть. Думать не своей, а чужими головами — головами своих идейных лидеров.

Парадоксально, но СССР на протяжении всей своей семидесятилетней истории действительно добился больших успехов. Поскольку людей с большой буквы, выросших в новых условиях, появилось немало. Эти успехи и были возможны потому, что были эти светлые, не знающие закулисы власти люди. Свято верящие в коммунистические идеалы.

НО ТЕМ И СТРАШНЕЙ БЫЛО ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ, когда во времена горбачевской перестройки они все-таки узнали о массовом нарушении морали и законности советской властью на протяжении всей ее истории. Когда столкнулись с предательством своих идеалов, причем изначальным.

Параллельно с появлением нового человека, взлетом культуры шел, как всегда, мещанин-собственник.

И этот мещанин в итоге и победил.

Потому что власть с самого начала, с ленинской поры и до брежневской, проповедуя коммунистические нравственность и социалистическую законность, на деле нарушала эти принципы.

Поскольку сама до них не доросла.

У Горького этот корень проблем большевизма проанализирован с привлечением многочисленных фактов.

Когда страх перед сталинской «законностью» перестал поддерживать социалистическую идеологию, то она начала отмирать, поглощаясь чисто мещанскими, мелкобуржуазными интересами. Причем эти интересы захлестнули буквально все слои населения, не исключая высшие власти. Культ власти, культ накопительства, культ массовой культуры, культ ширпотреба...

Вера в идеалы, духовная чистота все больше выхолащивались.

Потому что, как пятна гнили, повсюду проступала двойная мораль.

Которая такой и была изначалью — двойной.

А не двойной она быть не могла.

Поскольку экономические условия, сознательность, культура в стране, не прошедшей после Февральской революции через буржуазно-демократические реформы, еще не созрели для того, чтобы основная масса рабочих и крестьян действительно хотела бы строить социализм.

Основная масса крестьянства, которого было большинство, пошло на коллективизацию под, мягко говоря, нажимом властей.

Конечно же, в результате этого ценой колоссальных человеческих жертв появилось немало замечательных колхозов. Но многие колхозники оказались не особо идейными и желали всеми правдами и неправдами переехать в город. Ведь не особо идейные люди стремятся к новым возможностям в области материального благосостояния. Большинство на деле хотело простого материального изобилия, хотело расширения собственного производства. Одним словом — желало собственности, хоть это желание и было табуированным.

Наверное, можно бы было найти выход из этой тупиковой ситуации.

Он был бы найден, если бы с самого начала коммунисты были бы людьми с большой буквы и честно говорили народу все как оно есть. И делали ставку на Честь, Совесть, Справедливость. Тогда бы люди поняли их. И поверили не допускающим двойной морали. И, возможно, тогда бы это был действительно невиданный взлет возможностей Человека, в первую очередь духовных.

Коммунисты должны были воспитывать темную народную массу собственным примером. Они должны были бы быть действительно похожими на тех честных и справедливых революционеров и строителей нового быта, какие были изображены в действительно прекрасных книгах писателей-соцреалистов.

У них же была двойная мораль.

Они просто преследовали и уничтожали несогласных, как делал до них царский режим.

Прекрасные советские искусство и литература в их лучших образцах стали для таких «коммунистов» лучшим разоблачающим зеркалом, в которое они просто не достойны были посмотреться.

Увы, даже некоторые авторы этих прекрасных произведений тоже не смогли бы с чистой совестью глядеть в это чистое зеркало. Потому что их же слова разоблачали их дела. Да и обстановка давления на них не способствовала единству слова и дела.

Приведу в заключение некоторые отрывки о двух типах революционеров из горьковских «Несвоевременных мыслей».

Это прекрасная анализ разницы между черным и белым.

Потому что красных в итоге победили не белые.

Черные, говоря образно, просто еще недоросли, чтобы играть белыми.

Наблюдая работу революционеров наших дней, ясно различаешь два типа: один — так сказать, вечный революционер, другой — революционер на время, на сей день.

Первый, воплощая в себе революционное Прометеево начало, является духовным наследником всей массы идей,двигающих человечество к совершенству, и эти идеи воплощены не только в разуме его, но и в чувствах, даже в области подсознательного. Он — живое, трепетное звено бесконечной цепи динамических идей, и при любом социальном строе он, всей совокупностью своих чувств и мнений, принужден на всю жизнь остаться неудовлетворенным, ибо знает и верит, что человечество имеет силу бесконечно создавать из хорошего — лучшее. Он жарко любит вечно юную истину, но не на столько чувственно и физически, чтобы вбивать ее кулаком в сердце и головы людей, которые поработены мертвой правдой прошлого или неизлечимо влюблены в отжившее. Вообще же люди для него — неисчерпаемая живая, нервная сила, вечно творящая новые ощущения, мысли, идеи, вещи, формы быта. Он хотел

бы оживить, одухотворить весь мозг мира, сколько его имеется в черепах всех людей земли, но, преследуя эту его единственную и действительно революционную цель, он не способен прибегать к тем или иным приемам насилия над человеком иначе, как в случаях неустранимой необходимости и с чувством органического отвращения ко всякому акту насилия. Он твердо знает, что, по верному слову одного из замечательных русских мыслителей, «ужас истории и величайшее ее несчастье заключается в том, что человек жестоко оскорблен», — оскорблен природой, которая, создав его, бросила в пустыню мира зверем среди зверей, предоставив ему для развития и совершенствования те же условия, как и всякому другому зверю; оскорблен богами, которых он, в страхе и радости пред силами природы, создал слишком поспешно, неумело и слишком «по образу и подобию своему»; бесконечно оскорблен хитрым или сильным ближним и — всего горше — самим собою, своими колебаниями между древним зверем и новым человеком. Но у революционера вечного нет чувства личной обиды на людей, он всегда умеет встать выше личного и побороть в себе мелкое, злое желание мести людям за пытки и муки, нанесенные ему. Его идеал — человек, физически сильный, красивый зверь, но эта красота физическая — в полной гармонии с духовной мощью и красотой. Человеческое — это духовное, то, что создано разумом, из разума — наука, искусство и смутно ощущаемое все большим количеством людей сознание единства их целей, интересов. Вечный революционер стремится всеми силами духа своего углубить и расширить это сознание, чтобы оно охватило все человечество и, расширив и разрушив все, дробящее людей на расы, нации и классы, создало в мире единую семью работников-хозяев, создающих все сокровища и радости жизни для себя. Изменения социальных условий бытия к лучшему для вечного революционера — только ступень бесконечной лестницы, возводящей человечество на должную высоту, и он не забывает, что именно в этом — смысл исторического процесса, в котором он лично является одной из бесчисленных необходимостей. Вечный революционер — это дрожжа, непрерывно раздражающая мозги и нервы человечества, это — или гений, который, разрушая истины, созданные до него, творит новые, или — скромный человек, спокойно уверенный в своей силе, сгорающий тихим, иногда почти невидимым огнем, освещая пути к будущему.

Революционер на время, для сего дня, — человек, с болезненной остротой чувствующий социальные обиды и оскорбления — страдания, наносимые людьми. Принимая в разум внушаемые временем революционные идеи, он, по всему строю чувствований своих, остается консерватором, являя собою печальное, часто трагикомическое зрелище существа, пришедшего в люди, как бы нарочно для того, чтобы исказить, опорочить, низвести до смешного, пошлого и нелепого культурное, гуманитарное, общечеловеческое содержание революционных идей. Он прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не силен, за то, что его оскорбляли, даже за то, что некогда он сидел в тюрьме, был в ссылке, влачил тягостное существование эмигранта. Он весь насыщен, как губка, чувством мести и хочет заплатить сторицею обидевшим его. Идеи, принятые им только в разум, но не вросшие в душу его, находятся в прямом и непримиримом противоречии с его деяниями, его приемы борьбы с врагом те же самые, что применялись врагами к нему, иных приемов он не вмещает в себе. Взбунтовавшийся на время раб карающего, мстительного бога, он не чувствует красоты бога милосердия, всепрощения и радости. Не ощущая своей органической связи с прошлым мира, он считает себя совершенно освобожденным, но внутренне скован тяжелым консерватизмом зоологических инстинктов, опутан густой сетью мелких, обидных впечатлений, подняться над которыми у него нет сил. Навыки его мысли понуждают его искать в жизни и в человеке прежде всего явления и черты отрицательные; в глубине души он исполнен презрения к человеку, ради которого однажды или стократно пострадал, но который сам слишком много страдает для того, чтобы заметить или оценить мучения другого. Стремясь изменить внешние формы социального бытия, революционер сего дня не в состоянии наполнить новые формы новым содержанием и вносит в них те же чувства, против которых боролся. Если бы — чудом

или насилием — ему удалось создать новый быт, он первый почувствовал бы себя чуждым и одиноким в атмосфере этого быта, ибо, в сущности своей, он не социалист, даже не пресоциалист, а — индивидуалист. Он относится к людям, как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов, с тою, однако, разницей, что и бездарный ученый, мучая животных бесполезно, делает это ради интересов человека, тогда как революционер сего дня далеко не постоянно искренен в своих опытах над людьми. Люди для него — материал, тем более удобный, чем менее он одухотворен. Если же степень личного и социального самосознания человека возвышается до протеста против чисто внешней, формальной революционности, революционер сего дня, не стесняясь, угрожает протестантам карами, как это делали и делают многие представители очерченного типа. Это — холодный фанатик, аскет, он оскопляет творческую силу революционной идеи и, конечно, не он может быть назван творцом новой истории, не он будет ее идеальным героем. Может быть, его заслуга в том, что, разбудив в человеческой массе древнего жестокого зверя, он этим приблизил смерть звериного начала? Жестокость утомляет и может, наконец, внушить органическое отвращение к ней, а в этом отвращении — ее гибель. Мы, кажется, начинаем воспитывать в себе именно физиологическое отвращение ко всему кровавому, жестокому, грязному — нужно, чтобы это отвращение росло, чтобы оно стало идиосинкразией большинства.

---

#### КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

---

**Борис Петров. Граф за три копейки: сборник рассказов. М.: Дикси пресс, 2018. — 144 с. — (Серия «Современная новелла»).**

Реализм, лирика, фантазмагории, сюрреализм, жестокость и нежность. И всегда неожиданный и непредсказуемый финал, иногда открытый, тогда читателю самому предстоит выбрать вариант развязки сюжета. Двадцать один рассказ, и в каждом за внешним ходом событий скрытое «подводное течение». Забавное и смешное может обернуться маленькой трагедией, как в рассказе «Попугай», где три юных лоботряса (два юноши и девушка) начинают подражать взъерошенному, пыжащемуся на жердочке попугаю, полагая, что пыжиться — значит быть уверенным, проникнутым чувством собственного величия. Меняются роли: в процессе игрищ самоуверенный инициатор оказывается в подчинении своих нерешительных друзей. Игру прерывает смерть попугая. Пыжится, величие, смерть — выстраивается многозначная логическая цепочка. Иногда страшное оборачивается смешным, как в рассказе «Ошибка», где герой, услышав утром звонки в домофон, бежит из своей квартиры через черный ход, спасаясь от неминуемого ареста, — накануне коллега сказал, что о нем вчера спрашивали. И вот он в электричке. «Он еще долго трясся, пока грубые, но добрые люди не уняли слегка страх горькой водкой, и он не решился включить айфон. Только тогда жена, прилетевшая рано утром с курорта, смогла прозвониться и закричать, что он свинья — не встретил их, хоть и обещал: наверняка пил и мотался по бабам; а если уходишь из дому, то хоть ключи оставь у соседей, потому что она с детьми никак не могла попасть утром домой, топталась у подъезда, как дура, и слушала, как кто-то тяжело сопит в домофон». Каждый рассказ — это тончайший психологический этюд. В них мужественные герои могут оказаться мелкими рвачами, а зануды стать великими путешественниками, женщины — бросить благополучный быт и сбежать от мужей в «манящую даль», в экзотические страны или даже в ссылку с любимым человеком, чью блистательную судьбу сломала доношительская «рецензия» ревнивого мужа. Страшноватым сюрреализмом в духе Сальвадора Дали

наполнены рассказы «Странная история одного новосела», «Исчезновение прохожего», «Мамина сиеста»; злой сатирой сдержанный по тональности рассказ «Реквием по соратнику». Действие всех рассказов происходит в наше время, и неудивительно, что в рассказах прорываются — очень по-разному — отзвуки Донбасса. Замечательны рассказы о хрупком мире детства, когда взрослые могут либо растоптать веру своих детей в чудо, либо поддержать их мечту. «Я хочу, чтобы ты крепко стоял на ногах и вырос достойным уважения человеком», — заявляет любимому сыну отец, убежденный, что держать язык за зубами безопасней, и запирает в чулан маленького упрямого, твердящего, что будет чудо. Чудо произойдет, но отец не найдет в чулане сына. Жив ли мальчик («В ожидании чуда»? Мальчик и девочка, обитатели унылой окраины, мечтают о лесе, что в нескольких кварталах от их дома. Девочка помнит, как она жила в другом районе, где лес подступал прямо к дому. «И это было здорово и весело, потому что можно открыть окно и вылезти прямо на ветку, а с нее — на другую ветку, и так путешествовать, не спускаясь на землю, и облезть весь мир. А еще в лесу можно играть в прятки с сыроежками, хотя приходится все время быть в роли вожака, но это нисколько не утомляет; можно найти солнечную поляну, раскинуть руки и упасть на спину, и совсем не больно, потому что трава там очень мягкая и пружинит, только мама потом ругается, потому что платье измазано». Одноклассники подвергли мечтателей обструкции, и родители мальчика запретили ему общаться с девочкой, ведь ненормально, когда у сына нет других друзей. Послушный мальчик прервал дружбу, семья девочки переехала, а мальчик вырос и стал уважаемым, перспективным юношей. Однажды он все-таки отправился в лес, но тот не пустил его в зеленую чащу, «давил, гнал назад, шелестел сумеречными кронами: — уходи к себе, ты здесь чужой». «Мокрая ветка хлестнула по лицу, и, прирученный двором давать сдачи, испуганный молодой человек ударил в ответ и стал обозлено лупить по деревьям; ему казалось, что он борется с гигантом, хотя он скакал, кричал и молотил лишь воздух и кору. Юноша бился, пока не расшиб руки в кровь, и отступил, пораженный и обессиленный, но перед тем, как окончательно ему уйти в город, солнечный зайчик больно ударил по глазам, словно пнул побежденного» («Мальчик, девочка и лес»). Детству посвящен и рассказ «Граф за три копейки». Молодой человек у постели умирающего отца вспоминает, как в детстве он и его веснушчатая подружка искали клад в бывшей графской усадьбе: «Я тыкал в деревянный прах саперной лопаткой, пугая мышей, а ты дышала в затылок и сопела веснушками, шелестела медовыми волосами». И теперь, по прошествии лет, уже неважно, что дом принадлежал не графу, а купцу, что легенду о графе, зарывшем сокровище, выдумал отец, что нашли они лишь шкатулку с тремя копейками 1975 года. Важно, что было детство и была мечта. «Давно разобран дом о двух реках, обмелела темная глубокая вода, исчезли у берегов березы, переехали в город деревенские мальчишки. Нет и никогда не существовало сердитого барина в стеганом халате, и веснушки не дрожали рядом с моим плечом — любил ли я? Замечательный дом — фантом, как графский призрак, как детство, растворенное в закате; вглядываешься и не видишь ничего, кроме сполохов на воде, кроме зубчатой линии сосен и катящегося за лес неба». Борис Петров не навязывает читателю морали, но своими рассказами будоражит ум и волнует душу. А чудную чистоту его языка можно оценить по цитатам.

**Семен Экштут. Империи последние мгновенья: Театр марионеток в 16 картинах с прологом и эпилогом. СПб.: Нестор-История, 2018. — 312 с.**

Историк Семен Экштут отвечает на вопросы, кто виноват, что произошла Великая русская революция, и можно ли было ее предотвратить, ищет в мемуарах, многие из которых увидели свет только в 2017 году, в российских газетах от 1 января 1917 года,

в произведениях русских классиков. Художественная литература и воспоминания разноплановых персонажей «театра исторических действий» — от масштабных фигур первого плана до незаметных героев эпизода — дают рельефную картину «России, которую мы потеряли». Ответы на извечный русский вопрос «Кто виноват?» разнятся. Князь Л. Урусов уподобил большевиков болезнетворным бациллам, неожиданно поразившим здоровый и полный сил организм России. Великий князь Александр Михайлович разносчиками заразы назвал русскую аристократию и интеллигенцию. Бюрократ крупного калибра А. Куломзин (председатель Государственного совета с 1915 года по 1 января 1917-го) главной причиной смуты считал бездарную деятельность правительства. Н. Желиховская, жена генерала Брусилова, вину за революцию возлагала на российскую бюрократию, юродствующую аристократию и либеральную интеллигенцию. «Сами виноваты, что их смели», — написала она в авторских комментариях к воспоминаниям. Последний министр финансов Российской империи П. Барк трагедию России видел во взаимной нетерпимости различных кругов русского общества, а «красный граф», вставший на сторону революции, А. Игнатьев обвинял «мозг армии», Генеральный штаб, оказавший не в состоянии ответить на вызов времени. Единственный, кто верил, что причиной гибели России стал заговор, был генерал-майор Ф. Рерберг. Как следует из книги С. Экштута, изучившего свидетельства современников, к революции привело взаимное отчуждение власти и общества, роковую же роль сыграли образованные люди. «Образованное общество из поколения в поколение привыкло с молодых лет негодовать на власть, именно ее и только ее обвиняя во всех без исключения отечественных бедах и несовершенствах. Общество обвиняло власть в „ужасных“ грехах и требовало покаяние. Ирония истории заключалась в том, что сами эти непримиримые критики власти были далеки от совершенства. ...Неизбывная драма русской жизни заключалась в том, что в течение всего XIX века верховная власть, не испытывая недостатка в критиках всех своих теоретических замыслов и практических действий, ощущала устойчивый дефицит в образованных и компетентных деятелях, способных к планомерной и систематической работе по обустройству России. В Российской империи имелся переизбыток бойких болтунов и недостаток опытных управленцев. В моде было самое настоящее интеллигентское кликушество, направленное против власти и выражающееся в судорожных выкриках, причитаниях, взвизгиваниях, бурной жестикуляции». В книге много колоритных подробностей унесенного потоком времени бытия: история мужа дочери Пушкина Марии, генерала Гартунга, не сумевшего жить по законам пореформенной России, что привело его к скамье подсудимых и к самоубийству; реформы в системе просвещения, циркуляры и уставы, вызвавшие студенческие бунты; симбирские связи двух семейств — Ульяновых и Керенских; юность Володи Ульянова, для которого сам процесс управления чужой волей был наслаждением, привычкой и потребностью; положение учителей, профессуры, крестьянства. Была ли возможность избежать русской смуты? Быть может, «если бы „энергия заблуждения“, присущая „молодой России“, была направлена не на демонстративный разрыв всех и всяческих связей с якобы „позорным и постыдным“ прошлым, а на созидательную работу в настоящем». С. Экштут приводит примеры такой созидательной деятельности. П. Менделеев, сумевший обустроить родовое свое имение и сделать успешную карьеру в Петербурге. Генерал-лейтенант В. Джунковский (московский губернатор), действовавший по принципу, что не население существует для власти, а власть для населения. Великий князь Александр Михайлович, инициатор создания сильного Тихоокеанского флота и флота Северного с военно-морской базой (Романов-на-Мурмане, Мурманск), зачинатель отечественной военной авиации. П. Перцев, инженер путей сообщения, ставший успешным предпринимателем, для которого деловая репутация была важнее прибыли, все



знали, что взятки (откатов) он не берет. И все-таки энергичных организаторов, способных затормозить и предотвратить затягивание могучей державы в водоворот Русской смуты, было слишком мало. С. Экштут находит ответ на вопрос, что надо было делать, чтобы избежать смуты. У А. Бенкендорфа: «Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надо, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от народа. Только тогда мера будет спасительна, когда будет предпринята самим правительством тихо, без шума, без громких слов и будет соблюдена благоразумная постепенность». У В. Ключевского: «Лучше было добровольно *дать* народу новый порядок, чем *уступить* поневоле, пойти на встречу желаниям, чем отступить перед требованиями». У А. Пушкина: «Молодой человек! если мои записки попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». Заветы, которые не были усвоены ни обществом, ни властями. С. Экштут, специалист по добыванию закрытой информации из открытых источников, в одном из интервью говорит: «Моя сверхзадача — установить связь между далеко отстоящими фактами и показать, что на самом деле они близки. Я обращаюсь к прошлому в поисках ответа на какие-то проблемы сегодняшнего дня». Многие в этой книге сегодня звучат очень актуально.

**Игорь Виноградов. Страсти по Гоголю. О духовном наследии писателя. М.: Вече, 2018. — 320 с. — (Вера и судьба).**

Со времен Белинского в творениях Гоголя видели сатиру на общество, на царящие в те времена нравы и пороки. Вслед за Белинским социальный подход к произведениям Гоголя подхватили и продолжили весь XIX век литераторы-западники, традицию эту активно развивали советские литературоведы. Репутация Гоголя как гениального бессознательного художника и неглубокого мыслителя, казалось, утвердилась окончательно. И только в наше время широко заговорили о Гоголе как о великом духовном писателе России и православном мыслителе-государственнике. Именно с этих позиций Игорь Виноградов, автор сопроводительных статей и комментариев Полного собрания сочинений и писем Гоголя (М.: Издательство Московской Патриархии, 2009–2010), рассматривает христианские основы художественного мирозерцания Гоголя. Знакомые произведения и персонажи предстают в другом свете: через прямые переключки с цитатами из Священного Писания, из трудов святителей, житийной литературы проявляются скрытые смыслы. Так, неудачи и потери запорожцев, истово исполняющих свой христианский долг — защиту Веры и Отечества, объясняются тем, что запорожцы не всегда соответствуют принятому ими на себя подвигу. Ведь говорил святитель Иоанн Златоуст: «Обыкновенные воины, хотя бы одержали тысячу побед, бывают... без всяких уз связаны сном и пьянством, без всяких смертоносных ударов и ран лежат как израненные». У Гоголя: хотя «вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови», она, однако, «и слышать не хотела о посте и воздержании», казаки «не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обуздывали себя воздержанием» («Тарас Бульба»). В необычном ракурсе предстают похождения героев «Ночи перед Рождеством», где все грешат нарушением церковных установлений в один из самых строгих постов, в ночь, когда все православные должны сидеть дома и до звезды вообще не есть и лишь с наступлением сумерек позволить себе сочиво или кутью. «Вий» как стремление внушить современникам отвращение к нездоровому, греховному любопытству к демоническому миру и к миру греха в целом. Самое загадочное произведение Гоголя, «Женитьба», где нашли отражение и раздумья писателя о поиске путей спасения — в брачном союзе или монашестве, и увлеченность

А. Вильегорской, и случай с украинским философом Г. Сковородой, бежавшим из-под венца, и история библейского Самсона. «Игроки» как притча о нравах «цивилизованного мира». Апокалипсический «Ревизор», где в наказание за грехи Бог попускает чиновника впасть в обольщение лукавого (беса Хлестакова), а настоящий Ревизор, которому они на Страшном суде должны дать за исполнение своего долга, — Бог. Тема неисполнения священных обязанностей государственной службы поднимается Гоголем и в «Записках сумасшедшего», и в «Шинели». Сочувствуя «маленькому человечку», вечным «титулярным советникам», мы просто не знаем, что согласно указу российского правительства от 1809 года титулярный советник мог быть произведен в следующий служебный чин лишь при условии окончания университета или же сдачи соответствующих экзаменов по установленной программе, герои же Гоголя большей частью предпочитали «отлеживаться на кровати». «Деятельным бездельем» грешат герои «Мертвых душ», забывшие, что только полезный труд, радостное служение Отечеству и Богу — родник веселья. В эпоху начавшегося распада, когда «новой русской интеллигенции» приносить пользу России, работая в государственном учреждении, казалось позором, Гоголь призывал к государственному служению как к религиозному долгу. Он задумывал свои произведения с тем, «чтобы вместе и услаждение и назидательность была», чтобы помочь несовершенному человеку освободиться от соблазнов и прихотей, воскресить в себе высшее, духовное начало. В своей работе И. Виноградов обращается к статьям и незаконченным произведениям Гоголя, к его историческим штудиям (конспектам лекций по русской и мировой истории), к мемуарам и письмам современников, к бытовым реалиям гоголевского времени. Через все исторические штудии Гоголя проходит мысль о пагубности разделений и вражды. Наиболее чувствительной «болевой точкой» писателя в восприятии отечественной истории оставалось переживание бесконечных княжеских распрей, часто расторгавших русское и славянское единство. Размышления о недопустимости междоусобных распрей нашли отражение и в «Страшной мести», и в «Тарасе Бульбе», и «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Из взаимной неуступчивости Гоголь выводил необходимость установления на Руси монархии. Вот выдержки из статей Гоголя: «Все события в нашем отечестве, начиная от порабощения татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного...»; русская история «приобретает яркую живость только с началом императорского, объединяющего народ правления»; «государь... один может только... обратить в стройный оркестр государство...». Гоголь вместе с ближайшими своими друзьями стал одним из первых сотрудников С. Уварова, который сформулировал и заявил три принципа воспитания русского юношества: православие, самодержавие, народность (высшим проявлением последней была объявлена литература). Понятно, почему западники во главе с Белинским и Некрасовым отторгали философско-религиозные искания Гоголя. Еще до выхода в свет книги «Выбранные места из переписки с друзьями» в Петербурге была организована кампания по дискредитации гоголевской книги. Многократно прозвучавшее в книге утверждение о богоизбранности православной самодержавной России вызвало решительное неприятие «Писем» радикальной «общественностью», пережившее десетелетия. По настоянию цензора А. Никитенко, приятеля Белинского, из книги было исключено несколько глав, в том числе «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России». В этой книге предстает другой Гоголь, далекий от традиционных, восходящих к Белинскому трактовок, Гоголь — серьезный писатель, связанный глубинной духовной связью с православной традицией русской литературы и русского мышления.

**Татьяна Соловьева. Архитектор А. А. Степанов. СПб.: Страта, 2018. — 96 с.; ил.**

Жизнь и творчество талантливого архитектора Александра Александровича Степанова (1856—1913) долгое время оставались в забвении, а его работы либо приписывались другим зодчим, либо считались произведениями неизвестных авторов. Между тем работы Степанова, отличавшиеся высоким качеством и тонким вкусом, настолько значительны, что ставят его в ряд лучших архитекторов, творивших в Петербурге и России на рубеже XIX—XX веков. Он работал в модном тогда стиле эклектики (историзма), возводя новые здания и привнося в устаревшие архитектурные сооружения новые, не нарушавшие художественной гармонии зданий черты. Одним из лучших образцов эклектики является дом, построенный А. Степановым для итальянского подданного К. Гвиди (набережная реки Пряжки, 34). В 2001 году КГИОП включил здание в перечень «вновь выделенных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную ценность», что не помешало испортить его возведенной в том же году надстройкой. Петербургские аристократы ретиво реконструировали свои дворцы в соответствии с веяниями времени: укрепляли фасады, меняли интерьеры, большое внимание уделяли парадным лестницам, в то время считавшимися едва ли не главным украшением дома. А. Степанов по заказу герцога Лейхтенбергского переделывал под жилье аристократа старинный дом на Английской набережной, 44, известный как особняк Румянцева. Он придал новый импозантный вид в стиле ренессанс дому графа Рибопьера (ныне Советский переулок, 4) и для графа же, стоявшего у истоков олимпийского движения в России, на 2-й Красноармейской улице (ранее 2-я Рота) построил помещение, где «предположены спектакли Атлетического общества», то есть спортивные состязания. Самой значительной реконструкцией, выполненной А. Степановым, стали работы во дворце Юсуповых (набережная Мойки, 94), которые тщательно, но «с поспешанием» велись восемь лет. Мировой жемчужиной признан созданный А. Степановым интерьер домашнего театра Юсуповых. Анализ работ мастера, особенности оформления, технических решений, отношения с владельцами — все это есть в книге Татьяны Соловьевой. Последовательно она восстанавливает послужной путь архитектора. Еще обучаясь в Академии художеств (окончил в 1881 году), он начал служить в Комитете для разбора и призрения нищих. В 1889 году Степанову была поручена перестройка здания Комитета нищих (угол улицы Союза Печатников, ранее Торговой, и Английского проспекта). Сказочный дом, несмотря на небольшое количество лепных украшений, сохранился частично, ныне переделан под школьное здание. В 1893 году А. Степанов перешел на работу в Главное управление уделов (Литейный проспект, 39, дом, знакомый по строчкам Некрасова «Вот парадный подъезд»). Управление ведало всеми великокняжескими дворцами и домами как в черте города, так и за ее пределами. По долгу службы А. Степанов работал в Ливадийском дворце в Крыму, Екатерининском и Ревельском дворцах в Прибалтике, в имении Александрия. В соответствии с его замечаниями при его участии была построена набережная Ялты от имени Масандра до мола. Он часто ездил за границу для подготовки помещений к приему императорской фамилии, занимался устройством трибуны в Красном Селе по случаю приезда иностранных высочайших особ, оформлял парадные меню, которые составлялись к особо значимым случаям. По заказу Главного управления уделов построил комплекс зданий кондитерской фабрики «Жорж Борман», ныне фабрика им. К. Н. Самойловой (Английский пр, 14 — Писарева, 3). За свои труды был удостоен семи орденов. По крупицам Т. Соловьева собирала материалы о забытом архитекторе в библиотеках, музеях, архивах, ездила в Архангельское. Толчком к «расследованию» послужила книга В. Листова «Монигетти», в которой все работы по дворцу приписывались Монигетти,

и на протяжении ряда лет это было аксиомой. Но однажды она увидела в Эрмитаже акварели, где виды домашнего театра Юсуповского дворца были изображены сразу после переделки театра архитектором Монигетти и интерьеры не соответствовали тому, что было в 1980-х годах. Так, в 1980-е годы начался долгий путь к восстановлению имени архитектора А. Степанова в истории Санкт-Петербурга. Т. Соловьевой удалось отыскать и потомков архитектора, и его могилу на Смоленском кладбище. Увы! В годы перестройки при реставрации часовни Ксении Блаженной могилу архитектора уничтожили. Не все строения мастера дошли до наших дней, что-то погибло в Великую Отечественную войну, что-то перестроено, большинство чертежей, не принятых в свое время КГИОПом, семья Степановых, спасаясь в блокаду от холода, сожгла в буржуйке. И все-таки благодаря обширному материалу, собранному Т. Соловьевой, к нам вернулся мастер, который много сделал для процветания Санкт-Петербурга.

Публикация подготовлена  
**Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

Редакция благодарит за предоставленные книги  
Книжную Лавку Писателей  
(Санкт-Петербург. Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,  
[www.lavkapisateley.spb.ru](http://www.lavkapisateley.spb.ru))

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## НА ИОРДАН

### Часть 6

#### «Река Иордан быстра и глубока»

Сообщения русских паломников о Иордане существенно разнятся: ширина — от 17 до 45 м, глубина — от 2 до 9 м (в пересчете на метрическую систему). Это легко объяснимо: ведь каждый из пешеходцев бывал на берегах священной реки в разные времена года. Кто-то застал здесь межень<sup>1</sup>, а кто-то — половодье. Сопоставляя путевые заметки русских богомольцев с начала XII до середины XX века, можно составить своеобразную «гидрографию» Иордана.

«Всем подобен Иордан реке Снови, — пишет игумен Даниил (1106 г.). — И шириной, и глубиной, и извилистым течением, и быстротой — всем он похож на реку Сновь. Глубина его в месте купания паломников четыре сажени, я сам измерил и испытал во время переправы на другую сторону Иордана. Много пришлось походить по его берегу. Ширина Иордана такая же, как и у реки Снови на ее устье»<sup>2</sup>.

**Князь Радзивилл Сиротка (1582–1584):** «Иордан имеет воду зело мутну, но здорому; взяв ю в сосуд, пребывает и никогда не портится, что аз в подлинник испытах, юже с собою привезох. Умывашася в ней наши, егда мы на берегу ядохом. В ширину едва имеет три десять лакот, токмо идеже в Мертвое море течет, ибо тамо шире входит»<sup>3</sup>.

**Трифон Коробейников; Юрий Греков (1594 г.):** «Река Иордан быстра и глубока, и вода в ней бела и мутна; а широта ее дважды рукой каменем ввергнуть»<sup>4</sup>.

**Иеродиакон Иона Маленький (1650–1651):** «Святыи Иордан течет с полунощи на юг в Содомское море, широтой токмо 12 сажен или вящше; течет меж гор быстро; вода в нем бела и легка пити; земля в нем глиниста; а на котором месте крестися Господь наш Иисус Христос против Ермонской горы с Иерусалимскую страну, и то место сделано древесы тесаными»<sup>5</sup>.

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Самый низкий уровень воды в реке.

<sup>2</sup> Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII–XX вв. М., 1994. С. 22.

<sup>3</sup> Похождение в Землю Святую князя Радивила Сиротки. 1582–1584. СПб., 1879. С. 78.

<sup>4</sup> Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII–XX вв. М., 1994. С. 66.

<sup>5</sup> Путешествие к святым местам, совершенное в XVII столетии иеродиаконем Троицкой Лавры [Иона Маленький]. М., 1836. С. 30.

**Арсений Суханов (1652 г.):** «Река Иордан течет от севера на юг не добре велика, сажень, в том месте, где мы быхом, через реку яко осьми, и в силох девяти; а глубина — через ее люди преходиша в грудь воды. В то время вода шла прибылая, желта и быстра, а как устоится, гораздо бела, и сладка, и здрава, и не засмердит, аще и год стоит в сосуде или больше»<sup>6</sup>.

**В. Г. Барский (1727 г.):** «Течет же Иордан зело быстрою струею, яко никогда же мне не случится видети столь скороточной реки, яко едва человек стояти в ней до пояса погружен, с нуждею может погрузиться, не придержайся древа и что либо буди не может; несть же много широка, ни глубока; в широту же имат, яко десять сажень<sup>7</sup>, егда разлится в зиме от дождей, в глубину же яко сажень и пол; а вода сице к питию сладка и здрава, яко человек насытитися ею не может. Повествуют же иерусалимляне, яко посреди лета умалается, яко переходят людие ногами об он пол»<sup>8</sup>.

**Инок Серапион (1749 г.):** «Река Иордан узкая, можно доброму человеку и палицей перекинуть, только быстро идет; вода в ней коломутна, и с берегов очеретом и деревом заросла по обоим сторонам; она взялася от Тивериадского моря, идет яко на полудень и впадает в Содомское море»<sup>9</sup>.

**Иеромонах Мелетий (1794 г.):** «Все течение сея реки простирается от севера на юг, ширина же оной во время наводнения, бываемого в марте и апреле месяцах, сажень около десяти. Впрочем, глубок и быстр. В нашу бытность на нем, бежал подобно скоролетящей птице, так что не можно было погружаться в нем, не держася за ветви»<sup>10</sup>.

**Д. В. Дашков (1820 г.):** «Сия знаменитая река летом не шире 10 сажень и глубины посредственной, но бежит по каменистому дну с отменной быстротой; когда же начнут таять снега ливанские, то разливается вдвое»<sup>11</sup>.

**А. С. Норв (1835 г.):** «Ширина Иордана вообще не более 60 футов; глубина летом от 7 до 8 футов: а зимой от частых дождей он выступает иногда из берегов; так было и во дни Иисуса Навина при переходе израильтян. Обыкновенная высота воды доходит до 4-х сажень. Иордан изобилует рыбой, но в нескольких шагах от его устья в Мертвое море вода его делается горька, а берега сглаживаются. Вода иорданская имеет вкус приятный: летом она прозрачна, а зимой, осенью и весной возмущена по причине наносимой земли быстрым течением. Арабы, со всем оружием, пешие и на конях, смело переплывают Иордан»<sup>12</sup>.

#### Из записок А. А. Уманца (1843 г.)

Не без душевного волнения я увидел эту святую реку; но, признаюсь, волнение это было не так сильно, как при виде потом на ней того самого места, где, по преда-

<sup>6</sup> Проскинитарий. Хождение старца Арсения Суханова во Иерусалим и в прочия святые места для описания святых мест и греческих церковных чинов // Православный Палестинский сборник. Т. VII. Вып. 3. СПб., 1889. С. 78—79.

<sup>7</sup> 10 сажень — то есть около 21 м. Сажень — старинная русская мера длины, равная 2,133 м.

<sup>8</sup> Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. I. С. 375—376.

<sup>9</sup> Путник или путешествие во Святую Землю Матрониинского монастыря инока Серапиона 1749 года // Чтения в Обществе истории древностей Российских (ЧОИДР), 1873, июль—сентябрь. Кн. 3, отд. V. С. 121.

<sup>10</sup> Путешествие в Иерусалим Саровския общежительныя пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. 2-е изд. М., 1800. С. 182.

<sup>11</sup> Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году // Святые места вблизи и издали. Путевые заметки русских писателей 1-й половины XIX века. М., 1995. С. 36.

<sup>12</sup> Норв А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году. Ч. I. 3-е изд. СПб., 1854. С. 104.

нием, совершилась тайна нашего искупления. К сожалению, воды реки не светлы, не прозрачны: они возмутились, как бы от негодования на грехи мира сего. Полотно воды здесь шириной до 14 сажень. Но не везде оно одинаково: в одном месте шире и мельче, в другом уже и глубже. Георг Робинзон пишет, что Иордан впадает в море с большой быстротой; напротив, я нашел течение его здесь весьма тихим, хотя струя воды и заметна в водах самого моря на некоторое пространство <...>

Во время Иосифа Флавия течение воды было везде тихое, плавное, как бы река отдыхала в конце своего странствия. Берега ее довольно круты и показывали следы разливов при половодьи. Вдоль берега ехали мы до крутого колена реки на восток; здесь передовые повели нас напрямик к тому месту, где она другим поворотом выдается на запад <...>

На берегу много камней, округленных и позеленевших. Из них я выбрал несколько себе на память, и на камнях в воде собрал с горсть красивых маленьких раковин. Я не забыл также взять отсюда воды одну бутылку, другую потом уступил мне из своего запаса наш спутник, немецкий студент. Горизонт воды, по случаю летнего времени, был самый низкий, и река имела ширины в этом месте от 8 до 10 сажень. В прочих местах река шире и в особенности в местах, ближайших к устью. Берег, где мы раздевались, имел вид брода; но направо, налево и на той стороне, был опущен непроходимой чащей деревьев и кустарника<sup>13</sup>.

**Архимандрит Порфирий (Успенский) (1844 г.):** «4 марта. Мы расположились у самого берега реки, гораздо выше от впадения ее в озеро, потому что топкость поля не позволяла нам приблизиться к месту впадения. Здесь Иордан весьма быстр и глубоковод; вода течет уловами; берега пологи и редко где осеяны кустарниками; большей частью они открыты. Иордан извиляется свободно по полю. У самых берегов вдруг становится глубоко. Ширина реки здесь не более 7 или 8 сажень. Мой Иван раза три плывал по ней вдоль и поперек, и не мог достать дна по причине значительной глубины и сильного течения»<sup>14</sup>.

**Иеромонах Иероним (Суханов) (1859 г.):** «Мы все, кроме владыки, ездили на реку Иордан мимо ее двойственного истока из Тивериадского озера. Берега реки невысоки и засеяны хлебом. Мы остановились при переходе. Здесь река широка — от 150 до 200 футов; через нее некогда был каменный мост. Быки его еще доселе стоят и останавливают стремление шумящей воды. Здесь совершенно нами освящение воды, многие купались, несмотря на холод. Я из этой священной реки взял в бутылку воды и камушков себе на благословение»<sup>15</sup>.

**М. Д. Волконский (1859 г.):** «Иордан не шире 10 сажень, но чрезвычайно быстр, так что невозможно войти в глубину, а должно держаться возле берега; иначе можно быть увлеченным быстротой и даже утонуть. На дне реки и по берегам камни очень круглы и гладки: так шлифует их быстротой»<sup>16</sup>.

**«Путеводитель по Иерусалиму» (1863 г.):** «Вы поворачиваете вправо, с разнообразными кустами и камышом, к тому пункту реки, где обыкновенно купаются. Является довольно плоский, глинистый берег, усеянный камнями. Полоса зелени бежит дальше, по ту и по другую сторону Иордана. Только противоположный берег несравненно круче. Здесь обыкновенно переправляются вброд заиорданские бедуины и, за-

<sup>13</sup> Уманец А. А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле. Ч. 2. СПб., 1850. С. 329–332, 337.

<sup>14</sup> Порфирий (Успенский), епископ. Книга бытия моего. Т. 1. СПб., 1894. С. 514.

<sup>15</sup> Книга странствий иеромонаха Николо-Пешношского монастыря Иеронима (Суханова) в 1858 и 1859 гг. в Иерусалим и гору Афонскую. М., 2014. С. 299.

<sup>16</sup> [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 160–161.

сев в кусты, выжидают жертву. Ширина реки в этом месте сажен 10 с небольшим. Самая большая глубина ее, как говорят, сажени 4»<sup>17</sup>.

**Архимандрит Антонин (Капустин) (1867 г.):** «Берег тут вышел отлогим скатом. Вода была мелка и пробиралась между камнями. Вся ширина священной реки, думаю, не превышает тут четырех сажений. Противоположный берег был крут и скалист, и опущен густой чащей леса. Знаменитая и преславная река так похожа на множество русских речек, что соотчичи наши не надвоятся ее скромности и невзрачности, увидав ее в первый раз. Если бы не чрезвычайная быстрота и не мутность воды, то дальний странник подумал бы, что это его какая-нибудь Крутиха или Солодянка, и высматривал бы на берегах ее знакомого огорода из березовых жердей. Все так просто, обыкновенно, мелко, узко, грязно — пожалуй, знакомо от первых дней детства! Так, но это он — Иордан, при имени которого все в душе готово воспрянуть и нестись-нестись без конца вглубь веков минувших навстречу покланяемому таинству Богоявления! Что сказать? Надобно быть на Иордане, чтобы понять, каким сладким умилением может проникнуть сердце этот родной, ласковый влекущий звук несравненного имени, поистине заветного и даже — двузаветного!»<sup>18</sup>

**«Указатель святынь в Святой Земле» (СПб., 1868):** «Ширина и глубина Иордана в разных местах различны; есть такие места, через которые летом можно перейти вброд. Вода реки весьма прятная на вкус; летом бывает прозрачна, как стекло; в остальное же время года — мрачна. Арабы смело переплывают через всю реку, на самых глубоких местах ее даже вооруженные с ног до головы; впрочем, некоторые из них не так счастливы: погружаясь в воду, они остаются в ней навсегда»<sup>19</sup>.

**Прот. Григорий Дюков (1869 г.):** «Вода в реке Иордан с первого взгляда кажется мутной — но это от того, что ее с обеих сторон обрамливают, с левой — крутой обрыв, который испещрен разноцветными вдоль берега струями или полосами, а с правой — хвойные растения и тростник, что все, отражаясь в поверхности вод Иордана, представляет оный как бы мутным; но между тем вода его совершенно чистая, прозрачная и на вкус приятная. Она не широка, полагать можно, сажений в 20; чрезвычайно быстрая, и все дно ее усыпано мелкими разноцветными камешками, кои в течение нескольких столетий выбираются со дна тысячами поклонников и однако никогда не уменьшаются, между тем каждый поклонник старается достать со дна и взять с собой несколько десятков таковых камешков на память и благословение себе и другим»<sup>20</sup>.

**Свящ. В. Певцов (1878 г.):** «Течение Иордана очень извилисто и так быстро, что посредине реки трудно бывает удержаться. Ширина реки в летнее время меньше 10 сажень, а глубина около 1-й сажени. В некоторых местах можно переходить ее вброд. Весной же она делается шире и глубже, иногда из берегов выступает от дождей. Берега ее поросли тростником и густым лесом самых разнородных кустарников и деревьев, которые наклоняют ветви свои к самой воде, отчего вода в реке кажется темной. Такое богатство растений, изукрашенных цветами, и множество береговых изгибов, придают Иордану прелестный вид. Искушавшись в струях священной реки, богомольцы наполняют водой запасенные сосуды и несут с собой на родину. Вода иорданская очень вкусна и чиста, но в самой реке кажется несколько мутной от быстрого течения»<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> Н. Б. Путеводитель по Иерусалиму. СПб., 1863. С. 208.

<sup>18</sup> Архимандрит Антонин (Капустин). Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме в 1857 году. М., 2007. С. 210.

<sup>19</sup> Указатель святынь и достопримечательностей в Святой Земле. СПб., 1868. С. 94.

<sup>20</sup> Дюков Григорий, прот. Заметки и воспоминания поклонника святым местам на Афоне и в Палестине в 1869 году. Харьков, 1872. С. 168.

<sup>21</sup> Певцов В., свящ. О Святой Земле. Чтение 9. СПб., 1878. С. 20—21.



**Архимандрит Павел (Леднев) (1881 г.):** «В нашу бытность, после летнего времени, в Иордане было мелководье. Река ширины около 20 сажен и очень быстра. Когда мы переходили ее на месте переката, воды было по грудь. И это место от быстроты переходить можно было с большим трудом и с опасением, чтобы не снесло с ног. Местами Иордан и глубок. Все лето до ноября в Палестине дождей не бывает; поэтому Иордан в это время и бывает маловоден; а зимой, когда идут дожди, тогда воды в нем много»<sup>22</sup>.

**Никанор, епископ Смоленский и Дорогобужский (1888 г.):** «...рассеялся туман, и над священными водами, и над окаймляющими их деревьями, и мы быстро спешим к Иордану, который шумит и пенится от быстроты движения вод своих, катящих с собой в бездну Мертвого моря множество мелких и крупных камней, от трения которых волны Иордана скачут, как белые агнцы. Невольно вспомнилось псаломское изречение: *взыграша волны, яко агнцы*»<sup>23</sup>.

**Е. Э. Картавцов (1889 г.):** «Это сильная и глубокая река; ширина ее колеблется от 10 до 20 сажен; несет она огромную массу воды и вливает в Мертвое море в сухое время более 120.000 кубических саженей, а во время дождей и таяния снегов нередко свыше 300.000 кубических саженей воды в день. Мертвое море не имеет истока и всю полученную от реки воду теряет посредством испарения; последнее громадно, ввиду совершенно тропического климата, являющегося здесь вследствие низкого положения моря и голых каменных масс, со всех сторон замыкающих его. Течение в Иордане от большого падения очень быстрое; водовороты на каждом шагу; вода мутная, чуть не пятую часть ее составляет песок»<sup>24</sup>.

**Прот. Павел Бобров (начало 1890-х гг.):** «Река течет быстро и волнами бьется о каменные глыбы по берегам. В одиночестве, при глубокой тишине слышен этот плеск и говор воды, будто она говорит мне, как и вся природа говорит человеку о Творце: «Во Иордане, крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение»... «Явился еси, днесь вселенней...», — пел я в ответ Иордану, а лепет его вторил мне»<sup>25</sup>.

**Епископ Сухумский Арсений (Изотов) (1894 г.):** «Иордан для христиан река священная; но она не представляется такой величественной, как наши русские большие реки. Ширина Иордана очень незначительна, не более десяти сажен; вода беловатая от множества растворенных в ней меловых частиц здешней горной породы, по которой он протекает с необыкновенной быстротой; но она в сосуде скоро отстаивается и на вкус приятна; в ней немало и рыбы <...> Уровень озера Тивериадского выше уровня Мертвого моря на сто две сажени (716 фут.), а расстояние между ними только около ста верст; вот почему вода Иордана имеет слишком быстрое течение, которое уносит даже лучших пловцов. Поэтому для купанья обыкновенно выбирают те места, где течение потише и глубина невелика; впрочем, Иордан вообще не глубок, летом он имеет около сажени глубины, а на местах самых глубоких — до двух сажен, но зимой, от продолжительных дождей, он становится глубже и шире, даже выступает из берегов»<sup>26</sup>.

**Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский (1900 г.):** «Иорданская долина вообще полна библейскими воспоминаниями. Около Иордана жил Лот. Через него переходили евреи, здесь Давид спасался от своего вероломного сына. Здесь, наконец,

<sup>22</sup> Павел (Леднев), архим. Краткое описание путешествия во св. град Иерусалим и прочие святые места. М., 1884. С. 69.

<sup>23</sup> Никанор, епископ Смоленский и Дорогобужский. Воспоминания о Святой Земле и Афоне. СПб., 1898. С. 147.

<sup>24</sup> Картавцов Е. Э. По Египту и Палестине. СПб., 1892. С. 203.

<sup>25</sup> Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других местах Востока. М., 1894. С. 74–75.

<sup>26</sup> Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 198–199.

раздался «глас вопиющего в пустыне», призывающий к покаянию. На этом же месте находились и мы. Иордан здесь не широк (не более 10 сажень) и очень напоминает реки с высокими берегами, каких много у нас в средней полосе России»<sup>27</sup>.

**Николай Русанов (начало 1900-х гг.):** «Ширина Иордана от 8 до 9 сажень, глубина летом 3 аршина; дно глинистое, илистое или каменистое; оно покрыто мелким булыжником. Вкус воды весьма приятен. Река изобилует рыбой. Дикие племена бедуинов, во время своих кочевых наездов, смело переплывают реку на своих красивых конях и по несколько дней пируют на зеленых лугах и тенистых берегах Иордана»<sup>28</sup>.

**В. Д. Юшманов (начало 1900-х гг.):** «Ширина реки не превышает 15 сажень, а глубина — одной сажени; иногда река бывает настолько мелка, что ее можно переходить вброд. Вода очень мутна вследствие быстрого течения, которое поднимает со дна песок. В реке водится рыба, но очень мелкая. Берега реки пустынные, на них нет ни городов, ни селений и только кочующие бедуины раскидывают близ воды свои шатры»<sup>29</sup>.

**Г. М. Добролюбов (1913 г.):** «Река Иордан очень быстрая, она берет начало в Тивериадском озере, уровень которого почти на 400 м выше уровня Мертвого моря. Ширина реки около 30 м. Весной во время разливов, конечно, шире»<sup>30</sup>.

**Путеводитель «Святая Земля» (Париж, 1961):** «Иордан представляет собой не широкую и не очень глубокую, но стремительную реку с мутной желтоватой водой от большого количества увлекаемого течением ила. Весной после больших дождей Иордан выходит из берегов. Выжженная солнцем пустыня по мере приближения к реке оживает, и густые заросли сикомор, бальзамического тополя и тростника скрывают реку от глаз»<sup>31</sup>.

### Флора и фауна

**Игумен Даниил (1106 г.):** «На этой стороне Иордана, где купель, растут высокие деревья, похожие на вербу, выше купели растет лозняк, но не как наша лоза, а как кустарник и тростник; прибрежная равнина напоминает также Сновь-реку. В зарослях водятся зверей много: бесчисленное множество диких свиней, много и барсов тут, и даже львов. По той стороне Иордана — горы высокие каменные, они дальше от Иордана. Под теми горами другие горы, ближе к Иордану, эти горы белые. Тут земля Завулونا и Неффалима, по ту сторону Иордана»<sup>32</sup>.

**В. Г. Барский (1727 г.):** «Обоюду Иордана земля мокра и зело много древес и трости рождает. Древеса суть различна, их же несть в странах наших, не подобны бо суть нашим древесем, токмо едина верба подобится, на коем древе, повествуют, яко Иуда повесився; тростие же растет в высоту вящше четырех сажений, в толстоту же, колико рукой человек объяти может»<sup>33</sup>.

**Свящ. Игнатий (1766–177):** «Река Иордан не весьма велика, близ Москвы реки. Какое же около ее положение: по берегу растет тростник, есть же такая трава, мож-

<sup>27</sup> Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. М.; СПб., 2014. С. 251. Даниил, как известно, сравнивал Иордан со своей рекой Сосной, текущей в Черниговской губернии.

<sup>28</sup> Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 249.

<sup>29</sup> Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 21.

<sup>30</sup> Добролюбов Г. М. Путевые заметки (по Святым местам Палестины) // Палестинский сборник, вып. 32 (95), СПб., 1993. С. 109.

<sup>31</sup> Святая Земля. Париж, 1961. С. 116.

<sup>32</sup> Житие и хождение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 22.

<sup>33</sup> Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 1885. Т. 1. С. 376.

но всякому человеку кушать и очень приятна. Горы непроходимые и по горам растущие деревья, кипарис, пегва довольно число, толстотой в обхват. Есть же и плодовые деревья, рождаются красные ягоды, вкус весьма изрядный, в них семечки имеются. Рыба в Иордане разных родов, есть такая, подобна нашим окуням, также есть и сомы»<sup>34</sup>.

**Иеромонах Мелетий (1794 г.):** «Рыбы в Иордане премножество разных родов, но иерусалимляне, по причине варварских обстоятельств, ею не пользуются. Низкие места около берегов от влажности покрыты лесом разных тамошних родов: между коих есть и ивняк с произрастающей зеленью. Тени сих рощей в жаркие дни служат убежищем арапам, скитающимся в пустынях, злаки же пищей верблюдам их»<sup>35</sup>.

**А. С. Норов (1835 г.):** «Иордан изобилует рыбой, но в нескольких шагах от устья своего в Мертвое море вода его делается горька, а берега сглаживаются. Вода Иорданская имеет вкус приятный; летом она прозрачна, а зимой, осенью и весной возмущена по причине наносимой земли быстрым течением. Арабы, со всем оружием, пешие и на конях, смело спускаются с нагих хребтов каменной Аравии со стадами и табунами роскошествовать по несколько дней на луговых и тенистых берегах Иордана. Нередко они находят в его тростниках других гостей своей родины, львов и тигров, привлеченных туда жаждой и стадами, и тут возгорается кровавый бой; длинное ружье, копье и кинжал никогда не оставляют этих моавитских пастырей. Пророк Иеремия живописно говорит о львах, тревожимых в кустах Иордана его разливом. Арабские писатели сохранили его библейское имя и называют его: *ель-Урдун*: в простонародии: *Эш-Шериах ель Кебир*»<sup>36</sup>.

#### Из записок А. А. Уманца (1843 г.)

Топкие берега Иордана окаймлены зеленым камышом, который перестает расти сажень на сто от моря. Лошади наши бросились к воде; мы слезли с них, подвели к реке, и едва в этом не раскаялись, потому что берег был несколько крут, передние ноги лошадей пошли вниз, как бы на салазках, и лошади наши едва не опрокидывались в воду, удерживаясь только на задних ногах, увязших почти по колено в топкий берег. Мы поскакали потом к самому устью, которое окаймлено, на несколько сажень, в водах самого моря, двумя небольшими песчаными косами. На оконечности их, у самой косы, сидело несколько аистов, одна чайка и пара уток. Последние, увидев нас, тотчас улетели; аисты с нашей стороны также поднялись при нашем приближении, а сидевшие на другой стороне, равно чайка, не обращали на нас никакого внимания, стоя в воде по колено.

Справедливость того, что рыба, заходящая из Иордана, в Мертвом море тотчас умирает, подтверждается также присутствием в устье реки этих птиц, питающихся рыбой, которая, умирая, тотчас всплывает наверх: иначе, зачем бы этим птицам быть именно в этом месте, тогда как нет их на прочих, виденных мною местах берега Мертвого моря, равно как и на самом Иордане, где, по мутности воды, рыбу птице поймать нелегко. Я хотел было проехать на самую косу; но, по тонкости места, не мог этого сделать: ноги лошади моей начали грузнуть в топкий берег, и я повернул назад.

Берега Иордана, как я выше сказал, сажень на сто перед устьем теряют всякую растительность и совершенно обнажены. Затем, вверх по реке, камыш делает вдоль нее узкую, частую опушку, а потом, через полчаса езды от устья, в камыше начинается показываться лозник и, наконец, деревья, которые густеют более и более, и потом так осеняют реку, что совсем закрывают воду от глаз идущего на берегу, и она пока-

<sup>34</sup> Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, Афонскую Гору, Святую Землю и Египет. 1766—1776 гг. // Православный Палестинский Сборник. Т. XII. Вып. 3. СПб., 1891. С. 15.

<sup>35</sup> Путешествие в Иерусалим Саровския общежительныя пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 году. 2-е изд. М., 1800. С. 183.

<sup>36</sup> Норов А. С. Путешествие по Святой Земле в 1835 году // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII—XX вв. М., 1994. С. 112.

зывается только в некоторых местах при поворотах. Посреди запустения вокруг, вид этого узкого, длинного, счастливого оазиса радует душу. Трудно представить себе растительность богаче, изобильнее этой; везде яркая, самая густая зелень деревьев, свойственных этому климату и перевитых гирляндами лианов и других цветов. Тень в чаще непроницаема для лучей солнца. Ветви деревьев нагнулись над рекой и полощутся в ее животворных водах. Во время Иосифа Флавия река осенена была пальмами — деревом, придающим особенную прелесть месту, где растет оно<sup>37</sup>.

**М. Д. Волконский (1859 г.):** «Среди грустной пустыни и бесплодной песчаной почвы священный Иордан извивается светлой полосой; по обоим берегам его широкой каймой богатая растительность. В Палестине, где все горы и камни, где кроме редких источников вовсе нет воды, и среди бесплодной долины зелень берегов кажется и свежее и отраднее. В кустах около Иордана множество соловьев, рассыпающихся разнообразными трелями; на Востоке они редки, но зато необыкновенно звучны и голосисты; их называют *бульбуль*, и утверждают, что это особенная порода, но пение их похоже на пение наших соловьев, только звучнее или таким кажется в безмолвной пустыне, в свежей зелени кустов, где им привольно, и где развелось их множество; заслушавшись мы невольно поехали шагом и любовались видами священной реки с ее зелеными берегами <...> Около Иордана больше частью растут *ульмы* и множество различного рода ив; но есть тамарины и другие более благородные породы деревьев южной растительности, вероятно и олеандры; но я их не видал. Между деревьями множество высокого тростника, где укрываются, может быть, и дикие звери; но об них не говорят»<sup>38</sup>.

**Иеромонах Павел (Вертоградов) (1862 г.):** «Передний берег весь оброс разными древами; тростником и кустами, похожими на русский лозник, на которых растут ягоды красно-желтые, величиной поменьше немного русского ореха, круглые, на вкус весьма сладкие, внутри косточки круглые; — это акриды, коими питался Иоанн Креститель; а противоположный берег Иордана состоит из каменистых гор и мелкой растительности»<sup>39</sup>.

**Архимандрит Павел (Леднев) (1881 г.):** «По берегам Иордана растут кусты; в числе прочих растений есть подобное по листьям нашему кустарнику, называемому *божье дерево*; только на Иордане таковые кусты гораздо больше и нет от них запаха, как от божьего дерева. Эти кусты и летом в самое жаркое время зелены, и потому составляют Иордану украшение»<sup>40</sup>.

**А. Коптев (1887 г.):** «Усевшись на наших буцефалов, мы направились уже прямо к растительной полосе Иордана. Через час времени мы въехали в эту очаровательную местность; роскошная флора приводила нас в восторг не столько разнообразием, сколько свежестью и сочностью растений, разбросанных по зеленому полю небольших луговин. Блуждая в продолжение полутора дней по голым скалистым, раскаленным и сыпучим кручам, зрение сильно утомилось этой мертвой картиной — и вдруг перед глазами является оазис чудной растительности со струями быстро текущей воды. Справедливо кто-то сказал, что и глаза могут жаждать зрелища воды.

Что за дивная живительная сила — водяной источник! Где только она является, чего только она коснулась своей благодетельной, волшебной влагой, каким-то сверхъестественным чудом, волшебством оживляется вся окрестность — являются леса, ку-

<sup>37</sup> Уманец А. А. Поездка на Синай с приобщением отрывков о Египте и Святой Земле. Ч. 2. СПб., 1850. С. 330—331.

<sup>38</sup> [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 159—161.

<sup>39</sup> Павел (Вертоградов), иером. Путешествие по святым местам на Святой Земле, во Святую Афонскую гору и в Палестину в 1862 году. Ч. 1. М., 1866. С. 119.

<sup>40</sup> Павел (Леднев), архим. Краткое описание путешествия во св. град Иерусалим и прочие святые места. М., 1884. С. 69.

сты, поля и вообще все то, что дает жизнь и спокойствие не только человеку, но и всякому живому существу <...> Оба берега за исключением прогалины, вплотную покрыты сплошной растительностью: великолепные олеандры, гигантские тамариски, разные породы тополей и ив, обвитых лианами, выступали к реке и густыми своими ветвями склонялись к самому ее ложу»<sup>41</sup>.

**Епископ Сухумский Арсений (Изотов) (1894 г.):** «Окрестности Иордана представляют цветущий уголок Палестины; во всякое время здесь зеленеющие деревья и среди них хоры птиц, которые своим пением увеличивают приятность места; здесь царствует постоянная весна, теплая и приятная, так что и в зимние месяцы так же тепло, как у нас в средней России жарким летом. Берега Иордана окаймлены по большей части зеленью разнообразных ив, олеандров, тростников и других древесных растений, переплетенных и опущенных свежим плющом»<sup>42</sup>.

**Архимандрит Евгений (1900-е гг.):** «Воды Иордана желтой лентой струятся по долине, меж крутых берегов, нарядно одетых изумрудной зеленью вьющихся плющей, гибких тростников под сенью благовонных олеандров и густых ветвистых ив»<sup>43</sup>.

**Николай Русанов (1900-е гг.):** «Берега реки на значительное пространство осеяны густыми ивами и олеандрами, а крутые и обрывистые места их одеты зеленой пеленой из свежих плющей и других тростниковых растений. Здесь некогда раздавался глас вопиющего в пустыне»<sup>44</sup>.

**А. А. Дмитриевский (1906 г.):** «Вид реки Иордана, несущей быстро мутные волны в неподвижное Мертвое море, в это время года очарователен. Берега его, покрытые в изобилии тамариском, плакучими ивами и олеандровым кустарником, окаймлены как бы лентой желтых и голубых цветов. Зрелище поразительное для непривычного глаза северянина, особенно если он от этой чарующей прелести весны перенесется мысленно к себе на родину, где стоят в это время трескучие морозы, где все покрыто белоснежным саваном и сковано крепким льдом...»<sup>45</sup>

**Г. М. Добролюбов (1913 г.):** «Берега Иордана покрыты субтропической растительностью. В Библии говорится о Палестине как о стране, где течет молоко и мед. И действительности для обитателей пустынной части Палестины берега Иордана представлялись, вероятно, именно такими. В Иордане много рыбы, а ее берега покрыты густыми зарослями на 2-3 км по обе стороны от самой реки и обильно населены птичьим царством и животными разного рода. В зарослях водятся даже кабаны, которых, кстати сказать, не едят ни мусульмане, ни местные арабы, принявшие христианство. Затем водится также дикий баран, газель, и много всякой мелкой дичи. Много и змей. Есть и дикая пчела, которая устраивает себе улья в расщелинах скал»<sup>46</sup>.

**Архиепископ Нестор (Анисимов) (1934 г.):** «Чем выше поднимались мы вдоль долины Иордана, тем чаще и чаще стали попадаться отдельные куши маленьких кустика, потом небольшие лужайки травы, наконец, сплошной зеленый ковер, и вот среди прекрасного венка из деревьев и трав заблистал перед нами бледно-голубым зеркалом чудный святой Иордан. Мы спустились к берегу и отплыли на лодке к середине

<sup>41</sup> Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иерусалим в 1887 году. СПб., 1888. С. 199–200.

<sup>42</sup> Арсений (Изотов), епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. С. 199.

<sup>43</sup> Евгений, архим. Мое бытие. Воспоминания. СПб., 1911. С. 262.

<sup>44</sup> Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 249.

<sup>45</sup> Дмитриевский А. А. Праздник Богоявления Господня на реке Иордане и в святом граде Иерусалиме. СПб., 1907. С. 11.

<sup>46</sup> Добролюбов Г. М. Путевые заметки (по Святым местам Палестины) // Палестинский сборник, вып. 32 (95). СПб., 1993. С. 109.

Иордана. Глубокой святой тишиной и миром веет на берегах тихого Иордана. Поразительно русский родной вид имеют его берега. Низко нависли к воде прибрежные кусты, совсем как плакучие ивы над реками России. С мелкими заводьями и омутами струит свои беловатые воды святой Иордан, рождая в наших измученных душах светлые добрые картины родной страны. Поистине, повсюду на Святой Земле чувствует русский человек, что эта земля — родная земля, что он не чужой здесь, ибо тут каждый шаг с детства знаком, с детства дорог и любим. Но полнее и ярче всего это чувствуется именно на берегах Иордана»<sup>47</sup>.

**И. В. Флегинская (1964 г.):** «Деревья, обширные огороды различных христианских деноминаций и какие-то примитивные постройки, сначала скрывали от глаз самое русло реки и только виднелись вдоль берегов, густые заросли зеленых, довольно высоких кустов. Но вот, блеснул синий-синий, живой, с очень быстрым течением — святой Иордан! Он не широкий в летнее время; вода густая от примеси ила, устилающего темным слоем его дно, но его яркий цвет, быстрое течение и какой-то удивительно ясный и прозрачный воздух вокруг него и зелень, густо окружающая его берега, создают совсем особую атмосферу. Голоса и вообще все звуки, раздаются совсем иначе у его воды и все становится таким определенным, ясным и отчетливым, в этом ясном воздухе, как нигде в другом месте»<sup>48</sup>.

**Архимандрит Пимен (Хмелевский) (1955 г.):** «16 сентября. Пятница. Мы поехали к реке Иордан, к тому месту, где она вытекает из Тивериадского озера. С восхищением смотрели мы на иорданские воды, величественно двигавшиеся среди густо-зеленых берегов, покрытых деревьями, кустами, камышом и разной травой и цветами. Выпили воды, наполнили иорданской водой бутылки, собрали несколько ракушек и камешков (на память)»<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Нестор (Анисимов), архиепископ. Святая Земля. (Иерусалим и Палестина). Гонконг; Киев; Тель-Авив, 2015. С. 74–75.

<sup>48</sup> Флегинская И. В. Паломничество на Святую Землю в 1964 году. Нью-Йорк, 1966. С. 84–85.

<sup>49</sup> Пимен (Хмелевский), архиеп. Дневники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме 1955–1957 гг. Саратов, 2008. С. 128.

# Contents

## Prose and Poetry

- Marina Matveeva.** Poems • 3  
**Elena Kryukova.** Hospice. *Novel* • 9  
**Yevgeny Kaminsky.** Poems • 107  
**Feruzza Ibrayeva.** Buried as Shevardnadze. Bullshit, or Race for a Passport. *Short Stories* • 113  
**Andrey Guschin.** Poems • 132  
**Pavel Vyalkov.** Critias. The Crown of the British Empire. „Goodbye, Dictator!“ Count Ruin, or The New Queen of Spades. *Short Stories* • 137  
**Igor Kubersky.** Lokas Weekdays. *Short Stories* • 166  
**Mikhail Pershin.** Clock Frequency. *Short Story* • 177

## Publicistic Writings

- Elena Krasnukhina.** Nationalism of the Nation and Nationalism of Nationality • 189

## Criticism and Essays

- Alexander Melikhov.** They Caught the Vociferous Bird... • 196  
**Galina Zainullina.** The Programming Power of the Kazan Text (*The Symbolic Realities of Kazan in the Prose of V. Popov, A. Sahibzadinov, A. Khairov, D. Osokin and R. Bekkin*) • 208

## Theatroteka

- Anton Ratnikov.** Don't Part with Your Favorite Playwrights • 220  
**Vera Kharchenko.** On the Approaches of the Theater, or the Instinct of Impersonation • 224

## Petersburg Bookman

- Art of Reading.** *Sergey Kibalnik.* School of Dostoevsky. **Territory of Memory.** *Natalia Gvelesiani.* The Reason of the Defeat of Socialism in the USSR Was Named by M. Gorky. **Book Island.** *Elena Zinovieva's publication* • 229

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** To Jordan. *Part 6* • 245

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 28.02.2019. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 572  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28